1 р. 90 к. Индекс 70331

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
И ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
1991 года
«ЗНАМЯ» ПУБЛИКУЕТ
РОМАНЫ И ПОВЕСТИ:

Василий АКСЕНОВ. Желток яйца
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия
Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря
Франц КАФКА. Письма Милене
Анатолий КУРЧАТКИН. Реквием
Амоз ОЗ. До самой смерти
Александр ТЕРЕХОВ. Зимний день начала новой жизни
Николай ШМЕЛЕВ. Сильвестр
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 4. 1—240.

ЗНАМЯ 4 1991

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Апрель



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

4

АПРЕЛЬ 1991

Москва
Издательство
«Правда»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Владимир Маканин

ДОЛОГ НАШ ПУТЬ

ПОВЕСТЬ

1

Конечно, уже лет двести как нет войн, ни больших, ни малых, народы и концерны доверяют друг другу, и гуманистические ценности восторжествовали, но осталась эта чертова секретность, связанная с внедрением технологии! соперничают, рвут друг у друга куски, мать их! — думал молодой человек, собираясь в дорогу. Он тщательно побрился. Он смотрел на себя в зеркало.— Тс-ссс! — приложил он нарочито палец к губам.

Ему сказали, чтобы он собирался в командировку, не слишком об этом вокруг болтая. Ладно,— пообещал он, фыркнув. Он даже поворчал. На деле же слова начальства (и обстановка некоторой таинственности) его грели. Значит, его ценят. Значит — важно. Он испытывал подъем. А как иначе?.. Жизнь есть жизнь, и вот он, молодой человек, работающий в Москве, талантливый, честолюбивый, летит в командировку на испытательный полигон, расположенный где-то в южных степях; летит туда, создав свой — да, свой! — узел АТм-241, готовый там его внедрить, исполненный уверенности и хорошего тщеславия, как это и положено молодому человеку.

Самолетом он прилетел в один из небольших городов, а уже оттуда специальным вертолетом, где он был единственным пассажиром, прибыл на полигон. Ведомственные тайны и борьба предприятий меж собой слишком в ходу, но когда-нибудь их конкуренция станет излишней, и всех этих секретчиков и засекретчиков, этих бездельников разгонят! — размышлял молодой человек (он, собственно, ощущал секретность пока лишь через одиночество: не с кем поговорить!).

Успех АТм-241 — это успех его самого и его сотрудников, каждому воздастся, обратная связь так или иначе замкнется в признании. Выразится ли успех в укрупнении их отдела? — он не знал; и не хотел забегать мыслью вперед; предвкушение само по себе приятно. Общество его не забудет, это ясно. Главное же — творческое удовлетворение через признание работы!.. Конечно же, хотелось славы, он был молод.

Как человек молодой, он пребывал в известном возбуждении уже просто в связи с самим фактом отъезда: уход из привычной колеи в незнакомость настраивал его, быть может, на поиск приключений, а быть может, просто (по генетической памяти) пробуждал в нем молодого человека былых времен, с его состоянием повышенной готовности. Так что, сойдя с вертолета, он уже предощущал вспышку чувственности и вдруг подумал, что он ждет, возможно, встречи с женщиной — да, да! здесь, у них, в силу секретности региона, люди несколько оторваны от мира, и местные женщины, к примеру, невольно окажутся старомодны, не слишком развиты в сексе (это его возбуждало!), и чудесный старый говор — кто знает, всякая поездка в незнакомые края как рождение. Человек как бы начинает снача-

ла, а начало не может быть без встречи или без женщины, без Адама и Евы, хотя бы в приближенном и приблизительном варианте,— размышлял молодой человек, ощущая в себе не только понятный подъем сил перед предстоящей новизной, но и приятно замирающее сердце. При всем том оставался он внешне корректен и спокоен: деловая поездка.

К вертолету подкатил защитного цвета, крепкий, с брезентовыми бортами, укороченный автомобиль.

Молодой человек сказал встречающему:

— Да зачем?.. Вещей у меня нет. А тут, как я вижу,— совсем рядом.

И правда, комбинат-полигон был близко, ну, километр, а по такой замечательной степи и по такой погоде хотелось пройти первый километр ногами, пошуршать травой, размяться мышцами после скованного сиденья в самолете. В степи все просматривается прекрасно — была хорошо видна защитного цвета ограда-стена, ее четкие несущие столбики и меж ними серые пролеты стены, красивые как раз серостью и обыкновенностью, которая так естественна в степи и от которой отвык глаз, утомленный яркими красками большого города. Они все же настояли, чтобы он ехал. Гипнотизм дороги. Встречающие хотели даже перехватить его чемоданчик. «Нет-нет. Я сам!.. Да право же, чемодан совсем легкий!» — и впрыгнул, не влез, а легко впрыгнул в машину, энергичный. На комбинате, конечно же, степь уже будет не степь. Ах, слишком скоро!.. Но ветер, с запахами полыни и дикой конопли, врывался в открытые вырезы брезента, дыши! — врывался и овевал лицо, и степь была, степь лежала рядом, степь еще не кончалась, и было наконец ощущение приезда. «Всего-то на три дня»,— с сожалением подумал он, и кто-то из встречающих, сидевший на сиденье рядом, словно ухватив выплескивающуюся его мысль, сказал:

— Вам здесь жить три дня! — но сказал с другой интонацией, мол, придется пожить и потерпеть, если вдруг окажутся бытовые неудобства, сравнительно с большим городом.

Но, конечно, предполагалось, что это только так говорится, и что о нем позаботятся, и что никаких неудобств не будет.

Теперь ограда приближалась, ее можно было рассмотреть. Кирпичная, серая, с облупившейся серой краской. Вид стены, тянувшейся ровно и далеко-далеко. Стена не внушала так уж сразу мысль о строгости и охраняемости, хотя именно ее неброскость, облупленность и очевидная во все стороны очищенность пространства говорили, разумеется, о досмотре. О глазе О том, что никто тут не подойдет, не поинтересуется, почему облупилась стена и почему это ее не красят. Стена как стена. Вот и ворота — когда подъехали, стала перед глазами также неброская, сделанная полукругом над воротами надпись, как во всех таких закрытых местах, «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

Домик. Элегантный. Дача с небольшим участком и садом,— сказал он себе мысленно. Что ж, очень приятно. Ага, поодаль еще один такой домик. Всего два. Стало быть, немного людей сюда приезжает. Считать мы умеем. Приезжают сюда редко и только по одному, самое многое — двое.

— Будете жить один,— сказал сопровождающий, мысли шли в параллель, очевидные мысли.— Немного поскучаете...

— Люблю побыть и один,— улыбнулся в ответ молодой человек.

Прошли внутрь. Его дача, как назвал ее он для себя, невелика, но опрятна, ухожена. Три комнаты, ковры. Прекрасный письменный

стол с набором ручек. Компьютер, конечно. Сверкающая ванная комната — сопровождающий приоткрыл дверь — смотрите, мол, оцените.

— Близкий домик, он тоже гостевой, пока пустует, а в том дальнем строении бытовой отдел. Вы можете заказывать себе еду. Но не думайте, что наши дежурные блюда плохи, напротив. Вы молоды, и желудок, конечно, работает отлично, но если хотите, приготовят вашу диету, здесь все продумано. Повар, правда, один. Но дока. Будете есть, к примеру, бессолевую пищу и даже не заметите.

Сопровождающий сделал шаг в направлении выхода.

Приостановился:

— Я прощаюсь. Отдохните. Завтра — работа. За вами зайдут в девять утра... А сегодня вы непременно определите свою диету, даже если с дороги ужинать не хотите. Повар должен знать ваши слабые места, это я так шучу...

Он был уже у выхода и крикнул:

— Холодильник набит соками и вином!

Машина с брезентовыми бортами зашумела, уехала.

Что ж, приняли отлично. Почему бы и нет? На комбинате синтезируется высочайшего класса белок, поступающий в пищу и дающий всем нам жизнь. Потому и технология держится в секрете, не только ведомственные барьеры, но и здоровая конкуренция. Проблема проблем — протеин. Синтезируется говядина или, скажем, свинина по образцам прошлых веков. (Уже почти сто лет как ни птица, ни рыба и ни что живое не идет в пищу, гуманизм!) Известно, что в дело идут только травы. А остальное, уж извините, секрет. Комбинатов немало, и они, видно, хитро разбросаны здесь по степям — всюду трава и трава, огромные огороженные степные территории. И как же не принять хорошо человека, который внедрит в их законсервированный мир такую штуку, как АТм-241?!.

Мысли его шли легко, даже чуть восторженно. Глаза тем временем осматривали жилье, привыкая к стенам, к гравюрам, развешанным со старомодной навязчивостью на стенных пустотах. Однообразная белизна дня. Что-то в нем вновь напряглось, словно бы готовность к опасности, ожидание. Поймав себя на повторении, он отметил: а-а, память о молодом человеке былых веков, которому, как молодому волку, приходилось хорошо побегать, чтобы существовать. Он улыбнулся, удивляясь цепкости генетической памяти. Нет-нет, и прошлое оживает. Движешься в пространстве, а словно бы во времени. Вот ведь!

Перед сном он вышел подышать степью, побродить, прогуливаясь вкруговую возле своего домика.

Они шли вдвоем в направлении цехов.

—...нам ваша интегральщина не нужна. А ведь народные денежки вы распыляете и еще как распыляете! И к тому же от всех этих ваших внедрений, конечно же, утекает информация. Вы приехали — и вы уехали, верно? А вот раньше было не так. Если что-то для нас внедрил — здесь и оставайся. Навсегда. А как иначе: любишь науку — вложи в нее свою жизнь, тогда мы тебе и твоей любви поверим. Вы помогли?!. Какая там помощь! Справлялись мы и до вас, справляться будем и после вас, верно?

Молодой командированный понимал, что ворчание старика-инженера обычно (и даже типично, старые верные кадры должны ворчать), однако же заметил:

— Но ведь я работал, я несколько лет обдумывал проблему. Зачем вы так небрежны к моей работе?

Батяня (так запросто звали здесь старого инженера) подхватил:

— Да вот и говорю — зачем человека с места срывать, пусть там себе сидит в городе и думает сколько хочет...

— Ну знаете. Это обидно. Зачем же я тогда трудился? зачем вообще люди трудятся?

Он почувствовал обиду, даже спазм в желудке — как неприятно. Но перемолчав и обиду подавив, он ощутил, что желудочный спазм никак не проходит. И тут только сообразил, что причина неприятного самоощущения не внутри, а вовне его. Запах. Что там такое?..

— Не оглядывайтесь. Не суйте нос. Вы увидите всё, но непременно по порядку — когда ваш узел будут вводить в действие.

Старики еще и педанты, понятно. Молодой человек скользнул глазами по конвейеру — пять-шесть чанов, подвешенные довольно высоко, медленно ползли и источали запах, запах бил в ноздри, в самую душу, и молодой человек узнал его: запах синтезированной крови; чтобы синтезировать настоящее мясо, надо же синтезировать и кровь. Но запах был резкий, чего-то они там со своей химией перегустили...

— Неприятно? Глотните-ка спиртного,— сказал Батяня, предлагая фляжку.

— Не надо мне вашего спиртного. Я не мальчик,— молодой человек оттолкнул руку с фляжкой, тот совал ее ему прямо в нос, возможно, хотел перебить запах.

Но, может быть, синтез был не так уж и плох. Это ведь как знак качества — известно, что запах крови вызывает агрессивность, и, возможно, я уже под некоторым воздействием,— подумал молодой человек.

— Обратите внимание,— заскрипел вновь Батяня своим ворчливым голосом.— Здесь финиш. Сюда поступает уже полностью готовая продукция (он не сказал *мясо)*, видите: висят часы. Они показывают время процесса от включения рубильника. Полное время... Ваша модификация узла должна дать не более сорока секунд удлинения всего процесса. Знаю, знаю. Не перебивайте!.. Я знаю, что у вас потеря времени двадцать шесть секунд. Но я в них позволю себе сильно сомневаться. Пусть будет хотя бы сорок! Пусть!.. Так как ежели будет потеря более минуты, я сам пойду к директору комбината на прием, с тем чтобы вас гнали отсюда. Чтобы на вас написали *телегу* в вашу организацию и чтобы вам навсегда перекрыли кислород там, где вы, извините за выражение, трудитесь! чтобы вам ёкалось еще лет десять, понятно?

— Понятно.

— Нет, не понятно!.. Я старый инженер, и я знаю, что такое остановить конвейер. Что такое прервать цикл. А из-за вас мы остановим линию почти на минуту, пока вмонтируем ваш АТм-241...

Он жестом позвал:

— Идите сюда.

Они вышли (они прошли финишную комнату конвейера, с висячими часами, как бы насквозь). Стало легче дышать, воздух был свеж, чувствовалась близость степи. Вдали стояли оранжевые двухэтажные дома, которые приятно смотрелись сквозь высокую стену зеленых насаждений, дикий виноград или хмель?

Батяня пояснил:

— Там живут наши рабочие. Да, они никуда отсюда не уезжают, чтобы информация не распылялась. Они и не хотят. Здесь у них отличные магазины, тряпки для их баб по самой последней моде. А какой спорткомплекс! бассейны!.. Ограда цехов? Да она просто так. Чтобы наши детишки сюда не забежали в погоне за какой-нибудь яркой бабочкой. Чтобы запахи не били им в душу...

— Мы кого-то ждем?

— Да. Сейчас подойдет ваш техник... Так вот: здесь мы, конечно, не можем быть слишком секретны, сосед есть сосед, семья есть семья, все всё знают. И мы, конечно, не запрещаем — мы только не советуем в их семейных разговорах говорить про наших коровок,— Батяня кивнул головой в сторону чанов,— так лучше. Коровка — ласковое слово, но мы не советуем его употреблять.

Молодой человек смотрел на плывущие медленно чаны, они действительно напоминали формой коров, медленно движущихся одна за одной к некоему условному водопою. Подошел инженер-техник (человек, который сделал его узел уже загодя, по переданным сюда чертежам и схемам). Он представился, пожал руку — энергичный человек. Через АТм-241, который молодой человек так долго вынашивал в замысле, а инженер-техник так долго лепил в своих руках, они были как породненные. Как приятели уже многолетней выдержки. Они с интересом посмотрели друг на друга, словно бы и впрямь ощущая некоторое отдаленное родство не по крови.

— Ворчит наш старенький, а? — инженер-техник подмигнул командированному, очевидно, имея в виду Батяню. И тут же сам смягчил: — Не обращайте внимания. Он человек добрый, он добрейший, в сущности, наш Батяня!

Он хотел потрепать старого инженера дружески по плечу, но тот отвел руку:

— Вот еще!.. У нас работа, а не юбилей.

Условившись о часе встречи, инженер-техник ушел.

Конвейер медленно накатывал чаны-коровки. Возле чанов, одетые в белое, трудились женщины, придавливая кнопки и выстреливая из ампул строгое число граммов вкусовых эссенций. Женщины были молоды, белая одежда подчеркивала формы — и тут же вновь волна запахов, вновь дурнота и, сквозь дурноту, встрепенувшееся мужское естество. Инстинкт,— сказал себе командированный молодой человек, отмечая, что, как ни отвратителен запах, он дает мужчине почувствовать себя сильным, даже могучим. Неотрывно смотрел он теперь на женское тело в белой одежде. Выбрал одну и смотрел, угадывая формы.

— Да что ж закрышки чанов так плохо прикрыли?! — возмутился Батяня. Он снова потряс фляжкой.— Не надо? Глоток-два?.. Ну, и слава богу, что не хотите. Запахи по-разному действуют, непривычный человек может и в истерику впасть. Один был — как раз на вашем месте стоял — начал эту решетку, видите ее? — рвать руками, раскачивал, чтобы унять нервы. Ну, и погнул, конечно. Видите? — металл погнул, а такой, казалось, хиляк-интеллигентик...

Батяня заспешил — скорее отсюда! (Он глотнул из своей фляжки.)

В цех они вошли в обратном направлении к движению конвейера.

— ...Я видел, как вы глядели на женщину — вот вам и пример. Деторождение как долго держалось в тайне, как тщательно хранилось. И ведь не только в церквях всех мастей, в миру деторождение тоже куталось в любовь, в чувство. А почему?.. А потому, что никто и никогда деторождение не совершенствовал. А как только пошли аборты, таблетки, гормоны, как только пошли по мужским карманам припасенные на вечерок гондоны, извините, я хотел сказать — презервативы, ну, старый человек, простите, простите,— и ведь это еще задолго до того, как мы успели победить спид, а ведь спид победили

только в прошлом веке! — и пошло, поехало, какая там тайна! Уже сопляки-подростки — вчера слышал своими старыми ушами — толковали о том, что женщина, в первой своей встрече с каждым мужчиной, обязана в постели постанывать, чтобы, не дай бог, не лишить мужчину уверенности и силы...

— Простите. Вы о тайне?.. Или о женщинах? — спросил он с улыбкой.

— О тайне, о тайне! о чем же мы еще говорим! Я всегда доказывал, никаких внедрений, никаких АТм-двести сорок хреновых номеров... Сейчас, к сожалению, я только брюзжу, а раньше я умел убедить. Еще пять лет назад я убедил одного молодого ничего не внедрять. Его, как и вас, прислали, а я-таки сумел убедить его, и он отказался внедрять, уехал...

— Со мной не пройдет.

— Да уж вижу, вижу. Но его я убедил. И он так и написал в докладной: не желаю работать с вами... К сожалению, других направлений работы на этом свете нет. Пока не придуманы. Так и уехал ни с чем, бедный.

Этакий простяга, ворчащий Вергилий, Батяня вводил в дело:

— И здесь часы. Видите? Здесь тоже будем проходить, когда в конвейер подключится ваш АТм-241. Я немногословен, когда узел обкатывается. У меня два слова: *отлично* и второе мое слово — молчание. Сами понимаете, что оно означает. Оно означает — *хреново*. А *отлично* это, конечно, если график будет выдерживаться с потерей всего сорока секунд, как вы нам и обещали. Знаю, знаю про двадцать шесть секунд! Но кто же в них поверит? Да плевать я хотел на ваши лазерные миллимикронные приспособления — не верю! Нет, в лазеры я верю и в ваше умение считать верю, но я в конвейер не верю, когда его подхлестывают; он гибок, он живой, его нельзя пустить вскачь!

И тут же теплая волна чувства, когда безо всякой паузы этот чертов Батяня произнес:

— Здесь будет поставлен ваш узел. Да, в этой комнате. Можете на миг войти...

Комната — средних размеров и совершенно пуста. Лишь по полу через середину комнаты тянулся прозрачный элиэтиленовый шланг, по которому — было хорошо видно — проталкивалась толчками пульсирующая кашица будущей пищи. Пустая комната, и в середине ее ниточка шланга. Командированный молодой человек, захваченный волнением, молчал. Знак переживания. Сердце его тихо било, подталкивая кровь чуть ли не теми же пульсирующими ударами. Прозрачный, дышащий, как сосуд, шланг был тонок, не толще девичьей руки у запястья. Да, здесь шланг разрежется скальпелем, и в течение одного часа вмонтируется и будет подключен ваш узел,— да, разумеется, шланг войдет в АТм-241 и затем из него выйдет. Вот — всё.

Молодой командированный тут же оговорил условие: во время испытания он хотел бы видеть весь конвейер — он хочет быть убежден, что секунды не потеряются где-то в пути, на чужих стыках.

— Общее время? — Батяня кивнул.— Разумеется, мы его полностью учтем. Но зачем оно вам? Ах, не доверяете. Ладно, посмотрите от и до, но только в третий, в последний день. Сами проследите каждую секунду. Пожалуйста. Да, даже два хронометра. Один у вас будет в руках для маневрирования туда-сюда, а второй, соединенный с общим компьютером, будет стабильно висеть на вашем брюхе — знай поглядывай.

И он вскинул брови, как бы пугая:

— Да-да, два хронометра у вас, но и у меня тоже два!

— Вот и прекрасно,— молодой человек улыбнулся.

— Вот именно. Прекрасно. Два у вас и два у меня. Может быть, с нами пройдет вдоль конвейера и директор комбината. Но не обязательно.

Она постучала тихо, старомодным робким пристуком, и вошла с некоторой заминкой, когда он сказал: «Войдите»,— в руках ее было симпатичное ведерко для мусора и крохотный пылесос. На тонкой шее, как медальон, чуть менее ее ладони коробочка-рация. Вероятно, для связи; администрация в любую минуту может знать, где она сейчас убирает и каково состояние гостевого домика на данный момент. Она убирала в комнатах быстро, легко, иногда отмахивая темные волосы со лба,— она приостанавливалась, двигалась. Он стоял у окна, и в глазах все еще длилась та, неоформленная чувством минута, когда она вошла и коротко, скромно представилась:

— Оля.

А он назвал себя.

Она прибирала в общем-то в чистой комнате: вытирала пыль. Пять минут — и вот она вымыла руки, погляделась в зеркало, а затем подала на стол чай на подносе, печенье. И он, конечно, попросил — мол, побудьте со мной. Выпейте со мной чаю. Она присела на кресло, что напротив.

Оба улыбнулись — стало легко. Они пили чай и беседовали.

— А я боялась, что вы старый. Старые пристают...

— А молодые?

Она засмеялась:

— А молодые смущаются.

— Так, как я?

Она кивнула, произнесла что-то невнятное. Он заметил, что сама она тоже смутилась.

Он спросил — вероятно, к ним давно не приезжали?

— Да. Больше полугода...

И тут же добавила:

— Я еще вчера видела свет у вас. Я прибирала в соседнем домике. И подумала о вас.

— А, так это вы были там, я тоже видел вспыхнувший в окнах свет, на три-четыре минуты, да?

Он чувствовал возникшую взаимную симпатию, пока еще осторожную, сдержанную, однако же требующую и каких-то усилий для продолжения. Лицо ее было несколько простецкое, но приятное... Он продолжал говорить, кажется, игриво и, возможно, пошловато, но именно от волнения, от спутанности чувств, впадая в чужие чьи-то слова. С ней, кажется, происходило то же самое; вдруг вырывался короткий робкий смешок, и тут же она смущалась.

После чая он включил музыку. Негромко. Затем спросил — замужем ли она, она ответила «нет» и одновременно покачала головой: нет. И встала, чтобы уйти, краска бросилась ей в лицо. Он понял: что миг — и он ее упустит. Быстро включил музыку магнитофона и подошел к ней.

— Вы такая...— начал было он, но она приложила палец к губам. И этим же пальцем вслед указала на находившуюся возле ее нагрудного кармана висячую коробочку рации.

Он понял. Он кивнул — мол, нем как рыба.

И, уже смелый, протянул руки, она легко сделала шаг навстречу. Он даже прикрыл глаза, как подросток. «Какое счастье!» — подумал он и задохнулся. И через час, когда она ушла, повторил про себя — какая удача, какое счастье, как хорошо я нынче засну.

Он уже лег, когда вспомнил, что надо бы позвонить инженеру-технику, раз тот сам не звонит.

— Простите,— сказал он в трубку,— еще не поздно, вы не спите? Я ведь волнуюсь. Завтра монтаж нашего узла. Вы еще раз смотрели его сегодня?

— Разумеется!

— М-м... Вот, собственно, и весь мой вопрос. Только это и хотел спросить.

Инженер-техник засмеялся:

— Ну-ну, никаких волнений. Спите спокойно. Узел — чудо. Узел — просто красавец!

В смехе его была не только бодрость и не только желание приободрить — была уверенность. (Это лучше, чем одержимость.) И тогда командированный молодой человек тоже облегченно засмеялся. Повесил трубку. И вспомнил, что сегодня он сладко заснет.

И как раз тут Оля вернулась. Возвращение было неожиданно. Она что-то ему сказала, мол, не уверена, не испортился ли маленький холодильник с закусками... И стояла на пороге. Молодой человек уже понял, что она хочет быть с ним, хочет остаться, но на его лице, по-видимому, еще плавало некоторое удивление от неожиданности ее возвращения.

— Не пугайтесь. Я не останусь,— сказала она с тенью обиды.

— Я этого не пугаюсь. Я этого хочу. Я лишь чуть растерялся,— честно признался он.

Оказывается, она хотела ему хоть что-то рассказать о себе, поделиться. Да, да. Ведь хочется иногда рассказать. Они лежали рядом. Любовь их теперь была неспешной. Она почти не стонала, но приятно было более, чем в первый раз, горячка миновала, сошла. Полоса наслаждения, когда она уже ближе к ночи, чем к вечеру. Она рассказывала о себе: наивная, простенькая история о том, как она жила раньше где-то на Украине. Там были подсолнухи, прилетали птицы и клевали подсолнухи в их большие свешенные головы; головы подсолнухов обматывали марлей, но птицы все равно выклевывали свое. Ей было ничуть не жалко подсолнухов для птиц. Птицы прилетали только на заре, когда она, маленькая Оля, спала. Да, она перенесла тяжелое заболевание...

— Какое?

— Я не знаю.

— А в чем оно выражалось?

— Я очень медленно соображала. Я и сейчас такая. Я почти не училась. Я не могла нигде работать...

— Но тебе должны были дать пособие.

— Мне дали. Но я хотела быть с людьми. Я хотела работать, но меня никто не брал... Наконец взяли сюда.

Он спросил:

— Без права выезда?

— Да.

Она рассказывала, что она привыкла здесь жить и что здесь все-таки с ней рядом люди. Но иногда ей хочется на Украину. Ей хочется найти тот домик, где она лежала больная и где за окном были подсолнухи и мальвы.

— Может быть, это было в раннем детстве?

— Д-да... Может быть,— сказала она, не помня точно и как бы осторожно предполагая, но и сомневаясь сама же в своих словах.

Он встал, прошел в темноте к холодильнику, взял вина и налил себе. «Выпьешь вина?» — спросил. Она сказала: «Только очень немного. Я от вина делаюсь совсем глупенькая. Ты же знаешь: я болела и не умею думать...» Он выпил, а она все держала свой бокал, придерживая на груди простыню другой рукой. Потом и вовсе поставила бокал на столик.

Она сказала, как ей хочется на Украину, и заплакала. У нее даже сердце щемит, вот здесь. Положи руку сюда,— попросила она. Теперь сюда... и засмеялась негромко, робко: хи-хи-хи-хи.

2

Весь АТм-241 находился уже в комнате: части его лежали тут и там на полосатых мягких подстилках, напоминавших коврики. Двое рабочих внесли измерительные приборы (со стороны монтаж будет также контролироваться). Посреди деловой и спорой их суеты командированный молодой человек впервые рассматривал свое произведение не на чертеже и не в уменьшенном варианте на стенде, а в живом виде — в металле и в пластике, с вереницей прозрачных приводов, которые тянулись один за одним, опрятные, уже вытертые от предохраняющей смазки. Инженер-техник, выспавшийся и веселый, распоряжался подготовкой: как всегда бодр. Он с улыбкой кивнул командированному: мол, все в порядке!.. «Это сюда! А это ставь сюда!.. А второй привод поставь-ка тут; да, да, вместе с основанием!..» — руководил он рабочими.

Появился Батяня.

— Доброе утро... Ну? Нравится вам, как работает инженер-техник?

— Очень!

— Еще бы!.. Один из лучших наших специалистов. Граненое достоинство. Он из добровольцев. Из решивших работать здесь всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, мне надоели вербованные, командированные,— уж извините старика, я называю всех вас шушерой... От вас все надо скрывать, прятать, зато ведь и денежек тратится изрядно.

Молодой человек засмеялся:

— Да уж. Засекретились вы будь здоров! Как в прошлые века!

— Вам смешно. А я от этих жмурок-пряток сплю плохо... Кстати, подойдите-ка вот к тому усатому мужчине — заполним подписку о неразглашении.

— Минутку...

Молодой командированный, разговаривая, одновременно внимательнейшим образом осматривал каждый вносимый компонент узла. Взгляд — его лицо вспыхнуло, и вот он уже метнулся к рослому рабочему: «Ставьте! Ставьте!..» — и, обрывая руками оберточную фольгу, всматривался в металл: он ему не нравился. Вместо хромированных сталей банально белесый цвет, неужели дешевка?!. Инженер-техник тотчас подошел. Они оба присели над коленным компонентом. «Ага. Испугались?.. Это наш Тен-металл!» — инженер-техник постучал пальцем по металлическому овальному срезу, и характерный вибрационный шумок сразу попал в уши.

— Слава богу! — молодой командированный вздохнул с облегчением.

— А вы как думали. Денег не жалеем! — сказал инженер-техник, и рабочие вокруг одобрительно засмеялись.

Командированный вернулся к Батяне.

— Иду, иду! — сказал он тому усатому, кто держал наготове подписку. На его большой папке чистый форменный лист. Авторучка. Даже колпачок уже снят, перо дышит тушью.

«Да, денег не жалеют. Богатые. Чем более секретная организация, тем более богатая — это уж во все века так было и есть...» —

думал он, а глазами пробегал текст. Обычный формальный текст, но оговорки жесткие — в случае нарушения условий, в случае малейшей утечки информации комбинат присваивает АТм-241 себе, у автора никаких прав, заказная его работа считается неосуществленной,— комбинат также вправе в порядке самозащиты добиваться признания автора ненормальным, не только для того, чтобы АТм-241 на все времена стал его, комбината, неотделимой собственностью, но также, чтобы дискредитировать всю разглашенную автором информацию. Вправе через суд добиваться того, чтобы его сочли душевнобольным, с вытекающими отсюда последствиями, за которыми организация проследит, прилагая все свои возможности и финансовые средства. «Богатые»,— подумал он, подписывая.

Инженер-техник продолжал руководить подготовкой — покрикивал на рабочих. На середине комнаты по-прежнему тихо лежал прозрачный шланг-сосуд, с пульсирующей в нем кашицей.

— Смотрите?

— Смотрю.

— Да-а. Вот где-то здесь разрежем и — началось...

Батяня приобнял командированного за плечо:

— Я ворчлив, но, честно говоря, я рад вашему узлу. И запах заметно отбивает, и сорок всего секунд! знаю, знаю про двадцать шесть!..

Командированного (это получается само собой) уже подготовили: подвели к мысли, что при внедрении каждый маленький шажок дается колоссальным усилием.

— Мой узел вытягивает из этой кашицы две аминокислоты лишь для того, чтобы запах продукта был лучше?

— Да.

— Все мое искусство и весь мой труд, чтобы смягчить и улучшить запах?

— Разве вы этого не знали?

— Да знал, знал, конечно! — командированный засмеялся.— Обычное приземление идеи.

Батяня стал его хвалить:

— Но у вас и фильтры чудесные. Дело в том, что убиваемое животное выделяет микроэлементы отравы. Не только адреналин — известная самозащита убиваемых. Ваши фильтры помогают частично убрать, очистить.

— Вы так хорошо синтезируете говядину, что умеете повторить микроэлементы убоя — ах, да! вы же копируете говядину прошлых веков! не можете уклониться от образца?! если АТм-241 всего лишь песчинка, какова же технологическая мощь вашего комбината!

Он был искренне восхищен, но Батяня прервал его:

— Минутку. Вас зовут.

И точно: инженер-техник, держа в руке плато с датчиками, махал ему рукой.

Командированный подошел — да, четвертый отстойничек с магнитными фильтрами, вытяжка на малой скорости,— отстойник работает на принципе мерцания, и если миг мерцания совпадает с мигом пульсации, можно потерять первую входную секунду. «Эта секунда не учитывается. Эта секунда — *их* секунда»,— сказал он инженеру-технику. Тот сразу заулыбался, расслабился и сказал, что если так, он отведет шланговое ответвление к самой стене комнаты, пусть себе работает.

Теперь командированный уже не отрывался от монтажа. Он поминутно присаживался на корточки (иногда инженер-техник успевал подвинуть ему маленькую табуреточку). Удивительно, когда твоя

мысль воплощена! — открытый, немучительный труд! узел уже казался живым, ожившим, лазерные синхронизаторы готовы были гнать кашицу белка через новенькие сосуды с эластичными прозрачными стенками.

— Но здесь,— голос Батяни,— мы ставим дополнительную апробацию.

Ясно: отражает *их* интерес, выверяя сотые доли жира. Ни на миг не останавливая процесса, извлекают крошку синтезированного белкового фарша, тут же микроанализ, ЭВМ обрабатывает, и данные — снова в процесс. Тонкость, разумеется, в том, что берется крошка *до* его АТм-241, а засылаются ее данные в процесс конвейера ниже, то есть сразу *после* его узла.

— Да ради бога. Пожалуйста,— откликнулся командированный молодой человек как бы с полной охотой и как бы вскользь тут же заметил: — Откуда питается контрольный прибор?

Батяня и инженер-техник замахали руками:

— Из конвейера! конечно, из общего конвейера! но это не отразится... Один-два ватта! мелочи!

Молодой человек согласился и тут, однако, сказал:

— А все-таки сочтите — один ватт? или два ватта?

Они заверили, что будет подсчитана общая затрата энергии — десять комнат с вмонтированными узлами и теперь плюс его, одиннадцатая, комната вместе обрабатывают белковый фарш вплоть до нормы. Комнаты и в них узлы напоминают кишечник с его толстыми и тонкими кишками, в которых жиры поочередно расщепляются, чтобы не ударить слишком по печени человека, всякого человека, тем более, скажем, диетика. Нет-нет, мясо кусками синтезируется в других комнатах. Но тоже, избавляясь от запахов, пройдет через ваш узел.

Ему показали через стекло: куски мяса проталкивались, иногда становились поперек, но движущая жидкость подталкивала вновь, и с очередным ударом внутреннего пульса кусок разворачивался и (прекрасно глядящийся, вкусный, свежеотрезанный, он так и просился на сковородку или в духовую печь) проползал дальше.

— Все отлично,— сказал молодой командированный.

Батяня хмыкнул: «хм... еще бы!»

— Единственное, что мне в комнате осталось непонятным,— продолжал командированный,— в том углу какая-то коробка. Не распакована даже. Что там?

Батяня вновь хмыкнул, но уже с другой интонацией:

— Хм. Я не могу вам сейчас сказать. Коробка... чуть позже.

Но командированный умел проявить волю. Он передернул плечами: это недопустимо. Что могли принести в комнату? Здесь монтаж. Он отвечает здесь за весь узел в целом...

— Да вы не волнуйтесь так,— заскрипел Батяня.— Это никак не будет подключаться в узел. Это,— он говорил негромко,— это вам сувенир от комбината. Подарок. От директора лично. В случае успешного эксперимента.

— Прекрасно,— сказал молодой командированный.— Но коробку отсюда вынести. Здесь — только дело.

— Я хочу, чтобы ты разделась.

— Я и так раздетая.

— Но сколько можно лежать под простыней?

— Но... но зачем?

Она удерживает простыню и частью все-таки прижимает ее к себе.

— Тогда уходи,— говорит он.— Я так не могу, ты меня расхолаживаешь.

Еще придерживая простыню, обиженная, она начинает подыматься с постели, где лежала рядом с ним так долго и так тепло. Уходит. Он дает ей три-четыре секунды (он знает, что всегда успеет встать и нагнать, хоть бы и у дверей). Но он не сомневается, что ей, с ее бедным интеллектом, не выдержать обиды ухода,— и точно: всхлипывая, она возвращается к постели и стоит возле. Простыня все еще прижата.

Теперь, победивший, он нежен: он осторожно встает рядом с ней, забирает (глядя глаза в глаза) простыню — и затем снова тишина и постель:

— Иди ко мне...

Она плачет:

— Да я все время тут, я тут... зачем ты меня сбиваешь с мыслей. Я с тобой. Я и без того. Я никак не понимаю...— и тут ее дыхание сбивается, как и ее мысли, слова распадаются на отдельные звуки голоса, это еще не стоны, но уже и не слова, а вот теперь уже и стоны.

Смятые простыни. Жар тела. Как шумно дышит. (Она проста даже в своем неумении справиться с дыханием.) А он в малый просвет страсти лежал и уже отдыхал, призакрыв глаза. Расслабление. Осторожно он положил руку себе на сердце,— ничего, ничего, не каждый же день и не каждую ночь сердцу такая работа, да уж, сейчас сердца не жалей, наслаждайся, нечего его щадить, пусть потрудится... он улыбнулся, представив себе природный небольшой насос из мышц, мощно гоняющий кровь по телу. Я молод,— думал он,— какое счастье, что я молод и могу (и хочу) вот так нагружать сердце. Какое счастье!.. Он прислушался вновь к ее дыханию, она все еще нет-нет и тихо постанывала, остаточно удерживая в себе только что прошедшие минуты. Ему были приятны ее задыхание, дрожь тела и как бы однообразные повторы в ее чувственных негромких выкрикиваниях. Отчасти, конечно, входит в ее работу? или же это от некоторой умственной отсталости? — думал он. Возможно, и то и другое вместе.

Он тронул рукой ее плечо, она тотчас вся сотряслась от прикосновения. Ознобистая дрожь. Была у женщин только в прошлые века. Вот какими были наши пра-пра-пра-прабабки. Он улыбнулся, подумав, что с точки зрения человеческой эволюции он сейчас лежит в постели рядом с женщиной, которая полностью поглощена простотой собственной судьбы, ну, скажем, с женщиной двадцатого или девятнадцатого века. Или даже восемнадцатого!.. Заповедник.

Вот почему и в былые времена интеллектуалам так нравились простухи, это же известная и, вероятно, вечная тяга...

Звонок прервал его мысль.

— Да,— сказал он.

Инженер-техник сообщил — конвейер предупрежден о завтрашнем подключении узла. Все готово...

— Завтра, в десять часов ровно, в известной вам комнате.

— Нет,— сказал командированный. — Я хочу начать с нулевого цикла. Мне было обещано. Я хочу пройти с хронометрами с самого начала вплоть до моего узла.

— Но вы не увидите подключения АТм-241.

— Есть же синхронный экран.

— Но как же так... ваше детище, момент разрезания конвейера, миг подключения... Неужели вы не хотите видеть это живьем?

— Мне важнее секунды.

Пауза. И вот инженер-техник говорит Батяне (ага, там Батяня!) — мол, приехавший настаивает на нулевом цикле.

Батяня там мнется.

Молодой командированный усиливает нажим, вторгается в их переговоры:

— Да! да!.. Я уверен в двадцати шести секундах и не хочу потерять их по дороге. Вы доло́жите начальству, что потеря сорок секунд, а как только я уеду, скажете, что это вы сами сумели уложиться в двадцать шесть, за что и получите, пожалуй, несколько дурацких коробок в премию! я эти штуки знаю! — он, конечно, перегибал, сознательно перегибал.

— Настаивает,— повторил инженер-техник Батяне.

Батяня дал согласие — в восемь утра на нулевом цикле.

На миг в глазах молодого человека повторился вид узла: АТм-241 стоял готовенький, серебристый, слаженный в минуту его ухода. Пусть так. С экрана он будет еще более красив и серебрист. И все-таки как удивительна воплощенная наша мысль,— есть интуитивное подозрение, что, организовав хаос и еще в одном месте сделав из ничего узел, мы тем самым улучшили не только природу, но и самих себя. (Упорядочив хаос еще в одном узле, мы упорядочили хаос еще в одном закоулке своей души.) И каждый раз снова эта старинная иллюзия, может быть, награда и дар, а может быть, и вечное проклятье человека — надежда: вечная, всегдашняя попытка взлететь без крыльев.

—...Но попомните, что на нулевом цикле у нас работают только добровольно. Лучшие наши рабочие — добровольцы.

— Попомню,— сказал молодой человек, кладя трубку и возвращаясь мыслями в комнату (где был он и где была она). «Зациклился старикан на своих добровольцах»,— подумал он.

Она лежала, натянув простыню по самый подбородок, выпростав только руку,— как бы ожидая, что, если он захочет коснуться, он коснется сначала руки. Он видел ее лицо. И руку, только запястье.

«Позапрошлый век,— подумал он и тут же отметил, что уже прибавляет ей век-другой, прибавляет ей времени, и, стало быть, она растет.— Быть может, она даже верующая. Неосознанно, конечно...»

Он сдернул простыню, чтобы увидеть ее наготу,— ночь была со слабым светом месяца. Оля сжалась в комок, поджала колени, рукой прикрыла грудь и заплакала.

— Ну что ты, что ты,— подсел он к ней ближе, обнимая ее и целуя.

На стене над ними абстракция. Абстрактная картина. Изящная путаница линий и цветовых пятен. И РАФАЭЛЬ ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ — подбадривающая всякого творца надпись: название картины. Скромное такое название. Имитирует возраст, но не вечность. И РАФАЭЛЬ ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ, вновь попадая в глаза, скользнуло со стены,— улучшал запах убоины своим искусством? или занимался любовью?.. ах, да, он занимался и тем, и этим. В том и суть, что *и тем, и этим.*

Она рассказывала о себе. Она живет в общежитии. У нее там небольшая квартирка — живет одна. У нее есть две подруги, одна собирается замуж, да, конечно, за местного парня, он бульдозерист.

А еще, оказывается, она ухаживает за коровами, не только убирает в гостевых домиках. Откуда здесь такое количество коров?.. А-а, берут в аренду на сезон. Вероятно, часть огромной территории

секретного предприятия используется для выпаса, коровы, слава богу, никому информацию не вынесут. Сыр. Масло. Почти задаром. Небось, по контракту с молокозаводом.

—...Мои коровы всегда чувствуют, что я внимательна. Я их оглаживаю. Я мою вымя. Казалось бы, что тут такого хитрого — помыть вымя. А вот и нет. Тут шлангом не обойтись. Тут обязательно нужны руки. Я прощупываю так мягко. Каждый нарост смываю. Каждый комочек грязи, прилипшего навоза, солому мелкую — солома ведь липнет. И коровы понимают...

— У тебя красивые руки... Да не прячь же, не прячь. Какая ты, право, странная!

Раздалось характерное пощелкивание. Чип-чип-чип-чип... Кутаясь в простыню, оступаясь, она метнулась с постели к столику, где оставила свою маленькую рацию, темневшую издали, как продолговатая шоколадка. Она включила прием.

— Внимание.

Ей сказали:

— Распорядок на завтра. Вы не занимаетесь уборкой гостевых домиков, вы на мойке коров. Повторите.

— Завтра я не занимаюсь уборкой. Я на мойке коров.

— Все правильно. Как здоровье?

— Хорошее. Спасибо.

— Спокойной ночи.

И вместо отбоя прозвучали несколько тактов из популярной песни.

После сообщения стало ясно, что он и она завтра не увидятся и что сегодняшний вечер — последний. Что ж, так значит так. Он сказал, что выпьет немного вина. Она спросила — не утомительно ли ему перед завтрашним экспериментом, не мешает ли ему она, она ведь сразу уйдет, если он скажет.

— Нет,— сказал он с улыбкой и еще раз ощутил свою молодость.

— Я привыкаю,— говорила она.

В счастливом и легком самоощущении он думал, что Оля говорит (он даже не очень вслушивался) о нем, об их вспыхнувшем кратком чувстве, но тут же рассмеялся, потому что оказалось, она опять говорила о коровах (сентиментальная, она рассказывала ему о своем):

— Так скоро привыкаю к ним. Зову их разными именами. Как в детстве. А когда несколько раз помою, их уже увозят.

— Не держать же их у вас все время.

— Говорят, их загоняют в длинный состав и увозят.

— Если ты так любишь коров, переведись работать на молокозавод.

— Там сложная техника. Я умею только прибрать, помыть... Я в детстве болела, головой болела.

— Хватит об этом.

Он привлек ее к себе.

Глаза ее были полны слез — Оля плакала, не сознавая, что она плачет. Просто стояли в глазах слезы. «Ну-ну,— сказал он.— Тебе же здесь хорошо, тебя никто не обижает... Посади себе подсолнухи возле общежития. Прямо под окнами. И думай каждое утро о детстве и Украине».

Она обрадовалась — как хорошо он ей подсказал, как это она раньше не подумала о подсолнухах, которые можно самой посадить.

—...глаза.

— Не такие, как у твоих двух подруг? — он засмеялся.

— Совсем не такие. Неспокойные. Ты умный и такой неспокойный.

Он не переставал улыбаться:

— И тебя это смущает? мое неспокойствие?

— Нет... Да... Вообще...

Она спуталась и смолкла, как это бывает с день за днем однообразно живущими людьми.

В его сознании, привычном к анализу и к возможности возникновения самых неожиданных вариантов, мелькнула мысль. Впрочем, и ушла, мелькнув.

Все же он спросил:

— Ты правда думаешь, что коров куда-то отсюда увозят?

— Правда.

— Поездами?

— Да.

Но тут он уже опять думал о ее удивительном внутреннем мире, не богатом знаниями, неразвитом и необъемном, но сохранившем в себе всю старину полузабытых психологических изгибов.

— Расскажи, что ты сейчас чувствуешь.

А она ни о чем:

— Мне хорошо. Забыла, где я... Неуютный дом. Смотрю и не вижу. Мне кажется, я буду долго вспоминать...

Она лепетала, лежа с ним рядом; обедненность желаний. Он чувствовал, что он станет, пожалуй, ее жалеть. Бывает. Непредвиденная нагрузка на сердце. Вот так всегда, когда что-то обнажаешь: хочется раздеть, обнажить, увидеть в правде и наготе, а потом себе же дороже,— отметил он.

Он пошел ее проводить.

Они прошли оба гостевых домика. Слева появилась глухая стена цехов комбината, но, огибая ее, потянулась прогулочная асфальтовая тропа с довольно частой цепочкой фонарей вдоль нее. Три часа ночи. Возник патруль. У них проверили документы.

Асфальтовая тропа, сильнее изогнувшись, выводила к площадке, где угадывались жилые дома. Тут возник в полутьме маленький родник с белой запрудой, мостик через запруду и большая ива возле мостика. Тут они остановились и попрощались. Ива была огромная и старая, ветвистая, и кругом мелкий ивняк, отпрыски матери-ивы.

3

Его пропустили в дверь с номером «ноль», и он попал из коридора сразу в океан воздуха — в огромное пространство скотопригонного двора. Бетонированная арена с кусками лужайки, с настоящей зеленой травой, вероятно, часто поливаемой и скоро растущей. Дальше тянулись навесы с конвейерной лентой кормов и отливающей светом высокого качества соломой. Коровы стояли, лежали. Жевали. Мычанье, частое хлопанье ушей, коровы поводили рогами, но еще были величаво спокойны. А уже начался загон.

Коровы словно бы шли сами. Их направляли вмонтированные в бетон маленькие репродукторы, передававшие записанное на пленку бесконечное: «Геть!.. Геть!.. Геть!..» — и отлично записанный свист бича, зачем бить, если можно воздействовать на память. Хлесткий ременный удар-выстрел, близко стоящая корова вздрагивала всем телом, и тут же простое «мать вашу так!..», после которой следовал с великолепными вариациями первоклассный старинный мат. Так что в бетонные коридоры коровы шли сами. Да, сами. Он это ясно видел.

Первыми бежали старые коровы, прожившие жизнь и потому самые покорные и самые приготовившиеся. Мотая стершимся пустым выменем, склонив и рога, и головы, громко и нестеснительно цокали они копытами. С заметно сбитыми ногами, они хромали, но и толкаемые в тесноте, но и припадающие были покорны и готовы и даже старались показать, что их хромота и боль — это ничего, это пустяки, это они перемогут, и пусть хотя через боль будет видно, что они первые готовы и смирились со своим концом. Не казалось им и не мнилось, что где-то стоит запасной поезд и что их увезут далеко, где травы будут по пояс и над травой подсолнухи, а солнце неторопливо будет сползать к закату.

По тонкому навесному мостику (специально для наблюдателя) командированный перешел на ту сторону, куда теперь бежали коровы, устремляясь в узкую горловину коридора. Человек был и сбоку, и одновременно над ними. Как и положено быть человеку.

Увлекаемые потоком и общей готовностью, побежали коровы помоложе. Смешивались из разных стад. Группка черных коров с белыми звездочками во лбу все никак не хотела рассеиваться, отчего на повороте к бетонному коридору случилась, нет, не пробка, но словно бы заминка. Черные стояли, даже упирались, пытались еще и жевать траву, выставляя рога. Но общий поток, обтекая их, оттеснял и отрывал одну за одной — тех, кто с краю — и увлекал с собой, пока все они, черные, с белой звездочкой во лбу, не втянулись в поток, вполне смешавшись.

Почти под собой, внизу, командированный невольно приметил чернобелую корову, темную, но в белых яблоках — во вспышках белого цвета; в ней чувствовалась стать, совсем не видно усталости. Скорость затягивала всех, затянула, конечно, и ее. И потерялась. Уже ее нет. В рассыпающейся дроби копыт, раскатистой, тысячекратной, где-то брякали и ее копыта. В это время коробочка хронометра, висевшая у командированного через плечо, замигала, ага! — засветился экран, небольшой, величиной с ладонь, однако видимость была прекрасная: отчетливо видны склонившиеся головы инженера-техника и Батяни, они приступали к подключению — командированный молодой человек заметил время, своих секунд он им не даст.

Бычки, тупоморденькие, розово-гладкие, они-то и упирались, упрямились, так что и свист бича, и «мать-перемать» вновь зазвучали и были повторены в звукозаписи, на этот раз почти оглушительной; более того, один из двух загонщиков (их было здесь двое; командированный видел добровольцев теперь воочию) впрыгнул внутрь через ограду и бесстрашно изгонял медлительных бычков, тыча им под ребра пустой молочной бутылкой, которую он, видно, только что выпил.

Стадо втянулось — командированный прошел за ними над одним из коридоров, где коровы вбегали по четыре-пять бок о бок, теперь он находился над большим бетонным залом.

Бетонный настил на полу приотворил свои скрытые поры, крохотные отверстия, из которых ударили вверх тончайшие струйки воды. Различимые издали, струйки напоминали питьевые фонтанчики; но затем ударили сильнее, напористее, снимая со скота дорожную пыль, смывая. Ошметки залежанного помета и солома поплыли по полу. Коровы восприняли воду как добрый знак. Они протягивали морды, пытаясь уловить пульсирующие струи и лишний раз напиться, но если пить и не удавалось, все равно им было приятно: вода есть вода, а омовение всегда свято. Заблестели глаза. Заблестели влажные рога, отчетливо прочертилась раздвоенность копыт. Но вот струи стали вновь тоньше, почти невесомы — они оглаживали коровьи бока, упруго упирались и, только прорываясь выше, создавали над головами коров искристые фонтаны, на которых играли десятки радуг отраженного и расколотого на составные части света. Тут из дверцы ограждения появились женщины. В косыночках на голове, в комбинезонах, они легкими шагами прошли мимо коров. Нервничая, коровы выделяют вредные токсические вещества, пропитывая ими свое тело, и потому так кстати рядом с ними молодые женщины, простые и милые — сюда и подбирали самых простых и самых неумствующих, и желательно чуточку отсталых в развитии. Легко находящие контакт с животными, добрые, они проходили мимо коров и вроде бы производили дополнительную домывку, ну, там проследить за выменем, не прилипло ли что к мясистой ткани, провести рукой по боку, погладить,— они шли довольно быстро, в сущности, только касаясь тел и говоря несколько слов безымянным коровам: «Ну-ну, Зорька, Зоренька. Дай вымя... Дай, не брыкайся, ну, Буренка»,— мягкие их голоса успокаивали, коровы опять верили, коровы вдруг начинали тянуть морды, тыкали в человеческую руку, в ладонь и сладостно, тихо не столько даже мычали, а помыкивали. Молодые женщины улыбались, в свою очередь без труда слыша коровью душу: «Ну-ну, милая. Хорошо. Вот так хорошо»,— говорили они, проходя. Обряд. Десятки добрых морд тянулись вслед, так же было в самом начале их эластичного приручения, тысячелетия назад. А когда молодые женщины прошли, фонтаны тотчас исчезли, в воздухе еще висела радужная игра микропузырей влаги — желтая, синяя, ярко-оранжевая.

Посреди загоняемого стада ему вдруг вновь попала на глаза статная черная коровенка, с белыми вспышками света на боках. Вот ведь и отдельная судьба. Он нет-нет и невольно ее отыскивал. Перетряхиванье памяти. В сочувствии всегда сравнительность. «Чтобы определить скорости других, надо какую-то скорость принять за постоянную»,— вспомнил он.

В параллель молодой командированный смотрел, разумеется, на свой небольшой экран — инженер-техник и двое его подручных быстро и ловко подключали приводы, десятки маленьких трубочек и шлангов его узла АТм-241. Батяня стоял там рядом и не спускал глаз с хронометра, оставалось около получаса, не больше. Командированный отметил: полчаса...

Открылось узкое горло бетонного прохода, и омытые коровы прошли опять же сами — наклон пола обеспечивал их ход. Их прошло столько, сколько смогли вместить бетонные комнаты, *боксы* — вспомнил он словцо. Компьютеры, экстраполируя упитанность, вероятно, следили за чистым живым весом. Датчики сбрасывали данные на релейный щиток, так что в нужную секунду (вес на пределе) опустилась отделяющая створчатая железная решетка — опустилась тихо, бесшумно, да, да, не пугать, все на положительных эмоциях, и Рафаэль занимался этим,— сползла, опустилась, отделив тех от этих. Их (этих) поглотила тьма.

Чтобы их увидеть, следовало отыскать освещенный вход; вход, конечно, существует, молодой командированный скользнул глазами, увидел дверцу. «Боксы,— повторил он уже определенно.— Позапрошлый век... Да и как можно модернизировать то, что все время надо держать в тайне».

В боксах коровы стояли сравнительно спокойно и свободно. Они ведь шли вольно, не гонимые. Они покачивали мордами, наклоняли мокрые рога. Некоторые вдруг мычали, дружелюбно напоминая о приближающемся времени кормления. Когда струйки их омывали,

они с пола сумели отчасти и напиться. Что ж, бывает, люди иногда запаздывают с кормлением, надо и помычать. Некоторые почесывались о хромированные, не дай бог ржавчина, стены боксов.

Командированный со своего верхнего мостика видел сразу несколько боксов, угол зрения позволял захватить около пяти-шести бетонированных загонов. У боксов, в небольших притворах-нишах несколько человек — глушильщики, все так, как примерно двести лет назад (разумеется, где нет модернизации, нужны добровольцы, но, может быть, в глушильщики шли также за большие деньги).

На табло красная стрела-указатель приближалась к отметке ПОЛОВИЦЫ, один из глушильщиков уже шел туда. Он не должен был спешить. Но как ни спокойно текло время, как ни мало шагов сделал он к рубильнику, биопсихическая волна прокатилась по животным: они поднимали головы, вытягивали морды и застывали, глядя куда-то вверх, может быть, к не видному здесь небу, откуда, как они могли считать, была дадена им жизнь, дадена зеленая трава на лугах, теленок у вымени и луна ночами. Они не знали, к кому обращаться, ни названия, ни даже приблизительного слова. Командированный молодой человек смотрел внимательно: их длинные белесые ресницы не заморгали чаще, их глаза не переполнились, в ободках глаз было чуть влаги, не более, чем при обыкновенной просьбе. За краткие (хотя и спокойные) шаги человека к рубильнику в их немигающие глаза входило последнее знание, но и последнее их знание было вполне смиренно.

— Послушайте,— заговорил молодой командированный в свою хронометрирующую коробочку с экраном и рацией.— Послушайте. Ведь давным-давно мы не убиваем животных.

— Это вы так считаете,— хмыкнул в рацию голос Батяни.

— Так считает большинство людей. Огромное большинство.

— Пусть и дальше так считают.

— Разве людей нечем кормить?

— Нечем. Мы всегда убивали и продолжаем убивать. Конечно, есть и синтезированные белки. Но, как ни крути, главные белки — здесь.

— В других странах так же?

— Разумеется. Весь мир устроен одинаково. Мы все убивали, и мы продолжаем убивать. Простите, я занят...

Батяня склонился над датчиками, показывающими, как прошла (как проползла) пробная кашица, которая в продукт не войдет, а назначена только для того, чтобы протереть собой стенки АТм-241. Командированный, и точно, тут же вспомнил, как в поездках за рубежом была та же секретность, те же уклончивые, иногда двусмысленные ответы профессионалов — всех тех, кто знал процесс синтезирования с нулевого цикла.

— Послушайте,— сказал он еще раз. Но невольно сам уже отвел глаза от экрана и теперь неотрывно смотрел внутрь боксов. Ток!.. Удар энергии был таков, что коровы рванулись вверх — коровы взлетели. Но еще сильнее рванулись наружу и вверх коровьи большие глаза, глаза лопались, словно бы по темени ударили молотком, который мог бы сокрушить бетон. Коров оторвало от половиц пола почти на метр, и они рушились вниз, уже на лету начиная биться в судорогах. Дергались ногами и крупом, дергались головами и парой рогов, словно они были насекомыми, с легкими и ломкими конечностями.

Наконец судороги стали мелки, тела коров лежали, души, отчаясь, унеслись в общую нашу вечность, а то, что осталось, было лишь игрой нервных волокон, которые, однако, дергались и бились теперь сами по себе, так что на всякий случай глушильщики-добровольцы

касались их электрошестами; рты коров раскрылись, развалились, металлические наконечники шестов касались огромных свесившихся языков, с языков стекали ручьи желтых искр. Затем глушильщики успели отскочить, пол в боксах опустился, и в провалы, по тем же самым хромированным половицам, коровы скользили вниз, как в преисподнюю. Там был конец и там было начало. Видно было, как на коровьи ноги набрасывают цепи, подтягивают всю тушу кверху, и вот так, на цепях, башкой и рогами вниз, коровы двинулись в свой последний путь. Казалось, они медленно шли вниз головой, ногами кверху, словно шли они отраженные в чистом пруду, в час водопоя. Они покачивались, провиснув, и это усиливало сходство с движением. Одна за одной, покачиваясь, иногда несильно сталкиваясь, как и бывает у водопоя, отраженно перевернутое стадо входило в ворота цеха. Цепи с крюками, на которых они висели, покачивались все тише. Стадо шло. Оно двигалось к большим корытам. И правда, хотели пить, разинули мертвые рты и своей тяжестью большие их языки свисали книзу, и только вместо привычной преджвачной слюны с них капала пенная розовая сукровица. Последними шли перевернутые упрямые бычки.

— АТм-241 включен в общий конвейер,— констатировал голос Батяни.

А инженер-техник (с экрана), понимая, что командированный за ними неотрывно сейчас наблюдает, махнул ему рукой — мол, все в порядке!

Командированный отметил секунду включения на своем контрольном хронометре. Но, видно, он долго молчал. Видно, никак не выразил в чувстве и в голосе миг включения своего узла,— после щелчка послышался подключенный голос Батяни:

— Только не выдумывайте себе, пожалуйста, что вы соучастник,— сказал он сурово.— Этак мы все соучастники. И те, кто делает из металла половицы и приборы, и те, кто добывает руду, чтобы металл был плавкий. И те, кто кормит тех, кто добывает руду...

Командированного молодого человека раздражило, что его успокаивают, он крикнул:

— Я понял, понял! Обычное дело.

Он видел на экране свой, уже работающий узел, который отфильтровывал токсические вещества из мяса коров, убитых, вероятно, несколькими часами раньше (конвейер работает и ночью). Запах крови, уже вполне узнанно, ударил в ноздри. Запах крови, и тут же инстинктивная мысль: а сам он не в последний ли раз видел сегодня траву и облака в небе? Он теперь слишком много знает, а ведь они *как в прошлом веке*. И тут же он уточнил: *и как в позапрошлом, и как во все века прежде*. Он вспомнил, как рвался на нулевой цикл и как инженер-техник сказал Батяне, понизив голос: «Он настаивает...»

Страх отступил. (Что-то покачнулось, но устояло.) Убить они его, разумеется, не убьют, но не запрут ли они его тут навсегда? А на работу отпишут, что он сошел с ума. Или что стал одним из добровольцев. С них станет.

А-а, теперь стало понятно, откуда тот запах — и откуда накатывает волной инстинктивный страх.

Туши на цепях (отраженные, перевернутые коровы) подходили к корыту, и человек, весь в защитной коже и в фартуке, чуть наклоняя коровьи морды к корыту, нет, не поил, но можно сказать, поил их со знаком минус, отраженно поил: ловко отворял им вены. На шее, оттянутой книзу весом головы, отворить вену просто — струя била сразу и с напором, кровь едва только наполняла пустое корыто, а уже подошла «пить» другая корова: еще вена, и еще ударила

в корыто красная струя. Шумели кондиционеры, но красный густой запах стоял здесь и затмевал; душновато.

Подписка о неразглашении?.. Что ж. Я ничего не видел и не слышал,— думал он, видя и слыша, как справа и слева по конвейеру отхватывают коровьи уши острыми отвальными ножами (как раз с его стороны мостика росла гора коровьих ушей). Очередной человек конвейера распарывал скальпелем кожу на лбах определенным образом, с тем чтобы следующий на конвейере, просунув руку под кожу коровьей головы, вывернул шейный позвонок и тут же одним, хотя и тяжелым профессиональным усилием выдернул коровью голову из ее кожи, голую, но с глазами. Белая голая голова вмиг окрашивалась в красное из-за проступающей сплошь сетки капилляров, а едва успевала она окраситься, как ее — уже отдельно и несколько торжественно — вешали на крюк, после чего она отплывала в сторону по специально ответвлявшемуся узколенточному конвейеру голов. Голова за головой. Отдельно и несколько торжественно. Безумный взгляд глаз говорил, что пусть такой, страшной ценой, но головы вновь обрели взгляд сверху вниз, как и назначено природой, прямой взгляд, а не отраженно-опрокинутый. Но прямой взгляд был и последним взглядом: двуострой лопаточкой выскребали глаза, сбрасывая их и справа, и слева. Гора ушей. Гора глаз. Ничего не видел и не слышал... А голова на крюке плыла себе дальше, в дальнейшую обработку, где слышался комариный визг пилы, где отпиливались рога и где эти рога уже возвышались очередной горой, словно бы гора кубков, брошенных после пира воинами времен Святослава.

Туши протаскивали через станок, распластывали, рвали ткань, рассекали сухожилия, треск, скрежет — и вот шкура вывернута и стянута, туша стала совсем бела, нага, беззащитна, и только легкий пар исходил от нее и был единственным прикрытием этой стыдливой минуты ухода, напоминавшей минуту первого появления на свет: минуту рождения.

Командированный перевел глаза на экран, где пустота уже сомкнулась — в подрагивающем изображении вырисовывался полностью вмонтированный в общий конвейер, уже трудившийся его узел, его АТм-241.

— Вы повернули на мостик одиннадцатого направления? — спросил голос Батяни.

— Я не приметил номер, но я повернул правильно. Я иду за кусками мяса, которые ползут к моему узлу по узкому полосатенькому конвейеру.

— Все верно.

Ему осталось идти две или три минуты. Еще поворот. Вот и его комната (уже и навсегда табличка: АТм-241).

— Вы молодец,— сказал Батяня.

— Стараюсь.

А инженер-техник пожал ему руку. Они были в комнате втроем. Рабочие уже ушли. Узел работал вовсю. Батяня и инженер-техник поглядывали на свои хронометры, командированный — на свой, и так будет, пока и куски мяса, и фарш, проползая узким полосатым конвейером, не подойдут к АТм-241 и не пройдут через, после чего все трое сверят время — их время и его время.

— Можете остаться на комбинате еще на два-три дня. Посмотрите внимательнее. Проанализируйте,— говорил Батяня, в интонации была чуть слышная просьба.

Сейчас его отпустят.

— Процесс в норме,— объявил инженер-техник.

Сумерки подступили быстро. Юг. Командированный в своем гостевом домике сидел за столом у анализатора и через общий узел старательно вводил туда всю информацию, но думал он сейчас не о работе: он думал о себе самом, так внезапно оказавшемся в опасности. Вот так и попадаются на любопытстве. Отныне и навсегда жить здесь... и нет выхода? (Узнавший про зло обречен?)

Погасив свет, он лег, но затем встал и подошел к окну. Луна. Это хорошо. В легких брюках и в легкой рубашке и без каких бы то ни было запасов с собой (никто не примет за убегающего), он вылез в открытое окно. Ноги мягко ступили в траву. Он шел травой, в лунном свете хорошо различая редкие деревья. Через полчаса быстрого, осторожного хода он был у стены ограждения. Стена уходила влево (прямым отрезком) и вправо (более кругло, заворачивая). Он подошел ближе: старая кирпичная кладка, метра два с половиной, не выше. Подпрыгнув, он без труда ухватится руками за гребень.

Через степь не убежать — погибнешь, но мысль его вот в чем: уйти подальше и там развести костер для пролетающих рейсовых вертолетов. Огонь сверху виден издалека. Если вертолета в эту ночь не будет, что ж, он вернется на комбинат и будет продолжать трудиться, согнув спину за компьютером-анализатором в своем гостевом домике. Час-два пожжет костер в степи — уже хорошо, уже шанс. Разумеется, опасно.

Луна помогла ему увидеть выбоину на гребне стены. Подпрыгнув, он ухватился и подтянул тело. Взобрался. Он сидел на корточках на гребне кирпичной стены (стена оказалась толщиной почти в метр) и глядел вдаль. Луна. Степь. Белесые линии уходили далеко вперед, трава ли степная под луной светилась? или какие-то уложенные ветром полосы?.. какое немеряное, огромное впереди пространство — и все наше! — подмигнул он себе, в том смысле наше, что нам через него идти. На сегодня он узнал достаточно; пора возвращаться.

Он услышал шорох крыльев. Пролетела степная птица. Где-нибудь в кирпичной выбоине ее гнездо.

На следующий день он много работал; он старался. Они — убийцы, они убивают животных, но ведь узел — это его узел. (Его мысль и его труд.) И кстати, чем честнее он работает, тем незаметнее его подготовка к побегу.

Чем более тщательно он доведет свою работу до конца, тем больше у него морального права уйти. Он свое сделает. И точка. В боксах побеленные дверцы. Невинность известки. Когда парни-глушильщики, со своими электрошестами, ходили возле лежащих бычков, те еще шевелились. Глушильщики притрагивались медным (иногда серебряным) наконечником шеста к губам или к языку, если язык вывалился. Мягко так, осторожно, нет-нет, никаких всаживаний, лезвий, крови брызжущей, никакой корриды. Притронулся, бычок чуть содрогнулся — и все...

Тут нашего героя мы оставим. Он уже почти все знает о жизни: он узнал про зло мира.

Сам герой и его (обыкновенная) история родились, можно сказать, из разговоров. Из разговоров с моим приятелем Ильей Ивановичем, обычным инженером, работавшим в обычном НИИ.

Илья Иванович не переносил, когда человеку, или животному, или какой-то птице было больно. Нам всем видеть такое неприятно, но мы в минуты переживания попросту закрываем глаза (прямо или

косвенно), а Илья Иванович глаз закрыть не умел, так что и жить, и переживать ему, бедолаге, было невыносимо.

Отсюда и наши с ним разговоры об убийстве животных на мясо или об отлове бездомных собак и кошек — о том зле, которое мы ежедневно совершаем.

Вокруг всякой скотобойни или живодерни в известном смысле создано огромное поле убивания, и безусловно, поле влияет на людей, проникая в сознание, воздействуя на инстинкты.

Однако как отказаться — как?.. Проблема выглядит неразрешимой.

Обо всем этом мы часто говорили с Ильей; так я иногда называл его по старой памяти. (Старая память крепка, я хорошо помню, как студентами мы жили с Ильей в одной комнате, с нами жил еще третий. Помню, на нас однажды (причины не помню) напал хохот, мы громко, во всю молодую мочь смеялись, а Илья повалился даже на кровать и, лежа на спине, болтал ногами. Мы гнулись от хохота пополам, а Илья дрыгал ногами и хохотал. Казалось, он бежит по воздуху.)

Когда мы повзрослели и наши пути разошлись, в каком-то приятельстве Илья Иванович и я остались — впрочем, в приятельстве достаточно отдаленном. Мы могли не видеться годами; каждый жил свою жизнь.

И то, что он стал болезненно нетерпим к чужой боли, я узнал сравнительно недавно, незадолго до его смерти.

В этом смысле, в смысле болезненности переживания, он был человек особенный, даже уникальный, и если люди не заметили его смерть, не удивительно. Но то, что его смерти не заметила природа (сама чуткая и ранимая), не отметила каким-нибудь знаком или явлением — вот что, на мой взгляд, несправедливо. Люди не заметили; и природа тоже не отметила ничем, если не считать лунной ночи. В ту лунную ночь он умер.

Мы не раз обсуждали с ним то время, когда войн и гражданских усобиц уже не будет и когда человек перестанет убивать человека даже и в быту, обычным ножом или утюгом; и когда гангстеризма тоже уже не будет. Рай, а не время.

Однако как, каким образом будут люди в столь гуманное время примирять со своей совестью (или таить от нее) то, что они, люди, все еще убивают животных ради их мяса, и жиров, и шкур?

Это была одна из любимых его тем.

Обычно мы говорили с Ильей Ивановичем, когда я помогал ему перебраться в больницу — сам Илья или (иногда) его жена просили меня об этом нехитром одолжении, и я его провожал. И ведь о чем-то надо говорить с человеком, когда провожаешь его в больницу.

4

Люди уже сейчас отчасти скрывают и стараются не упоминать, не говорить, скажем, об уничтожении бездомных собак — газеты могут быть заняты чем угодно, но не убиваемыми нами животными. От кого скрываем?.. Разумеется, от самих себя. Есть как бы высокий нравственный сговор, поступать так и вести нашу жизнь так, чтобы человек все меньше и меньше помнил про убиваемых просто так, тем более про убиваемых ради мяса.

Дело в том, что иначе человек ожесточается, особенно подростки.

Мы ведь почему не поощряем избиение собак на улице, убийство даже одной собаки из охотничьего ружья, когда надо опробовать

ствол? почему так трогательно внушаем своим детям, что собак надо любить — ради собак?.. Вовсе нет. Мы делаем это, как и все, что мы делаем, ради себя. Ради самих себя, дабы не развивать в себе (особенно в детях и подростках) жестокость, которой и без того вокруг предостаточно и которая нет-нет и с убиваемых нами животных оборачивается на нас же.

В одном Ленинграде, по статистике, уничтожено за год 85 тысяч собак, и ведь не для того, чтобы варить мыло. Мыло — не мясо; химия может наделать горы мыла. Но вот чем прокормить все более и более плодящихся собак? Да ведь и санитарные условия как блюсти?.. Так или иначе, в одном только большом городе на Неве убивается в год около 85 тысяч собак и сто с лишним тысяч кошек. Незлая (и совсем не хищная) неумолимость. Кстати, и об этих тотальных ежегодных акциях стараются говорить поменьше.

Но тут,— рассуждали мы с Ильей Ивановичем,— в общем можно навести порядок. Разумеется, труд и усилия. Упорядочить кошкорождение, селекция, взятое под контроль спаривание — и, глядишь, милых домашних животных будет лишь столько, сколько нам нужно. Ну, скажем, как попугаев. Или как мартышек, которые ведь тоже живут в городе и которых тоже, сколько-то сот, люди держат в своих квартирах из любви, но не дали же им расплодиться до такой степени, чтобы в вагоне метро обезьянки скакали по нашим головам, сдирая шляпы и портя дамам косметику.

Следующий вопрос посложнее,— рассуждали мы,— как быть с животными, которые называются коровами? или овцами?

Ведь мы их едим. Мы, правда, стараемся не думать, не помнить об этом. Чем мощнее нарастает наш гуманизм, нравственность, тем более убедительно приходится говорить (хотя бы детям) о добром отношении к животным — и тем более часто приходится закрывать глаза на то, что мы убиваем их и едим их мясо.

Мы уже сейчас убиваем животных почти в тайне, в негласной тайне, и тайну загоняем в глубь самих себя (а территориально — вдаль, за забор, куда-нибудь на окраину города).

Политических заключенных в лагерях тоже, разумеется, не будет. Инакомыслящие станут рассматриваться как пророки — иногда они ошибаются, но иногда, как луч прожектора, освещают нам путь (иногда их жизнь будет сложна, иногда триумфальна). Во всяком случае ясно, что массовых загонов людей в лагеря не будет, и даже отдельных политических, сидящих за решеткой,— тоже не будет. Не будет и обычной уголовщины. Последние судороги статистики (пять убийств, четыре, три, два... одно), и вот уже ни убить, ни загнать в загон — золотые времена, и золотые не потому только, что закон и гуманизм не велят. Убить человека однажды станет столь же дико и нелепо, как съесть человека, как поедать человечье мясо.

Гуманизм пропитает душу и весь наш быт, в чем, как известно, его великая сила: мы уже сейчас щадим животных, не разрешаем бить собаку на улице и издеваться над кошками или голубями, дабы не нарушить в себе равновесие добра и зла, где чашечка весов добра все-таки, как нам думается, чуть тяжелее и емче. Тысячи новелл и сотни сотен телевизионных фильмов сформируют общественное мнение. За издевательство над псом будут публично судить в каждой стране. Статей в УК будет много, 132-я пункт «в», 156-я пункт «б» и так далее, с означенным суровым наказанием. Формально, но не скучно. Ребенок уже с детства знает, что убить собаку — зло, но он не зна-

ет, что убить миллион коров — не зло. Чьи же глаза печальнее, собачьи или коровьи? — простой, простенький вопрос.

Но уже не от ребенка, а от взрослого интеллигентного человека предстоит так или иначе прятать, умалчивать, во всяком случае, не совать ему подобные факты убийства на глаза, да, мол, отвечать ему уклончиво, где-то там, кажется, еще убивают. Но, кажется, не у нас. Далеко. Где-то и кто-то... Истончение ума и психики, общая атака гуманизма в искусстве, а затем и в быту сделают мысль об убийстве животных нестерпимой. Само осознание тотальной несправедливости (убиение животных, когда люди уже давно не убивают друг друга) может привести к тому, что интеллигентный чувствительный и ранимый человек попросту покончит с собой, узнав о вопиющем и негласно поощряемом убийстве животных,— ведь и он ел мясо, и он, стало быть, поощрял.

Покончит с собой; но ведь тем самым его убили (и стало быть, опять убиваем людей?).

Так что даже одного такого самоубийства достаточно, чтобы об убиении животных упоминали все меньше. Тайну мяса станут скрывать. Разумеется, тем самым мы опять же будем жалеть и щадить себя, самих себя, мы ведь всегда и во всем такие (как бы мы ни вопили о любви к озерам и прекрасным рекам и к чистому небу, мы ведь себя жалеем, а не озера и не чистый небесный воздух, себя хотим сохранить, в том-то и дело!). И именно поэтому настанет пора, когда убийство животных вытеснится из упоминания с самого детства, и с первых наших шагов вплоть до седин от нас будет скрываться, чье оно, нежное или жестковатое мясцо, которое мы так охотно едим. От детей уже сейчас скрывается. Затем наступит черед подростков. А волна самоубийств хрупких юношей — наших детей!— даст нам понять, что развитие производства искусственных белков (с одной стороны) и (с другой) сокрытие и тайна остающихся боен — это лучший путь. Но, конечно, постепенно, постепенно. Сначала преуменьшать цифры, затем лгать и раздувать через средства массовой информации о якобы повсеместном применении искусственных синтезируемых белков, об успехах передовых технологий, о миллионах тонн мяса (неотличимого от натурального), о набитых битком холодильниках. А затем — так же, как и с лагерями — круг знающих и лгущих постепенно сужается, подсекречивается и (важно!) локализуется в специальные территории за оградами. Они, знающие, все больше и больше *не* соприкасаются с остальными людьми. Так что процесс сам собой приведет к тому, что уже *никто не будет знать.* Ну, разумеется, будут какое-то время раздаваться шепотки, будут намеки; анекдоты даже. Но постепенно и молва оттеснится. Два-три поколения еще, и... тишина. Уже и упоминания не будет, мол, этого просто не существует. Нет этого. И вот уже люди привыкли и точно знают, что этого — нет. Скотобойни (независимо от того, старомодны они или современно технологичны) все далее и далее будут отодвигаться куда-нибудь в степи. И сам процесс, и участвующие люди, и конвейеры, и привозимый в закрытых вагонах скот окунутся в тайну и сокрытие, как все, что отрицается.

Так рассуждали мы с моим приятелем Ильей Ивановичем, по пути в лечебницу. Корпуса больницы, с их кирпичной оградой, по мере приближения шаг за шагом надвигались на нас. Примерно так же на того молодого человека (который из будущего и который так талантливо придумал свой АТм-241) надвигалось из ковыльно-полынной степи кирпичное ограждение комбината-полигона, с надписью по полукругу «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

Аналогии тут нет, просто внешний зрительный ряд; совпадение.

Широко и уже повсюду будет считаться, что коров только доят, получают от их щедрот молоко и сыры, а когда коровы стареют, их оставляют на пастбищах, где они умирают своей смертью. Как люди. Почти как люди. Где-то далеко в степях. А сотни сотен НИИ будут трудиться, чтобы на далеких скотобойнях все более и более уметь отбивать запах живого адреналина в мясе и в крови мяса, ибо все более и более растет нравственность людей, и, в параллель ей, растет их обостренный нюх на убиение. И однажды наступит та степень всеобщей нравственности, когда уже просто немыслимо сказать друг другу в глаза, как устроен человек на самом-то деле.

Они уже не могут слышать или читать про бойню, им саднит и кровенит, им нехорошо, они могут умереть, их психика не выдерживает.

И вот уже пришел тот особенный момент, когда убийство нами животных в пищу будет скрываться, как скрываемая в наши дни ракетная воинская часть или как последний потаенный лагерь инакомыслящих-зеков. Что поделать — несовместимость. Тайной станет обычная бойня, которая есть сейчас при каждом городском мясокомбинате... Золотой век! Люди не воюют. Люди уверены, что они едят мясо только из синтезированных и частично растительных белков — мясо, сделанное из травы, или мясо, созданное из водорослей моря.

Открытиями новейших заменителей мяса (одно открытие обгоняет другое) полны газеты. Это обсуждается и в правительствах, и просто на улицах, как обсуждаются сейчас у нас успехи японцев в электронике и американцев в их многоразовых полетах в космос.

Телевидение в программе новостей каждый вечер демонстрирует целые бассейны, наполненные искусственными белками, штаммами, из которых талантливые мастера плюс успехи технологических процессов прямо на глазах телезрителей делают, лучше сказать, создают подлинное мясо кусками. (А какая гигиена труда! а дизайн от Миро!)

Да, кусочками. Да, как бы нарезанными. Да, вовсе не отличишь.

И тут уже сам собой вновь возникает молодой человек, придумавший АТм-241,— вступивший в жизнь, веселый, молодой, энергичный, который в первой же своей командировке, полюбопытствовав чуть более, чем любопытствуют обычно (он настоял на том, чтобы следить за возникновением белка с нулевого цикла; никогда и нигде не интересуйтесь нулевыми циклами, начинайте с первого; для того и дадена нам гордая и прямая цифра «1»),— полюбопытствовав, обнаружил воочию, что здесь убивают. Более того: убивают и здесь, и в другом, и в третьем месте,— и что убивать никогда не переставали, и что все дело лишь в степени тайны.

Разумеется, он был потрясен. Но нет: он не покончил с собой, что было бы слишком простым,— он вернулся в свой гостевой домик, на свою дачу, как он шутливо говорил, и продолжал работу. Анализатор-компьютер, а также рабочий компьютер, приданные гостевому домику, функционировали отменно. На три дисплея молодой командированный мог тотчас вывести любую минуту своего прохода вдоль конвейера. (Включая и свое любопытство. Вот он у боксов. Вот он в разделочном цехе. Ах, не надо было ему высовываться и знать. Жил бы себе и жил.) Так и бывает, весь твой пройденный путь — с тобой.

Лужайки, залитые солнцем. С них он и начал — последние лужайки на огромном бетонированном скотопригонном дворе, где бу-

ренки и зорьки щиплют последнюю свою траву (ощипанную уже прежде другими коровами, невысокую, а все же настоящую траву — при повторе на видеоэкране командированный замечает, что им сколько-то подброшено скошенной травы, лежит пучками). И последний раз луч солнца, прежде чем всюду засветится электрический свет коридоров.

— Время — ноль,— говорит сам себе молодой командированный, сделав отметку на индексе видео, а также загнав на ноль секундомер, который он положил перед собой на стол.

Теперь следует найти зафиксированную финишную отметку. Важно от — и до. А далее раз за разом прогонять видеопленку, собирая секунды и полусекунды, потерянные ковейером (но не за счет ввода его узла).

Здесь? — думает командированный (на видеоэкране возня глушильщиков. Добивают). Нет, рановато.

Он прогоняет пленку дальше. Ага. Едут кары. Один кар ведущий, остальные с приводами. Тянется этакий поездок из каров, управляемый одним человеком в комбинезоне, который восседает на первом каре. Так. Посмотрим, что везем. Маленький поворотливый поездок полон белых и пестрых, подернутых парком, влажных еще шкур. Шкура — как плоский набросок коровы, передает все очертания, вплоть до индивидуальных, скажем, чулочки на ногах. Окончательность насилия. Но если переключить на параллельный конвейер, мясо, вероятно, уже обрабатывается... Он переключает: вот оно. По прозрачному проводу проталкивается кашица. И одиннадцатый узел уже позади. То, что надо. Фиксируем. Дальнейшее не интересует.

Утомленный (напряжение для глаз) командированный медленно пил вишневый сок со льдом, а затем позвонил Батяне — да, он учтет утерянные узлом секунды, но учтет и те, что утеряны на конвейере.

— Замечательно! мы будем только благодарны! — закричал Батяня.— Кто как не вы сможет заинтересованно сравнить наши потери.

И спросил молодого командированного, хороша ли фонограмма. Да, хороша.

— Может быть, вечером вам что-то нужно? Немножко выпивки? Или хотите пойти на прогулку?

— Нет, спасибо. Буду отдыхать.

Молодой командированный похвалил их анализатор. Он старался не подать и виду. Никакого лишнего общения. Не надо давать им возможность прицепиться к чему-либо и счесть его безумным или нервным. Он будет прост, но будет осторожен. И как только закончит анализ, доложит — вот, мол, и вся ваша работа. Что дальше?..

Он попросил на ужин принести ему хороший кусок мяса. И тут же одумался — не прозвучит ли вызовом?.. Нет, пусть принесут.

Он вышел на крыльцо. Степь быстро темнела. Он походил возле домика, оглядывая и небольшой сад, и пространство вокруг. Он не даст себя до времени спровоцировать. Он будет дышать степью, будет ходить кругом и никуда далее гостевого дома не ступит ни шагу.

Пришла молодая женщина, Оля. Она обрадовалась и тут же скрыла свою радость — смутилась.

— Вы не уехали?

— Надо закончить анализ материала. Буду еще два дня, но может быть, и больше. Как получится.

Она стояла и смущалась. Ведь они простились. Она не знала, как

теперь себя вести. Не будет ли претензией или навязчивостью, если она опять протянет к нему руки...

— Ну-ну,— дружелюбно сказал он, поняв ее смущение. Снимая напряженность и подойдя к ней, поцеловал. Значит, мы еще два дня, а может быть, и больше будем вместе.

Она засветилась радостью, сглотнула ком. Радость, которую она сама то и дело сгоняла с лица, боясь ее, мешала теперь им обоим в любви — молодая женщина была скованна. Несколько нервничая, он раздевал ее, а она то улыбалась, то сгоняла улыбку.

Через час она сказала:

— Мне надо идти. Читают вечерами разные лекции. Мы их часто пропускаем, но сегодня нам шепнули, что ожидается проверка.

— Разве они не знают, что ты у меня?

Он ей не доверял. Он спросил прямо (но ведь он мог иметь в виду уборку его гостевого домика).

— Как?.. как они могут знать? — она заволновалась. Она быстро оделась и ушла.

Он посидел, подумал. Нет, он ей не доверял. Но с другой стороны, она, несомненно, наивна, проста, и если даже за ней наблюдает некое недремлющее око — пусть!.. что они могут из их отношений извлечь? ну, роман, ну, связь. Ничего особенного.

Он попросил по телефону, чтобы ему принесли кассету с классической музыкой. Его мысли нужен полет. И вина, да, он хочет еще вина.

Машина тут же подъехала, но заказ ему принесла ворчливая старуха.

Анализ затягивался, всякий анализ бесконечен. Шел уже седьмой день, командированный добросовестно работал, не давая им ни малого повода обвинить его в чем-либо. Он не выходил из гостевого дома. Он крайне просто общался с молодой женщиной — теперь это была постель и милые разговоры, час времени, и он Олю выпроваживал.

Конечно, он думал о побеге. Запасясь водой в легких пластмассовых бутылках, набив ими рюкзак, он может выбраться в степь. Но сколько километров она тянется? куда идти?.. Правда, он слышал обрывок разговора, что здесь у заблудившихся в степи есть верный шанс: пролетает вертолет — и достаточно развести костер, как вертолетчик тебя подберет. Ночью вертолетчик ведет свою насекомообразную машину по курсу и видит костер — ну, ясно, кто-то заблудился, сбился с пути, надо подобрать. Быть может, им вменено подбирать заблудившихся? Вот и спасение.

Но чтобы попасть на путь рейсового вертолета, надо уйти достаточно далеко. Над территорией комбината-полигона вертолеты наверняка не летают. Но быть может, и обрывок разговора о вертолетчиках, подбирающих заблудившихся людей,— ловушка, двухходовка. Они только и ждут, чтобы уличить его в побеге и в безумии — побежал в голую степь! ну, хорош! побежит ли нормальный человек один через степь?..

Для более точного учета потерянных секунд он выводил на дисплей и прокручивал видеопленку в обратном порядке, с конца записи — к началу. Хронометрирование в обратном порядке более надежно: подсчитывающий секунды тем самым освобожден от происходящего, сдержан и не сопереживает. Жизнь наоборот. Мясо постепенно превращалось в корову, и коровка щипала траву. А учет шел: секундам безразлично, в какую сторону их подсчитываю

Весь процесс он разбил на микрошаги. Боковой конвейер — ле-

вый дисплей. Затикало время: кашеобразная масса рубленой печени задвигалась по конвейеру назад — она выбросила из себя консерванты (в виде взлетающего порошка), после чего стала цветом ярче и краснее, можно сказать, натуральнее. Опростившись, кашица стала вползать, втягиваясь тонкими струйками в электромясорубку (на месте выхода), она прокрутилась обратным вращением и вот уже выскочила (в месте входа) цельными кусками печени, которые, осмелев, быстро проскочили под мерно стучащий нож, а после ножа тотчас слиплись, сцепились намертво, образовав огромную, с облаком пара, коричневую печень Зорьки.

— Пока не потеряли ни секунды! — голос Батяни. Фонограмма, разумеется, давалась в прямом, а не в обратном порядке.

Молодая женщина вошла к нему не вечером, как обычно, а прибежала, вся запыхавшаяся, в середине дня, когда он работал. «Что такое?» — он погасил экран дисплея, экономя энергию.

— Я... Я вдруг подумала... Я поговорила с...

Оля запнулась.

Он подошел ближе, приласкал ее — ну? в чем твое волнение?.. Сбиваясь в словах, убогая молодая женщина ответила, что, если он останется здесь еще какое-то время, они могли бы пожениться. Она поговорила с подругами, и они все (все до единой!) сказали ей, что это будет неплохо, что, если пожениться,— это уже семья.

— Но я же скоро уеду.

— Ну так что же. Значит, я останусь одна, разведенная. Но все-таки я была замужем...

Глаза ее светились счастьем.

— Нет,— сказал он.

— Ну пожалуйста. Прошу тебя,— глаза ее тускнели.

Но тут уж ему следовало быть начеку.

— Нет,— сказал он.

Ушла. Через какое-то время, кажется, через час, она сказала ему по своей коробочке-рации, включившись в его приемник,— пусть он на нее не сердится. Пусть простит ее. Она совсем тихо повторила, что получилось нечаянно. У нее был такой порыв, пусть он простит.

— Я вовсе не сержусь,— ответил он.

Секундная стрелка обегала свой круг, он в это время загонял на компьютер в длинную вертикальную строку дисплея первые собранные им отклонения.

Он позвонил Батяне. Сообщил, что обнаружил еще две с половиной потерянные конвейером секунды. Но это не все. И еще почти четверть минуты на переходах...

— Отлично! — похвалил Батяня.

— Я загнал все на общий компьютер.

— Сейчас же все считаю. У меня запараллеленная программа...

Голос Батяни сменил деловую тональность:

— Послушайте. Вы отлично работаете. Почему бы вам немного не отдохнуть... Приходите к нам. У нас есть общение, мы же не бирюки. Мы, старожилы, в своем кругу умеем повеселиться.

— Спасибо. У меня нет настроения.

Он не хотел общаться. Он хотел общаться разве что с ней.

— Когда я уеду,— сказал он в телефонную трубку, отыскав волну ее рации-коробочки,— когда я совсем уеду, ты посадишь подсолнухи, и они будут напоминать обо мне.

— Что?

Пришлось пояснить:

— Утром выглянешь из окна, увидишь подсолнухи и вспомнишь того, кто посоветовал их посадить...

— А-а! — она благодарно, тихо засмеялась.

Безлунность ночи привела к тому, что, гуляя (он ходил до стены ограждения и обратно), он столкнулся с патрулем. Они прошли мимо него настолько спокойно, что, казалось, они его не заметили. И это в двух-то шагах!.. Увидели и прошли мимо.

Конечно, люди комбината (и он тоже) могут гулять и ночью, не запрещено, но ведь рядом со стеной, экая беспечность! — подумал он. Или они так уверены в том, что степь велика и бескрайня, и, стало быть, никто на побег не решится?!. Оставалась некая неясность.

Да что, собственно, такое их патруль? Двое или трое прогуливающихся и спрашивающих твое имя. И это — все?..

Так размышляя, командированный молодой человек пришел к выводу, который уже напрашивался все эти дни: к выводу, что его никто здесь не удерживает и что он сам никак не соберется уйти.

Он был словно парализован злом.

Если он уйдет из мира, где увидел зло, и вернется в тот мир, где зла как бы нет, что изменится?.. Все они там потребляют (и будут продолжать потреблять; и он с ними тоже) продукты зла. Суть дела глубже, чем уход или неуход. Уйти некуда. После того, как он увидел молодцов с электрошестами и ручьи желтых искр, стекающие с бычьих языков, куда он мог уйти?.. оно будет теперь с ним повсюду, это знание и эта его сопричастность.

День за днем он продолжал работать. Так оно и бывает, что не только он увидел Зло, но и Зло увидело его; увидело и сказало: вот ты. Что-то в нем словно бы надломилось. Внутренний голос нашептывал ему о его вине. Он уже не мог потребовать от Батяни, чтобы тот отпустил его. Он не мог пуститься в степь, не мог затеять сговор с кем-нибудь из тех, кто работал на комбинате.

Конечно, если бы вертолет, заметивший ночью в степи его костер, опустился рядом, молодой человек мигом бы метнулся, вскочил и крикнул зычно: «Давай!..» — на это его хватит, это он сумеет. Он впрыгнул бы в вертолет и крикнул: «Давай!..»,— и они бы улетели. Что да, то да, но они сами должны опуститься к его костру, должны уверить его в своей реальности, в шуме мотора, в горячести воздуха, вздымаемого лопастями винта.

5

Сначала Илью Ивановича помалу раздражает телевидение — рассказы об убийствах, расчлененки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы и прочая криминальная хроника. Не нравятся ему все больше и бесчисленные алкоголики, сгоревшие в квартирном пожаре по своей вине. Он сердится. Он раздражен. В конце концов, он не желает всего этого знать. Телевизор, по его просьбе, в его доме отныне не смотрят, либо жена смотрит, когда Илья Иванович уже лег спать (но и тут звук приглушен сколько можно). Не ходит он и в кино. Самоограничения временно выручают. Но, конечно, оно все равно нарастает; нарастает исподволь, само по себе, и телевидение или кино тут ни при чем.

Очень скоро Илье Ивановичу делается не по себе, когда кого-то оскорбляют в троллейбусе, и он совершенно не может слышать, как вопит мальчишка, которому дали оплеуху. (Быть может, его родители и, быть может, даже за дело.) Так что с какого-то дня Илья не ездит к знакомым. Илья уже не гуляет по улицам. С работы — и на работу.

Но и на стандартном, ежедневном своем пути он видит из окна автобуса раздавленную машиной кошку, перебежавшую, вероятно, неумело улицу этой ночью, или — тоже приметно — стертые в перхоть останки голубя, только головенка торчит; все, видите ли, расплющили, а головенка голубя торчит, смотрит. Нет, он не может ехать, не может сидеть у автобусного окна, пока голубя не уберут, пока не смоют шлангом или не смоет дождем. («Ну ты подумай! — говорил он мне.— Убивают одни, а смывают другие!»),— ему настолько плохо, что он не может с этого дня ездить на работу, берет больничный. Он — дома. Он — только дома. Прогулки во внутреннем дворике, никаких улиц. Но, конечно же, и во дворе их дома, где он гуляет, его подстерегает удар боли: он вдруг видит сломанный куст. Да, сломали ветку. Или выдернули куст с корнем. Его ранимой душе хватит, в сущности, и травинки — стебель травинки сломан, на сломе сочится. Приятель моей юности Илья, Илья Иванович, смотрит на эту травинку неотрывно, род любви, ему делается больно, так больно, что словно бы космический свист врывается в его уши, сердце стучит, бьет, и вместе с болью капля за каплей что-то медленно выжимается, выдавливается из колотящегося его сердца. Желтой вспышкой вспоминается вдруг детство — одна за одной яркие вспышки давнего лета, слезы начинают его душить, спазм в горле ни туда, ни сюда, и... и вот Илья Иванович, мой приятель, взрослый человек, скорым шагом через двор пересекает напрямик детскую площадку, затем (еще более торопливо) асфальтовый пятачок у подъезда, быстрее, быстрее домой, дрожь бьет, преследует его в лифте,— вот он наконец в своей комнате, бросается ничком на постель, утыкается головой в подушку, плачет.

Жизнь, люди, окружающий мир — *оно* сработало.

Илья Иванович подавлен; вдруг взвинчен и вновь подавлен — он звонит в клинику, где его прекрасно знают и где его звонку не удивляются, а только просят побыть дома, потерпеть еще день-два, как раз освободится место в привычной ему палате. Конечно, если все так остро и больно, они найдут ему сейчас же палату и место какое-никакое. Хотите сейчас?.. Нет, нет. День-два он выдержит. Спасибо... Звонок сделан. Ему легче. Надвигающиеся тяжелые его дни под защитой. Срабатывает психомеханизм.

Вечером он уже звонит мне. Или некоему Виталию Сергеевичу, еще один его приятель. Он хочет просто поговорить, потолковать со мной — теперь, когда его ранимость на какое-то время прикрыта, Илья Иванович может поговорить и о жизни вообще, и о нашем сложном мире. Да, просто поговорить. Теперь, *уходя*, он смелеет, к нему возвращается острота ума, а также самоирония.

— Проводишь меня до психушки? — Он не любит, если его провожают в больницу родные. Ему думается, что если провожают родные — это уже льются слезы, уже беда. Не станет же всерьез он считать свое заболевание слишком опасным — ну, нервишки, ну, поплохело. *Головушку надо бы подлечить.* Вот и все. Если провожает в больницу приятель, ясно, что событие не так уж значительно и пугающе.

Через день-два мы уже идем известной дорогой, огибая 16-этажные башни микрорайона. Больница несколько в отдалении. Она за оградой, за хорошей оградой, переделанная (перепрофилированная) из бывшего монастыря. Во всяком случае, когда мы подходим, а идем мы всегда не спеша, распределив нагрузки — он с двумя сумками, и я с большой сумкой (одежда, запас соков) — я вижу хорошо огражденное заведение, психиатрическую больницу. Издали она глядится как крепость, где ранимый человек хочет укрыться от зла, которое захлестывает наш мир.

Каков перевертыш!.. (и соответственно — какова дистанция, как долог путь). Если тот молодой человек из будущего, создавший АТм-241, ездил по земле и летал на самолетах над огромными пространствами, залитыми миром, и только и нашел зло заключенным в ограду (нашел его загнанным, запрятанным за стены), то реальный человек нашего века, Илья Иванович, мой приятель, из залитого злом огромного мира только и нашел для себя приемлемой пядь земли, пятачок пространства за стенами больницы. Пятачок, свободный от зла. Туда Илья Иванович и прятался, защищенный там успокаивающими уколами и психотерапией расположенных к нему и лечащих его врачей.

У молодого изобретателя из будущего зло оказалось загнанным на огороженный кусок степи, и убивали там, в степях, только животных (зло немалое, но ограниченное и загнанное за ограду). Так что заодно можно попытаться представить себе будущий мир — то есть что же это за чудо земное (ну, за отдельными пятнышками огороженных исключений), что за жизнь должна там, у них происходить, где некие светлые люди ходят туда-сюда, ездят, летают, давно уже нет войн и убийств, и, в сущности, они порхают, эти светлоликие мужчины и женщины, люди-голуби, порхают, трудятся, изобретают узлы, конфликтуют по разным поводам и без повода, но зла — нет.

Мы подходим ближе; уже видна продуманная протяженность больничных стен, а также их скрепы — старинные башни. Отгороженный и тоже хорошо охраняемый пятачок счастья. Башни (в прошлом, конечно, тоже монастырские) особенно впечатляют. Видали, мол, мы разных нападавших. Устояли. Мол, устоим и теперь.

Крепость. Приятель моей юности, Илья Иванович, хочет, чтобы его растревоженное «я» было защищено и ограждено за этими крепостными стенами, а также за стенами лекарств и квалифицированных врачей и режима. (Нет, на воротах не написано «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».) У входа в больницу Илья прощается со мной. Он не хочет даже несколько удлиннить прогулку, так как побаивается самого себя, боится быть вне этих стен — он и так уж терпеливо и на пределе ждал два дня, пока освободится палата. Ему пора.

Мы жмем друг другу руки. Пока. Не меньше шести недель,— говорит он.

В больнице, в их столовой (последнее, что могло бы его вывести из себя) не будет мясных блюд. Многие из нервных больных не в состоянии видеть даже скромной котлеты, путь всякого куска мяса начинается на бойне. И потому для части больничных палат рацион продуман. Илья Иванович как раз в одной из таких палат. Каши, молоко, творог. Овощные супы. Соки и фрукты, если могут, носят родственники.

— Как ты думаешь, они только от меня и от моих соседей по палате прячут мясо и всякие там отбивные?.. или запрет введен по всей больнице?

Он, уже приобщенный, хочет думать, что за оградой больницы нет даже вторичных признаков зла, мировой злобы. Он хочет думать, что крепость — это крепость.

— Я слышал, что в этой больнице пища вегетарианская и молочная,— говорю я осторожно.

— Где ты слышал?

В его голосе нетерпение, и я понимаю, что он хочет быть обманутым. И я обманываю его.

— Я слышал, как врач разговаривал с диетсестрой.

— А-а. Понятно.
Ему этого достаточно.

Мы много с ним говорили о природе зла, о различных проявлениях злобы. Быть может, это выводило Илью из нервозности внутренней во внешнюю: в нервный подчас разговор. Как-то я сказал ему, что я узнал (или угадал) длящееся зло еще в те дни, когда я был подростком. Зло протянуто (и переменчиво) во времени, а не в пространстве. И когда в свою очередь спросил его — как ты считаешь, Илья, когда ты понял, что зло есть и что оно длится, что *зло живет*,— он ответил:
— Поверишь ли, я знал это всегда.
— С детства?
— Да, с детства. Даже раньше. Всегда.
Но говорить о том, как узнал (или почувствовал), он не захотел.
Я спросил — связано ли это знание сейчас с тем, что он полуеврей. (В моем вопросе не было неделикатности, Илья с давних лет и хорошо меня знал. Вопрос не затрагивал особых глубин; был вширь. И разумеется, не секрет, что в наши дни Илья Иванович мог испытывать на себе вспышки всеобщей межнациональной озлобленности. Особенно на улице. В очередях. В автобусе. В толпе.)
— Нет,— ответил он, подумав.— Не связано... Мое полуеврейство и моя полурусскость лишь подтвердили мне то, что я знал всегда.
Он еще подумал и грустно повторил:
— Всегда.

Однажды он был в кабинете завуча школы (что-то по поводу сына, тогда десятиклассника) — и как раз там был включен телевизор, в кабинете завуча, что ли, или в другом кабинете,—не знаю. И надо же такому случиться, что во время их разговора, обычного разговора завуча и родителя одного из учеников, телевидение стало рассказывать о плохой работе наших мясокомбинатов. Тут-то и показали краешком бойню. Мол, деньги никто не вкладывает. Мол, оборудование как устарело! Животных показали перед включением рубильника. Задранные морды коров в тесноте боксов. Мычание их (дали вскользь и звук, и картинку. Секунд пять. Только чтобы разговор с экрана был предметен и конкретен). Илья Иванович побледнел. Он вдруг схватился за грудь, словно его пробили насквозь. И выскочил в коридор. Завуч решил, что ему стало дурно от духоты. Илья Иванович в коридоре стоял возле урны, блевал, его выворачивало, а затем — даже не умывшись в школьном туалете,— он помчался домой. Бежал по улице в распахнутом пиджаке, со сбившимся галстуком (в школу, по сложившейся традиции, приходят одетыми строго, солидно), с запачканным подбородком и трясущимися губами, лысеющий сорокавосьмилетний мужчина,— он бежал и нет-нет вскрикивал, словно боль ранения его настигала. Вбежав домой, он рухнул на постель ничком, как делал он всегда в подобных случаях, сбивая накат эмоции. Но на этот раз не обошлось: тогда случился первый его инфаркт.

Когда слышишь по радио или читаешь в газете, как больно автору (этого репортажа) за отравленного судака, выбросившегося на берег и темного от нефтяных разводов на брюхе,— или когда рассуждают, как становится нехорошо и больно за срубленный в поселке дуб (так был басенно могуч, так тенист в жару), невольно ловишь себя на том, что не веришь, недостаточно веришь. Больно? да разве нам больно? — Илье Ивановичу, приятелю мой юности, за судака и за дуб было больно. А нам не больно: нам жалко.
Год спустя, от второго инфаркта, у себя дома он умер. В лунную для всех нас ночь.

Илья однажды невзлюбил меня, вспомнив, что каждым летом я рыбачу. Выдираешь крючок из внутренностей рыбы? — спрашивал он.
Я отвечал, что происходит это быстро и в азарте лова. Вытягиваешь рыбу за леску донной удочки и вынимаешь крючок. Очень быстро.
Он спрашивал — а ты представляешь когда-нибудь, что ты сам на крючке? заглотнул его и уже выплюнуть, вынуть, выхаркать невозможно, тебя тащат, а потом крючок из тебя вынимают, как тебе это?
Я старательно объяснял (я тогда еще не вполне его понимал), что из судака, скажем, чтобы облегчить страдание рыбы, да и просто чтобы не измазаться рыбьей, иногда очень обильной кровью (и главным образом, чтобы ускорить дело — надо же продолжать лов, во время клева дороги минуты, зевать нельзя), по всем этим причинам вытаскивают крючок с помощью экстрактора. И толкнуло же меня в ту минуту объяснять, как вдоль лесы и крючка, заглотанного рыбой, опускается ей в глотку расщепленная на конце тонкая вилка, как проталкивается она полегоньку во внутренности, освобождая крючок. Илье стало плохо. Но он смолчал. Он был в той своей полосе, когда еще мог в известной мере терпеть зло окружающего мира — он не заболел, он не ушел и не вскрикнул, но только попросил: «Хватит...» — и запомнил.

В течение почти полугода, если я звонил, он отвечал по телефону плохо подделанным голосом своего сына, что его, Ильи Ивановича, нет дома.

Он объяснял мне, что в больнице его хорошо подлечивают («глушат душу») и что каждый раз, возвращаясь из психушки, он уже не жалеет живое и гибнущее так остро. Он чувствует себя воином. Он даже чувствует в себе способность вести вечную войну живых с живыми — а это ведь и значит жить. Он говорил «воином», конечно же, с иронией. Возможно, старинное слово казалось ему в такую минуту почти синонимом слова «убийца».
— Да,— сказал Илья,— выходя из больничных стен, с их башнями, я чувствую себя воином. И живу.

Я тогда же подумал, что все мы, живущие,— воины.
Я вспомнил очень известного, умного тибетского ламу, который сметал сам или велел сметать перед собой пыль под ногами, дабы ни единым своим шагом случайно не раздавить жучка, переползающего ему путь. Лама даже дышал через марлю, чтобы не убивать своей слизистой оболочкой микробов, которые прилипнут к слизистой и погибнут, как только он вдохнет.
Лама чувствовал себя воином — это несомненно. Но хотел быть трусом, трусливым воином, который бежит с поля боя и никого не убьет и не ранит.
Мелькнула мысль, что микробы, вероятно, тоже чувствовали себя воинами, но воинами отважными, готовыми погибнуть в огромном числе и в неравном бою — погибнуть, лишь бы заразить ламу болезнью. А марля на его сухом рту была как ООН.
В сущности, и лама, и микробы рвались во взаимный бой. Ведь они жили.

Мы, собственно, всегда убивали. И это просто удивительно, что мы, воины, все еще не перегрызли друг другу глотки: не перегрызли сами себя. Что-то нас хранит. Ласточкина слюна, слепившая гнездо. Что-то нас укачивает, в нашей огромной детской колыбели, и поет нам, что мы люди, мы люди, мы — люди. Что? или кто хранит нас?

Но и за нашим разговором о том, что же или кто же хранит людей, я увидел впереди нас, на улице с двусторонним движением, голубя, раздавленного машиной. В асфальт его прямо-таки впечатали, и клюв, и лапки. И только немного пуха, отрываемого ветерком, взлетало и напоминало, что плосконький голубь имел когда-то объем. Илью Ивановича, если бы он увидел (а он шел рядом со мной), взлетающий пух привел бы к нервному срыву: Илья не хотел жить, если голубь вот так плоско лежит, а люди идут, машины едут и жизнь продолжается. Когда машин нет, на некоторое время к впечатанному голубю подлетали другие голуби, не вполне понимая, что случилось с их приятелем,— подлетят, посмотрят и снова взлетают, так как уже нарастает шум новых приближающихся машин, подстроившихся под судьбу. А над раздавленным только пух его тельца, легкие пушинки от ветерка. Он *дымился* пухом, как озеро поутру сизым туманом.

Илья Иванович увидел даже раньше меня — конечно же, раньше. Он уже минуту как болезненно морщился, потом морщины поползли: боль проходила, проползала по лицу. Он стал глотать ком в горле, словно подавившийся едой. Стал тереть виски. Но успокоился. Мы прошли уже метров сто дальше, и Илья Иванович все повторял, мол, ничего, мол, он держится: он же в эти дни в хорошей форме.

В другое время он просто бы ушел домой, прервав и прогулку, и разговор на полуслове. Он лег бы в постель, обхватив голову, лежал бы и негромко вскрикивал:

— Нннн!.. Нннн!

Илья Иванович в разводе с женой, хотя живут они вместе. Жена относится к нему по-настоящему хорошо, заботится, помнит о диете, а если он в плохом состоянии, звонит по его просьбе врачам и сидит возле него ночами, держа его, дремлющего, за руку. Но все-таки она с ним в разводе; они развелись, когда признаки его заболевания были очень остры, и жена не понимала, что с ним такое. И развелась в страхе, потому что он многое не разрешал ей есть, не разрешал готовить мясо или рыбу, вырывал из рук нож и прочее и прочее. Разведенный, он живет в отдельной комнате. А жена с взрослым сыном живет в этой же квартире в двух других комнатах.

Сына, впрочем, сейчас нет. Он в армии, танкист. Сын учится на первом курсе института, и, похлопочи родители, запасись кой-какими справками, они могли добиться отсрочки воинской службы или даже вовсе армию обойти. Но жена, испугавшись, что психика сына может развиваться по отцовской линии, посоветовалась с врачами, а те, видно, решили, что, с точки зрения наследственности, послужить и поработать руками-ногами на свежем воздухе парню будет полезнее (в плане его же будущего) — и вот он танкист.

Илья Иванович, давясь словами, было запротестовал, мол, а если Афганистан, где могут убить его сына и где сын будет убивать сам?.. Но его уверили, что из этого призыва в Афганистан не посылают, к тому же юноша светловолос, светло-каштановые волосы до плеч, а светловолосых вообще не посылают в то пекло, так как за ними там ведется особенно прицельная охота. (Расхожее мнение тех лет.)

Так что Илья Иванович грустно умолк. Он дал себя обмануть и утешить — что же еще мог он сделать со своей психикой?.. Но сына, и точно, в Афганистан не послали.

Когда нас познакомили, жена Ильи Ивановича протянула мне руку и коротко назвала себя:

— Оля.

У жены Ильи Ивановича роман с врачом районной больницы.

Когда у Ильи началось обострение болезни и речь впервые зашла о стационарном лечении, жена целых полгода бегала по тем и по другим врачам, добивалась, обивала пороги, хлопотала. Тогда и возникло чувство к одному из врачей (случай не дремлет),— возникло и все еще длится. Оля — женщина искренняя, и, не умея хорошо припрятать, она стыдится. Илья Иванович болен непоправимо — это давит.

Диагноз врачей известен: шизофрения. Но вот ведь какая тонкость: врачи считают, что Илья Иванович болен, и поэтому он не может переносить жестокость мира, в котором живет. (Мы, мол, все живем — и ничего!) Они настаивают, что сначала болезнь, а уж как следствие — ранимость.

Поддерживая постоянно живущую в Илье Ивановиче тему неубийства, я как-то сказал, что, кажется, представляю себе молодого человека будущих лет, тех далеких лет, когда уже не будет войн и убийств в быту и когда даже коров на мясо будут забивать, скрывая и утаивая бойни где-нибудь в степях, как лагеря. Молодого, жаждущего славы человека пошлют в командировку совершенствовать технологию (он не подозревает, что в двух шагах от него обычная скотобойня). Я наскоро рассказал, как выглядит за оградой их комбинат-полигон и как там все время будут клубиться разговоры о науке и о внедрении, о внедрении и о науке.

Илью заинтересовало вдруг совсем иное:

— Да ты счастливый человек. Ты можешь отделаться от того, что тебя мучит!

Я возразил: я вовсе не отделываюсь тем самым, напротив — я погружаюсь.

— Вот именно! — вскрикнул он с жаром.— Ты погружаешься и видишь это изнутри. А ведь изнутри не больно.

Он коротко хохотнул:

— Какой ловкач!

Я оценил его выпад. И спросил, уточняя,— ты хочешь сказать, что мы сопереживаем, чтобы нам было не больно? мы сопереживаем, чтобы погрузиться и отчасти совпасть с человеком, у которого болит,— чтобы тем самым не видеть его боль со стороны?

Но диалог Илье в ту минуту не давался. Мысль его уже понеслась куда-то вдаль (я скоро понял — куда), обгоняя не только мою логику, но, я думаю, все логики нашего мира. Он замолчал.

После нескольких минут молчания он сказал:

— Послушай. Подари мне этот сюжет.

— В каком смысле?

— Подари!

Я не понимал.

Он повернулся ко мне (мы шли по левой, по теневой стороне их улицы) и, глядя глаза в глаза,— заговорил:

— Отдай. Отдай мне это время, этот комбинат, этот их забор, стену высокую с «добро пожаловать»... Отдай мне этого парня, его неведение и затем его прозрение. Отдай степь, звезды, запахи!

Не забывая, что Илья, Илья Иванович, приятель моей юности, подвержен неизлечимой душевной болезни, я тихо ответил: «Бери».

И вот тут и уже надолго он замолчал, возможно, не ожидавший, что получит так просто.

Спустя, кажется, неделю Илья Иванович сказал мне, что он был там. «Где?» — спросил я. «Там».

Да, да, он пробрался к тому степному полигону (мысленно, разумеется) и у самой ограды, под стеной, лежал в густой дикой конопле,

одуревая от запаха. Когда стемнело, он стену перелез. Перемахнул, как в молодые годы. Да, стена мало охраняема. Илья Иванович без труда прошел по внутренней территории, один раз его окликнул патруль. Но только окликнул.

Была лунная ночь. Была хорошая видимость. Недалеко от стены ограждения светился огонек гостевого домика (второй домик так и пустует), где молодой командированный даже в поздний час работал, не отрывал глаз от дисплея, подсчитывая утраченные или, напротив, приобретенные секунды конвейера. Конвейера, который он обнаружил в первой же своей командировке и к которому прикипел. Каждый из нас находит такой конвейер рано или поздно. И свой узел. Да, да, именно так, и Рафаэль занимался этим — искусство припудривает и облегчает страдания, искусство — узел высокого дизайна, разве нет?.. Илья Иванович подошел к домику ближе, с некоторой осторожностью заглянул в окно — командированный работал. Дисплей ярко светился. Представь себе, этот молодой технарь, чтобы подсчитывать секунды без волнения, крутил видеоленту разделки коров в обратном порядке. Конвейер, но наоборот. (Илья забыл, что я рассказал ему эту подробность—он был уверен, что он видел. Возможно, он *тоже* видел.) Представь себе, никаких сопереживаний — а секунды тикают, только успевай считать.

Да, из кусков мяса, из хребта и кожи получается обратным ходом живая корова. Вот она смотрит. Огромные карие ее глаза моргают. Помнят ли *эти* (то есть восстановленные обратным ходом видеоленты) глаза своего теленка, луг и пять ромашек по траве вразброс?.. Корова стоит, обмахиваясь хвостом. И солнечный луч лежит на ее боку и на спине. (Тот ли самый луч? — вот вопрос.) И кружится случайно залетевший в кадр шмель, пьяный солнцем.

— Он просто валял дурака. Сидит и балуется видеолентой туда-сюда,— сказал я, слегка взревновав. (Кто-то знает моего командированного уже лучше, чем я.)

Я пояснил:

— Сначала убивал (участвовал в убийстве), а вот теперь воскрешает. Возможно, так рождается искусство. Хочется переиграть, хотя жизнь кончилась.

Илья Иванович засмеялся:

— Балуется?.. Ну уж нет! Поверь: он считал секунды. Просто и с холодком подсчитывал, соревнуясь с компьютером.

Илья Иванович не сомневался, что жизнь комбината-полигона теперь уже его жизнь, если уж я ему «это» отдал. Возможно, так оно и было. Быстро и уверенно и со знанием подробностей говорил он об их жизни. Он рассказывал о мойщицах коров. Он видел их за работой, молодых женщин в косынках. Они шли, когда струйки били в бока коров. Омовение. Не так просто узнать там женщину, ты ведь знаешь, косынка очень меняет лицо... Он познакомился ближе с этими женщинами, он пошел в гости к кому-то, чистенький дом, цветы в палисаде. Нет, никаких подсолнухов. Добровольцы? — да, видел. Крепкие мужики, выпивают, но в меру. У них бугристые старые руки. Вечером они пели. Они угостили Илью Ивановича. Сидели при луне...

— Люблю луну ночью,— закончил Илья Иванович с улыбкой и уже отчасти с иронией. (Как бы возвращая собеседника в реальность после рассказа о причудливом путешествии.)

И уже с интонацией нынешнего дня (с какой иногда говорят о сюжете кино) предположил:

— А ты не думал о том, что они его теперь, пожалуй, оттуда не выпустят? Нет-нет — не те, кто на комбинате. А как раз те, кто живет

во внешнем мире (и кто о бойнях как бы совсем ничего не знает). Они его к себе не пустят. Они за ним никого не пришлют. Именно они. Зачем пускать в мир еще одного человека, узнавшего про зло?

И усмехнулся:

— Что хорошего он принесет в мир?

Лунная ночь. И ограда. И то, как Илья Иванович легко ее перемахнул. Возможно, он хотел вернуться в пору нашей юности. (Когда он еще был здоров, хотя и раним. Ранимость прежде болезни.) Бывало, что мы забывали взять с собой свои студенческие билеты и по возвращении в общежитие, чтобы не лаяться со стариком-вахтером, попросту перемахивали забор. Да, днем. При ярком солнце.

Убийство бездомных собак входит в человека, то есть входит в Человека, в самый облик его — оно в человеке, даже если он никогда не думает об этом и ни разу в жизни не вспомнит.

И что ж удивительного в том, что мы убиваем в уличных драках, в быту квартир, насилуем, расчленяем трупы и время от времени воюем. Это ведь и есть мы. В нашу этику, как и в наше сознание не вмещается наше же собственное. Ударить кошку ногой или пнуть собаку нельзя, а сто тридцать две тысячи двести семьдесят кошек уничтожить включением рубильника (статистика одного города за год) можно. В этом — мы.

В этом мире мы и живем.

...жена Ильи Ивановича. Сказала так коротко: «Оля»,— и руку вперед; без имени-отчества. Это чтобы наперед суметь стать жесткой, вдруг я узнаю или услышу (или, может быть, знаю уже сейчас) про ее врача, с которым затяжной роман. Напрямик. И что-то с Ильей про еду. И тоже с затаенной твердостью в голосе, хотя и негромко. Про овощной, кажется, бульон. Не небесная манна. Спросила: а капусте не больно?.. Спросила, но с добротой, потому что Илья улыбнулся. У него даже глаза сверкнули, мол, юмор. Мол, я да ты. Денисьевский цикл. Вот тот мир, где жили мы с тобою. И еще — ангел мой, как *ангелмой.* Однозвучие. Нравился ли Тютчев Толстому? Смерть Ивана Ильича.

6

Едва только завидится угловая башня психбольницы, мы оба меняемся — оба уже другие. Мне становится легче, потому что, считай, пришли, и ничего (с точки зрения сопровождающего), что могло Илью раздражить, по дороге не случилось. Илье Ивановичу тоже легче — эти стены и эти башни как та таблетка, которую принял, которая уже в желудке, уже запита водицей, вот-вот и подействует. Так приятно переложить свои тяжести на плечи таблетке. Таблетка-башня. Ближайшая к нам башня в верхней своей части порушена.

— Замечаешь, какая эта башня странная? — спрашиваю я, показывая рукой (в другой руке большая сумка).

— Старинная,— ответил он.

По просьбе Ильи Ивановича я должен был найти у него дома некую его тетрадку с графиком приема лекарств: он сказал, что ему необходимо сделать сравнение и что это важно. Думаю, что его ум инженера попросту требовал какой-то пищи для анализа. Был поздний вечер — я пришел с его просьбой к его жене, и она, сразу понимая (уже привыкнув понимать его просьбы) и проведя в его комнату, сказала — да, да, пожалуйста, поищите. Я искал, но не нашел. Илья дал мне несколько противоречивых указаний — искать «там», а если нет,

то «там», а быть может, еще и «там». Я перетрогал руками все эти «там», смотрел туда и смотрел сюда, вяло топчась в его узкой комнате. Когда заглядывала его жена (Оля дважды предлагала мне выпить чашку чая), отвечал ей:

— Спасибо. Нет, не хочется.

Утомившись от поисков, я все-таки отправился на кухню и выпил чаю, а его жена вместо меня ходила по узкой комнате и тоже искала — и тоже бесплодно. Когда Оля подавала чай, мы разговаривали с ней, как всегда сдержанно и не касаясь никаких тем — она только улыбнулась, показав письмо, которое прислал сын-танкист.

Звонил телефон, и она говорила с тем самым врачом, близким ей уже больше года,— говорила тем голосом, который почти сразу выдает интимные отношения человека с человеком.

А я допивал чашку чая.

Сказать Илье Ивановичу, что я не нашел его тетрадки или не нашел нужной ему книги — невозможно. Он не умеет принять объяснение как факт, а мои пересказы «там — нет» и «там — тоже нет» и «два раза вынул все ящички» вызовут его сопереживание. Он начнет тут же (мысленно перенесясь в квартиру) пересматривать наново и переискивать в указанных мне местах. Он отыщет тетрадку в каждом из трех мест. И, конечно, может вспылить и начать проситься домой из больницы, еще до обхода врачей заказывая по телефону такси и выпрашивая у старшей сестры вместо больничного халата свой костюм... Так что после чая, как бы с новым зарядом энергии, я вернулся в его комнату и искал. Заглядывал в книги. Залез под диван. Чуть приотодвинул шкафы, шарил рукой в паутине, перебрал конверты пластинок и ... нашел.

Уходя, я выключил, как и положено, в его комнате свет и увидел тотчас в окне луну. Зажав тетрадку в руке, я вперился в льющийся свет. Я думал об Илье Ивановиче — мол, это ведь в его окно лунный свет, это ему. Высвободилась из быта (высветилась) лирическая минута. В больнице он вверился таблеткам и врачам и крепким стенам ограды, а ему в это самое время — серебристый свет. Ласковое свечение, адресованное Илье Ивановичу, поглощалось сейчас моей душой. Это был *его* свет, ему принадлежавший, быть может, его выздоровление. Но быть может, он и там его сейчас видит, ему дано с запасом, и там, и тут,— подумал я.

Илья Иванович отпросился у врачей домой на несколько дней, уверяя их, что почувствовал себя совсем неплохо.

— Разве тебе полегчало, Илья? — спросила его встревожившаяся жена. (Она лучше других слышала его здоровье и нездоровье.)

— Нет,— ответил он ей (уже дома).— Но я хочу быть здесь. Я хочу быть с тобой. Я хочу пойти на улицу. Я попытаюсь сходить на работу...

— Не опасно ли?

— Мне так хочется,— ответил он даже несколько воинственно. Жена, пересказывая мне, так именно и определила это слово — «воинственно».

Быть может, сам с собой наедине Илья Иванович решил быть (и умереть?) там, где все мы. И на вторую или на третью, кажется, ночь, вернувшийся, он умер.

Я не знал о его возвращении — я решил, что он умер в больнице и что это была счастливая, может быть, легкая смерть. Он умер вне зла, потому что врачи его ограждали, и даже если бы он в своей палате умер во сне, там тоже не было зла — препараты контролировали даже и саму легкость, окрыленность его сновидений.

Я думал, что он так и умер, ни в каком виде, ни в сложном, ни в простом, ни в социальном, ни в бытовом, не желая принимать зла. Питался он чрезвычайно просто. Кашей. И молоком. Он даже со сломанной веткой на обочине не желал примириться. И не примирился. Зло осталось в стороне.

Так я думал. А потом узнал, что он сам вернулся умирать в нашу канаву. К нам. В наш прекрасный и злобный мир. Вернулся безо всякой причины. К жене. Просто вернулся. Вот тот мир, где жили мы с тобою.

Для меня возвращение Ильи домой неясным (неясно — каким? но сомнений нет) образом связано с невозвращением того молодого человека, создавшего АТм-241, в мир, в котором он жил прежде.

Завороженный злом (бойней? узлом АТм-241? своим участием?), он остался на комбинате и там работает.

...Или же зло настигло Илью Ивановича и там, за стенами, когда здоровенный медбрат дубасил какого-нибудь буйного, бросавшегося своим калом, ворвавшегося на этаж к ним, к «тихим», открытая дверь, не уследили, «Да хватайте же его!»,— мгновенная четвертьсценка, много ли Илье нужно!

Было такое ощущение (но не в ту ночь, в одну из других), что от лунного сияния не спрятаться. Я повернулся в постели на другой бок и закрыл глаза: все равно луна была здесь. Я замотал лицо мягким полотенцем и лег — то же самое. Луна стояла в глазах.

Тогда, сдавшись, я подошел к окну: луна источала свет с какой-то решимостью. Лучи давили на глаза, на стекла окон, словно некое поручение было в их светоносности.

Спустя время после его смерти жена Ильи Ивановича попросила моей помощи. Она сначала позвонила, зазвала в дом, «нет, нет, поверьте, мне необходимо поговорить с вами здесь, у нас дома. Я вас очень прошу»,— и когда я пришел, показала мне в шкафу немалую числом одежду Ильи Ивановича, попросив сдать ее в комиссионку. Она открыла створки одного и второго шкафа — я и был зван, чтобы видеть, а не только слышать. Одежды было не слишком много, но все же немало: один костюм, две куртки, отдельные две пары брюк, джинсы, несколько белоснежных сорочек,— все, что имеет наш инженер. Илья Иванович большую часть времени последних четырех лет провел либо в больничном халате, либо дома, в теплом домашнем свитере: он не выносил своей одежды, она была в отличном состоянии. И, конечно, я понимал, что надо выручить за оставшееся какие-то деньги, ибо кормилец *заглавный*, как говорили в старину, помер.

Мне не хотелось идти к продавцам. Я вполне мог понять, что сын, куда более плечистый, чем Илья, ни носить, ни сдавать на перепродажу «барахло» не станет. Оставив свой танк, он приехал и был на похоронах десять дней. Забот у него было достаточно. Тоже понятно. И было бы неприятно думать, что в эти десять дней сын понес вещи отца в комиссионку, даже если он понес молча, даже если угрюмо. Но сын уже уехал, и жена, на мой взгляд, спустя время, могла бы сделать дело сама. Если жена, или даже бывшая жена, решила вещи умершего снести в магазин, она сумеет снести их сама, лишний раз дотронувшись до рукавов его одежды, до гладкой изнанки его карманов теплой рукой. (Так подумалось — ведь правил нет, и только внутреннее чувство нам в каждом таком случае что-то глухо нашептывает.) Но едва я заикнулся, мол, мне, как и вам, к продавцам идти не хочется, она вскрикнула:

— Как вы можете?! — и выскочила за дверь его комнаты, вся полная гневом и болью.

Возможно, я сделал какой-то промах. Возможно, тут тоже была ранимость, которой я не угадал. Бывает.

Я согласился. Точнее сказать, уже после ее вскрика я знал, что я соглашусь. Я остался сидеть один на один с его шкафом, распахнутым на одну дверцу, нет-нет и поглядывая на свисавшие параллельно рукава пиджака и рубашек. Посидел, вздохнул и помимо воли подошел ближе, был рядом еще и маленький шкаф, где его брюки и джинсы.

Я вынул в один прием, ворохом, и хотел кинуть на диван. Но передумал, надо быть спокойнее. Повесил вновь. И стал вынимать на тремпелях, на «плечиках», как говорили у нас когда-то,— вынимал, вертел на тремпеле туда-сюда перед глазами, оценивал и, если считал, что годится для комиссионщиков — приблизительно, разумеется, как я еще мог оценить! — складывал на диван.

Там, на их кухне, я услышал ее шаги и льющуюся воду: быть может, в чайник для чая, но, быть может, в стакан для успокоения. Я догадался, что она сюда уже не войдет — это я должен пойти, извиниться и сказать, что я согласен.

Я знал, что извинюсь, что ходов мне тут больше нет, но какое-то время я что-то в себе преодолевал. Перебирая его вещи, я старался его видеть. Ведь в последний раз. Вспомнил, как в этом костюме и с этим галстуком он обычно собирался в школу, озабоченный уроками сына. А в этой куртке где я его видел? ага! у них дома, за шахматами! В этой (или в такой же) сорочке он выходил на балкон покурить. Прокручивая видеоленту назад, я неспешно собирал его живого, воссоздавая, насколько возможно, с помощью пиджаков, и брюк, и сорочек кусок за куском жизнь. На какое-то время здесь же, в комнате, в которой жил, Илья Иванович задвигался, прошел близко, усмехнулся. Сверкнули его глаза.

Теряя темно-золотой цвет копчения и становясь все белее, возвращались из небытия (из коптильни) очищенные полутуши. И вот с обратным мельканием проскочив распил, туша из разделенных кусков воссоединялась. Миг — и единая. Целая. И тут же стремительно ее начинали набивать ловкие человечьи руки — вталкивались легкие, пара почек, желудок, связки кишок, огромная печень, влетало еще более стремительно на свое место сердце. Все органы размещались удивительнейшим образом точно, плотно, без малейшей подгонки и без ощущения тесноты — все на местах. Теперь, начиненная полностью, туша нырялa в станок и была там довольно быстро одеваема. Словно бы лежа, юнец натягивал на себя тесные брюки, точнее, комбинезон с рукавами, так или почти так на голую тушу натягивалась ее собственная, прилетевшая откуда-то с верха видеоэкрана шкура. И в строгом соответствии с законом (с обратностью закона) учетное клеймо с туши вмиг испарилось, исчезло, а пар, теплый, живой пар туши, стоявший облаком, втянулся прямо на глазах весь под шкуру.

— Минус две секунды. Верно? — сказал-спросил голос Батяни. Сейчас проверим. Да, две. Две, но почти три...

Появилась коровья голова — ее подбросили снизу, как мяч, лови! — успевшая в конце полета обрасти щеками и губами, успевшая вновь начиниться сгустками мозгов коровья голова, безлико смотря, вдруг замерла: тут в нее разом вклеилась пара глаз. Взлетела следующая голова — еще пара глаз. Происходило тотальное награждение зрением: они прозревали. А первая голова доползла по ленте конвейера уже до самого края и вдруг снялась и полетела к туше — человек в комбинезоне успел сделать там надрез, показывая, как ей в полете

нырнуть и куда пристать. И коровья голова точно выполнила маневр. Срослась.

— Плюс секунда,— голос Батяни.

И голос инженера-техника, который корректировал на своем компьютере:

— Плюс полторы.

У корыт началось обратное вливание крови, тело коровы накачивалось кровью до предела. Нельзя было оставить в корыте ни капли. Последняя струя, втягивая красные брызги и кляксы, вползла в вену, и тут же обратным, но тоже резким движением надрезальщика ткань начисто соединилась: сшилась без шва. И вот на цепях — задним ходом — висящие вниз головой, целехонькие, одна за одной отходили коровы: отраженное стадо уходило в неведомый им пока путь.

Началось их вознесение на второй этаж (это когда под ними подломился пол) — они возносились, взлетали по наклоненным половицам, пока половицы под ними не сомкнулись, пол стал горизонтален, и на строго горизонтальной поверхности все коровы улеглись, да, легли все до единой; и только тут началась электропляска их воскрешения. Как вихрь. Скачки, буйство тел, судорожный перепляс воскрешенных, взлетанье на метр-два над полом, вправленье передних и задних сломанных ног, преодоленье раскоряки убиваемого тела, мотанье рогами — и рев, рев!.. а затем тишина. Тишина. Медленное шевеленье, и вот расстановка рядами, бок о бок — коровы стояли, почти не задевая друг друга. В какой-то промельк секунды они обрели жизнь, и с жизнью — сразу порядок. На земле живут только так. Жизнь возвращена. И человек в желтом комбинезоне, с одной помочью через плечо, медленно отходит от рубильника. Человек отводит от рукояти рубильника свою руку. Рука еще протянута, словно бы устремлена вверх — человек-вождь приветствует их новую начавшуюся жизнь.

И сразу же уползает в сторону створчатая стенка бокса, и изо всех боксов одновременно ожившие коровы медленно выходят задом, пятясь и пятясь назад, с тем же смирением в круглых глазах, с каким они шли вперед, на убой.

Эта партия буренок где-то успела обрасти рогами. И ушами. Ускользнуло,— думал командированный. Надо выгнать на левый экран дисплея боковой конвейер и проследить. Особенно важны (и плохо контролируемы) потерянные секунды на стыке конвейеров. Итак, омовение...

Омовение, но, разумеется, с обратным эффектом: чем более пузырилась вода, чем более радужны и чисты были мелкие струйки, упирающиеся в бока и ребра, взлетающие поверх рогов и фонтанирующие, тем более возвращался на бока коров их помет с бетонного пола, дорожная пыль и грязь, тем более приставала, прилипала к бокам и к вымени ломкая солома, листки травы. Молодые женщины в косынках оглаживали коров обратным движением рук, словно бы против шерсти, но мягко и по-доброму, по-человечески.

И вот, пятясь задами, сталкиваясь крупами, они стали подыматься бетонными коридорами и выходить на скотопригонный двор. Искаженные, обратно произносимые, зазвучали забытые матерные ругательства. Потом «Тьег! Тье-е-э-г!» («Геть! Геть!» — фонограмма тоже прокручивалась теперь в обратном порядке) — и под стихающие крики и мат ожившие коровы расставлялись там и тут: они с хрустом жевали брошенную им траву, солнечные лучи лежали на их боках, шмель летел, это была сама жизнь, и великая ложь того, что человек может создать, как и разрушить, живое, источалась видеоэкраном. Качество изображения было прекрасным, и бегущая строка сообщила о начале отсчета секунд: о сотворении мира.

7

Человек может считаться оставшимся, только когда он пробовал уйти.

Старый, хотя и редкорастущий кустарник — большое в степи подспорье. Стена ограждения была уже далеко позади, а командированный все более углублялся в степь. Ночь как ночь. Он быстро отыскал сухой куст, безлистный, крепкий, вырубил его (прихваченным топориком), затем порубил мелко. Костер занялся. Костер потрескивал. Командированный отошел от его жара и смотрел в темное небо, ища меж застывших огней звезд движущуюся огневую точечку пролетающего вертолета. Красно-желтый шмель,— подумал он, вспомнив оживших на экране коровенок на скотопригонном дворе.

Теперь следовало запастись терпением. Нет смысла вскидывать глаза к небу каждую минуту. Отойдя в сторону и томительно расхаживая взад-вперед, командированный случайно перевел взгляд и за кустарником, левее, увидел огонь, такой же недвижный, как и его собственный. Несомненно, огонь еще одного костра. Он вздрогнул, ведь костер горел совсем недалеко, быть может, там сотоварищ (но быть может, какая-то патрульно-охранная служба?). Секунду он размышлял. Разумеется, его костер уже тоже замечен. Так что стоит рискнуть и пойти туда самому... Он пошел. Он сделал по степи крюк и приблизился, сначала осторожно, потом смелее — у костра был один человек; стало быть, не патруль.

Командированный, подойдя, поздоровался, назвал себя. Человек у костра также назвался: да, он тоже сюда командирован, да, тоже живет в гостевом домике за стеной, на территории комбината, но только с восточной стороны. Почти ровесники, они оба прибыли сюда из столичного города — такие вот схожие судьбы, существенная разница была лишь в том, что сотоварищ жил здесь уже давно, около полугода...

— Тоже надеетесь, что кто-то прилетит? — спросил молодой командированный.

— Да. Разумеется. А на что еще надеяться? — ответил тот.

Молодой командированный спросил: неужели за полгода ни один вертолет не пролетал мимо?.. Тот только пожал плечами, мол, как это узнать. Какие-то огоньки по ночному небу двигались. Но редко. Потом он сказал:

— Есть и больше меня ждут. Уже год ждут и больше года.

Он показал рукой:

— Вон. Посмотрите туда...

Вдалеке были видны еще два костра.

На следующую ночь, разжегши свой костер и добившись на время стабильного горения, он пошел к другим кострам — костры жгли, как выяснилось, не только командированные, жгли и работающие на комбинате, уже отчасти тяготившиеся своей работой. Среди жегших костер был даже один доброволец.

Говорил он с ними о том же — о надежде. С напором, свойственным новеньким (новые люди всегда настаивают на объединении усилий), молодой командированный пытался их объединить — не проще ли всем вместе, если все они, спеленутые судьбой, столь схожи своей целью и своей надеждой,— не проще ли разжечь огромный большой костер?.. но нет, оказалось, не проще. Его убедили. Именно россыпь огней может побудить вертолетчика изменить несколько курс и поинтересоваться, что тут за ночные огни и почему. А один огонь — всего лишь один огонь. Мол, кто-то в степи забрел далеко и греется. Нет уж — каждый должен развести свой огонь, и поддерживать, и надеяться. Здесь были уже те, кто многое перепробовал и ждал не первый год. Им можно было верить.

Он уже привык видеть другие костерки, то близко от своего, то поодаль. Он привык слышать среди ночи редкие крики степных птиц.

— Приятно вам кушать,— говорил он, проходя мимо костра, где сидел тучный мужчина; это и был разочаровавшийся доброволец из второго цеха.

— Спасибо. Садитесь тоже. У меня вкусно запеклась сегодня картошка.

Присев рядом, командированный разговаривает:

— Не скучаете один?

— Скучаю?.. Пожалуй, нет. На огонь смотреть приятно.

Часто попадался ему среди ночи семейный человек, суетливый, с охапкой хвороста в руках. Семейный человек шел зажигать свой костер, он всегда опаздывал и бранил жену, которая заспалась и не разбудила среди ночи вовремя. Он же просил разбудить его пораньше!.. У него больные ноги (он один из загонщиков в боксы, он загоняет быков, а это вам не коровы! ноги оттоптаны на десятилетия вперед!), но и с больными ногами он идет зажигать.

Молодой командированный присматривался к ним, но видел все то же: люди, обычные люди. Они просто ждут.

По сути у всех было одно — они не могли разорвать сложившийся механизм своей привычной работы на комбинате, не могли себя переустроить. Неплодородный слой. И пуститься в степь наугад они тоже не могли.

Но ведь надеяться они могли.

Некоторые у костров спали. Их можно понять, днем они работали, так что среди ночи, если человек устал, у костра долго не посидишь — сомлеешь, уснешь. Но он узнал ее спящую — она дремала, завернувшись в платок.

Он тихо разбудил Олю:

— Вот-вот костер погаснет, а ты спишь!..

Она обрадовалась. Сказала, что у нее есть с собой молоко — не хочет ли он выпить?

— Тоже ходишь жечь ночью костер? — спросил он.

— Редко. Иногда...

— А зачем?

— Не знаю. Все ходят. Значит, надо и мне иногда пойти и жечь огонь.

Один из глушильщиков как раз собирался у своего костра поспать. Лицо его было знакомо по видеоленте, где он тыкал пикой-электродом в языки агонизирующих коров, отчего сыпались пучки искр. Нам воздается. Сновать весь день меж дергающихся огромных туш — дело тяжелое.

— Мне казалось, тебе нравится твоя работа,— сказал он глушильщику.

Тот плотнее завернулся в тулуп. Бросил в костер ветку. Зевнул.

— Временами нравится,— ответил.

— А потом хочется отсюда уйти?

Тот опять зевнул:

— Разве здесь уйдешь! Степь да степь...

Командированный присел у его огня. Да, зевает. Да, устал. Но ведь тоже ждет.

Так что следующая встреча (после глушильщика; в ту же ночь) не была слишком неожиданной. Подходя, он увидел, что человек, сог-

нувшийся возле своего костра, дергается телом. Человека рвало, вероятно, болен.

— Подбросьте несколько веток, пока я прокашляюсь! — с трудом выкрикнул человек и, вновь скорчившись, мучился, отхаркивал сукровицу.

Командированный узнал его уже по голосу, а когда тот прокашлялся и, наконец распрямившись, сел напротив, командированный убедился вполне, увидев морщинистое волевое лицо: Батяня. Конечно, можно было ни о чем не спрашивать. Можно было поговорить о ночной сырости, справиться, давно ли такой кашель. Но ведь Батяня радел за производство: он так боялся, что информация расползется или утечет случайно — и он жег костер.

Командированный сказал:

— Вы-то зачем хотите отсюда улететь?.. Уж вы-то отлично знаете, что, куда бы ни уехали, всюду с вами будут коровьи головы, ползущие по конвейеру, и куски бифштекса с хорошо отбитым привкусом крови. Везде в мире люди едят одно и то же.

Батяня (он еще отирал после кашля лицо) ответил:

— А если мы улетим в иные миры? Вдруг где-то еще есть кислород?!

И хитренько засмеялся:

— Э, нет!.. Надо надеяться, всегда надо надеяться,— главное, чтобы огонь горел, а смотрите, какой у меня замечательный огонь!

Он сказал с гордостью. Костер у него, и правда, был неплохой, но хворост не порублен и вокруг непорядок, сучья и недогоревшие головешки валялись где попало.

— Э, нее-еет! — повторил. Глаза его заблистали: — Надежда есть всегда.

Командированный спросил:

— Но если все-таки сказать людям правду, набраться мужества и сказать — и пусть хотя бы на один краткий миг люди сами себя увидят?.. Ну, хотите: я собой рискну. Пусть меня объявят сумасшедшим. Пусть изолируют. Вы можете всюду обо мне кричать, трубить, что я клеветник и прохвост!.. Но клеймя меня, тем самым назвать все-таки все слова правды — быть может, это принесет пользу?!

— Нет. Никакой,— ответил Батяня уверенно.

— Но почему?

Батяня уже вполне оправился от приступа. Он помешивал угли в костре. Потирал зябнущие руки. Он вздохнул по-доброму, по-домашнему:

— Эх, голубчик!.. Голубчик ты мой.

Поражало само количество ждущих: вдали целая россыпь огней.

Он спрашивал у человека возле костра — а что, если нам все-таки поразмыслить вместе? ну, хоть какой-то опыт ожидания собрать.

Тот только пожимал плечами.

Он вновь спрашивал:

— Но вы видите огни пролетающих вертолетов?

— Да. Но очень далеко.

— И только в ясную ночь?

— Да. Если туман или просто сумерки, уже ничего не видать.

Он спрашивал о соседях:

— А кто там жжет костер?

— Не знаю толком. Кажется, там старик. Я в прошлом году с ним общался. Старик разжигает костер всегда на одном месте. Правда, сейчас костер немного сместился...

— Может, старик умер?
— Едва ли. Он очень характерно разводит огонь — я уже знаю
его костер. Очень низкий дым. С другими дымами я не спутаю.
Но когда командированный подошел к тому костру, он увидел
умершего человека; возможно, только что умершего. Костерок с
низким дымом еще горел; понемногу затухал, но горел. Умерший лежал чуть в стороне, завернувшись в одеяло. Незнакомый старый чело-
век с совсем седой головой. (Вероятно, надо сообщить о его смерти.)
Рядом мешок из плащовки, нехитрая еда, запас воды во фляге —
он, кажется, собрался углубиться со своим костром подальше в степь.

До известной минуты молодой командированный и вообразить не
мог, что вокруг столько надеящихся и ждущих. (Что столько костров
можно увидеть среди ночи, если пройти к кустарникам.)
Теперь он понимал, что это целый мир. Он вдруг почувствовал, что
он остро завидует им, завидует не их кострам — у него такой же! —
но их спокойствию возле костра. Казалось бы, трезвость мысли как
раз у него, у молодого, умеющего взглянуть со стороны, а у них, мол,
суета сует. Но все не так просто. Оказывается, они спокойны. О, как
они спокойны сравнительно с ним! Они велики, многочисленны и спокойны.

Юрий Левитанский

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Предзимье

(попытка романса)

Я весть о себе не подам,
и ты мне навстречу не выйдешь.
Но дело идет к холодам,
и ты это скоро увидишь.

Былое забвенью предам,
как павших земле предавали.
Но дело идет к холодам,
и это поправишь едва ли.

Уйти к Патриаршим прудам,
по желтым аллеям шататься.
Но дело идет к холодам,
и с этим нельзя не считаться.

Я верю грядущим годам,
где все незнакомо и ново.
Но дело идет к холодам,
и нет варианта иного.

А впрочем, ты так молода,
что даже в пальтишке без меха
все эти мои холода
никак для тебя не помеха.

Ты так молода, молода,
а рядом такие соблазны,
что эти мои холода
нисколько тебе не опасны.

Простимся до Судного дня.
Все птицы мои улетели.
Но ты еще вспомнишь меня
однажды во время метели.

В морозной январской тиши,
припомнив ушедшие годы,
ты варежкой мне помаши
из вашей холодной погоды.

* * *

...Пять лебедей у кромки Рижского залива...

...В том теплом и бесснежном январе...

Мы с дочерью. Мы с ней почти одни.
Семнадцать дней. Два грустных пилигрима.
Два путника беспечных и счастливых.
Почти одни на опустевшем побережье.
Мы кормим чаек. Мы бросаем им
остатки наших пиршеств королевских.
А за спиной у нас большой прозрачный дом,
где дышут морем деревянные ступени,
и пахнет хвоей, пахнет елкой новогодней,
почти осыпавшейся: вновь напоминая
о том, как быстро все проходит в этом мире.
Ах, дочь моя, Корделия моя,
все скверно в нашем бедном королевстве,
и мы с тобой так сильно жаждем чуда,
что, видно, уж нельзя ему не быть...

Так вот,
когда мы приходим к морю последний раз,
чтобы с ним проститься,
и, как велит обычай,
швыряем в воду монетки,

готовясь уже уйти,—
именно в этот момент,
взявшись невесть откуда,
возникают они перед нами,
такие нездешние
в величавой своей отрешенности,
в отстраненности ото всего,
что нас окружает,
и проплывают медленно перед нами —

пять лебедей у кромки Рижского залива,
пять белых птиц, как пять надежд, пять обещаний,
пять нотных знаков, пять легчайших звуков,
начальных звуков нисходящей гаммы,
где первый по ранжиру — лебедь До,
а дальше лебедь Ре
и лебедь Ми,
и Фа и Соль,
два малых лебеденка,
и то, что не хватало Ля и Си,
сама незавершенность этой гаммы,
она-то и была, как обещанье,
намек на что-то,
что должно свершиться —
что минет срок,
и гамма завершится,
и в некий час
раскроется Сезам,
и сбудутся все наши ожиданья...

Спасибо всем обычным чудесам,
дарующим надежду!
До свиданья,
до встречи, До,
до встречи, Ля и Си!
По сути, нам совсем немного надо —
всего пустяк — была бы лишь надежда.
Покуда есть надежда — можно жить.

Маугли

Когда меня спрашивают,
как же это случилось со мною,
как мог я не понимать
и не видеть,
когда все это так понятно,
так просто
и очевидно,
я отвечаю —
перечитайте, пожалуйста, этот роман,
там все обо мне рассказано
точно и достоверно...

Я Маугли,
выросший в джунглях,
прилежный воспитанник
волка Акелы,
пантеры Багиры,
усатого тигра Шер-Хана,
впитавший в себя с молоком
их законы и нравы,
их воздух,
их веру —
как я мог догадаться,
что бывает иначе,
что существуют иные законы,
иные понятья о зле,
о добре
и о прочем!
Я Маугли,
слишком поздно, увы,
выходящий из джунглей,
унося в себе,
как заразу,
их дыханье,
их застоявшийся воздух,
пропитавший собою меня,
мою кожу
и душу.

Зеркало

В странствиях своих
по Сибири,
по сибирскому югу,
по древней земле хакасов,
я обнаружил однажды
в местном музее
латунное зеркало,
найденное при раскопках
в здешних курганах,
принадлежавшее некогда
правителям из древнейших династий
Тан, Сун и Мин,—
латунное зеркало,
сохранившее
на обратной своей стороне
хорошо различимую надпись:
«Спрашивал Конфуцзы:
— Почему весел?
Отвечал Юн Ци-Ци:
Потому что человек,
мужчина
и живу».
Это была философия
мудрая и простая,
настолько заманчивая формула
веселья и оптимизма,
что долгие годы потом
я старался,
насколько возможно,
следовать ей
и жить в соответствии с нею.
...Ныне,
когда веселье мое
по понятным причинам
убывает
все боле и боле,
я спрашиваю себя временами
с тревогой:
— Почему невесел?
И хватаюсь,
как за соломинку,—
за последнее это —
живу! —
полагая, что в нем,
в конце концов, тоже
есть некоторое основанье
для веселья
и оптимизма.

* * *

...и уже мои волосы — ах, мои бедные кудри! —
опадать начинают,
как осенние первые листья
в тишине опадают.
Дух увяданья, звук опаданья неразличимый
исподтишка подступает,
подкрадывается незаметно.
Лист опадает, лес опадает, звук опаданья неразличимый
в ушах моих отдается подобно грому,
подобно обвалу и камнепаду,
подобно набату.
Катя, спаси меня! Аня, спаси меня! Оля, спаси меня! —
губы мои произносят неслышно —
да нет, это листья,
их шорох, их шелест,
а чудится мне,
будто я говорю,
будто криком кричу я.
Лес опадает, лист опадает, падает, кружится
лист одинокий
мгновенье еще,
и уже он коснется земли.
Но — неожиданно, вдруг, восходящим потоком
внезапно подхватит его
и несет,
и возносит все выше и выше
в бездонное небо
и — ничего нет, наверно, прекрасней на свете,
чем эта горчащая радость
внезапного взлета
за миг до паденья.

Анатолий Приставкин

РЯЗАНКА
(человек из предместья)

РОМАН

СМЕРТЬ СТАЛИНА

В тот пятьдесят третий год, когда он умер, я уже служил в армии, иначе бы, подобно другим, кто жил в Москве и предместье, я неминуемо бросился бы на похороны.

Ведь пробивался же я к нему живому на Красную площадь! Даже без билета!

О том же, что тогда творилось в Москве, я узнал чуть позже из рассказов своих близких, тех, кто пережил и смог на себе почувствовать, каково же оно было.

У меня хранятся два письма, я нашел их совсем недавно, во время переезда из нашего дома в Ухтомской.

Когда моя сестренка получила квартиру, она позвонила и попросила приехать: «Там, в сарае, твои бумаги, посмотри, может, что-то тебе нужно».

Вот тогда, открыв тетрадь с записями по политзанятиям, я обнаружил эти письма. Одно письмо от руководительницы нашего драматического кружка в клубе «Стрела» Марии Федоровны Стрельцовой. В прошлом она была актрисой. Частенько писала мне утешающие письма в часть, где я служил.

Это письмо, с размашистым почерком на одну всего страницу, было послано в пятьдесят третьем году.

«Милый Толя, здравствуй! Получила твое письмо, сразу же хотела ответить, но тут случилось это горе, это наше общее горе. Нет слов, нет мыслей выразить его, разве только без конца повторять: «его нет, нет, нет!» Ты знаешь, что делалось в Москве! Все стремились пройти к нему в Колонный зал для прощания, но многим так и не удалось. Поезда в эти дни шли мимо всех станций, иначе люди затопили бы Москву. Вот уж неделя, как его нет, но ощущение такое, что это неправда, он живет среди нас, все, все о нем напоминает. Он столько сделал, что ни на секунду не забудем его и никогда не сможем сказать: «Он был», а «он есть», и есть во всем: в работе, в личной жизни, в искусстве. Вчера еще раз смотрела кино «Клятва», и весь зал плакал, но он был как живой среди нас. Толя, милый, пока не могу ни о чем писать, наши кружковцы все подавлены, но я приезжала все время к ним и старалась поднять их дух и еще больше работать. Работать, как учил он...»

А вот второе письмо, уже от сестренки, она тогда была подростком, лет шестнадцати. Наверное, оба письма я получил в один день, оттого они оказались среди бумаг вместе.

«Толик, здравствуй! Я тебе вчера написала письмо, но написала не все, что хотела. Я хочу написать, как я с девочками поехала в Москву, в Колонный зал. 7 марта в четыре часа утра (с первой электричкой) мы поехали в Москву. Можешь ли ты представить, сколько было народу? Мы шли пешком до центра, но дойти можно было только до середины Кировской. А около Дзержинки цепочкой стояли грузовые машины, а около них солдаты, взявшись за руки. И вот на эти цепочки, прямо на них, шла лавина людей. Знаешь, что делалось? Люди давили друг друга. А на площади столько валялось калош! А потом задавили одну бабушку. Она упала и не успела подняться, а люди сзади напирали, ну ее и смяли.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 3 за 1991 год.

Я через эту бабушку перекувырнулась и стукнулась головой о мостовую. Меня девочки увели, а бабушка — насмерть. В этот день мы еле домой добрались поздно вечером. А 8 марта мы снова поехали с утра, а днем уже не ходили электрички. Мы поехали с дядей Мишей. Этот дядя Миша повел нас какими-то дворами, где мы только не были. Мы лазали под ворота, карабкались на забор, прыгали с каких-то крыш, прорывали цепи солдат, а потом ползли под машинами, а некоторые через машины, кто как сумел. Знаешь, как уговаривали солдат! Мы думали, что пройдем одну преграду, а там уже без препятствий до Колонного. Не тут-то было: через каждые сто метров преграды, да еще со всех сторон... Мы дошли, верней, дорвались до одной площади, а тут простояли несколько часов, уговаривали командиров. Мы им надоели, и они разрешили перелезть через машины. Мы перелезли и очутились в окружении военных. И дальше ни с места. Я даже не помню, как мы добрались до дома, ничто не ходило: ни автобусы, ни машины... Мы ревели, что не попали в Колонный зал. А еще с нами 7-го числа ездила одна девочка из нашей школы, в Москве она от нас отстала и потерялась. Когда мы вернулись домой, пошли к ней узнать, может, она прошла в Колонный зал. Оказывается, ее еще нет, она не приезжала. Через два дня мы поехали ее искать. Где мы только не были, из одной милиции нас направляли в больницу, потом в другую, в третью, и везде лежали пострадавшие, но нигде ее не было, а потом в морге ее нашли. 13 марта ее похоронили. Вот'и все. До свидания, Люда. 14/III—53 г.»

Сохранился у меня рассказ, записанный со слов моего друга Димы Рогашева, о том, как он хоронил Сталина.

Но прежде о Диме, дома его звали Димок. Он младший брат Лемарэна (Ленин-Маркс-Энгельс, такие были у них идейные родители!), с которым я учился в техникуме. Учился он в военно-музыкальной школе, которая по странному совпадению размещалась в том самом доме в Томилине, где в войну был наш детдом. И даже жизнь, о которой рассказывал Димок, была похожей. Тот же голод, те же дикие нравы.

А вот и сам рассказ Димы о похоронах Сталина. «В 1952 году закончил я I московское училище (школа) музыкальных воспитанников Советской Армии (Томилино). Мать не могла меня прокормить, отдала в эту дшколу. Да я не жалею. Вышел музыкантом-баритонистом и при распределении, единственный, попал в образцовый оркестр Высшей военной академии генерального штаба имени К. Е. Ворошилова. Академия находилась рядом с крематорием, играли на похоронах разных видных деятелей, лично видел, как хоронили Шкирятова, Мехлиса, многих других. Нас приводят, а там кто-то лежит... Вокруг родственники, близкие, друзья. А потом столик с телом проваливается вниз, а мы играем гимн Советского Союза и пешочком топаем домой. Ты приглядись, у меня от долгого держания баритона (закрученная такая труба) с подросткового возраста плечо перекошено. С двенадцати лет таскал. А в нем килограмм шесть будет.

А пятого марта, значит, пятьдесят третьего года умер Сталин. В ночь на шестое нас погрузили на военные фургоны и повезли. Дирижер Кочепасов, капитан, из косимовских татар, объявил, что будем играть на похоронах Сталина, но это государственная тайна. А мы уж к тайнам привыкли, мы за это даже и надбавку получали: «за неразглашение секретов».

Какие секреты? Знали, например, где обычно в Театре Советской Армии сидит министр Василевский, а на юбилее Академии им. Фрунзе с маршалом бронетанковых войск Ротмистровым в туалете встретился. Наш оркестр находился в подвальном помещении академии, и удалось наблюдать, как по-спартански живут генералы, сейчас так и студенты не живут! Комнатка-келья на троих, без жен и без ординарцев, ездят на автобусе. А один раз лично видел, как генерал бежал за трамваем!

И вот Сталин.

Привезли нас в Дом союзов, площадь Свердлова была оцеплена. Ввели через Октябрьский зал, а потом на балкон Колонного зала. Там, на балконе, с пюпитрами рассадили, два метра от барьера. Если чуть приподняться, видно самого Сталина. В красном убранстве казался довольно большим, с усами, страшноватый, не скрою.

При жизни так близко никогда бы не смог я его увидеть. Но я сказал — ,,страшноватый'', это вовсе не от внешнего вида, а скорей от чувства, что это именно он лежит. Тот, кого все боялись. А вот мысль, что я присутствую, играю на похоронах человека, повинного в гибели моего отца, почему-то не возникала. Да и молод я был, чтобы судить его; семнадцать лет только исполнилось. Мой баритон пел ему вечную память.

На сцене играл симфонический оркестр, а когда он отдыхал, вступали уже мы. А потом снова симфонический, если заводил что-нибудь длинное, оставался один дежурный, а мы шли отдыхать в комнаты рядом, забитые военными и штатскими охранниками из войск МВД. Большинство офицеры — от лейтенантов до майоров. Расположившись вольно, в мягких креслах, спали, играли в домино. Кто-то закусывал печеньем с колбасой, запивая водой... Некоторые от безделья травили анекдоты и громко смеялись. Один, в штатском, особенно про баб травил, и наш капитан Кочепасов заметил ему: мол, неудобно в такой момент. Тот отмахнулся: ,,А иди ты, музыкант, подальше!'' А тем, кто из наших молодых ребят слушал всю эту похабщину, капитан потом всыпал по два наряда вне очереди.

Запомнилось, один в мундире спал на диване, сидя, из-под расстегнувшейся шинели видно было оружие: сразу с двух сторон пистолеты и нож.

Ночь с 5-го на 6-е отыграли, уехали, а потом еще была ночь: с 8-го на 9-е число.

Вечером 8 марта посетителей не пускали, осталась у гроба охрана, да подъехала запаздывавшая корейская делегация. На ночь у тела остались две грузинки-старухи в темном. Оркестр почти и не играл. Но всю ночь бодрствовал. Запомнилось: почему-то в эту ночь таскали ведра с бумагами. Что за бумаги, почему их надо было таскать ночью?

Утром, когда стали его выносить, мы исполнили шопеновскую сонату. Потом мы видели, как его грузили, и нас вывели, но дальше Площади Революции не пустили. Час или чуть больше проторчали на морозе, пока не провели к Палате мер и весов. Там нас ждал фургон. Настрой был нисколько не траурный. Одни говорили про то, как плакал Молотов, а Берия произносил: ,,Кто не слеп, тот видит...'' Но большинство спорило, дадут ли пожрать, потому что все изголодались, а в столовую мы опоздали».

Во время похорон Сталина я служил в армии, в Ростове Ярославском, который, в отличие от Ростова-на-Дону, называли так: Ростов-на-Болоте, и в момент, когда это произошло, я был на посту. В прямом смысле — охранял склады. Я тогда написал даже стихи, очень проникновенные, которые так и назывались: «Я стоял на посту...» В общем, о солдате, который на посту узнает о смерти любимого вождя, но не может заплакать, потому что слезы будут застилать глаза, а на посту нужно быть особенно зорким, чтобы не пропустить врага, который может пробраться к этим складам, где, конечно, хранится нечто такое, что даже нам, тем, кто охраняет, знать об этом никак нельзя.

Стоять на часах зимней ночью тяжко. Два часа напряженного внимания выматывают все силы. Особенно неприятны последние минуты, когда вот-вот должны появиться разводящий со сменой, а их ни в коем случае нельзя пропустить. За это наказывали. Так и торчишь на одном месте, не спуская глаз с темной подворотни, откуда они покажутся. И лишь тенью возникнут, надо закричать громко, даже грозно: «Стой! Кто идет?» А наш сержант Писля тогда ответит: «Разводящий со сменой». А я на это должен заученно произнести: «Разводящий — ко мне, остальные на месте». И сержант Писля ко мне подойдет, и, как положено по уставу, осветит себе лицо фонариком, хотя и так видно, что это не кто-нибудь, а наш сержант Писля, и уж потом подзовет к себе остальных. Произойдет смена караула. Мы встанем с Зиновием Куцером рядом, и я повторю, как молитву, все мои объекты, сколько с печатями дверей и сколько без печатей дверей и тому подобное, а Куцер повторит все это же. Сержант проверит с фонариком целостность печатей и уведет нас в караулку: меня и снятых с других объектов. Бросив шинель на деревянные нары,

засыпаешь мгновенно, как в яму проваливаешься. И кажется, что только смежил глаза, а тебя уже теребят и дергают за сапог: «Караульный! На пост! Живей, давай!»

Я бреду за Пислей на ватных ногах, одуревший, глухой ко всему, но я уже знаю, что это теперь на всю мою армейскую жизнь, а другой у меня не будет. Отстою, а как вернусь в казарму, они, не дав вздохнуть, зашлют в кухонный, самый тяжкий из нарядов, а утром на учебные занятия, да на строевые, и снова наряд... И снова караул...

А началось все с полевых учений, когда мы ставили противотанковые мины. Положили нас на снег, рядком, метров пять друг от друга, и велели копать в земле ямки. Попробуй-ка их зимой крошечной лопаткой откопать, когда землю ломом долбить нужно.

На мое счастье, под слежавшимся снегом обнаружилась готовая ямка, видать, осталась от прежних учений.

От радости, что не надо долбить, я полеживал да лопаткой ворочал, пусть издалека видят, что копаю. А тут ко мне направляются офицеры, двое: командир роты капитан Фурса, а с ним еще капитан — поверяющий.

О том, что он поверяющий, да еще из штаба округа, я узнал потом. Поверяющий замедлил возле меня шаг и сказал:

— А вот боец уже все сделал! Есть время поговорить.

Он приказал мне не вставать, а сам вместе с капитаном Фурсой присел на корточки и стал меня спрашивать.

Поверяющий спросил меня, что делаю, зачем нужна ямка и все такое. Тон обращения был непривычно мягок и дружелюбен. Мне показалось даже, что он и вправду не знает, чего мы тут копаемся, и я стал ему популярно объяснять, что копание мое непростое — минируем по заданию сержанта Писли это место, условно, конечно, но как бы по-настоящему, против войск противника.

— Какого же противника? — спросил поверяющий.— Какого рода войск?

— Да любого,— отвечал я, удивляясь, что он не догадывается, не знает элементарных вещей.

— Ну, а скажем, пехоты? — поинтересовался поверяющий.

— Конечно.

— Но мина-то у вас, кажется, противотанковая? — И он указал на круглую коробку, которая, на мой взгляд, была из-под кинопленки, но как бы изображала мину. О том, что коробка эта противотанковая, я както забыл. Теперь я вспомнил и сказал:

— Ну да. Она и пехоту, и танки может. Она все может.

Поверяющий, о котором я не знал, что он поверяющий, был явно лопух, я ничего не знал, а он подавно. Капитан же Фурсов рассеянно глядел по сторонам и нас будто бы не слушал.

— Вот как? Все? — удивился поверяющий.— А что же будет с танком, когда он наедет на вашу мину?

— Думаю, что разнесет на части,— с готовностью выдал я.

И поелозил по снегу. У меня стал замерзать живот, низ живота.

Да и надоело мне учить безграмотного капитана. Обратился бы он к сержанту Писле, тот бы ему все разъяснил. А нам не до мин в первые месяцы было, ведь бытует же солдатская поговорка: первый год служат за страх, второй — за совесть, а третий — кто кого обдурит! Так вот в первый год новобранцы ишачат за всю часть, а из нарядов не вылезают. Может, нам и рассказывали о минах, но я тогда в наряде был по кухне. А это наряд пострашней мины! Нужно тысячи масленистых алюминиевых тарелок перемыть, картошки вручную несколько ведер начистить, пол размером с футбольное поле продраить, а под финал залезть в горячий котел и, задыхаясь там от гари и пара, выскоблить его до белизны. А он белым-то не был и в день своего рождения!

Вот что мы усвоили, пока читали нам мины. Но ротный наш, капитан Фурса, торопился поступать в военную академию, и ему нужны были наилучшие характеристики. А для этого уже должен был теперь постараться я.

Я и старался. Только у меня замерзал живот, низ живота. А если быть совсем точным, замерзло такое место, которое не надо бы отмораживать, если я собирался на гражданке жить полноценной мужской

жизнью, иметь свою девушку. А я именно собирался все это делать. Да и вопросы были глупые, не стоили они того, чтобы отмораживать это место.

Он, например, спросил:

— А мотор у танка мина ваша взорвать может?

— Конечно, может,— отвечал я, поджимая ногу. Вроде бы стало теплей.

— А башню на танке? — спросил он ласково. Я вообще заметил, что поверяющий с каждым вопросом становился ко мне добрей и приветливей. Это меня и вдохновляло в моих честных ответах.

— И башню может!

— Ну то есть все может? — с восторгом спросил он.

— Все! Все! Как рванет, и к фигам! — сказал я.

Поверяющий восхищенно повторил за мной: «Рванет, и к фигам!» Я кивнул, поднял глаза на ротного и обомлел: лицо его, несмотря на легкий мороз, покрылось красными пятнами.

А поверяющий с легкостью поднялся и со словами: «Рванет, и к фигам»,— быстро пошел прочь, наш капитан бросился за ним.

А вечером меня вывели перед строем, еще вывели рядового Олехова и Зиновия Куцера, все из нашей роты, и капитан Фурса коротко, но выразительно объяснил, какие мы беспросветно тупые и ленивые, и неразвитые, и... И как нас надо учить, и уж он научит, на всю жизнь научит, так и знайте!

Он повернулся к сержанту Писле и сказал:

— Так научите же их! Да по-луч-ше! — и ушел.

— Научим! Лучше некуда! — с готовностью подхватил тот, поедая глазами спину начальства.

Вот тогда началась наша учеба.

Олехова, Куцера и меня погнали из наряда в наряд, да в караул, да по тревоге в поле ночью мины ставить, а утром на занятия, восемь часов строевых, и опять в караул, и опять в наряд...

Недели через две стало ясно, что нас изживают. Бессонницей, изживают нарядами, работой.

Если бы на гражданке такое случилось, можно, в конце концов, наплевать и уйти. На работу наплевать, на занятие, да на что угодно. А куда уйдешь из роты, если она тебе на всю солдатскую жизнь дана? Как, впрочем, и сержант Писля и капитан Фурса!

В «Теркине» помните: «Без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться, ни влюбиться он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф...»

Ну да мы с Зиновием Куцером хоть и слабаки, но здоровые слабаки, и руки и ноги у нас в порядке. А Олехов, крупный, увальнистый, добродушный Олехов, попал в армию с больными ногами. Уж как проморгала его медицинская комиссия, одному Богу известно. Но больные эти ноги особенно раздражали сержанта Пислю, который свято верил в порядок и медицину и не мог представить, что врачи тоже ошибаются.

Это он доказывал делом. После всяких на плацу занятий, длившихся восемь часов, он занимался отдельно с Олеховым, заставлял его бегать, маршировать, а то и ползать по снегу. Через весь плац туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, до тех, в общем, пор, пока не выдохнется и не ляжет пластом, даже подняться не в силах, поднимали его по приказу сержанта солдаты.

Были у нашего сержанта штучки и похлеще. Так, найдя в казарме окурок, он выстраивал роту, и с тем окурком в главе роты, с песнями, вскинув лопаты на плечо, как оружие, маршировали мы далеко за город, километров так за десять, рыли там глубокую яму и в ней «хоронили» окурок. «Мы живем не тужим, а кому мы служим: служим родине своей боевым оружием!»

Но коллективные наказания такого рода превращались как бы в развлечение, а значит, не были убийственны для наших душ. Другое дело, когда тебя отметили лично. Когда на тебя глаз положили. И не спускают, и следят, ловя каждую промашку.

Вот когда стоял я у тех складов в последнем своем карауле накануне смерти вождя и учителя и друга всех советских бойцов, я особенно отчет-

ливо понял, что не выскочить мне живым из этой петли, что затянули в два конца сержант Писля и капитан Фурса. Никак не выскочить, разве что ногу или руку себе прострелить из своего автомата! Да ведь из госпиталя вернут в ту же часть!

Был, был у меня позыв написать рапорт о переводе, хоть в армии такие рапорты ходу не имеют. Так ведь хуже не станет, если напишу я о том, что, проработав много лет в авиации, зная радиотехнику и телеметрию, могу я быть полезен по своей специальности, а не тут, в саперах, где лишь копать да грузить, других и знаний не надо.

В тот памятный день, когда моя сестренка переезжала в новый дом, а я рылся в своих бумажных архивах, наткнулся я на черновик моего рапорта. Прочел и поразился, насколько наивно звучат мои доводы. Да за каждой строчкой одно видать, что мне позарез нужно вырваться из этой части! «Караул! Помогите! Скорей! Скорей!» — вот лишь каких там слов не было. А должны быть.

Рапорты я свои подавал, как положено, по инстанции, то есть сержанту Писле. Думаю, что он ими просто подтирался. Никаких ответов я не получал и не ждал. Просто мне самому было легче от моей такой писанины.

И так до памятного дня смерти Сталина.

В тот день, на часах, я не укараулил появления разводящего. Хоть следил за темной подворотней, глаза таращил изо всех сил! Да сил-то уж и не было! Непрерывная гонка по кругу, без просвета, без времени на отдых, сделала свое дело, на какой-то миг, мгновеньице, я, видать, отключился, а когда пришел в себя, увидал, что стоит неподалеку сержант Писля со сменой и свирепо на меня смотрит. Ну, а я, как дурак, на него вылупился, таращу глаза и молчу. Это сначала. А потом с испугу как рявкну: «Стой, кто идет!» Он и в самом деле подошел ближе положенного по уставу. Рявкнул я, еще и затвором щелкнул, тоже с испугу, направив на него дулом в лицо свой заряженный автомат. Сержант Писля аж присел от страха. Потом-то опомнился и, сидя, мне кричит: разводящий, мол, со сменой, ты что, спятил, не узнал? И я тогда опомнился и велел ему подойти. Вот когда я осознал над ним единственный раз свою власть. А ведь и правда мог пальнуть, он же хоть какой-растакой, а не имел права без моего разрешения ко мне приближаться!

Ну, уж отшагивая следом за его широкой спиной в караулку, я все прикидывал, лениво, правда, сил не было всерьез переживать, чем теперь возьмет с меня за свой позор, испытанный на глазах у солдат? Не даст мне двух часов на отдых, как в прошлый раз? Он тогда заставил искать закатившийся якобы под стол патрон, а сам украл у меня патрон, положил в карман. Их сдают по счету, сверкающие патрончики, запихивая в высверленные гнездышки в квадратном куске дерева. Не надо считать, все сразу видно. А тут одно гнездо оказалось пустым.

Пока я извлекал патроны из рожка, он, видать, и сунул в карман. А сам приказал искать на полу. Два часа я елозил по этому полу. А через два часа он отдал патрон, с ухмылкой достав из кармана, а за грязную гимнастерку послал в очередной наряд. Куда? Ну, конечно, на кухню!

Но в этот день, помню отчетливо, мы вернулись в караулку, а Писля не доложил дежурному офицеру о моем чрезвычайном проступке. Промолчал. И поспать дал. Два полных часа. А когда снова поднимал, не руганью, не тычком нас будил. Да и вообще, будто не приказывал, будто просил: «Братцы... Пора, братцы, в караул!»

Вот тут мне и показалось, что я окончательно спятил, если мой личный враг Писля меня братцем называет! Но все разъяснилось, когда в караулку вернулся дежурный офицер. Проверяя нас, как полагалось перед выходом, он произнес, глядя в пол:

— Новость такая... Сталин умер. — И отвернулся, пряча лицо.

Ну, конечно, мы читали вслух бюллетени о его болезни, и они тоже были как гром среди ясного дня. Они оставляли нас в состоянии тревоги, беспомощного ожидания, но они не ввергали нас в ужас перед неотвратимостью, ибо речь шла не об обычном человеке, а речь шла о б е с с м е р т н о м вожде. И оставалась надежда: он не такой, как мы и как остальные! А значит, он н е у м р е т.

А он умер.

Я стоял во дворе базы, положив руки на автомат, чтобы они хоть немного отдохнули, и тихо плакал. Не помню, кого мне было жальче, себя или товарища Сталина, родного и любимого. Но именно от него пришло облегчение ко мне в эту безумную ночь, ведь я мог сотворить с собой что-нибудь, я уже не видел просвета в этой жизни.

Сержант бы добил, доконал бы меня все равно. Не добил, не стал добивать лишь потому, что умер Сталин. Значит, в день его смерти случилось что-то такое, что нельзя было меня добивать. Почему нельзя — этого я не знаю. Но я сам видел, что они, и Писля, и дежурный офицер, на это время становятся другими. Другой голос, другие слова, повадки. Даже по отношению к нам, отданным на заклание: Олехову, Куцеру и ко мне.

В казарме из репродуктора звучала траурная музыка, шла трансляция из Москвы. Нас не погнали, как обычно, на строевую, а посадили в ленкомнате и велели читать четвертую главу Истории партии, эту главу, мы знали, написал он сам, своею сталинской рукой.

А потом нас повели в столовую, но опять же без шума, без громких команд, а там, вдоль столов, ходили офицеры нашего полка.

Не успел «разводящий», так в армии именуют половник, проделать свой законный круг по десяти железным мискам, к нашему столу подошел командир части. Случай тоже, в общем-то, небывалый. Сам полковник Яковлев явился в этот день в столовую.

Говорили, что он отвоевал всю войну, имел множество наград, отличался независимостью суждений, упрямым характером и с низложением маршала Жукова тоже попал в немилость, из штаба был послан сюда, в захолустный гарнизон. Еще все знали, что полковник обожал «Василия Теркина». По этой причине в праздничные дни меня извлекали на три часа из какого-нибудь наряда и привозили в офицерский клуб на концерт. Мне вполголоса сообщали, хоть это сообщение и звучало как приказ: «Яковлев спрашивал... Будут ли сегодня читать „Теркина"?»

Я выходил на сцену в гимнастерке, наспех приведенной в порядок суетливым начальником клуба, и читал, в который раз, м о е г о «Теркина». Знал я всего Теркина наизусть...

Полковник Яковлев, я видел, сидел в первом ряду и вытирал покрасневшие глаза. Наверное, в такие мгновения он вспоминал войну, фронт...

А меня после бурных аплодисментов сразу же запихивали в машину и отвозили в роту, где с ходу нагружали работой покрепче, молча мстили мне за мое везение побывать на празднике в то время, как мои дружки вкалывают за себя и за меня! Слезы полковника Яковлева отливались мне вдвойне. Но он-то об этом не знал. Не мог знать.

Теперь он стоял возле нашего стола и смотрел на нас, в шинели, в папахе, покрытый изморозью. Мы, наверное, должны были встать, но он сказал: «Сидите», — продолжая нас рассматривать. И вдруг, обращаясь ко мне, спросил, я даже вздрогнул, как от удара:

— Что, рядовой... Переживаешь?

От растерянности, от испуга я не знал, что делать, как себя вести, отложить ли ложку, перестать ли жевать... Я поднялся, но сел, снова подскочил, в то время как мои дружки по отделению онемели, снизу вверх смотрели на полковника. Они тоже впервые видели его так близко.

— Да сидите же... Сидите! — махнул он рукой и мне, и остальным. — Я хотел лишь узнать... Как тебе служится-то... Теркин? Доволен ты службой? Или нет?

Теперь не только отделение, а вся столовая перестала греметь ложками, а офицеры выставились из-за спины полковника в нашу сторону. Все с любопытством ждали, что я отвечу.

А я сказал:

— Я вам рапорты пишу. Там все рассказано, товарищ полковник.

— Да? — спросил он, удивившись. — Я еще не прочел, но... Я обещаю. Сделаю все, что смогу.

И, резко отодвинувшись, ушел. И все сразу отодвинулись, я имею в виду офицеров, среди которых был, конечно, Фурса. Я увидел лишь

его налитый пунцовый затылок. Но и солдаты, те, что были рядом, как-то отчужденно молчали. Будто я и их подвел. Надо-то, как я понял потом, сказать эдакое бравое, и ото всех, и от себя, и не о рапорте. Да иди ты со своим рапортом! Знаешь куда? Так мне потом выразили свое отношение.

Случилось это 5 марта. А в конце апреля, перед самым Первомаем, я драил в штабе полы. Жизнь моя после того события не изменилась. Сперва шваброй, потом тряпкой вручную я выскребал каждую половичку, зная, что за мной с пристрастием наблюдает капитан Фурса. Он сидел тут же и делал вид, что работает, но я знал, что он не работает, а следит за мной. Зачем? Да по привычке, наверное. Характеристику в академию в этот год ему так и не дали, и он ходил злой, даже нас не замечал. Лишь раз, когда я встретил его во дворе казармы и бойко, стараясь печатать шаг, отдал честь, он прошел мимо, потом оглянулся и подозвал меня. Указывая на голову, где не оказалось у меня пилотки, произнес презрительно: «К пустой-то голове! Пройти мимо вот этого столба,— указал на столб,— и тридцать раз отдать честь». И ушел. А я маршировал, чеканя шаг, и приветствовал тот столб, и приветствовал.

Теперь тряпка моя дошла до пятачка пола, где стоял сапог капитана Фурсы. Я не мог, не имел права попросить его передвинуть ногу. И тогда я стал методично обмывать пол, едва касаясь сапога. Я кругами водил тряпку, изучив тот сверкающий сапог от подметки до голенища. И все рядом да рядом, тер да тер... Умоляя про себя этого столба хоть чуточку шевельнуть ногой!

И вдруг услышал прямо в свой затылок:

— Забываю сказать, рядовой... Поступил ответ на ваш рапорт...

Тряпка застыла в моих руках. Я смотрел на ненавистный сапог и ждал ответа. А Фурса наверху молчал.

Тогда я поднял глаза и встретился с его глазами. Он смотрел на меня, как и должен смотреть на букашку, которую мог бы раздавить, но почему-то еще не раздавил. Впрочем, еще раздавит. Глаза его были холодней космоса. Лишь нащупав в моем взгляде нечто, похожее на страх перед отказом сверху, и осознав всю глубину моего страха, он удовлетворился. Губы у него были красны, как у женщины. Сочные, капризные. Мои дружки по взводу утверждали, что Фурса пудрит лицо.

Он помедлил и — переставил ногу, освобождая для моей работы сухой пятачок пола. Этим он как бы давал понять, что пол-то, независимо от разговора, да и результата, который он еще выскажет, я должен домыть. Таким образом сам факт ответа на рапорт и сам рапорт приравнивались к чистоте этого пола. Вот когда я дотер последний сантиметр, капитан Фурса, не давая мне времени подняться, произнес небрежно, что рапорт мой удовлетворен и я перевожусь в другую часть. Не сегодня, конечно, но завтра, а может, послезавтра, когда оформят билет и продкормовые.

Не в силах описать, что со мной творилось.

Со мной, но и моими дружками по роте. В моей свободе они вдруг увидели надежду и для себя. Они вдруг поняли, что можно за себя бороться. Рассказывали, что после моего отъезда все бросились писать рапорта.

...А я с небольшим вещмешком добежал — это я уж точно помню, что я почему-то бежал, а не шел,— до станции, доехал до Москвы, потом сел на электричку на Казанском вокзале. Смотрел бездумно на весенние, в легкой пьянящей дымке поля, что кружили за окном, и ничего мне больше в жизни не хотелось.

Я знал, что будет передышка, будет дом, отец, сестренка... А потом я рвану на электричке до Кратова, до нашего клуба «Стрела», где Мария Федоровна Стрельцова и где на Первое мая обязательно наши дают концерт. Нет, нет, выступать я не стану, я и не вольный, гражданский, я лишь проездом... Но тем дороже появиться вдруг за сценой и услыщать возглас: «Господи! Да откуда! Да похудел как! Прям Теркин!»

Но помню, что я выступил. Меня опять упросили прочесть Теркина.

Я вышел, посмотрел в первые ряды (где мог бы сидеть полковник Яковлев) и увидел наших, из лаборатории, они махали мне руками.

Я тогда прочел: «...Шли однако. Шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один...»

Путь мой далее лежал через Москву, через мой Казанский вокзал, с его счастливыми знаками, блестевшими золотом ярче моих пуговиц, надраенных асидолом, в голубой, волжский город Саратов. Конечно же, в авиационную часть! Случай для армии просто невероятный, но я свидетельствую: он произошел в апреле 1953 года. А мой будущий командир, капитан Жуков, долго будет допытываться у меня, кто же в генеральном штабе у меня из близких. Ибо не только мой перевод, но и телеграмма была, а в ней приказ устроить и доложить, как я устроен.

А из Ростова, что не на реке, а на болоте, как мы выражались, пришло нескоро письмо. В нем писали о рапортах, что подали в нашей роте все до одного, а еще о том, что вскоре пришла разнарядка на поступление в военные училища, и многие ушли, в том числе ушел и Зиновий Куцер. А вот Олехов, на которого сильней всего и пал после разъезда гнев сержанта Писли, в училище, из-за своих больных ног, не попал. Он покончил с собой, застрелившись из автомата. Это случилось ночью, во время караула, возле тех самых складов, что мы охраняли в день смерти Сталина. Кстати, в письмах еще сообщали, что склады те оказались пустыми, ничего там не было. Это выяснилось по весне, во время уборки. Одни печати, оказывается, и были. А значит, мы охраняли печати да замки, так написали друзья.

ЦВЕТА МОЕГО ДЕТСТВА

Охватив взглядом привычный из вагона пейзаж станции Люберцы, которая, конечно же, изменилась с тех давних пор, не могла не измениться, я пытаюсь уловить то, что могло бы здесь еще быть моим, и с удивлением обнаруживаю: кое-что осталось.

Вокзальчик люберецкий остался, одноэтажный, каменный, это в нем мы согревались, пока ждали последнюю электричку, а Лешка Козяпин ел свои коврижки, запивая морсом.

Осталась и странная башня диспетчерской из белого силикатного кирпича в конце платформы, поражавшая меня с детства именно тем, что она не дом, а башня.

И даже мост над путями похож на тот, моей поры мост, хотя я знаю, что старый был у́же и короче, потому что и линий, всяких железнодорожных путей, было куда меньше.

А ходили мы по мосту на левую сторону за Рязанку, на кладбище и в поле, когда еще здесь не было никаких домов, а у нас с отцом тут, прямо у железной дороги, был крошечный участок, с которого мы по осени снимали по пять, а в лучшие годы по шесть-семь мешков картошки. Хватало почти на всю зиму.

В сорок третьем мы возвращаемся из эвакуации. Еще середина войны, еще за победным Сталинградом только в отдалении маячит Курская дуга.

Но враг отбит от порога столицы, отогнан, и мы едем домой. Это возвращение — наша маленькая победа.

Мы терпеливо выносим многодневную дорогу и лежим на нарах валетом, по десять человек в ряд.

Витька Свинковский, задирая ноги, орет, перевирая слова популярной песни: «О-держим победу-у-у, вернемся мы к де-ду-у!». У него, и правда, дома дед. Есть еще братья, но они воюют. А у меня нет никого. Тетка? Но где она, жива ли, и где ее искать? Я помню свой дом. Но может, и дома нет? Вдруг из окошечка узнаю Панки, и вот-вот будут Лю-

берцы. Я вскакиваю с нар, бросаюсь к дверям и кричу: «Люберцы! Смотрите, это же мои Люберцы! Мой дом!» Все будто напуганы моим криком и никак не могут понять, что мне от них нужно. Но я указываю на то, что видно мне одному: «Вот же, вот он! Вы видели? Вы же видели?»

Все кивают, хотя, конечно, никто ничего не видел, и сейчас мысли у всех о своих собственных домах. А я счастлив, ведь я-то и правда его видел в просвете за складами между перроном и длинным серым зданием товарной станции, свой дом, он стоит на своем месте, так же, как и стоял до войны.

Я вот написал, что вокзальчик-то одноэтажный остался, а он уже не остался; рукопись моя, пролежавшая в столе много лет, как и моя память, хранит следы времени. И уж после того, как было написано это, я попал в Люберцы на тот вокзальчик накануне разрушения. Десятки лет не ездил я тут и не сходил и вдруг оказался проездом, вышел из электрички и увидел, что вокзальчик сносят и что старые-престарые его стены доживают последние дни, часы.

А часы, станционные круглые часы, были сняты и брошены тут же, они отходили свой срок и вместе со зданием вокзала отданы на слом. Я чуть не споткнулся о них, валяющихся на боку, и замедлил шаг. Не каждый же день спотыкаешься о часы. Обошел их по часовой стрелке, потрогал треснутое стекло. Родненькие, сказал про себя, и у вас свой срок? Свое, считанное собой время? Я похлопал ладошкой по металлическому кожуху, и вдруг большая стрелка скакнула, отсчитав еще одну секунду. Теперь и впрямь последнюю.

Я зашел в зал ожидания, где коротал столько холодных ночных часов, возвращаясь с работы или с занятий. А еще прежде тут хватали меня с папиросами, за продажу поштучно, «на рупь пара», в левом углу и сейчас было видно небольшую дверь в милицейскую дежурку. Обыскивали, что было — отбирали.

Сейчас все было приготовлено к сносу. Но стояли деревянные скамейки, вытертые, вылощенные до блеска пассажирами за десятилетия, да часть стены у самого входа отвалилась, обнажив несколько слоев цветной штукатурки.

Я подошел, потрогал, ковырнул пальцем.

Какая же из них составляет цвет моего детства?

Геология времени на стене, я ее особенно пристально рассматриваю. Эта ли, буровато-зеленая? Или — ядовитая синька? На железной дороге отчего-то всегда тяготели к этим двум краскам. Ну, еще можно добавить желто-рыжую, а впрочем, этот цвет у них от грязи и от пыли как бы рождается сам собой.

Прошел я по цементному холодному полу из угла в угол, на скамеечку присел, поглядывая в сторону не существующего теперь буфета, где прыщавый Лешка Козяпин дожевывал свои коврижки.

Нет, не чувствовалось, не смотрелось. Даже к Лешке на этот раз не испытал я неприязни. Ну, ел и ел, что же в этом плохого. И я, был бы побогаче, обязательно нажирался!

Кстати, кажется, не кто иной, как Лешка, придумал возить на работу в стеклянной пол-литровой банке картошку для обеда. И все мы потом в таких банках стали возить, и в перерыве пусть холодную, с удовольствием ее наворачивали.

И еще случилось, что через неделю, когда возвращался я с могилы матери, увидел вместо вокзальчика только груду кирпичей. Клыкастый экскаватор с платформы из-за спины бывшего вокзальчика с грохотом и пылью таскал щебенку и грузил ее на открытую платформу. А далее, как никогда невиданно, вдруг открылась привокзальная площадь — и весь город со своими многоэтажками.

Наверное, был бы виден теперь отсюда и мой дом, если бы он существовал.

Дома этого теперь не существует. Но он навечно впечатан в мою память не только внешне, как вышел бы на фотографии, а высвеченный будто изнутри: с комнатами, коридорчиками, лестницами, чуланчиками, чердаками, подвалами.

Вот каков был этот дом: деревянный, двухэтажный, с палисадником, выходящим к дороге, которая была центральной улицей нашего города и называлась «Октябрьский проспект» и в то же время была Рязанской дорогой. Значит, Рязанкой.

А позади дома были огород и сад (не наши, конечно, а хозяйские), а за ними опять же Рязанка, но это уже — Рязанская железная дорога.

Мы обитали, зажатые двумя дорогами, двумя Рязанками, как лезвиями ножниц, и эта географическая подробность, наверное, важна для понимания моего детства.

Огород и сад, и помойка за огородом, где однажды я разыскал домовую книгу с десятью паспортами, ее потерял пьяненький домоуправ и выложил мне шестьдесят копеек «наградных», крошечный заболоченный прудик, среди лопухов и крапивы, и такая же крошечная горка на задах — все это оказалось невероятно значимым в моем, осваиваемом мной мире.

А впереди, сразу за палисадником, огромный одноэтажный дом с малопонятным названием «Нарсуд», где вечно толпился народ, но особый народ, он никогда нас, пацанву, не гнал, в худшем случае не замечал, а в лучшем — совал, чтобы разжалобить судьбу, дешевые конфеты-подушечки, в простонародье именуемые «Дунькина радость».

На задах нарсуда, а эти зады почти смыкались с нашим палисадником, стоял сарай, мы любили туда забираться. Там лежали грудами бумаги, в которые мы играли, бланки, марки и многое другое, такое же заманчивое.

А ведь чьи-то судьбы!

Справа от палисадника находился конный двор, повозки, фургоны для хлеба, в которых под решеткой всегда можно набрать сухих и сладко хрустящих корочек.

Тут много лошадей, и нас сюда тянет, особенно же тянет к огромному, лежащему посреди двора кристаллу соли, мы встаем на четвереньки и пробуем его лизнуть!

За конным двором крошечный домик, с золотыми шарами под окном. Там жили две тихие женщины. Они никогда с нами, то есть с моей семьей, не дружили и не общались, а если встречались у колонки, которая находилась против их дома, то молча смотрели, не здороваясь, глаза у них почему-то всегда были печальными.

Но вот я запомнил, после смерти мамы однажды они вдруг позвали нас с сестренкой домой и накормили. А с собой дали конфет: необычных, шоколадных, в синих ярких обертках!

Самым притягательным местом для нас, люберецкой ребятни, была Рязанка: я имею в виду главный проспект и шоссе.

К железной дороге ходить было настрого запрещено. Другое дело с родителями.

Вот мы возвращаемся с отцом из бани. В Люберцах есть своя баня, но мы почему-то едем из Москвы на электричке, видать, наша на ремонте. Очень весело мы доходим с отцом до дома, и вдруг он хватается руками за воздух и восклицает: «Ах!» — прямо помню, как он это произнес. «Ах! Сетку-то с бельем в поезде оставили!» И мама, глядя на нас, вздыхала: «Мои ротозеи, где ж я вам теперь белье найду?»

А папа, жестикулируя, кричит:

— Так ведь не догонишь! Поезд-то ушел!

— Ушел, — соглашается мама. — Но может, кто-то... Найдет?

— Кто? Кто? — кричит папа, а сам аж покраснел от конфуза. Дома и правда с бельем, видать, не шибко. Дают по талонам на мануфактуру.

Да еще все по талонам дают, и леб, и прочее.

Сейчас-то я знаю, что еще до моего рождения у нас была карточная система, и отец, вернувшись из армии в 33 году, застал мать и меня (мне два года) голодающими, в доме ни корочки хлеба. А он привез пудовый мешок с мукой, тем и спаслись. А вот сливочного масла я в детстве не ел, его и по карточкам не давали, а в 35-м, когда карточки отменили, масло появилось в коммерческом магазине, но было так дорого, что мы не могли его купить. А потом война, не до масла. А потом еще более голодное послевоенное время. Так что сливочное масло я впервые попробовал, на-

верное, году в сорок восьмом или сорок девятом. Но лишь попробовал, а уж вдоволь, чтобы на столе...

Вот какой странный разговор о тех временах в связи с бельем и ушедшим поездом.

Но и до сих пор выражение: «Поезд-то ушел!» — воспринимаю как отчаяние отца и молящий голос мамы, потерявших с этим поездом очень многое.

Зато следующее воспоминание светлей. И оттого, что лето и солнце, и мной любимый дядя Миша, которого я зову Папанька.

Запомнилось, возле длинных складов грузят арбузы. Папанька стоит на грузовике и легко ловит их, брошенных ему из вагона.

Один из крупнополосых красавцев он протягивает мне: «Держи, Толик! Снеси-ка маме, да не урони!» Мне мама, а ему, значит, сестра.

Арбуз вроде бы не велик, были и побольше, но я тащу, обхватив двумя руками, и на радостях тихонько его подбрасываю, играю. Раз подбрасываю, другой, и вдруг он выскальзывает, летит на землю, раскалывается на несколько кусков. Кругом красная мякоть и черные, вкрапленные в пыль семечки.

Помню даже, где это произошло: на задах нашего дома, за огородами, рядом с одноэтажным домиком Паршиных.

Этот дом я обычно обхожу стороной, потому что Колька Паршин — «шпана», так говорит моя мама.

Он дружит с Вовкой, сыном нашего хозяина, который тоже «не лучше».

Но вот после войны в футбольной команде «Спартак», а потом и в сборной страны играет Паршин, и мне говорят: тот самый, из люберецкой шпаны!

ДОМ В КУРАКИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

А дом наш был стар, какого-то дореволюционного времени, мы в нем находили кредитки, разные, с Петром Первым и Екатериной, свернутые трубочкой и уложенные в бутылки, которые хранились в чулане.

Такой точно дом мне попался однажды в Осташкове, когда я приезжал на Селигер. Я лишь взглянул на него снаружи и сразу понял, что он похож на мой дом. И сени, и крутая наверх лестница, и даже расположение комнат: мои-то знакомые в этом осташковском доме жили на первом этаже, как бы на месте наших хозяев: тети Тани и дяди Вани. Для остальных он был Иван Ивановичем.

Помню, поднявшись наверх, я постучал в «свою» дверь и почему-то испугался. За дверью зашевелились, и мне открыл дверь дядя Вася, древний-древний дед, осташковский рабочий, ныне на пенсии. Он показал мне комнату, но тут уже ничто моего не напомнило, и я быстро ушел. А дяде Васе охота было поговорить. Ему исполнилось девяносто, и он еще ходил на плес за рыбкой. Так вот, дядя Вася стал рассказывать, что против дома стоят столетние вязы, а корни у них такие, что вросли в дом. И когда с плеса дует сильный ветер, они корнями раскачивают дом, и он плывет... Впечатление прям как на пароходе!

А у нас в Люберцах, когда становилось темно и в палисаднике мотало в осеннюю сырь деревья, темные тени угрожающе наползали на стекла, и мы испуганно жались поближе к свету.

Мы — это Сашка, мой дружок по квартире, и я.

Да и окна сейчас описываю в Сашкиной комнате, там было три окна, и все они выходили на Рязанское шоссе.

У нас же было окошко вбок, на Куракинский переулок. Под этим окошком находилось крыльцо, и если я терял ключ, я мог залезть на крылечную крышу и оттуда проникнуть через окошко в комнату. Летом, разумеется. На зиму вставляли вторую раму.

А в войну мы спускались в подвальное помещение, которое было, как я запомнил по чудно́му слову, железобетонное.

То есть сперва мы вырыли у дома щели, узкие такие окопы в земле, обшитые деревом и накрытые холмиком земли для маскировки. В этих щелях было сыро и холодно. А потом их вовсе к осени затопило дождями, и тогда наш хозяин дядя Ваня Гвоздев, а может, и не он сам, а так приказали, открыл для нас свой замечательный подвал. Мы бежали туда во время воздушных налетов, а мама от страха закрывала глаза, когда ухали зенитки, и спрашивала тех, кто влетал возбужденно с улицы: «Вы думаете это — газы?» Почему-то она боялась газов. Мы же ничего не боялись, мы в школе проходили их: и слезоточивые, и удушающие, и другие, я даже названия запомнил: иприт, люизит, дифосген...

Казалось, что это не больше, чем занятная такая игра, пока война не стала реальностью с бомбежками, когда прожекторы синими лезвиями рассекают небо, и начинает со странным звуком лопаться над головой и появляется ни с чем не сравнимый прерывистый гул, по которому мы сразу научились опознавать вражеские самолеты. А нас, еще сонных, тащат в железобетонный подвал, где по углам еще лежит хозяйская картошка и какое-то тряпье, а мой отец, утешая мать, произносит: «Здесь лишь опасно прямое попадание... А так, снесет верх, а подвал-то останется! Он — железобетонный!» И щупает серые стены, а все напряженно его слушают. Как же! Любое слово о безопасности ловится на лету.

Никто еще не знал в ту пору, не ведал, что страшна не эта или другая бомбежка, а долгая, мучительная война, которой многим не пережить именно из-за этой долготы, из-за голода и болезней. Вот как нашей маме.

Память трудно расчленить без вреда на отрезки, она единая, это дорогу, да и то условно, можно как-то разделить на остановки.

Но если бы оказалось возможным без потерь представить мою жизнь по частям, то вышло бы три неравных части, и одна из них — моя довоенная жизнь, самая ранняя, состоящая из каких-то проблесков, первых ощущений, догадок, потом война, а далее все, что было после, вплоть до моего последнего мгновения.

До войны: оно должно было произноситься и писаться как бы на едином выдохе (а может, вдохе), как одно целое, а именно «довойны». Все буквы вместе и все залпом.

Мы научились говорить: «Как довойны». Утешаясь в самые смертельные, отчаянные времена.

Вот победим, и снова будет у нас жизнь «как довойны».

При помощи этого магического слова мы пытались как бы приблизить будущее через наше прошлое. Хотя едва помнили, как оно было и было ли на самом деле, память истаивала, теряя по крохам подробности, и уже не сама реальность, а нечто туманное, преувеличенное, как всякая желаемая фантазия, поддерживала нас. Ничего другого, правда, и не оставалось.

Порой мне кажется, что я помню ее всю, эту войну. Всю — по дням и часам. Но это неправда. Я, как и остальные, воспринимал войну послойно, по временам, и среди них есть слой сорок первого и сорок второго и так далее годов, и так они кругами отложились на моей древесине: угольно-пепельные, широкие. У дерева, кто знает, на срезе широкие полосы означают неблагоприятные годы.

Но и то, что осталось, могло оказаться непосильным для наших неотвердевших душ, да и неокрепших позвонков, которые подчас не выносили тяжести пережитого и лопались, как разрывные пули.

Это не образ, а реальность. Многие мои дружки, перенеся войну, не перенесли ее последствий.

А что такое последствия, если не та же война, только растянутая на все остальные наши годы.

Значит, пережить физически войну — это еще не все, не все, что нам дано. Нам пришлось тащить ее годами на себе, как непосильный груз.

Стараясь не помнить и все-таки вспоминать, пусть и невольно; делать вид, что она осталась там, вдали, подавлять ее, но одновременно чувствовать каждое мгновение, как она стучит внутри нас, готовая вырваться наружу.

Зрительно я представляю пережитое нами как некое минированное поле, о котором до поры забыли, оно поросло травой. А мы пашем и пашем по этому полю, обреченные взрываться, и мы взрываемся, хотя этих позд-

них, уничтожающих нас взрывов уже никто не слышит. Люди уверены, что мы не гибнем, что мы умираем от инфарктов.

И оттого, что жить надо, а воспоминания опасны, мы ищем среди них такие, что, как островочек, в момент крушения, способны спасти, поддержать нашу жизнь на плаву.

Был такой островок на Селигере, его стерло льдами, он оказался под водой, но в момент крушения он спас меня ночью во время бури.

Отыскивая ступнями хоть какое-то подобие суши, мы натыкаемся на крошечный пятачок земли, который называется — довоенное детство.

УРОКИ МУЗЫКИ

Неподалеку от нашего Куракинского переулка, напротив через дорогу, а дорога эта была многошумная разъезжая Рязанка, стояла самая большая в Люберцах школа, ее только недавно построили; она была белая, из силикатного кирпича, многоэтажная, с широкой парадной дверью, огромными окнами и просторным зеленым двором, где я впервые научился играть в перышки.

Была такая игра: каждый старался по очереди перевернуть чужое перышко выемкой кверху, щелкая его по хвостику. Выигрышем служило перо, а сами перья были как бы нашей детской валютой, она продавалась, покупалась, обменивалась на что угодно.

Но волей судеб, по каким-то неведомым мне, чрезвычайно обидным причинам, меня в первый класс приписали к другой школе, она была далеко от дома, на краю города, и располагалась в деревянном двухэтажном старом здании, очень тесном: маленькие классы, крошечные коридорчики, полуслепые окна, а двора у нее вообще никакого не было.

В первый же день, который должен быть бы моим лучшим праздником, я вдруг понял, что меня жестоко обманули.

Я расплакался и наотрез отказался ходить в эту школу.

Я хотел посещать мою, на моей улице, куда, как нарочно, попало большинство моих дружков из соседних домов. Я даже пытался с ними разок тайно сходить, но меня изловили и отвели за руку в теперь уже навсегда нелюбимую школу.

Травма, которая осталась во мне навсегда.

Я проучился здесь целых два года до начала войны. Потом меня отправили в эвакуацию, и больше я сюда уже не возвращался.

Если бы меня сейчас попросили показать место, где располагалась эта школа, я не смог бы этого сделать.

Хотя я помню многое из тех времен, помню, например, где стояла мороженщица, которая торговала желтоватым, необыкновенно душистым, довоенным мороженым из круглой жестяной формы, закладывая его в круглые вафельки, а на вафельках стояли имена. Самое дешевое мороженое стоило десять копеек, а самое дорогое, огромное, недоступное, желанное — рубль.

Я помню, какие были витрины у углового гастронома на центральной улице, где располагались пожарная, нарсуд и ремеслуха и тот родильный дом, из которого я вышел.

Я помню баню, куда еще ходил не с отцом, а с мамой, она носила с собой тазик с бельем, помню поликлинику, кинотеатр, старый парк, пруд, разрушенную церковь, трикотажную фабрику, фабрику-кухню.

Но вот учительницу, самую первую, которая учила меня всего-то два года, я помню очень хорошо.

Ее звали Анна Михайловна. Впоследствии я всех учительниц называл этим именем, настолько впечатление от той моей первой учительницы было сильным.

Я запомнил и ее внешность: она была небольшого роста, темненькая, худощавая и вроде бы с больными легкими. Во всяком случае, цвет ее лица был какой-то сероватый, и она постоянно чуть подкашливала и куталась на уроках в коротенькую бурую дошку.

В других классах другие учителя распространялись на темы тогда модные: о кок-сагызе, который начали внедрять в сельском хозяйстве, чтобы добывать из него каучук, о сое, волшебном растении, из которого делают все, от конфет до муки, о хлопке и девочке по имени Мамлакат, которая догадалась первая среди всех собирать этот хлопок двумя руками. А товарищ Сталин подарил ей на съезде колхозников золотые часы.

Но, конечно же, и нам об этом говорила Анна Михайловна, как же не говорить, если казалось, что наше счастливое будущее вот-вот наступит для нас, если мы посадим кок-сагыз и сою, и станем собирать хлопок, который у нас не рос, все от мала до велика только двумя руками!

Но вот еще, кроме обязательного, Анна Михайловна читала нам на уроках сказки.

И если о каучуконосах, сое, а потом и еще о чем-то я вспоминаю как о временном и для моего будущего не столь уж необходимом, то сказки оказались самым важным из уроков для моей будущей жизни.

Одна из них была про Синюю Бороду, такая страшная, что я заболел, и, помню, мама приходила к Анне Михайловне и упрашивала, чтобы нам не читали таких ужасных сказок.

Бедная мама, она и не догадывалась, что скоро, совсем скоро я попаду в такие колонии, спецдома, где воспитатели и директора будут, куда страшнее злого волшебника, ломать и преследовать нас.

Еще одна сказка была про путника и волшебный серебряный свисток, путник в него засвистит, когда будет погибать в пустыне, и... Но вот что там произошло, с этим путником, и спас ли его свисток, я так и не знаю, потому что это была самая последняя из сказок, на последнем уроке. И я уехал.

В далекой Сибири, в Зырянке, когда я заблудился и замерзал в поле и меня подобрала колхозница, я не раз вспоминал сказку: она, кажется, так и называлась: «Серебряный свисток». У меня не было свистка, я поморозил ноги, но меня все равно спасли, потому что не только Синие Бороды, рядом оказывались и хорошие люди.

Может, спасся и неведомый мне путник, так, во всяком случае, я досочинил сказку. Точней же, сама жизнь досочинила ее.

А однажды Анна Михайловна притащила из дома синюю дерматиновую коробку, патефон с блестящей ручкой на боку, и принесла старую пластинку, чтобы проиграть нам песню на стихи Языкова. В ней есть такие строки: «Там за далью непогоды есть блаженная страна, не темнеют неба своды, не проходит тишина, но туда выносят волны только сильного душой, смело, братцы, бурей полный прям и крепок парус мой!»

Какое напутствие-заряд для крошечной, едва зарождающейся души в преддверии военного бродяжничества и многих лет беспризорщины!

А пластинка была заезжена до того, что только хрипела, и два странных голоса едва различались, будто они пели и правда сквозь бурю, а чтобы лучше нам были понятны слова, учительница сама старалась подпевать, вот это был урок! На всю жизнь — урок! Урок музыки. Правда, там, в Сибири, мы тоже учились музыке, но другой, когда разучивали Гимн Советского Союза. Это случилось в детдоме в Сибири, и наше время с Московой совсем не совпадало. Разучивание происходило по радио, организованно, и транслировалось на всю страну. По этой причине нас вовремя клали спать, а потом, среди ночи, поднимали и вели в директорский кабинет, где висел репродуктор, черная тарелка. Сонные и от сна слепые, тыкаясь друг другу в спину, мы набивались в директорский кабинет, как в коробочку, битком, так, что стоять приходилось плотно, затылок в затылок.

Кабинет был небольшой, а нас человек сто. Тут, зажатому телами со всех сторон, можно привалиться к кому-то рядом и подремывать, пока отупевшие от сна товарищи тянули трудно осмысленные слова, которые мы должны знать наизусть.

Мелодия же была известна нам раньше по песне Александрова, где припев пелся так: «Партия Ленина, Партия Сталина, мудрая партия большевиков!»

В гимне же пелось иначе, но я помню и старые, и новые слова, а потом еще подработанные, новейшие, они навсегда вошли в мою жизнь, в мое тело, одуревшее ото сна, от холодного озноба и слабеющих ног, которые

стыли в долгой стоячке: «Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе отчизну свою поведем...»

— Еще раз! Повторим эти слова, — призывал голос из репродуктора, и ему вторил завуч, но уже другим, более приказным голосом: «Повторим!»

И, переминаясь с ноги на ногу, чуть раскачиваясь, так легче было не заснуть, мы снова тянули: «Мы в жизни решаем судьбу по-ко-ле-ний!»

О том, что это МЫ решаем судьбу поколений, мы и думать не могли, слова были безотносительно к нам. Да и что мы решали, если мы даже не могли решить, когда лечь спать. «Мы к славе отчизну свою по-ве-дем!»

— Алексеев, не спи! — кричит завуч, и слышен чей-то плач. — Алексеев, кому говорят!

А доброжелательный голос из репродуктора предлагает перейти к следующему куплету. «Сейчас мы прочтем текст, — говорит он, — постарайтесь запомнить слова».

— Чтоб ты пропал! — сквозь зубы мычит мой сосед слева, Юрка Анисимов, и закрывает глаза. — Чтоб ты сдох... Чтоб... Чтоб...

Вслед за Юркой я тоже погружаюсь в какое-то оцепенение, затяжное, неуправляемое, переходящее в смутное забытье, а вздрагиваю, когда завуч кричит: «Анатолий! Не спи! Кому говорят! Не спи! Не спи!» Я вздрагиваю, таращу глаза на репродуктор и ничего не могу понять из слов, которые оттуда звучат. А они все говорят и говорят, потом они поют, потом мы поем, и нет этому ночному гимну конца.

Но этот урок музыки был потом, когда уже не было мамы, шла война, и все изменилось в мире.

Уроки же Анны Михайловны были до войны. В счастливое, как отсюда кажется, время.

Однажды, думаю, что это было начало лета сорок первого, Анна Михайловна повезла нас в музей Шереметьево, тем более, что и ехать-то надо было всего три остановки, до станции Вешняки.

Но все же мы тщательно готовились к поездке, мы надели обновы, а родители завернули нам с собой бутерброды. Мы их съели на лужайке, на траве возле музея.

Это был первый музей в моей жизни, как и для других ребят из класса.

До сих пор это слово не затерлось среди других хороших и плохих увиденных музеев, оно осталось синонимом праздника, в котором непременно должно быть много солнца, зелени и всяких, удивительных чудес, вроде того, как рассказал мне один мой, очень взрослый по натуре, приятель.

Он горячо уверял меня, что помнит ясно, чрезвычайно отчетливо, что он ребенком однажды увидел среди густо-синего купола неба окошечко, и в него выглянул старичок-бог и погрозил ему пальцем.

Вспоминаю той поры Вешняки, тихую, полудачную остановку, с белой церковкой в глубине сада, а потом большой парк, с жесткой, но яркой травой, постриженной как щеточка, с живописно разбросанными деревьями, тени от каждого из них хватало на целый пруд, а прудов было много.

А за прудами белели дома-дворцы, врезанные в эту зелень и отраженные в этих прудах. Отражения колебались и мерцали.

Именно с тех пор я люблю отражения, они помогают мне понять красоту.

А тогда нам, второклашкам, объяснили, что музей-усадьба графа Шереметьева, ну то есть дореволюционного богача, строилась на самом деле крепостными людьми, и нас привезли, чтобы мы все это увидели своими глазами.

Нас повели в один из дворцов, а на ноги нам надели странные тапочки из дерюжки, и они все время у меня и моих товарищей спадали, а веревочки поминутно развязывались.

Но все равно нам нравились эти тапочки и нравилось, не поднимая ног, скользить в них по блестящему полу, по красивым залам.

Не знаю, понимала ли наша Анна Михайловна, что она с нами сотворяла, когда вела по залам дворца, беспрерывно оглядываясь и болезненно кутаясь в свою коротенькую бурую дошку?

Но она повторяла: «Смотрите! Вы же посмотрите! Ах, какая прелесть, ну правда же!»

Это я запомнил точно: она так восклицала при виде золотой посуды и всяких фарфоровых статуэток, из которых мне запомнилась кукла-часы, с языком-маятником, болтающимся вправо и влево.

Мы все стали тогда показывать пальцем на этот язык и сами изображать своими языками, будто мы тоже живые часы. Мы тогда и не ведали, что мы и были часы, и далеко не игрушечные, и наши крошечные, незрелые сердечки отстукивали время... Если бы мы знали, ведали, какое это время!

А потом нам рассказали про театр, про крепостную актрису, которая была женой графа и в этом театре играла. Нам показали портрет этой актрисы, очень красивой женщины, она вовсе не казалась нам бедной и несчастной. В руках она держала букетик цветов.

— Это она в роли, — странно произнесла Анна Михайловна, и тут среди прохладных залов и гуляющих сквозняков она так сильно закашлялась, что не смогла с нами ходить, а вышла и ждала нас на выходе, у ящика, куда люди складывали тряпочные тапочки.

— Ну, понравилось? — спросила учительница, и мы закричали все хором, что очень, что завтра мы опять хотим всем классом в музей идти!

Анна Михайловна тихо засмеялась и пообещала когда-нибудь повезти нас в Москву.

И мы доехали до Люберец и разошлись. Было еще непривычно рано, и, проходя по полю от станции к дому, я нарвал каких-то цветов.

Мама встретила меня тревожно. Она всегда тревожилась, когда я уходил из дома, но увидела цветы и растерялась: «Что это?» И вдруг расплакалась. Я ничего не понял, но вот сейчас думаю, что эти цветы как-то связаны с музеем, с учительницей, с портретом актрисы... С этим синим праздничным днем.

Но откуда я мог тогда понимать, что я дарил маме первые и последние, и единственные в ее жизни цветы, и оставалось ей жить на свете всего три месяца, и она, вероятно, догадывалась, а может быть, знала об этом.

КТО, КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

Вернемся к дому, тому самому, что имеет подвал, чулан и крошечную комнату, где проживаем мы с отцом и мамой.

Отца сюда поселили от завода как бы против воли хозяев. Это я узна́ю позже. Но я и тогда чувствовал, что мы чужие, и с моими родителями хозяева, то есть тетя Таня и дядя Ваня, не дружат. Они дружат с нашими соседями Воронцовыми, которые приходятся им дальними родственниками.

Был случай, который я запомнил: хозяева справляли Пасху (вот теперь я вспомнил и чердак, на нем хранились разные доски, связанные кожаным ремнем, для украшения этой самой Пасхи), и меня угостили сладким-пресладким куском от огромной, похожей на белый дворец, сырковой пасхи. Но при этом запомнилось еще сильней — Саше Воронцову дали в подарок монпансье в цветной и круглой жестяной банке, а мне не дали!

Уж как я изгилялся, как крутился-вертелся, разве что глазами не ел дядю Ваню, но ничего мне не перепало. Это было горькое открытие о неравном к нам отношении.

Живя рядом с семьей Саши, у которого папа военный, а мама инженер-конструктор по текстилю, я и так ощущаю разницу между нами. Нами и нашими семьями.

Она начиналась с комнат: у них три, а у нас одна и притом крохотуля.

Тетя Нина тонкая, энергичная женщина, больше я ничего о ней не помню. Но еще помню, что они приезжают с грибов и тетя Нина пьет вино... а потом, вдобавок, курит. Это кажется мне невероятным.

А у дяди Коли военный мундир, и он «ходит на службу».

На фотографии, которая стоит у него на письменном столе, он изобра-

жен на лыжах на соревновании, где он, по рассказам Саши, занял первое место.

На этом, кстати, столе находился огромный кусок стекла, выпиленный в виде многогранника. Когда на него падало солнце, по всей комнате разлетались сотни разноцветных зайчиков. Это стекло было нашей нестареющей игрушкой: крутить его на солнце и смотреть, как летят по потолку, по стенам, по мебели цветные искры. Синие, зеленые, красные.

В этой комнате вместе с родителями спал сам Саша.

Здесь же мы демонстрировали фильмы из диапроектора, по тем временам это была дорогая игрушка!

Диапроектор был с настоящей электрической лампой внутри, с увеличительным стеклом в объективе, а к нему в придачу несколько коробочек с квадратными стеклянными диапозитивами.

Один из фильмов назывался «Три поросенка». Мы резали из бумаги входные билеты и приглашали взрослых на сеанс: дядю Колю, тетю Нину, а также Витю Паукштy, Вилю и присутствующих гостей.

Приходили дядька и тетка Сашины со своим сыном Шуркой, он был чуть помоложе нас, а я запомнил лишь, что слово «шнурок» он произносил — «срунок». Взрослые повторяли это слово и почему-то смеялись.

Мои родители здесь никогда не бывали.

Показывали мы вдвоем: я подавал Саше позитивы, а он вставлял их в аппарат, а читали мы по очереди, но я чаще, Саша был на год моложе и плохо знал буквы.

Фильмы проходили довольно весело, потому что взрослые, видевшие все по многу раз, дополняли зрелище своими комментариями по поводу, скажем, сходства Саши с поросенком, у него, кстати, прозвище было домашнее — Карасик... Он был толстоват.

У Воронцовых, в отличие от нашего дома, была библиотека и много детских книг, которые я перечитывал. И хоть по временам мы ссорились, и мне запрещали ходить к соседу, но наступал мир, и я снова торопливо перескакивал темную прихожую и оказывался в большой столовой комнате. Тут мы играли, стреляли из пушек, заряженных горохом.

Запомнилось и такое: дядя Коля купил елку, высверлил в стволе дырки и вставил в них живые ветки. Никогда не видел я, чтобы елку таким образом создавали! И когда пришел Новый год, мы все крутились с Сашкой, все пытались понять, догадаются ли гости, что елка ненастоящая, что у нее вставлены ветки? Но никто, конечно, не догадался.

Я вот сейчас думаю, что мне еще повезло, ведь до пяти моих лет у нас в стране елка была запрещена совсем, а теперь нам ее разрешили. Спасибо Партии, спасибо правительству, всем-всем спасибо, за такой подарок... Правда, не разрешено Рождество или там Пасха, но когда-нибудь тоже разрешат, и за это тоже надо благодарить! И тогда мы уже не будем петь с гордым видом пионерские глупости, такие вот:

Что такое Пасха? Это просто сказка!
Что такое Троица? В три ряда построиться!
Что такое Рождество? Это планов торжество!

И тому подобное. Сейчас я думаю: у нас отобрали необыкновенные праздники, словно у елки срезали живые ветки, насовав в нее, как дядя Коля, искусственных веток! И вроде бы все вокруг делали вид, что так оно и нужно.

Жила у Саши и нянька.

Это было мне непонятно, потому что меня «пасли» родственницы, и я решил, что нянька — это когда худая женщина в белом платочке живет у Воронцовых, грустно поет песни на каком-то странном языке, и медленно ест, и рано ложится спать.

Но эта нянька, в отличие от других, меня не гнала.

А потом Саша поехал на Украину (Украина — это, наверное, город?) и рассказывал, что он жил в доме у этой няньки, а у нее такой огромный сад, а в саду яблоки «белый налив», которые, если посмотреть на солнце, светятся, и даже видны семечки.

Это было потрясающее путешествие, и я его запомнил даже по рассказам Саши. Особенно же про яблоко, которое прозрачное!

Я так ярко его представлял, знал на ощупь и на вкус, что ужасно

расстроился, когда впервые в зрелом возрасте увидел «белый налив» наяву.

Но слово «Украина» вызывает у меня и другие, не пережитые мной воспоминания: после войны я узнал, что дядя Коля, как кадровый офицер, с первых же дней войны был на фронте, попал в сорок первом году в окружение, спасался на Украине у какой-то женщины и там у нее остался жить.

Да и тетя Нина с Сашей после войны поселились в Киеве, а о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю.

Так вот о няньках.

Не все няньки меня жаловали, особенно после случая, когда мы решили с Сашей научиться курить. Мы вертели — это было, конечно, в отсутствие взрослых — в трубочку бумаги, зажигали их, дымили и потом засовывали под диван. Как мы не сожгли дом, Бог знает. Но потом это открылось, нас обоих отлупили, а мне надолго было запрещено у Саши бывать. Из этого можно сделать вывод, что заводилой в таких опасных играх был, наверное, я.

Мы даже шайку свою организовали (наслышались от старших), но только не знали, как это делается, и решили поискать атамана.

Наконец атаман на задах за огородами нашелся.

Его обнаружил Саша и позвал меня. Атаман звался Игорем и умел ударом валить наземь. Сашку он повалил еще до встречи со мной. И Сашка сказал: «Игорь, повали Тольку!» Игорь подошел ко мне, неожиданно наступил мне на ногу и резко толкнул. Я упал. «Так-то!» — сказал Игорь, а Сашка за ним после этого повторил: «Так-то!» Было решено, что Игорь станет атаманом. Но Игорь пропал, и шайка наша развалилась.

В войну мы не играли: мы от голода, брошенные в Северокавказских степях, сбивались в шайки и грабили дома. От тех пор у меня осталась одна лишь вещь — финка. Настоящая финка, с кожаным чехлом, с эбонитовой ручкой и острым стальным жалом. У финки этой одна особенность: она создана хорошим мастером для детской руки.

Какое-то время нянчила Сашку его родная бабка. Она была внешне похожа на дядю Колю, но много толще.

Запомнилось, что она была сердитой и хромой. Это сразу нас навело на мысль, что она ведьма.

Мы даже рассказали по секрету Сашиной маме, тете Нине, но она лишь посмеялась. Ведь это была, насколько я теперь понимаю, ее мама.

А мы ей рассказали, как мы выглядывали в окно, когда бабка ушла на станцию, и следили, и ее вовсе не было на дорожке. А потом она вдруг появилась в доме. Спрашивается, как же она сюда попала, если не на метле?

Мы с Сашей и метлу изучили, но никаких улик не обнаружили, кроме двух застрявших окурков.

В темные вечера, когда метались тени деревьев и завывал ветер, мы подглядывали, когда бабка уходила на кухню. Мы были уверены, что она опять колдует, и оттого — гудит за окном.

А однажды кто-то из нас вышел в прихожую и увидел, как из-под сундука торчал палец! Мы, визжа, бросились в комнату и издалека, из-за двери, стали показывать взрослым на этот торчащий палец, но оказалось, там валялась картошина, беловатая, длинная такая картошина, по форме и правда похожая на палец, если еще на нее смотреть в полумраке и ждать всякой чертовщины от Сашкиной бабки.

О прихожей, кажется, я не говорил: она разделяла наши комнаты и была забарахлена не меньше чулана. Тут стояли диван, комод (однажды мы сделали с Сашкой парашют из газеты и прыгали с этого комода), сундук... Еще была кухонька, где стояли наши и наших соседей керосинки. Насколько я помню, взрослые уживались на ней, и ссор никогда не было. Хотя теремок наш был набит доверху, у нас семь человек, да у Воронцовых шестеро.

Кроме Саши, его бабки и родителей, как я упоминал, здесь жили

два брата тети Нины: Витя и Виля. Мы их так и звали. Витя был футболистом, вообще физкультурником, нашей общей забавой было катание у Вити на шее, когда он ходил на руках. Еще он показывал нам «Москву», приподнимая над полом за виски. Кажется, Витя работал на Ухтомском заводе сельскохозяйственных машин, и оттуда, с соревнований, он приносил всяческие значки: «Ворошиловский стрелок», «Будь готов к труду и обороне» (БГТО), какой-то санитарный значок и так далее. Все эти значки Витя на работе «никелировал» (наверное, он работал в гальванопластике?), и они сверкали как золото. Мы нацепляли их на грудь и носили, хвастая друг перед дружкой.

А временами Витя загадочно подзывал нас, уводил к себе в комнату, она соприкасалась с нашей через стенку, и там учил разным песенкам. Именно с тех пор я запомнил: «Возле дома, где большой фонтан, чернобровый шустрый мальчуган рядом с Лёлей он стоит и что-то шепеляво говорит...» В общем, он обещает, что вырастет и отрастит, как у Вильки-дворника, усы...

Виля, брат Вити, работал шофером. Он частенько приезжал к дому на грузовой машине и один раз даже нас покатал. Был случай, когда он оставил работающую машину на улице, а сам ушел, а она сама поехала, без него. Я всегда подозревал, что она может поехать, и вот это случилось! Мы закричали, Виля выскочил и успел машину остановить.

Еще запомнилось, что Виля был добрый, покладистый и, кажется, пьющий. Думаю, что в семье Воронцовых он считался неудачником.

А тетя Нина читала стихи: «Елки-палки лес густой, ходит Витька холостой, когда Витька женится, куда Вилька денется!»

«Елки-палки» мне представлялись похожими на рисунок на Воронцовском чайнике заварном: китаец идет среди треугольных пагод, и под ногами у него эти самые «елки-палки».

А Витя, как я узнал после войны, женился на моей однокласснице Вере Овчинниковой.

Это поразило меня.

Я один-другой раз встретил ее на улице, потолстевшую, грудастую, почти даму, а мы-то, ребята еще, оставались щупленькими недоростками! Я даже постеснялся к ней подойти.

Теперь о хозяевах.

Это было большое семейство: сам хозяин дядя Ваня, хозяйка тетя Таня, в молодости, видать, красавица, но и в то время, когда их помню, она была привлекательна.

У них было два сына и вроде бы еще сыночек, Ванечка, который рано умер; я запомнил — у Гвоздевых траур и маленькая крышка гробика, стоящая перед дверью.

Шурка и Вовка с нами не дружили, они были много старше нас. Еще когда мы бегали дошколятами, Шурка уже был подростком и увлекался, я это отчетливо помню, радиотехникой. Он дарил нам «золотце»-фольгу от конденсаторов, от которой чем-то остро пахло.

В начале войны он ушел на фронт и не вернулся. Перед войной он женился на тихой темноволосой женщине, у него остался сын, которого звали Шуркой.

С Вовкой вышло иначе. Он был лет на пять старше нас и в войну связался с какой-то бандой. Когда после войны я вернулся в родной дом, Вовка только-только вышел из заключения. Работать он не хотел, а посиживал, задумчивый, на лавочке перед домом. А потом пришла милиция и снова его увела: ограбление уже здесь, в Люберцах. Дядя Ваня хлопотал, а тетя Таня плакала.

Еще была у Гвоздевых бабка с парализованной ногой и рукой. Мы ее побаивались. На грядках, отгороженных железными полосками с дырочками, бабка собирала клубнику, а мы через дырочки смотрели на нее. Иногда она давала нам ягоду или еще зеленый огурчик. Вовка же собирал красную клубнику напоказ, ел ее с грядок и никогда не угощал. Ему нравилось подразнить мальчишню.

Однажды мы с Сашей решили зарыть клад. Мы вырыли ямку около сиреневого куста, высыпали туда все свои сбережения из наших копилок, а потом накрыли фанеркой и присыпали землей. Уверенные, что найти клад не может никто, похвалились Вовке, сказав, что у нас есть теперь свой клад.

Он моментально сообразил, где искать: взял палочку и стал ходить по саду и постукивать по земле. За пять минут он отыскал наш клад (мы выглядывали из окошка), выгреб все, что там было, и ушел в магазин. Мы, конечно, подняли вой, побежали жаловаться родителям, те в свою очередь Гвоздевым, и Вовку заставили вернуть деньги. Но он вернул лишь медяки, заявив, что это все, что там было.

Особенно почему-то Вовка любил издеваться надо мной. Он звал меня Космырем (не знаю, что такое), а еще Бесом. И читал стихи: «Вьются бесы, мчатся бесы в поднебесной вышине...» Он уверял, что это про меня, а я верил. Но вообще, на клички не обижались. За мной тянется целая цепочка кличек, некоторые из них я помню: Пристав, Приставка, Суфиксов (это от фамилии), Настырный, Летун, Туся, Москвич (в значении нарицательном), Наивняк, Бженогий, Молокосня и т. д.

В этом месте, наверное, стоит перебросить мостик от своего дальнего детства к детству других, скажем, нынешних, которые носят имя люберов.

Странное словцо, корявое, тупое, безграмотное, но и вправду в этой тупой неповоротливости таящее нечто грубое, как тычок кулаком в поддых: лю-ю-бер!

Люберы! А не «люберчане», что смягчало бы не очень благозвучное это название, и не «люберецкие», нечто поселковое, от заводской провинции.

Люберы — ровесники моему, описываемому мной отрочеству. Они спортивны, они сомкнуты, сцеплены единой целью, а цель их — бить других, таких же молодых, как они, но желающих думать и жить иначе. Их программа «очистить» Москву от скверны: от не похожих на люберов ребят. Да и только ли ребят? Волчата вырастут, отточат зубы, тогда и всем другим, разным и по-разному думающим, от них не сдобровать!

Родились мы и выросли в Люберцах,
Центре грубой физической силы,
И мы верим, мечта наша сбудется,
Станут Люберцы центром России!

Я тоже родился в Люберцах, и про физическую грубую силу не по слухам знаю. Когда Гвоздев Володька отобрал наш «клад» и прожрал его на мороженом, это было нормально. Потом цыганенок с соседней улицы украл у меня на пруду майку. Он и избил меня, поджидая у колонки. Это в восемь лет.

Бил меня и Купец, он жил у кинотеатра, а Купцом звали его за толстую харю, он вообще бил тех, кто слабей. Однажды мой отец гнался за ним по огороду, заметив, проходя с работы, как меня преследуют.

Но ведь и отец бил меня не раз. За то бил, что водку ночью не захотел доставать, и за всякое другое. Сложенные вдвое провода от плитки были моим судилищем. Я их до сих пор помню.

А после войны в деревянной уборной нарсуда на меня свалилась доска, прямо на голову. Это меня подкараулили соседские подростки, трое, я и штанов надеть не успел! Они подперли дверь и сбросили доску на голову. А потом продержали час или два и предупредили: попадусь в этом месте, прибьют. А туалета ближе не было. И я уже стеснялся ходить в траву за огород.

Драки были в городском («Глазовском») саду и особенно в поселке имени Калинина, где жила заводская молодежь. В этих драках и погиб от ножа один из сыновей моей крестной тети Шуры — Лялька.

Да только ли в Люберцах! У нас и дорога была не легче: я говорю про Рязанку. Пролетарская дорога, и районы рядом далеко не интеллигентские, а больше от пригородов и от черной косточки. Среди станций своим насилием особенно выделялись Новая, Перово, Косино, Панки, Томилино, Малаховка, Быково, Отдых, Фабричная, Раменское...

В Ухтомке на улице моему отцу пробили голову, он и не знал, кто это сделал. О многом другом я писал или напишу. И если я обозначил как основу именно физическое насилие, то всякое прочее тянется следом, и в этом плане я такой же любер конца сороковых годов... Я их первый

росток, невзрачный, никем не замеченный, скованный своими малыми возможностями, самосеянец на обочине люберецкого тротуара, где формировались наши души. Формовались, так будет точнее.

ЧАСТНИКИ

Что касается вообще частной собственности, то с ней я столкнулся лет шести-семи, когда надергал на огороде у соседей Сютягиных картошки. Семейство Сютягиных жило в Люберцах против нас, мать и двое дочерей, Шура и Валя. Шура постарше, а Валя моя ровесница. Было у них и хозяйство: корова, свиньи, куры и позади дома огород. Вот там-то я и выдернул несколько кустиков розовой скороспелки и, набрав в детскую корзиночку до верха, так, что сыпалось по дороге, притащил домой. Ужасно, помню, был горд, что первый догадался о том, где нужно брать картошку, мои почему-то покупали ее на рынке и жаловались на дороговизну. А мама болеет, а денег нет.

Завидев картошку, мама в страхе бросилась к окошку, чтобы убедиться, что никто не видел моей кражи. И тут же, не медля, велела отнести картошку обратно, вывалить ее на землю. Быстрей! Быстрей! Если бы можно мой позор зарыть, она бы и это велела. Только бы подальше от позора! И я отнес. Потом уже, проходя по тропке, мимо сютягинского огорода, я долго натыкался глазами на преступную кучку картошки, побуревшей и, судя по всему, никому не нужной.

Не нужной, но чужой! Вот что я запомнил на всю жизнь. И еще я запомнил, как мама поменялась в лице, как она побледнела, и засуетилась, и бросилась к окошку: не дай Бог, люди сочтут нас ворами, да ославят на всю улицу! Как будем жить!

К счастью, никто не увидел, не узнал. И так сошло с рук мое первое воровство. Потом-то, в детдоме и в тыловых скитаниях, чтобы выжить, мы не стеснялись, брали то, что плохо лежит. И что только не приходилось таскать, куда мы не забирались! Однажды из здания техникума украли восковые муляжи! Но вот многие и многие приключения с изъятием чужой собственности забылись, а самая невинная, с десятком клубней, помнится до сих пор.

Это была первая встреча с частной собственностью.

А далее, в школе, в пионерлагере и везде, везде так же крепко, как мамин окрик, внедрялись в мою душу слова о вредности частной собственности, о кулаках-мироедах и капиталистах, которые являются мировым злом, и от этого тяжело живется рабочим и трудящимся. А в нашем новом и светлом мире собственность вообще должна исчезнуть и выкорчеваться — вот словечко того времени — из жизни и из нашего, разумеется, сознания.

Нашего, прежде всего. Мы — дети, надежда страны, мы олицетворяем завтрашний день мира, где не будет ничего личного, а все коллективное, общее.

Думаю, что мы были к этому готовы. Наша семья, например, являла образец такого рода: у нас не было ничего, даже дома, даже угла своего, а мебель самая обыкновенная, необходимая. Да вот часы. Они вызывали у меня особенно пристальное внимание: дверца у них на крючочке, и два отверстия для ключа на белом циферблате. Если в одно отверстие вставить ключ, то заводится пружина часов, а в другой — пружина боя. Так пояснил отец, но заводить не разрешал. А когда дома никого не было, я открыл дверцу и нашел внизу ключ и сам завел часы. Они заводились туго и пощелкивали. А потом я нашел еще один рычажок, сбоку за циферблатом, стоило его коснуться, как часы начинали шипеть, а потом отбивали время. Таким образом я понял, что количество ударов можно регулировать как хочешь, я как бы овладел секретом времени.

Прекрасное заблуждение.

Отец недоумевал вслух, отчего часы все время сбиваются с боя, отчего они отстукивают не свое время. Я в это время обычно смотрел в пол.

Я-то знал, верил: они отстукивают мое время. Я даже помню, что я ставил побольше ударов. Мне казалось, чем больше бьет, тем лучше. Или я торопил часы?

Чуть позже, как символ достатка, появился радиоприемник под названием СИ-235. Первый советский ламповый приемник, он был гордостью нашей семьи. На него приходили смотреть соседи. Приличного размера коробка, вертикальной формы, из темно-синего дерматина. Две ручки по бокам, громкости и тона, в центре еще одна крошечная, под светящимся окошечком, ее повертишь, и в окошечке провернется барабан с цифрами: настройка. И тут же язычок рычага — длинные и короткие волны.

Приемник берегли. Вообще берегли, а от меня тем более. Его поставили на высокую полку над диваном, а накрывали кружевной накидкой. Но я при отсутствии взрослых, ясное дело, забирался на спинку дивана и оттуда ухитрялся крутить маленькую ручку, ловя эфир. Заманчиво было заглянуть в окошко, чтобы точно узнать, откуда исходит голос, но окошечко было крошечное, а приемник высоко, так я и не смог рассмотреть говорившего.

Вся эта собственность, повторяю, кроме комода, размещалась на тех же семи метрах, но наша комната не выглядела бедно, она была украшена кружевом: и кровать, и стол, и спинка дивана, и, уж конечно, приемник, мама замечательно вручную вязала кружева! Ее работы я узнавал и через десяток лет после ее смерти в соседских домах и у дальних родственников. Сейчас я думаю, что вязание кружев не было для мамы целью как-то прикрыть нашу бедность. Да мы и не числили себя бедными! Отставленная от работы из-за болезни, а работала она ткачихой, мама как бы доказывала себе и другим, что она способна что-то делать. Не просто делать, а творить! Ибо на ее роскошные покрывала, белую пену из кружев, приходили любоваться люди и незнакомые, такое это было искусство.

Из сказанного становится понятным, что наши соседи Сютягины, у которых я украл картошку, были частниками, не уважаемыми и даже презираемыми общественно, ибо с их частнособственнической психологией в те годы все кругом насмерть боролись. Хозяйка, тетя Оля, безмужняя, с утра до вечера с двумя старшими дочерьми Шурой и Женей ишачила на огороде, зарабатывая тем, что продавала на рынке всякую зелень и картошку. А еще квашеную капусту, а еще свинину, когда резали кабанчика под Новый год. А Валька, младшенькая, моя ровесница, разносила по домам в крынках и бидонах молоко. Приносила она молоко и в наш дом.

Еще большими частниками были наши хозяева Гвоздевы. Дом, где мы жили, был их собственностью. Это открытие меня тогда прямо-таки потрясло. Все люди как люди, и даже Сютягины в своем доме не ахти какие буржуи. Большая часть Люберец состояла из таких домиков. Но этот-то дом не одноэтажный, а двухэтажный! И несмотря на это — собственный, такое в голову не могло прийти! Было у Гвоздевых и свое хозяйство со скотиной и огородом, а в какие-то времена, по-моему, была и лошадь. Телегу во дворе у них, под которой жила собака Рынька, я, во всяком случае, помню. А в саду, за железной оградой из дырчатой жести — отходы со свалки завода Ухтомского,— росли пупырчатые огурчики и красная мясистая клубника. Володька, Гвоздевский сын, поддразнивал нас, аппетитно поедая красные ягоды в то время, как мы глазели на него через дырки! Собственность, в данном случае Володькина, и оттого еще более ненавистная тем, кто ее не имел.

Был у Гвоздевых подвал, где спасались мы во время ночных тревог в сорок первом году. Запомнилось, что кроме рухляди, бутылей и корзин, хранились в том подвале картошка и яблоки, кадушки со всякими соленьями, засушенные в пучках укроп и петрушка и прочие травы, подвешенные под потолком.

Я вспомнил этот подвал, когда впервые увидел погреб, вырытый моим отцом. Пройдя длинный жизненный путь, отвоевав, с начала, всю войну, отец на пенсии соорудил из обломков кирпича с ближайшей свалки домик, а потом и этот погреб. Не такой, конечно, как у Гвоздевых, поскромней, как у большинства из тех, живших полусельской полугородской жизнью в предместьях Москвы и питавших небогатый стол плодами своего труда.

Но, полагаю, путь к своему дому, своему хозяйству, начался у отца

много раньше: он был сам из смоленской деревни, и от тех времен, от хозяйства отца с матерью, а то и деда, вросло ему в память, в понятие, в ту самую частнособственническую психологию, что хозяйство есть непременная принадлежность любого исправного мужика, мужчины, хозяина. Если, конечно, тот хозяин уважает свои руки и свою землю, на которой он трудится. Не может нормальный здоровый человек не иметь дома, двора, живности разной и уж, конечно, погреба, где солились бы в укропе и смородиновом листе огурчики, буроватые, толстокожие, остропахнущие помидоры, капустка шинкованная с морковью и яблоками, да и сами отдельно яблоки, налитые, золотисто-влажные, тяжелые, замоченные на меду.

Яблоки отец снимал с веток, никому не доверяя, сам, и лишь с южной стороны дерева, а каждое яблоко клал так осторожно, чтобы не могло оно побиться, иначе при мочке загниет. И вид будет не тот, и вкус.

Вот так у отца было.

Странной показалась мне мечта иметь посреди огорода прудик с карпами, не из военных ли впечатлений, побывав в Европе, он тот прудик вывез? И хватило же его вырыть такой пруд, даже стены обложить кирпичом и забетонировать. Только не стала в нем вода держаться, и пришлось отцу переделывать свой пруд в теплицу.

Был и еще опыт, из неудачных, когда завел он какую-то особую породу цыплят, а они выросли размером со страусов, сожрали весь огород, всю зелень и уж до соседей добрались! Отец рассказывал, как он вылавливал их, подползая и накидываясь, как на врага, и тут же душил, а для верности совал головой в кипяток! Он и вправду испугался, что голодная птица, одичав, заклюет однажды его самого.

Главное же, к своему личному хозяйству, то есть собственности, от которой в юности так скоропалительно бежал в город, отец вернулся не только из-за крестьянского происхождения, хотя и это существенно, и тем более не от избыточного времени пенсионера.

Многолетний опыт жизни, складывающейся драматически, сам привел отца, как и маму, к желанию узнать, почувствовать себя вне общественной сферы, которая как бы отвергала их, а тут, в домашних условиях, на своем личном участке, где человек единственно, как выяснилось, может ощущать себя хозяином.

Запомнилась мне история из давней поездки на Смоленщину, когда вместе с отцом и дядькой Викентием повезли железные кресты на могилу бабки с дедом. А случай такой. Ехали полем, и дядя Викентий попросил вдруг остановить машину. Вышел и побрел куда-то в глубину поля, чуть наискось, странным зигзагом, по видимой только ему одному бровке, потом вернулся, и мы поехали дальше. И уж после долгого молчания он произнес, что здесь (здесь!) была его земля. Пятьдесят лет прошло, помнил! И бровку помнил, которой нет. В ту давнюю пору из-за этого клочка земли да лошади он «вышел замуж», то есть ушел в примаки, взял фамилию жены. А потом попал под раскулачивание, сбежал в Смоленск и проработал тридцать молчаливых лет, до пенсии, чистильщиком паровозных котлов. А когда я, в недавние уже времена, где-то в книжке об этом рассказал, дядя при встрече незлобно упрекнул меня, что де, вот, раскрыл тайну его раскулачивания и бегства, а не придут ли, да не вспомнят ли ему нынче давние грехи!

До чего же надо напугать мужика, что и через полсотни лет, тоскуя по несуществующему ныне клочку своей земли (ясно же, что это за клочок, если обошел за десять минут!), он затаивался, скрывая свое мужицкое происхождение.

А что касается часов, отец их повесил в новом доме рядом с немецкой литографией: прекрасная золотокудрая фрау, повернувшись к нам спиной, возлежит на скале, на фоне лесистых альп.

Дежурная шутка отца: «Повернись же!» Это он ей, в подпитии, когда хочет показать, какой он еще ого-го! Бабник! «Ну повернись!» — кричит ей. А я все не могу отвести глаз от часов. То, что они проходили до меня сто лет, как-то мало ощутимо, а вот что я помню их, сколько помню себя, и что знаю тайну их боя, это уже серьезно. И это волнует.

Догадавшись, что часы меня волнуют, отец вскакивает и достает какой-то медный механизм и громко, почти крича, поясняет, что это запасная к часам пружина. Конечно, и старая еще работает, сто лет как работает, но когда она выйдет из строя, то вот! Он от других таких часов достал! Еще, значит, на сто лет!

Я киваю. Сроки для меня необъяснимые, недоступные для ощущения. Но отцу почему-то механизм запасной нужен. Он сам похож на эту пружину: сто лет стучит без отдыха.

На своем участке он живет по часам: встает в пять, ложится с темнотой. Уже в апреле у него загорелое лицо и шея. И с детства памятно: открываю глаза, маятник отсчитывает шестой час, сладко спать, самый сон, а на дворе отцовский топор стучит: тюк да тюк.

Такие вот часы.

А в деревне на Смоленщине особенно от отца досталось дальнему родственнику Мишке, у которого мы остановились. Отец прямо-таки затюкал его своими разговорами о земле, отчего, мол, он, первый человек на селе, у которого и трактор-то ночует у дома, не хочет запахать лишних несколько соток из огорода, чтобы посадить поболе картошки? Отчего не расчистит болотце за домом да не сделает купальню? Отчего, отчего... Вот в прошлый год отец, погостевав у Мишки во время отпуска, сколотил наполовину баню на огороде, а Мишка ту баню взял зимой да спалил, разобрал на дрова. Все ближе, чем везти из леса. Хоть тот лес начинался от порога.

Но у Мишки на все один ответ: «А зачем?» Зачем ему лишняя картошка, ему и этой много? Зачем ему баня, если у свата есть? Зачем ему купальня, ему и купаться некогда!

— Да и неохота возиться, дядя Игнат! — приговаривал он посмеиваясь.

Ясно видно, что ему и впрямь неохота, молодому, выросшему тут, на этой земле, пахать эту землю и сажать картошку.

— Это вам, городским, дядя, в охотку, оттого, что вы там по квартирам сидите. Накопили сил, вот и жируете! А нам это ни к чему!

— Нет, Михаил, не скажи,— сердился в споре отец.— Вы какие-то остылые, вот что я скажу! А мы, так еще не остыли!

— Ну, я и говорю, что законсервировались,— твердит Мишка.— Вот вернешься, и приказывай на своем огороде. А я тут у себя — хозяин!

— Да не хозяин ты! В том-то и дело, что не хозяин!

— Это как посмотреть!

На том спор прекращался. Каждый был при своем.

А мне оставалось додумывать, а что бы сталось, если бы отец оказался при этой земле? Не остыл бы он? Так ведь жизнь остужала.

ОТЕЦ

Вся дорога Рязанка — это и его дорога, более даже, чем моя, потому что и началась она ранее, когда меня не было. Отец семнадцатилетним деревенским парнем прибывает сюда на работу. Работы нет, на бирже труда очередь. Отец мне показывал в Люберцах дом, где стоял он, как и многие подобные ему, в очереди, чтобы записаться на работу. Шел двадцать седьмой год.

А пока сколотили плотницкую артель, строили, подрабатывали.

Великой удачей своей молодости считает он случай, когда купил задешево на рынке штаны и разыграл их в бригаде, и, опять же, они попались по жребию ему самому.

Итак, отцова Рязанка: ее можно было бы начать в Москве. Тут он работал на военном заводе, неподалеку от Красных ворот. В предвоенный какой-то год нас привозят из пионерлагеря. В лагере тоже играли в войну, игра называлась: «Захватить флаг». Красные и белые, кто у кого раньше захватит. А захватывает рыженькая девчушка Аня, и в пионерской стенгазете вешают ее портрет и рассказ помещают: «Как я захватила вражеский флаг». А я такой тихоня, я и Женя Князев. Нас никак не могут поделить, мы, ясное дело, вражеский флаг не захватим, а мешать во вре-

мя борьбы и захвата будем и даже очень. И тогда из нас создают «санитарную команду», которая должна кого-то там лечить среди боя.

Мы бродим с Женей Князевым, он испуганный, худенький, в шапочке с козырьком, и никак не поймем, что же за «война» вокруг нас, что все бегут, кричат и что-то завоевывают. Но никаких раненых или убитых, конечно, нет, и делать нам нечего. Я никогда не узнаю, как сложилась жизнь этого Жени, именно как она сложилась в войну; а вот я много раз ощущал себя после в такой же непонятной обстановке, но было пострашней — кругом бежали, кругом стреляли и падали, но уже по-настоящему.

Но это не о себе, а о времени, оно пахло прямо-таки порохом, подступающей к нам войной.

Вот привозят нас из пионерлагеря к стенам завода, и мы, выстроившись перед родителями, тут и мой отец в спецовке, орем изо всех сил песню: «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны, в строю стоят советские танкисты, своей любимой родины сыны!»

Нам горячо аплодируют, еще и потому, что на заводе делают как раз эти танки. А отец — мастер по их приемке.

В Москве живет дядя Егор, старший отцов брат. Он участвовал в первой мировой войне и был отравлен газами. Из плена он привез немецкое золотое пенсне, и хоть зрение у дяди Егора самое наипрекраснейшее, он надевает это пенсне, с мутными стеклами, для красоты, когда приходит к нам в гости. Они с отцом выпивают и ссорятся из-за политики.

Итак, начиная от Москвы, тянется ниточкой отцовская Рязанка.

В Сортировочной и на Новой, куда мы ездим иной раз с отцом в баню, всюду у него дружки и приятели. В Косино живет тетя Поля, и до ссоры с ней отец ездит к ней в гости. В Ухтомке он выбирает первый наш домик, личный, а не какой-то там съемный, как в Люберцах. Но и Люберцы — не чужая сторона, отец здесь начинал свою сознательную жизнь и однажды на бирже получил направление на завод Ухтомского.

И далее Панки, где отец познакомился с моей мамой, и Томилино, последний его приют. По этой дороге отец провожал нас в Сибирь, по этой же уходил сам на фронт.

Если бы отец захотел написать свою «Рязанку», она получилась бы куда выразительнее того, что могу рассказать я.

Его дорога легла на самые тяжкие годы: первая мировая война, НЭП, коллективизация, индустриализация, вторая мировая война — Отечественная. Это была дорога мужика, рабочего, солдата. Вот работать отец умел, да как! Я его так и не видел никогда отдыхающим. Моя жена, бывало, приговаривала: «Эх, тебе бы да такие руки!»

Впрочем, недавно то же самое я услышал от жены моего сына, но уже про себя и про свои руки. Но я-то знаю, что я лишь подмастерье в сравнении с отцом. Однажды он воспользовался моей помощью, понадобилось написать письмо в ЦК.

Но и только. В моей помощи он не нуждался и никогда ни о чем не просил. Это я нуждался в нем, в его помощи. То самогоночки нагнать, то стеллаж для книг сделать, или совет какой насчет хозяйства, или покраски, и тому подобное.

Году в шестьдесят пятом, впервые после войны, съездили мы с отцом на его родину, на Смоленщину, чтобы поставить бабке и деду железные кресты, их сварил из арматуры сын дяди Викентия. И потом мы еще ездили на Смоленщину, в Белый Холм: отец прощался.

В те годы, после войны, когда отец привел в дом мачеху, было мне семнадцать лет...

Все осталось по-прежнему. Никаких отношений с мачехой не возникло, мы остались равнодушными друг к другу. Отец прожил с ней несколько лет. Теперь он поднялся на ступень выше, по той административной лестнице, которая, по всему моему убеждению, была противопоказана природному чувству достоинства, присущей нашей фамилии.

Раз шагнув на нее, эту лестницу, из-за жилья (не от того ль мы быстро получили комнату с огородом?), отец не смог вернуться, а ведь он был рабочий человек, он умел работать, а не администрировать.

Теперь он получил власть, у него появились кабинет, печати, знакомства. Он и сам изменился, эти изменения оказались заметными у нас дома.

В то время было еще голодно, мы сажали в огороде лук для себя и на продажу. Потом в нем уже не было необходимости, но он заполнял половину огорода, потом три четверти, а потом... однажды утром отец срубил малину, освобождая землю. Срыл могилку Джека.

Как-то очень легко, без сожаления он рубил малину, приговаривая, что она только занимает место. От лука хоть доход есть. Есть выгода, а малина что...

Я смотрел и думал, что отец изменил не малине, изменил себе, своему прошлому, Смоленщине. И хотя теперь он мог возиться в огороде, он был дальше от Смоленщины, чем когда-либо прежде. Он сам ходил торговать своим луком, он делал это так же умело, как все остальное. Он приговаривал: «Мичуринский лучок, специальный сорт!» И люди покупали у него. В ту пору слово «Мичуринский» имело особый смысл и было у всех на слуху. Среди всех конъюнктурщиков, использовавших это словцо, отец был, возможно, самым незначительным. Но был.

Я зарабатывал сам на жизнь, с тех пор, как пришел из детдома. Я не зависел от отцовского лука.

Слушая разговоры между ним и его дружками о всяческих подвохах, подсиживаньях, о блатах и устройствах, я ненавидел весь его мир работы, круг его знакомств, личных и деловых. Лица его сослуживцев казались мне подлыми и пропитыми, в кабинет отца я заходил, чувствуя брезгливое отвращение ко всем и ко всему, к столам, к чернильницам, к жирным мухам на стекле.

Мне казалось, что воздух там протух, и я старался побыстрей выскочить на свежий воздух.

По ночам отец бредил заседаниями и конференциями. Иногда вскрикивал: «Строгий выговор с предупреждением!..» И просыпался испуганный. Все катилось навстречу каким-то неприятностям, которые он, наверное, предвидел, но не мог предотвратить. Пил он теперь все время. Это было оглушительное пьянство.

Потом наступил крах. На работе и в личной его жизни.

У него проворовалась на работе бухгалтер, которую он мог и должен был контролировать.

Его сняли.

Мачеха, неделей раньше или неделей позже, точно сейчас не помню, подала на развод. Отец оставил ей комнату с садом и снял комнату в городе.

Два дня длилось заседание партгруппы, где обсуждалось его персональное дело. Припомнили ему все: и лук, и пристройку, и аморальность в семейной жизни. Все, что было и чего не было. Тут уже сводили счеты все, кому не терпелось.

Абсурдность многих обвинений выводила отца из себя, он спорил, он восставал, он обличал тех, кто прежде с ним выпивал, а теперь хотел утопить.

Его должны были исключить из партии, но он отделался строгачом. Он сбросил тридцать килограмм — с девяноста до шестидесяти, стал худым, как мальчишка, только совсем седой мальчишка. Жил он тогда на чужой квартире, искал работу. Звонил дружкам, знакомым, всем, на кого мог рассчитывать.

Ему никто не помог.

Не бросил отца только один человек, гораздо моложе его, двадцатипятилетний парень.

Я не хочу пока называть его настоящего имени, но я сохранил благодарность к нему. Даже не за отца лично, а из-за чувства справедливости — я не разуверился в людях. Этот парень помог устроиться отцу в газтресте слесарем. Ему поручили оборудовать газовый техкабинет, первый в Московской области. Я часто в те дни бывал у отца, я видел, какие чудеса творил он в очень просторном сыром подвале, создавая свой техкабинет. Творил на пустом месте, без чьей-либо помощи, все он доставал и делал сам.

Он не стеснялся приходить к старым своим знакомым и клянчить ма-

териалы, отходы, битый кирпич. Он оштукатурил с подсобным рабочим подвал, настелил линолеум и поставил лампы дневного света. Оформил каждый стенд, повесил светящееся табло, подсоединил и заставил действовать газовые макеты и аппараты. Он создавал свой техкабинет, как некогда первое жилье, все своими руками, потому что он умел делать все. Мне казалось, что отец в ту пору много передумал о жизни, он хотел честно отработать выговор, восстановить для себя самого доброе свое имя.

Тех, кто его судил, он постарался забыть так же, как те забыли о нем.

Я вспоминаю отца этой поры. Я никогда не видел его таким великодушно-большим, худым и счастливым. Он ловил знакомых, приводил в свой подвал и приказывал: «Смотри!» У него было вдохновенное лицо созидателя, и мне было странно видеть в нем такие перемены. Теперь мне казалось, что отец будто бы помолодел, стал лучше понимать мои мысли, в нем появилось сочувствие. Я думал, что отец, такой отец, не порубил бы из-за лука малину. В нем ожило давнее чувство везучести.

Беда пришла неожиданно, я не уследил, когда это произошло.

В благоустроенный техкабинет стало ходить теперь газстроевское начальство с одной целью: выпить и погулять. В кабинете заорал магнитофон, мешками скапливались бутылки, появлялись и исчезали женщины.

Отец пробовал протестовать, его не слушали. Он написал о безобразиях в трест — его уволили.

Официально он еще не числился начальником техкабинета. Его уволили как слесаря, не справляющегося со своим делом. Он писал письма в райком и обком партии, ходил на приемы, рассказывал, объяснял, горячился, доказывал...

Не доказал.

Последнее его письмо было в самую высшую инстанцию, в Центральный Комитет Коммунистической партии.

Это была не просьба. Это был крик.

Я помню, как перепечатывал это письмо и у меня болело сердце.

Я понимал, что отец пошел на последнее средство, потому что для него обращение в ЦК равносильно обращению к Богу. Ни на что уже не надеясь, ни во что не веря, он все-таки, как и я, ждал ответа на письмо: от него зависела судьба отца.

Но ничего особенного не произошло. Письмо, как и следовало ожидать, переслали по адресу критики, то есть в райком, а потом в трест, и разбираться с жалобой назначили т. Васильченко и т. Мокротова.

Отца снова выдернули в райком, там произошел жесточайший суд. Ему кричали всяческие оскорбления, над ним попросту издевались. Он вышел оттуда, не чувствуя себя, слег и пролежал много месяцев.

Вот откуда начинается его эта неизлечимая болезнь.

Наши болезни...

А я не знал, не умел ему помочь. Я только помню свое мстительное чувство по отношению к тем, чьи фамилии были в письме, к этим самым Васильченко, Мокротову, Супрунку, Митину, Тихонову, Гордюхину А. И., Епифанову, Валуевой, Архиповой, Алимову, Артемьеву...

Мне надо было запомнить их, чтобы после, когда я стану сильным, очень сильным, я смог бы прийти в их дом, разыскав их, пусть даже на пенсии (как приходил к своим врагам униженный герой Дюма), и спросить, глядя в бесцветные пуговицы глаз: «А вы не помните, случайно, Виктор Яковлевич, некоего мастера Игната Петровича? Ну, того самого, которого вы убили... И вы, Мокротов, и другие?»

Я бы медленно, нарочито спокойно, достал бы все солдатские награды отца, его медали за взятие Бухареста и Будапешта, его благодарности от товарища Сталина на фронте, потом я достал бы это письмо в ЦК и в конце концов — свидетельство о смерти.

А этот благостный старичок все крутил-винтил бы беззубой челюстью, все врал бы и выкручивался, косясь на своих внуков, как бы они не услышали о такой грязноватой деятельности их честнейшего деда. Его и ему подобных.

Они-то, если посудить, и были прототипы тех люберов, которые сегодня исповедуют право сильного. Да и у кого же было учиться, если их почти на их глазах (и на моих, и на их тоже) творили беззаконие и самосуд над всеми, кто не хотел быть в их шайке!

Теперь-то, небось, высовываясь из своих крысиных нор на улицы, они кроют этих люберов последними словами. Они пишут в районную газету письма, жалуются: куда же смотрит люберецкая милиция!

Вот когда жизнь им аукнулась. Изобразила им в зеркале собственный — только помолодевший — портрет.

А может, он спился, этот Васильченко В. Я., и сдох под забором, и его покарала сама жизнь?

Я не стану разыскивать этих людей, хотя это несложно было бы теперь сделать.

Они, при всей их ничтожности, лишь составные звенья общего механизма, его рядовые винтики, роботы, рабы, послушно исполнявшие свое дело.

Но в ту пору отец еще верил в справедливость и в высший суд ЕГО партии, а вслед за отцом верил и я.

Ах, как я хотел бы, чтобы они поняли, что, сломав отца, они и мне надломили тогда хребет.

Впрочем, надлом произошел еще раньше, в тот день или вечер, когда, нарушая партийную дисциплину, отец принес домой письмо Хрущева о культе личности. Он зачитывал это письмо на работе, но не положил его в сейф, как положено, а захватил для меня на одну ночь. Но что это была за ночь! Я сидел над этим письмом и плакал, как маленький дурачок, читая о миллионах убитых и загубленных в лагерях. Эти, нынешние, сами убивали и сами теперь об этом рассказывали, спихивая свои преступления на товарища Сталина, родного и любимого! Он же был в крови у меня, как же так за одну ночь его изъять из себя, из своих клеток, составной частью которых он стал?! «Мгновенье, и радость прорвалась лавиной: объяты единым порывом души, единой любовью, желаньем единым встают делегаты, и воздух дрожит, биенье сердец, находящихся в зале, слилось в один торжествующий ритм: слово имеет товарищ Сталин, Сталин с народом своим говорит! «Сталина слово — бесценное слово, Сталин сказал, значит: сбыться тому! Вот почему беспредельно готовы верить ему, подчиняться ему...» и т. д. Это мои стихи о нем.

Я вышел утром с покрасневшими глазами, еще сам до конца не понимая, что я вышел другим человеком; и отдавая отцу красненькую лощеную папочку, я спросил подавленно: «Пап, как же дальше?» Я еще не ведал, что это вовсе не вся правда, и лишь маленький ее краешек. И отец не смог ответить на мой судорожный, на мой отчаянный вопрос, он лишь торопливо положил в свой портфель папочку и на ходу, не глядя мне в глаза, произнес (я запомнил, что он не мог смотреть мне в глаза): «Не знаю. Я сам ничего не пойму. Мы ведь с его именем (он не назвал Сталина) шли на фронте в бой... Да мы же все делали вместе с ним...»

Хрущев обличал Сталина, но отца-то сломали при Хрущеве.

Отец купил себе на отшибе, рядом с грязной свалкой, сарайчик-развалюху и своими руками, набирая битый кирпич на свалке, сложил себе последний в жизни дом. А в доме повесил на стене старинные, не врущие часы. Часы показывали его время.

И погреб вырыл, крепкий, просторный, и газ сам провел, и скважину для воды сам пробурил, и асфальт на дорожки настелил, и забор поправил... И лук посадил, и сделал многое, многое другое. Работал он слесарем, истопником, дворником, сторожем.

Отец не хотел больше работать на НИХ, он работал лишь на себя.

Указывая на свой, ухоженный с годами огород, на сад, он произнес однажды: «Я вот тут для себя строю свой коммунизм».

Он-то думал, что они оставят его в покое. Не тут-то было! И соседи, и милиция, и всяческие исполкомовские комиссии все время топтались у его дома, выясняя, какие у него доходы и почему он продает лук. На четырех отцовских сотках этого лука родилось в сто раз больше, чем на близлежащем колхозном поле. И на огородах его соседей. И уже одно это было подозрительно.

Теперь отец умирал.

Он лежал в той больнице, в Панках, где умирала и моя мама. Я запомнил с детства окно на третьем этаже, куда меня приводили для свидания с ней, а она мне улыбалась и кидала конфеты, которые она сама есть не могла и для перестраховки ошпаривала. Эти конфеты, как только мы отходили от окна, у меня взрослые забирали и уничтожали: туберкулез — болезнь заразная!..

А потом отца отдали нам, и он лежал в доме у сестренки Люды, он еще не знал, что дни его сочтены. Однажды, это было, наверное, в начале мая, он попросил свезти его в свой дом. Сам попросил.

Вместо почты, где ему надо было получить пенсию, он сперва попросил довезти его до пивного ларька.

Людин муж Павлик побежал, но вернулся огорченный: «Такая очередь!»

Отец нашел в себе силы, вылез, доковылял до ларька и вернулся благостный: выпил кружку пива!

Дома его не узнала собака, облаяла, и он огорчился. Мы вынесли ему табурет, и он сел, опираясь на палку, прямо посреди огорода, оглядывая свои посадки, на лук смотрел, на цветы, на деревья... Вдруг произнес: «В субботу поеду продавать». А Людин муж Павлик только хмыкнул про себя, качнув головой: «Вот порода! Одной ногой там, а ему надо лук продавать!»

Минут пять он так сидел и попросил: «Хочу спать».

Прилег в своем доме, немного поспал, проснулся и опять вышел посмотреть на свой огород.

Люде он сказал: «Не забудь полить лук». А Люда (на нервах вся!) ответила: «Пап, да польем! Не беспокойтесь вы!» И тогда он тихо попросился: «Домой хочу». Называя домом уже не этот, родной свой дом, а тот, где лежал у Люды. И пока Люда с Павликом хлопотали по поводу отъезда да собаки, которой надо оставить варева, он снова пристально разглядывал свой огород. Странно поворачивая голову, смотрел, будто заново его видел.

А я подошел, заглянул в лицо, и вдруг тут, при солнечном свете, увидел его глаза! Они были затравленные, не земные. Ушедшие куда-то в глубь себя, в свою боль.

Мне показалось, что они будто бы побелели, выцвели, две роковые льдинки. Да нет, не льдинки, а пропасти, покрытые белесым туманом, и дна не видно. Белые бездонные провалы, а в них боль и тоска.

Я сказал «затравленные», но может быть, безысходные, вот какие. Я вдруг вспомнил, как отец рассказывал про товарищей на фронте: в роте сразу догадывались — кто погибнет! У них за несколько дней до гибели глаза, выражение глаз менялось, и кругом говорили: «Этот готов».

Я в эти дни уезжал. Когда я стал прощаться, отец махнул рукой: «Иди!» На кровати ему уже больно было спать, он и ватник под себя подкладывал, и поролон, а теперь мы привезли ему кровать с пружинами, как он просил. Он стоял, смотрел, как Павлик стелит ему поролон, и мне рукой махнул: «Иди».

Так он простился с домом, он любил его страстно, сильно, как любят последнее, что осталось.

Я вспомнил, как он в деревне, у себя на родине, хозяйствовал на чужой, как он называл, усадьбе. Стол на дворе построил, баньку начал строить, и косить ходил, а там, где были травы какого-то Лизочкина, он все мял, все нюхал траву и удивлялся, почему же при Лизочкине росла трава, а теперь, когда она колхозная, не растет.

А если ехали мы по мостку, сложенному из случайных бревен, то выходил и сам этот мостик поправлял. И опять удивлялся, отчего же всем наплевать на мостик-то, ведь ездят же, можно для себя сделать.

Он был хозяин, может, как мне казалось, последний хозяин на российской земле.

Той ночью мне приснился старый вол, который почему-то вез в упряжке автомобиль. Лаковый, черный, похожий на довоенный «зисок». На повороте автомобиль занесло, и он застрял на обочине. А вол повалился рядом. Я подошел к его трупу, стал трогать облезлую шкуру, а он вдруг зашевелился и стал подниматься. Я обрадовался, жив, стал гладить по шее, его морду, вот ведь животина, вот уж вечная, неизносимая, так подумалось, и вдруг почувствовал, что он своим копытом тоже гладит меня. Я так поразился, что проснулся и долго лежал, ощущая это прикосновение: вол меня погладил копытом.

Я вспомнил сон, но это никакой не символ, еще не хватало, видеть символические сны! Рассказал я лишь потому, что увидел это после встречи с отцом. А потом на юге в доме отдыха получил телеграмму, чтобы немедля выезжал, что все плохо, и, едва достав билет (для этого надо было перепрыгнуть через себя!), я прилетел в Людин дом. Там уже была вызванная телеграммой тетка Аня. Мне рассказали, что ночью отец, пытаясь встать, упал и сильно расшибся, не ел он уже дней десять.

Мы сидели в соседней с ним комнате и тихо разговаривали. Это уже были разговоры о его похоронах. О том, что же надо подготовить из одежды. Люда достала белой материи у солдат, тюль, тапочки купила. Это не Москва, тут сразу не закажешь. А вот костюм ему был великоват (теперь великоват, раньше был нормальный), да и ношеный. У него все вещи-то разокрали. Что ни подарим, как придут выпивохи, он с ними напьется и спит, а они берут, что можно. Люда увидела у отца старенький чемоданчик и купила новый. Он два дня носил, а потом приходит, а в руках опять старый, а нового уже нет. И с бельем, и с тарелками так. Что ни принесешь, пропадает. А костюм-то ему надо бы другой, хотя некоторые так делают: распарывают спину, ее-то все равно не видно, важно, чтобы на груди было как положено.

А тетя Аня сказала: «Костюм должен быть новый, даже арестантам умершим новое выдают».

А я вспомнил, как у одного знакомого редактора, хоронившего родителя, подсчеты на столе увидел: гроб — 90 р., тумба — 5 р., обмывка — 10 р., венок — 15 р., рытье могилы...

Ужасно. И еще ужасней, что мы это при живом человеке планируем вслух: а он тут же, в соседней комнате, он еще все понимает! Он живет и вовсе не хочет умирать.

Когда я вошел к нему, я увидел, бросалось в глаза, что глаза его еще больше ввалились и еще сильней побелели. Руки усохли, стали как детские, и ноги усохли.

Под копчик резиновый надувной круг подложен, так больно ему лежать.

Сейчас он был похож на смертельно раненное животное, с трудом нас узнает. Но увидел тетку Аню и понял все. И тут же замахал испуганно рукой: «Рано! Рано приехала!»

А потом, когда Люда помогла ему повернуться, он прошептал: «Я доживу до клубники».

Мы уж обыскались, чтобы достать на рынке этой клубники, а с юга я не догадался захватить...

Так мы сидели, разговаривали, а Люда еще сказала: «Он Павлику вдруг говорит — „Я тебе, Павлик, пятьсот веников в наследство оставлю". А у него и правда весь чердак забит, он их по рублю у бани продавал. Один раз у него по пьянке кто-то захотел вырвать, а он не отдал, и его избили... Господи, сколько же раз его били...»

На другой день тетка Аня по телефону сообщила, что пошла горлом кровь, значит, теперь скоро. Люда просила сидеть и ждать. Вызвала «скорую», они приехали, сделали укол и — украли две ампулы наркотиков.

Кто-то предложил привести начинающего экстрасенса, он обещал убрать боль. Я приехал, увидел — шарлатан. Он упражнялся на моем умирающем отце, потом потребовал, чтобы его отвезли на машине в Пушкино. Я отвез его туда. Выходя, он, двадцатилетний лохматый хлыщ с наглыми глазами, спросил невинно: не могу ли я завтра в двенадцать дня снова приехать за ним? Я послал его... Я закричал на него так, что, думаю, он испугался. Во всяком случае, он точно решил, что я сумасшедший.

Потом я искал отцу костюм. Обошел весь центр и на улице Горького купил болгарский, в полосочку, он даже мне понравился, такой шикарный импортный костюм. Подумалось: ему бы живому такой костюм подарить! Кассирша, веснушчатая мордашка, когда я выбивал сумму, предложила: лотерейный билетик не хотите на счастье? Я помотал головой: уж какое счастье — костюм для умирающего.

Потом я ходил по городу с этим свертком, и несколько раз мне попа-

лись знакомые, и каждый почему-то, глядя на сверток, спрашивал: «Обарахляешься?» Я отвечал: «Да». Не мог же я всем говорить, что несу костюм, купленный для покойника, который еще и не покойник, а мой живой отец.

Вечером, когда я приехал к Люде, она сказала, что несколько раз в бреду он кричал слово «Увольте!».

— Увольте? — спросил я.

— Ну да, кричал «Увольте!» Наверное, просил отпустить его.

Просил отпустить. Будто с работы просил отпустить! Господи! Неужели же и сейчас еще он числил себя в рабах у государства?

Когда я к нему зашел, он вдруг впервые меня узнал. Не поворачивая головы, он почувствовал меня и назвал по имени. Я приблизился. Он протянул руки и потрогал меня, а я, наклонясь, взял его за плечи. «Он с тобой прощается»,— тихо произнесла Люда. Я тоже с ним прощался. Я подержал руку у него на груди, слыша отчетливо, как трепыхается, как неровно стучит, словно просится наружу, его сердце в высокой, теперь уже очень высокой из-за опавшего живота, груди.

А он сразу устал, отпустил меня и уснул.

Люда вышла, а я еще стоял над ним, рассматривая его лицо. Он стал на кого-то похож, но я никак не мог понять — на кого, пока не понял: на мужика, виденного мной однажды в смоленской деревне, на завалинке.

И особенно похож оттого, что он сильно зарос бурой щетиной.

Так вдруг и подумалось: мужик умирает.

Родился в деревне, хоть большую часть жизни прожил в городе, вот ведь вернулся на круги своя.

Я еще в деревне во время поездки отмечал, что у него и говор свой, смоленский, к старости стал появляться, и видом он обратился к своему началу.

Был у отца дед, а мой прадед Василий, на Крымской войне медаль получил: уложил в рукопашном бою несколько врагов. Но вернулся в деревню, к земле, и умер в девяносто лет. Отцу было тогда семь. А у Василия были дети, и среди них Петр и Лавр. Петр, мой дед, всю жизнь крестьянствовал, в столыпинские времена был выделен на хутор. А рядом был хутор отца Александра Твардовского. А Лавр погиб в войне с японцами, защищая Порт-Артур.

У деда Петра было пять сыновей: Егор, Степан, Викентий, Федот и Игнат, мой отец. Егор воевал в первую мировую войну, был в плену у немцев, жизнь свою доживал в Москве, работал на заводе. Степан погиб в Отечественную, его дети живут в Смоленске. А Федот участвовал в Белофинской кампании, и его дети живут в Смоленске. А дядя Викентий, я уже рассказывал, как его раскулачивали, умер уже недавно, года за три до отца. И его дети работают и живут в Смоленске. Вот и мы с сестренкой у отца тоже городские люди. Выходит, посчитать, потомство от корня прадеда Василия немалое, а у земли-то никого не осталось.

Теперь старался я охватить, запомнить отца в его последних, я знал, днях. А охватывать-то уже и нечего. Одна боль, и ничего кроме боли. И уж сквозь эту боль брезжит что-то, какая-то дальняя мысль, которую он и сам и мы уловить уже не можем.

И так понятны, так объяснимы привычные слова: устал от боли. От страдания. От ожидания, когда же оно кончится.

— Увольте! — просит. — Увольте!

Люда, и от той-то уж ничего не осталось, усохла вместе с отцом, едва ходит, полуживая от усталости. Но бодрится. Смотрит, не надо ли помочь. Поперву-то отец стеснялся, гнал ее, когда вставал мочиться, а теперь уже не гонит, спустит ноги, упрется в стол руками, еще сильными руками, это видно, а ему баночку подставляют. А в баночке водичка, чтобы не видно было, что ходит он кровью. И опять надувной детский круг под зад, а уже и зада-то нет, странно, два кулачка вместо него, так, наверное, выглядели дистрофики в сталинских лагерях.

Ехал я на машине, солнце закатывалось, было мягкое легкое предвечерье. Гуляли женщины с колясками, копались на огородах мужчины. Все было, как было. А рука еще сохраняла это странное ощущение, как через кости, без мяса, билось его сердце. Умирал мужик и солдат, которого миновала за всю долгую войну вражеская пуля. Помнил я его рассказ о том,

как через Волгу, через Каспий везли их на Кавказ на баржах, и началась холера. Трупы сбрасывали в воду и к берегу не разрешали подходить. И они гибли, и буря их трепала, а берег все не брал к себе.

В ночь на 21 июня я лег поздно, и спал нервно, и просыпался, а под утро, не знаю, сколько было времени, подскочил от нахлынувшего страха. А днем пришла телеграмма из дома: «Отец ушел». Так написали, ибо в наших телеграммах, не заверенных врачом, нельзя писать о смерти. Но в этом знаке — «ушел» — был какой-то особенный, глубинный смысл.

Уволили, значит.

А попал к нему лишь на кладбище, его схоронили рядом с моей матерью, в ее условной могиле. Положил цветы, открыл бутылку пива. Половину отлил ему, а половину выпил. Ухватившись за железную оградку, как за бортик на раскачивающемся корабле, я бездумно куда-то долго плыл.

Люда рассказала мне дома, что не ел он ровно двадцать четыре дня. Ей показалось, что он мог бы есть, но не ел, будто специально не пускал в себя пищу. Она сказала: «Был почти всегда в памяти. Иногда взгляд останавливался не на мне, а будто за моей спиной. Казалось, что он там что-то рассматривает. Я спрошу — пап, ты что? Молчит. Если о чем-то спрашивал, то лишь об огороде, почему не едем, почему не поливаем лук, как бы не пропал! А за три дня до смерти позвал маму».

— Какую? — спросил я.— Нашу мать? Или свою?

— Не знаю. Но несколько раз повторил: «Мама». Потом он попросил сделать ему баню. Но чтобы не я, а Павлик. Дошел он до ванной сам. Постелили на дно одеяло, он лег и не хотел вылезать. Еще попросил вина. Я сбегала под закрытие, нашла «Салют». Он выпил чуть-чуть, его сорвало. А в ночь перед кончиной он перестал стонать. Я проснулась от его молчания, испугалась, вошла, а он лежит, смотрит. Я спрашиваю: «Пап, что-то надо?» Головой качнул. И так непривычно: молчание на всю ночь. А до этого кричал, я боялась, как бы соседи не пожаловались. Павлик стал собираться в семь на работу, а я говорю: «Подожди. Не уходи, это будет скоро». Но он не мог не идти. А в восемь часов отец ушел...

Я бросилась звонить. Потом мы его обмыли. Стали одевать, пока он не окоченел. Надели белую рубашку и костюм тоже надели, жалко было, что потом надо будет костюм такой новый разрезать. И сразу приехали от бывшей жены. Начали ходить по участку, спрашивать, нельзя ли дочку тут прописать? Это так страшно! Не на похороны, а на участок прибежали. И не о нем, о дележе...

Во время поминок Люда сказала: «А знаешь, как он обычно питался? Консервы какие-то рыбные ковырнет и так оставит... Он ведь очень одинок был...»

Она сказала и посмотрела на меня, наверное, мы одновременно вспомнили тот случай, когда отец перепутал все дни и решил, что мы не приехали к нему на день рождения — второго января. Он тогда сидел у окна и пил. Он выпил две или три бутылки, а мы, пройдя через калитку, все удивлялись: белый снег без следов! А он увидел нас, но уже не мог встать. Он заплакал, стал уверять, что уже третий день мы не едем, а он решил сжечь себя водкой... Так, плачущего, и усадили за стол, закуску и шампанское мы всегда привозили с собой.

Люда показала мне его записную книжку. Там было заполнено всего три странички.

Стояло: дочь. И адрес. Потом — сын. И адрес. Потом слово «приятель»: Иван Иванович Ильичев, мы его не знали. И тетка Аня с сыном. Вот и весь круг отца. А еще в записной книжке вложена была бумажка с молитвой, старая такая, потертая бумажка, кажется, он ее еще с фронта хранил.

Я спросил Люду:

— Значит, он верил?

— Нет, он не был верующим,— сказала она. Потом добавила: — Но молитву хранил.

Была у отца когда-то навязчивая мечта — найти клад. Теперь такой же мыслью обуян Павлик. Ходит по отцовскому дому, а сам нет-нет и постукивает по стенке, по подоконнику, даже во сне к отцу обращался, вы-

спрашивал: не осталось ли что-нибудь, дед? Павлик моего отца дедом звал. А отец будто бы ответил: «Со мной». Что бы это значило?

А Люда сказала:

— Да отвяжись ты со своим кладом! Я каждую ночь молила его присниться, чтобы спросить, как ему там? И он вдруг приснился. Идет по улице в коричневом полушубке, молодой, красивый, веселый, а в руках, хоть и зима, у него красные помидоры.

Я сказал, что у отца до войны был лохматый коричневый полушубок. Да вряд ли Люда могла его помнить, ей тогда было лет пять.

А Павлик опять о своем, мол, что же это означает, что он так сказал: «Со мной». Может, он хотел сказать: «Надо мной», или «Подо мной?» Ну, то есть там, где он спал? Ведь не могло же у него совсем ничего не остаться, кроме веников?

А Люда тогда сказала: «Он пил, вот где его деньги».

— Остальное? — спросил Павлик. — Вот один человек умер, а потом у него нашли, в стеклянной банке.

— Привязался, — крикнула Люда. — У него на книжке были четыреста рублей, вот и все! И хватит об этом!

Она рассказала: случай был, это уже в его последние дни, когда ночью он встал, решил сам дойти до туалета, да в темноте не рассчитал и стукнулся об угол шкафа. Упал, и все от удара проснулись, бросились поднимать, а он в крови!

Теперь вот временами они ночью всей семьей просыпаются от такого стука: будто он снова в темноте задевает угол шкафа, раздается удар тела об пол, а потом вскрик. Все, напуганные, вскакивают, зажигают свет, конечно, никого.

— И часто? — спросил я.

— Нет. Бывает, неделя или больше спокойно, а потом снова грохот... Я не одна, мы все трое это слышим.

— Но, может быть, за окном?

— Нет, в комнате,.. Мы же знаем этот звук!

— В памяти? А не в комнате?

— Но просыпаемся-то мы все... — и добавила, помолчав: — Странно, что он сюда приходит. Не в дом свой, который любил, а сюда. Но теперь стал приходить реже.

А потом он и мне приснился.

Едем в автобусе. Мы, наверное, совсем уезжаем. И последняя мысль, что я не запер квартиру и вещей не взял. Прошу подождать, бегу наверх и первое, что вижу: топится печка. Как же я ее брошу, если она еще топится? Так дом бросать нельзя! Почему-то подумалось, что отец затопил печку, а сам ушел... (Значит, это дом отца? Значит, он не умер, если он затопил печку?) Прибежал приятель (он к чему в моем сне?) и стал ругаться, что я всех задерживаю. А я пытаюсь ему все объяснить, про печку, про отца, только очень путано у меня выходит, да и он не слушает, исчезает.

А потом я проснулся, кажется, рассвет был, старинные часы тикали в тишине и рядом лежал отец. Я не вижу, а лишь чувствую, что это он. Я прислонился к нему щекой, и так тепло, так легко мне стало. Удивительное чувство близости, особенно во время полета. А полет такой, что не надо ни отталкиваться, как бывает, ни взмахивать руками. Мы распростерлись с ним где-то на уровне третьего этажа, и серые одноэтажные домики внизу, и провода, а в проводах, я хорошо разглядел, человек застрял. Мысль мгновенная, тоже летел, но не увидел проводов! Я еще на него оглянулся, неудобно как-то улетать, когда он, черным пятном в проводах, как муха в паутине.

Еще запомнилось, снег наискось, в глаза, но он не слепит и не холодит. И вообще, нет чувства озноба, а только легкость и сильное чувство близости к тому, кто рядом. Потом я услышал, хоть это вслух не произносилось: «Подожди, сынок, мне тут нужно».

И сразу же мокрый, но не холодный асфальт под ногами. И тот, который отец, ушел, унося старинные часы под мышкой. Загнать, что ли, решил. А я подумал: «За чекушкой ушел, выпить ему захотелось. Часы сейчас загонит и выпьет...» И сон пропал. А чувство полета осталось.

Хочу напоследок привести такое письмо.

«Уважаемый Анатолий Игнатьевич! Случайно взял в руки журнал «Огонек», я прочитал вашу статью «Отец» и вспомнил все мои прошедшие молодые годы. Я тот самый инженер, которому Вы выражаете чувство благодарности. Вашего отца я узнал, когда он работал председателем горкома профсоюза в г. Люберцы. Не знаю почему, но он мне представился Сергеем Петровичем. С тех пор у нас с ним завязались товарищеские и дружеские отношения. Я был с ним по духу и по крови родным. Вы очень справедливо и объективно описали те годы событий.

Махротов (а не Макротов, как Вы пишете) умер вскоре, как мы заселились в собственно построенный жилой дом Горгаза на ул. Мира в г. Люберцы. Васильченко, Тихонов — умерли, Супрунюк (а не Сапрунок), Митин — на пенсии. Я дружил с Вашим отцом до 1967 года. В 1967 году я уехал в Ярославль. Приезжал в Томилино неоднократно. В то время у них складывались плохие отношения с Машей, у них родился ребенок.

Писать больше не могу... Он был моим товарищем, другом, почти отцом. Теперь откроюсь, кто я — Попов Владислав Михайлович, живу в г. Калининграде...»

МАМА

Я возвращался с кладбища, с моего позднего прощания с отцом, ступил на люберецкую платформу и замер, натолкнувшись на пустоту: вокзала не было. Лишь груды кирпича да экскаватор, с грохотом зачерпывающий обломки, все, что оставалось от вокзала. Рядом открытая железнодорожная платформа, над ней реяла красная пыль.

А за вокзалом, уже не существующим, открывалась непривычная для глаза панорама: рельсы, изгороди, скрытые до сего дня, а далее вдруг — и сам город, с его новыми кварталами домов. Вот теперь-то я бы точно указал место нашего дома, если бы его тоже не снесли.

Кстати, я его успел застать, случайно, конечно, перед самым его уничтожением, это было в шестьдесят первом или шестьдесят втором году.

Уже не помню, почему мы сюда с женой пришли, может, ехали от сестренки или отца, и вдруг озарило: вот же дом, как не зайти!

И мы зашли, двери оказались открытыми.

Как выяснилось, хозяева, дядя Ваня и тетя Таня, собирали вещи. Им давали квартиру в новом большом доме, но тоже по Куракинскому — как сказал дядя Ваня — переулку. А мне он почему-то сказал: «Я думал, тебя зарезало поездом!» — Я спросил: «Почему же вы так думали?» А он, усмехнувшись, седой-седой такой, но глаза молодые, быстрые, я вспомнил, что он работал бухгалтером в магазине, сказал: «Да слух прошел... А ты, вишь, объявился! Долго жить будешь! А вот дома скоро не будет... Не жаль?» — «Не знаю», — ответил я. «Ну правильно. Но если захочешь, заходи, мы тут рядом поселимся, я тебе подарю фотографию этого дома».

Я пообещал зайти, но вот так и не зашел, все некогда было.

А дома, конечно, жаль. Не вообще дома, а того Дома, который был в моей памяти, куда реальней этого, пустого и уже ничейного.

Я заглянул в чулан, тоже теперь пустой. В нем висели спортивные кольца Вити Паукшты, которого надо бы нам с Сашкой называть дядей Витей, но мы его так не называли. Он был дядей моего соседа Саши, а еще был Виля, тоже его родной дядя, но сейчас я о чулане.

В этом чулане, довольно просторном, несмотря на его забарахленность, мы спали летом: тетка Поля, Вера, Тонька и я.

Девки все были молоденькие, говорливые, и я поневоле наслушивался массу самых невероятных историй, обычно криминальных, об убийствах и тому подобном, именно то, что любят рассказывать на ночь, под темноту и обязательно шепотком, по секрету.

Вся эта уголовщина, услышанная, но еще и увиденная в кино, странным образом трансформировалась в моей памяти в почти что реальные картины.

Сюда же добавились впечатления какой-то, по случаю, занесенной книги.

Своей библиотеки у нас не было, вообще не было ни одной книжки в доме. А я рано научился читать, много раньше школы, причем сам, без чьей-либо помощи. И сразу прочитал эту книгу. А в ней невероятные страсти, кто-то кого-то полюбил и убил, а потом на землю сыплются трупы в мешках... С ума сойти!

Я до сего времени не могу понять, что же это за книга такая, в которой с неба сыплются трупы в мешках... Но было же, было! И я подсказывал по ночам и что-то орал, очень смеша моих молоденьких и дурашливых родственниц. Их это здорово забавляло!

Вот они ведут меня на вечерний сеанс (не с кем оставить, потому что мать в больнице), и я смотрю фильм под названием «Соловей-соловушка — буйная головушка».

Может, и названия такого нет? Я после, например, не встречал.

Но помню, что в фильме пьяный, а может, и не пьяный, но он почему-то стоит у дома и кого-то зовет, кажется, свою девушку, а из окон со всех этажей в него летят тарелки... Сотни, тысячи тарелок.

Возможно такое — даже в кино?

Под впечатлением ли фильма, или ночных секретов моих девок, но только навсегда остается в памяти, что комедия — это когда летят тарелки, а значит, это страшно.

Сейчас-то мне самому смешны мои страхи. Я люблю смотреть комедии, люблю посмеяться. Может, и летящие тарелки в ту пору у кого-то вызывали смех?

А вы попробуйте заново-то произнести слово: ко-ме-д-и-я, жесткое, деревянное, как темный к-о-м-о-д, стоящий в чулане и потрескивающий в темноте ни с того ни с сего.

Вот почему в глухом чулане, просыпаясь от позднего прихода девок и слыша их громкий шепот: «Ох, девки, какую комедию я нынче видела!», — я в страхе утыкался в подушку и закрывал глаза. Я знал, что это ужасно, это страшно. И лучше заткнуть уши, что я и делал.

Но бывали случаи, меня заставляли спать в чулане одного, и я плакал и не хотел идти, а отец меня выгонял и запирал в доме дверь!

И все страхи, что налипали на меня в течение совместных тех ночевок, вдруг проявлялись, и в похрустывающих звуках чулана, всех его нагромождений, в беспросветной темноте, потому что ни окон, ни лампочки тут не было, мне чудились привидения и мертвецы, и я спасался в глубинах подушки, замерев от страха.

Оттого слово «чулан» для меня равносильно слову «комедия» — они оба из моего детства и оба темного цвета.

Эти бы страхи в войну, когда мне было десять — двенадцать лет, и я уже ни черта, ни дьявола не боялся, и в такие мрачные дыры залезал, и в таких черных подвалах, в катакомбах жил, в древних армянских склепах, мертвецов повидал, даже спать приходилось рядом...

Этот чуланчик в ту пору мне счастливым сном казался!

Немного о Рязанке, о той, что была шоссейной дорогой. Она, как и железная дорога, не могла не пересечь наши жизни.

Куда бы мы ни шли, в магазин ли, на рынок или за мороженым, ее нельзя было миновать. Она и в ту пору была очень шумной дорогой, по ней ездили машины и телеги, много еще телег. Под одну из них я попал.

Кажется, я бежал в магазин и на перекрестке влетел под задние ноги лошади с телегой.

Возчику заорали, он испугался, натянул вожжи (наверное, я это знаю из много раз повторяемого рассказа взрослых), и телега, уже успевшая разок меня переехать передними колесами, снова, но уже в обратном направлении, меня переехала. К счастью, голова моя не попала под те колеса.

Меня выволокли наружу и положили наземь, на обочине. Я был без памяти. Но чувство, когда я очнулся, я помню так же хорошо, как помню в подробностях весь этот эпизод. Я лежал на спине и видел толпу людей надо мной, но почему-то ничего не мог понять: зачем я тут лежу, и зачем эти люди, и почему они на меня так странно смотрят.

Потом подъехал какой-то мотоцикл с коляской. Меня приподняли, попытались уложить в коляску, но я вдруг пришел в себя и закричал, упираясь ногами в борт коляски. Меня отпустили со словами: «Он же цел!» — и я бросился бежать домой. И уже около дома увидел, как навстречу несется мама, но не ко мне, мимо меня, куда-то к Рязанке, к перекрестку. Я кричу ей: «Мама, я здесь!» А может быть, еще: «Я цел!» Но она хоть и слышит, но продолжает бежать дальше, а в глазах ее безумный страх.

Рязанка делила город на две половины, но она же его соединяла. К центру от нас дома были высокие, каменные: Мосторг, Гастроном, Пожарная команда, Горсовет...

Я пишу с большой буквы, потому что они были для нас не просто зданиями, а местами, отмеченными нашим особым к ним отношением. Но после всех этих домов шла длинная заводская стена, а за ней лишь находился поселок Калинина, где жила моя крестная: тетя Шура Шлейн. Тетя Шура работала на фабрике-кухне, у нее были два мальчика, оба старше меня: Сергей и Лялька. О них я запомнил лишь, что однажды они ехали с отцом на велосипедах, все трое, и их сбила машина. Тут на Рязанке.

После войны я видел однажды Сергея на катке. Он вернулся с фронта и, надевая коньки, говорил мне, что забыл, как надо ездить.

А потом мы встретились с тетей Шурой возле кладбища, несколько лет назад. Я бы ее не признал, но сестренка Люда, памятливая на лица, остановилась и меня подозвала.

Тетя Шура грустно поздоровалась и произнесла, что была на могиле своих ребят: оба лежат тут... Один умер после войны — Сергей, а Ляльку зарезали.

А я вспомнил, как однажды, года в четыре, я ушел пешком к своей крестной, нашел ее дом и ее комнату. Я бы, наверное, и сейчас нашел: второй дом с левой стороны, первый этаж. У них еще жила испанка-девочка, которую тетя Шура удочерила. Эта девочка работала на заводе, там же, где и муж, и дети тети Шуры, и случилось — волосами попала в станок... Лежала в больнице.

Так вот я появился у тети Шуры, а она удивилась, всплеснула от неожиданности руками, а потом накормила и отвела домой. Здорово мне тогда влетело. Но я гордился, я чувствовал себя таким героем, когда мои родители рассказывали, что я сам ушел в другой конец города к тете Шуре Шлейн.

А вот страну изъездил в войну и на крышах, и под вагонами, на каких только полустанках не жил, а никому это не было в удивление, и самому не казалось чем-то ненормальным... Подумаешь, махнуть с санитарным поездом на фронт, а потом куда-нибудь за Урал!

Случилось, бродя по Подмосковью, забрести мне однажды в поселок Калинина, в дом к моей крестной. Дома ее не оказалось, а мне объяснили, что работает она тут, напротив, на фабрике-кухне. Были до войны такие учреждения. Сейчас бы назвали попроще: «общепит». Тоже плохо.

Но не в названии дело. Тетя Шура Шлейн, крестная, оглядела меня не без испуга и, сунув в руки ломоть хлеба, вывела за дверь.

Я знал, что она живет среди сытости, обилия жратвы. Ибо в войну на фабрике-кухне не голодали. Да и успел я углядеть в то короткое мгновенье нашего свидания, первого и последнего, что перед ней стояла тарелка с варевом... И пока она «узнавала» во мне крестника, и пока в испуге соображала, куда меня, такого ненужного, деть, она продолжала механически жевать, а я все это видел... Да что видел, у меня кишки наизнанку вывернулись, пока я вдыхал сытные запахи этой самой «фабрики».

И уж сколько после мимо ни ходил, со всякой швалью водился, и траву молодую обжевал вдоль стен этой самой кухни, но никогда больше сюда не зашел. Ни сюда, ни в дом, где жила моя крестная мама — тетя Шура.

Против поселка Калинина находилась поликлиника — большое белое

здание. Меня сюда водили перед поступлением в школу брать мазки. Мы говорили: «Брать мозги». А мама моя здесь была на учете в тубдиспансере. А потом и сестренка попала, и к тому же врачу — Окшатиной, милой доброй женщине, она всех «своих» помнила и называла ласково по именам. И еще позже и я сюда пришел, и тоже попал к Окшатиной. И это как-то в моем понимании предопределяло нашу с сестренкой судьбу. Но мы выжили, а мама не выжила.

За те десять лет, что прошли со смерти мамы до нашей болезни, американцы изобрели стрептомицин, фтивазид, они-то нас и спасли.

Мама последние годы лежала в панковской больнице...

Панковская больница была далеко, очень далеко, мы туда ходили навещать маму. А вообще-то в эту левую сторону больших домов не было, ни Гастрономов, ни Мосторгов, ни Горсоветов, одни маленькие темные домишки. Да еще «Керосин».

Здесь всегда была толпа, бидоны стояли в очередь, а люди кучками, и все друг друга знали. А разливала керосин пожилая женщина с крупным мужским лицом и странными, смотрящими в разные стороны глазами. А на щеке у нее было огромное пятно-родинка с длинными волосками.

Но помню, мы ходили в Панки с мамой к какой-то бабке, которая любила пить чай из самовара, а перед ней лежал мелко наколотый сахар, поблескивая на изломе. Лишь от отца, незадолго до его смерти, я узнал, что у этой бабки мама, приехав из деревни, снимала угол, когда поступила работать на трикотажную фабрику. И отец там же снимал другой угол. Они с мамой познакомились и поженились. Наверное, здесь я и был зачат.

Умирала мама в Доме на Куракинском, я помню, как это было. Последний месяц, август, она не могла спускаться в железобетонный подвал, а лежала в затемненной комнате, обреченная и тихая. Однажды мы с сестренкой проснулись от странной паники в доме: все суетились, двигали мебель и говорили вполголоса. А мы испуганно смотрели на взрослых и не понимали еще, что пришло несчастье, несчастье на всю жизнь. И долго-долго будет следом за нами идти наша душевная беспризорщина и никем не заполненная темная пропасть внутри нас, которая у других детей заполняется лаской, любовью, добротой и делает, я убежден, человека — полноценным человеком.

Мы, то есть я и сестренка, еще не знали, какая часть живого вещества в этот момент из нас изъялась и отлетела безвозвратно вместе с душой матери. И осталась черная дыра.

Понятие вроде бы космическое, но разве наша душа это не часть космоса?

Папанька и отец сколотили гроб и на телеге по корытообразному мосту отвезли на кладбище, сюда, за железную дорогу. Шел дождь, и я сидел в головах у мамы с зонтом. Я смотрел на ее лицо и видел, как оно вздрагивает на колдобинах. А дядя Миша, Папанька, которому тоже оставалось жить два года (он умрет в той же больнице, где долго лежала мать), шел перед телегой и прикрывал голову от дождя крышкой гроба. Я знаю, что я уже рассказывал об этом. Но это во мне повторяется, как повторяется один и· тот же сон. Всю жизнь я трясусь на телеге с зонтом в руках возле маминого лица, на котором застыли странно капельки дождя, и всю жизнь дядя Миша, Папанька, несет крышку гроба, прикрывая голову, а отец немного сбоку и сзади рядом с тетей Полей и Верой... Через Рязанку, через мост, бетонный, корытообразный, ехать мне, видать, до конца жизни.

Мы потеряли за войну материнскую могилу и ухаживали за чужой.

Потерял отец, он не приходил сюда долго. Очень долго. А когда мы выросли и привели его, он указал нам материнское место, примерно, конечно, но уже кругом на крестах, на памятниках стояли все годы позднее, а сорок первого-то не было ни одного.

В недавние годы я побывал на могиле Марины Цветаевой в Елабуге и был поражен, что умерли они с мамой в один день — тридцатого августа сорок первого года. Но могилу Цветаевой тоже потеряли, и еще был крест, который потом заменили, где стояла надпись такая: «В этом районе кладбища похоронена...»

Теперь можно сказать так и про дом, и про мое, в общем-то, детство. В этом районе города проходило оно, в этом районе времени случилось — и так далее...

Что же осталось? Душа? Пока душа жива, мы еще куда-то едем, что-то о себе рассказываем, думаем, надеемся, что кому-то мы нужны. Может, наша жизнь еще кому-то пригодится? Ибо смысл одной жизни в том лишь, что она нужна другой жизни.

Ну, а если не нужна?

Вот однажды в лопухах возле насыпи нашел я треугольник письма. Конвертов тогда не было, мы все писали на листе и сворачивали его в треугольник, это было очень просто, наподобие того, как делают из газеты шапочку.

На конверте был адрес, на Украину, а в письме всего несколько строк, обращенных к родным, что кого-то, видимо, того, кто писал, гонят этапом в Сибирь в район Тайшета, и он верит, хочет верить, что все будет хорошо. И далее что-то про суд, про срок, мы в этом деле ничего не понимали. А в конце стояла приписка: «Тому, кто найдет, просьба отправить по адресу. Богом молю, отошлите, не бросайте!»

Да, конечно, по многим дорогам, наверное, в ту пору гнали заключенных в сталинские лагеря, по северной уж точно гнали, по Ярославке, но, думаю, наша Рязанка в этом плане была одной из главных.

А мы *проходили* декабристов, рассуждали об их замечательных верных женах (Некрасов!) и о кандальниках, что брели по долгим российским дорогам в сибирскую сторону, и совсем мы не догадывались, что теперь мимо нас проносятся в задраенных поездах такие же кандальники, но дорога, но вагоны скрыли от глаз прежде зримое, горе людское ушло в потаенное русло. Внутрь Рязанки, ее поездов и вагонов.

И летели, и летели поезда, такие мирные, такие романтические с дымком, застрявшим в проводах! И лишь крошечные листочки, обрывки на насыпи, но они не в силах были приоткрыть нашему глазу всю огромность человеческой трагедии этих, послевоенных лет.

Я принес треугольник домой, и отец и сестренка, потом и соседи читали, судили-рядили, что же нам с письмом делать. Но, помню, отец резко оборвал наш спор со словами: «Дай сюда!» — и забрал письмо в карман. Я после спросил: «Пап, а где то письмо?» — «Какое?» — «Ну то...». Отец лишь отмахнулся, мол, выбросил! И соседям так сказал. И соседи его одобрили, сказав, что так и надо поступать, то есть выбрасывать, потому что неизвестно, может, его какой арестованный полицай-фашист написал, так ему туда, в Сибирь, и дорога!

А через много лет, в застолье, отец сознался, что не выбросил он письмо, духу не хватило то письмо уничтожить, когда человек Богом молил перед гибелью. Это он нарочно перед соседями заявил, что выбросил, боялся доноса, а сам опустил треугольник в почтовый ящик и отправил письмо на Украину несчастной родне того заключенного.

Может, отец и не так говорил, да это и неважно. Я и сам к тому времени знал, что не я один, а многие находили около насыпи такие письма, и было в них одно: отчаянный крик из пересыльного вагона на свободу, наверное, без надежды, что найдут, подберут... Услышат!

Я сейчас вдруг подумал, что книга эта «Рязанка», как письмо из вагона, я ведь тоже пишу в пустоту, без уверенности, что кто-то найдет, прочтет... Что она, как то несчастное письмо, попадет по адресу к людям.

ПРОЩАНИЕ С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ

Люберцы. Последний взгляд на себя бывшего из окна вагона. Я прижимаюсь к стеклу и вижу странного подростка в серой, еще детдомовской рубахе, в залатанных штанах и рваных ботинках. Сероглазый, боль-

шеротый, крошечный чубчик он зализывает на бок, чтобы было как бы взрослей.

Это я, один на весь город, в котором у меня нет друзей.

Отец однажды вечером избил меня за то, что я отказался идти в магазин за вином. Я ночевал у тети Дуси, той самой портнихи, что помогала собирать нас в Сибирь. И хоть я на утро вернулся к отцу и все пошло по-прежнему, но я уже знал, что у отца начинается своя жизнь, а у меня будто бы своя, хотя и никому не нужная.

Сестренка после операции надолго затерялась в санаториях и Лесных школах. Уж как она перенесла все операции и выжила, ума не приложу.

Она прошла весь материн путь, ее резали, резали без конца.

У нее тоже все как бы начиналось сначала.

Она писала иногда мне письма, посылала открытки. На одной из них было написано: «Чувствуй всегда родную почву крепко под ногами, живи с коллективом, помни, что он тебя воспитал. Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, будет началом конца. Николай Островский».

Я верил ее письмам и Николаю Островскому.

Я искал свой коллектив.

Я изъездил всю Рязанку в поисках этого коллектива. На Электрозаводской спрашивал, на комбинате имени Щербакова.

На Сортировочной в депо.

На Фрезере на заводе «Фрезер».

В Перово на складе книжной продукции.

В Плющево — не спрашивал.

В Вешняках в Школе комсомольских работников.

В Косино на трикотажной фабрике.

В Ухтомской в теплицах деревни Кожухово.

В Люберцах...

Вам не нужен работник в коллектив? Вам не нужен... Вам...

Старик глуховатый, а может, совсем глухой, со слуховым аппаратом и микрофончиком на столе, от которого шли провода к ушам.

Спросил, сколько мне лет и что я умею делать?

Я умел выращивать яблоневый сад и ухаживать за собаками. А со времен детдома я еще умел вскрывать чужие замки.

— А часы вы ремонтировать не умеете? — спросил старик и оскалил зубы. Он еще ранее догадался, что часы ремонтировать я не научился. И даже будто обрадовался этому.

Вокруг старика были разложены часы, всякие, и они ходили.

— Я научусь! — пообещал я старику. — Я люблю часы! Я даже знаю, как они ходят! Хотите загадку, ни за что не отгадаете! Какие часы показывают в сутки дважды правильное время?

Старик ничего не ответил. Он еще когда только спрашивал про часы, щелкнул каким-то выключателем и отсоединил себя от моего голоса. А теперь преспокойно сидел и глядел прямо в мои глаза. Было понятно, что он не слышит, но зачем он тогда на меня смотрел? Изучал меня? Ждал моих ответных действий? Или...

Я нагнулся и, дунув на всякий случай в его микрофон, добавил:

— Не знаете? Так вот знайте! Два раза в сутки показывают точное время часы, которые стоят! Между прочим!

Старик, уставясь на меня, молчал.

Сзади несильно кашлянули, напоминая, что ждут другие. Из тех, кто, как и я, попали, искали свой в жизни коллектив, а теперь стоят в эту часовую мастерскую в надежде найти его здесь.

Я вздохнул, бросив последний взгляд надежды на его слуховую бандуру и уступил место своему сверстнику.

Почти механическим голосом старик спросил:

— Сколько вам лет? Что умеете делать?

Аппарата своего, по-моему, он так и не включил. Я вдруг понял, что он посажен вовсе не для того, чтобы выслушивать наши ответы. Его чудо-аппарат, величайшее изобретение человечества, при котором можно вести беседу, не слыша друг друга! Господи! Как это удобно, когда никто не хочет ничего о нас знать!

Кричи хоть во все горло, хоть бомбу под ухом взрывай! Они будут смотреть сквозь нас пустыми глазами, и ни одна жилка не дрогнет! Им всем, всем просто на нас плевать! Старик в наиболее законченной форме их всех олицетворял.

Я взглянул на часы, его часы, чтобы определить, успею ли я добраться до следующего отдела кадров. Поразился: они показывали меньше времени, чем прежде? Или я запамятовал, или стрелки на его многочисленных часах ходили в обратную сторону.

Я рванулся в Панки: Институт угольной промышленности.

Вам не нужно...

Нет, им было не нужно.

Ни-ко-му, ни-че-го не нужно было.

Был вечер. На танцверанде в люберецком саду под занавес, так кончались все танцы, Утесовы исполняли свою прощальную песню.

Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье,
Чем наградить вас за ваше вниманье,
До свиданья. Дорогие москвичи,
Доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас!

Утесовы прощались со мной, и я тоже прощался. Отец избил меня вторично, за чайник, который я по забывчивости оставил на плите, а сам ушел. Чайник кипел, кипел, и расплавился. Отец кричал на меня, ругался матом, он почему-то решил, что я это сделал нарочно.

Но может, он был прав? Если мы никому не нужны, то зачем нам какой-то чайник? Я, ни слова не говоря, вышел из дома, как мне казалось, навсегда, и пошел на станцию. Я еще не знал, что я могу сделать. Но точно знал, что дальше жить я так не буду.

В детдоме жилось хуже, но там было что ждать. Ждать конца войны, ждать отца, ждать другой, лучшей жизни. Теперь ожидание кончилось. У меня оставался лишь я, но я не догадывался, что это не так уж мало.

Я смотрел на колеса электрички, которая ко мне приближалась.

Вот так я себя и видел, прислонясь к ржавому стеклу.

Подросток внизу за окном: странен он мне с высоты лет, отсюда.

Он сейчас смотрит не на вагон, а под вагон, странная догадка возникла в его глазах — о том, что все уже кончилось и дальше уже ничего не будет.

Он идет вровень с электричкой, и я не знаю еще, что же он решит. Вот он ускоряет шаг и при этом смотрит, как зачарованный, на колеса, а поезд набирает, набирает ход.

Мне страшно за него, но в этой точке нашего соприкосновения я с ним прощаюсь!

Я говорю: прощай, дружок! Я не знаю, что ты решишь, но жить, наверное, еще стоит.

Но я говорю тебе: «Прощай!» Потому что: если мы с тобой и встретимся, то это будешь уже не ты, враждебно глядевший на людей и не понимавший того, что жить еще стоит. Стоит, несмотря ни на что, даже если ты будешь и потом, и далее, как я сейчас, всю жизнь обречен на одиночество.

Так прощай же! Прощай!

1963—1984; 1990 гг.

Александр Гладков

ИЗ «СЕВЕРНОЙ ТЕТРАДИ» 1949—1954

Бараки, трапы и заборы...

Бараки, трапы и заборы,
Колючей проволки ажур,
Бред будней, горе и умора,
Да письма, что идут не скоро,
Как на работе перекур...

Уж кажется — так было вечно,
Всегда... И этот серый дождь,
И этот неприглядный вечер,
И дымом пахнущие печи,
И жизнь, что сгибла ни за грош...

Я — как пустырь: сухой, песчаный,
Где — ни цветочка, ни травы:
Совсем пустой, тоскливый, странный,
С незаживающею раной,
С нелепой стрижкой головы.

В карманном зеркальце такого
Себя давно не узнаю,
И, если разобраться строго,
Я тут совсем не я... Немного
Похож на копию свою.

В кармане ложка наготове,
И странно мне, что в мире том
Ходил без ложки. И к обнове
Я привыкаю. И, хоть вновe,
Мурлычу вальс с закрытым ртом...

А час придет и будет петься,
И станет музыкой тоска...
Стихи для дома и для сердца!
Стихи... (Куда от них мне деться?)
Пойдут, как сосны из песка.

* * *

Илье Соломонику

Кто каждый день себя разменивал
На пятаки и все — на кон,
Кто пил из кружки алюминиевой
Под Новый год одеколон,

Кто знает горечь пробуждения
На нарах среди рож чужих,
Кто видел дно опустошения
В глазах бесцветно-нагло-злых,

Кто писем ждал в неделю дважды,
Не получал и снова ждал,
Кто нежности палящей жажду
Весенним снегом утолял,

Кто помнит, как нежданно гибла
Жизнь сбитая, как птица влёт, —
Тот, — если память не отшибло, —
Хоть и простит, но не поймет!

1949

Северное лето

Северное лето. Топим печь.
Спички отсырели — не зажечь.

Мы живем в болоте, и кругом
Только лес и этот лес наш дом...

Днем — лучки, лопаты, топоры.
Вечером — тоска и комары.

Иногда гитара зазвенит,
Дробью частой пляска простучит.

Треплемся о бабах, о вине,
О былых удачах, о войне, —

То, что называется, — свистим...
О тоске своей не говорим.

Вологодскую под праздник пьем...
Если это жизнь, то мы живем!

1950

* * *

И стала будничной беда.
Привычкой заросла.
И кажется, что так всегда
Без года и числа
Тянулось время... Нет конца
У безымянных лет.
И нет у времени лица,
Беде названья нет.

1950

* * *

Разве дело в том, что мы устали;
Утром трудно голову поднять,
И не в том, пожалуй, что пропали —
На миру не страшно пропадать.

Дело разве в том, что тут нам плохо?
Всё ведь относительно — ей-ей! —
Раз такая выдалась эпоха —
Войн, мобилизаций, лагерей.

1952

* * *

Мне снился сон. Уже прошли века,
И в центре площади знакомой, круглой —
Могила неизвестного Зека:
Меня, тебя, товарища и друга...

Мы умерли тому назад... давно.
И сгнил наш прах в земле лесной, болотной.
Но нам судьбой мозолистой и потной
Бессмертье безымянное дано.

На памятник объявлен конкурс был.
Из кожи лезли все лауреаты
И кто-то, знать, медаль с лицом усатым
За бронзовую славу получил.

Нет, к черту сны!.. Бессонницу зову,
Чтоб перебрать счет бед в молчаньи ночи.
Забвенья нет ему. Он и велик и точен.
Не надо бронзы нам — посейте там траву.

1952

* * *

Сегодня почта. Привезут газеты.
Письмо, быть может, к берегу прибьет
Капризом памяти той, что смеется где-то
И вспоминает несколько раз в год...
Я отложу письмо, взглянув на адрес.
Знакомый почерк стал почти чужим.
На ожиданье нежностью истратясь,
Сейчас я скуп волнением простым.
Я раскрываю «Правды» лист измятый...
Статья и фото «Насажденье лип»,
Подвал о Конституции, вновь атом,
Борьба за мир... И Трумэн снова влип...
И вот еще немножечко помедлив,
Притворным равнодушьем зарядясь,
Читаю, как чужие, чьи-то сплетни —
Слов легкомысленных разборчивую вязь...
Люблю и помню... Сшила к лету платье...
Была у мамы в прошлый выходной...
Тебе привет от Оли с Костей, кстати...
Скучаю... Надоело жить одной...
Все это точно, может быть, и верно,
Но за словами будто пустота.
Разлуки пропасть кажется безмерна...
Твое письмо, твой почерк... Ты не та...
И я не тот... И оба мы другие,
Чужие! Что ж! Никто не виноват!
Спасибо за намеренья благие!
Но ими, говорят, мостится ад.

1951

Читая журналы...

Стихи ослепительно гладки,
Обкатанные кругом,
Ни шва и ни лишней складки,
Как будто прошлись утюгом.

Они не топорщатся дерзко.
Все линии наведены.
До сального, мутного блеска
Наглажены крепко они.

О Родине, о присяге,
О Сталине, о мечтах...
Не то, что стихи-работяги,
В бушлатах и ватных штанах,

Стихи, что живут вне закона:
В прописке отказано им
За то, что беду миллионов
Распевом сказали своим.

Ну что ж, проживем без прописок.
Дышу и пишу, как могу,
И мятый, убористый список
Под стелькой сапог берегу.

1952

Белой ночью

Мы пьем чифирь, селедку мочим,
Мы жрем треску и ржавый хлеб,
И белой северною ночью
К нам иногда приходит Феб.

Он с нами не высокомерен.
Он понимает все. Он — бог.
Он — выигрыш в соседней серии.
Он правый глаз. Он левый бок.

Он осеняет нас бессонницей
И ямбами благословив,
На нары сядет и не тронется,
Пока звучит стихов мотив.

А мы бормочем строчки пьяные...
Кому, зачем и для чего?
И эти развлеченья странные
Дороже нам почти всего.

Я знаю — это не поэзия,
А ламца-дрица-а ца-ца:
Тупое старенькое лезвие,
Что бережется до конца,

Как выход крайний и спасительный,
Как контрамарка в райский сад,
Как довод веский и решительный,
Которому и сам не рад.

1952

Перед разлукой

Янке

Здесь счастье непрочно и хрупко.
Мигнул огонек и погас...
Махоркой набитая трубка
Потухла в который уж раз...

Разлука по чьей-то указке!
Какая нужда в том? Кому?
Ивану-Царевичу в сказке
Не выйти за эту тюрьму!..

Дозоры, собаки, заборы...
Мышонок сквозь них не пройдет...
Такие у нас разговоры —
Лишь спичкам один перевод...

1951

Столыпинский вагон

Последний след великой силы:
Вагон с решетчатым окном
Все заключенные в России
Зовут — «столыпинский вагон»...

В большие, в малые гастроли
Вагон проклятый возит нас.
Мы в нем живем, и учим роли
И репетируем подчас.

Под шум дождя, под снежной сыпью
Во все трущобные места...
Спроси ж зека, кто был Столыпин?
Не помнит и один из ста.

В сем прозвище нет шутки даже,
А просто так — язык привык...

Пусть сохранится слава также
Иных тиранов и владык!

Они другого и не стоят.
Водопроводом славен Рим:
Мы наш, мы новый мир построим
И тюрьмам имя их дадим!

1952

Разговор с музами

Ире Шкуриной

С высоты каких-нибудь Олимпов,
Там, где музы, крылышки поджав,
Судят нас: «Туфта, халтура, липа!»
Приговор, возможно, их и прав.

Но коль всё учесть и разобраться:
Север да неволя, темь да грязь, —
Может, нам не стоит извиняться,
С их критерием не согласясь.

Мы живем, в беде по пояс стоя
И в тоске завязнув до колен.
Ремеслишко наше непростое —
Марши дуть среди тюремных стен.

Продаем веселье без запроса.
Рады по своей цене отдать.
И начальство тоже смотрит косо:
«Ох, артисты, растуды их мать!»...

В клу́бах непротопленных, дощатых,
Греемся дыханьем работяг,
Отдаем мы все, чем здесь богаты,
Светим радостью в кромешный мрак.

До конца, до самой, до последней
Щелочки сознания, как тот
Наш товарищ, клоун, что намедни
Под конвоем с жизнью свел расчет...

...Над Олимпом голубое небо,
А у нас весь год сплошная муть.
Отыграв, глядим, — согреться где бы,
Ноги просушить и протянуть?

Наши души от корысти чисты.
Лабухи, актеры, плясуны,
Фокусники — всё же мы артисты,
И другой за нами нет вины.

1954

Публикация Ильи Соломоника

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

1977 год (продолжение). Мотя и Аня. Вторая поездка Люси. Отъезд детей и внуков. Против смертной казни. Ядерная энергетика. Сахаровские слушания. Амнистия в Индонезии и Югославии. Алеша и его дела. Поездка в Мордовию

Осенью 1976 года Люся отпустила Таню и Рему с Мотей на несколько недель отдохнуть на юг. Аня осталась с нами на даче, на наше попечение. Ей в это время как раз исполнился год. Часто, когда я работал за столиком под деревьями в саду, коляска со спящей Аней стояла рядом, и если она шевелилась, я слегка покачивал коляску, и Аня вновь успокаивалась. Мы очень друг к другу привязались. За тот год, который нам оставалось жить рядом, наша дружба все усиливалась. Анечка относилась ко мне с трогательным доверием, чуть ли не с большим, чем к родителям. Я полушутя говорил, что Аня — главная женщина в моей жизни.

Однажды Таня с Ремой и Аней провожали нас с Люсей на электричку. Анечка была в сумке-каталке, прочно запакованная, чтобы ненароком не выпала. Таня и Рема поставили эту сумку немного в сторону и стали прощаться с нами. Через минуту электропоезд отходил. Вдруг раздался жалобный, исполненный непередаваемого ужаса голос Ани:

— Анечку мазмите (возьмите)!

Очевидно, она решила, что сейчас все уедут, а ее забыли. Действительно, было тут отчего испугаться!

В конце апреля 1977 года мы с Люсей, в свою очередь, поехали на юг, взяв с собой Мотю. Три с половиной недели мы прожили в Сочи, в той же самой гостинице «Приморская», где за три года до этого жили вместе с Таней.

По утрам Мотя залезал ко мне в кровать, и мы беседовали и играли — часто, по Мотиной просьбе, в инсценировку сказок Киплинга: в кошку, которая гуляет сама по себе, в любопытного слоненка, в Рикки-Тикки-Тави. Моте много лучше, чем мне, удавались перевоплощения, например, в свертывающегося броненосца...

Люся с Мотей после завтрака спускались к морю. Люся купалась и загорала, Мотя играл с камешками. Я оставался в номере, работал (мне был труден обратный подъем). Вечером мы шли в парк, где для Моти было множество соблазнительных аттракционов, или в кино на откры-

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1990 г. и №№ 1, 2, 3 за 1991 г.

том воздухе. Мотя во время сеанса или спал у нас на руках, или принимался бродить между рядами, его приходилось ловить. В эти дни мы с Люсей посмотрели (без Моти, по очереди) фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». В Москве он уже давно не демонстрируется, а в Сочи несколько дней шел в одном из кинотеатров. Люся видела фильм и раньше, я же — в первый раз. Впечатление было сильнейшее. Отвратительные, жалкие и страшные фигуры Гитлера и его «партайгеноссен», ядовитая человеконенавистническая демагогия, которая так непостижимо легко отравила миллионы немцев. Горы трупов — война, атаки, бомбардировки, Освенцим, Бабий Яр, портреты погибших в лагерях, которые один за другим появляются на экране, с внезапно умолкнувшей музыкой (были случаи, когда сидящие в зале узнавали своих мужей и жен, детей или родителей). Фиглярство Гитлера в Компьенском лесу. Парад гитлерюгенд — глаза мальчиков, влюбленно устремленные на фюрера — уже живого мертвеца, многие из них тоже умрут через несколько дней или часов. Имперская канцелярия, обожженные трупы. Все эти кадры стоят перед глазами, создавая давящее ощущение жестокого кошмара, безумия. И одновременно встают в воображении другие картины — Колымы, Воркуты, Норильска. Заколоченные эшелоны с умирающими от голода и жажды депортированными... Уже в Горьком я прочитал интересную советскую книгу о Гитлере «Преступник номер 1», вновь поразившую ничтожеством и чудовищной опасностью фашизма и множеством параллелей с тем, что происходило у нас. В Горьком же мне удалось также прочитать записки Евгения Александровича Гнедина о предыстории советско-германского пакта. Гнедин, приводя многие опубликованные на Западе документы и дополняя их своими воспоминаниями, убедительно показывает, что советско-германский пакт 1939 года, его секретные статьи, сближение вплоть до переговоров о присоединении к оси — все это не просто необходимый маневр, единственный выход из положения, сложившегося для СССР в результате Мюнхенского «умиротворения» агрессора, а поворот, давно желаемый Сталиным — Молотовым, соответствующий их глубинной ориентации и подготовленный множеством их многолетних действий, в том числе тайными дипломатическими акциями в обход Министерства иностранных дел. Сталинский террор — это одна из очень важных составляющих того комплекса причин, который привел к советско-германскому сближению, а более широко — ко второй мировой войне. Обо всем этом очень стоит еще раз задуматься и сегодня, спустя несколько десятилетий, задуматься в СССР, где еще жива тень Сталина, и на Западе.

Но продолжаю о жизни в Сочи. Как-то по телевизору мы при Моте слушали, как Межиров читает свои знаменитые стихи о коммунистах:

Полк шинели
На проволоку набросал...

С поразительной детской чуткостью Мотя, видимо, уловил что-то не совсем обычное в нашей реакции. Через день или два мы услышали, как он, выжидающе, незаметно посматривая на нас, прыгает по тротуару и декламирует:

Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

как бы призывая нас устремиться вслед за ним. Были и разные другие интересные истории в общении с трехсполовинойлетним человеком, были и недоразумения. В целом за время жизни втроем наша дружба с Мотей сильно окрепла.

Из Сочи я пытался по телефону передать иностранным корреспондентам обращение в защиту Мальвы, которой вскоре предстоял суд; кажется, из этого мало что получилось.

21 мая мы торжественно отметили мой день рождения. Пообедали в ресторане на пристани, чокнулись пепси-колой (Моте очень нравился этот шипучий напиток, нам тоже; его только что начали производить в южных городах в качестве одного из результатов разрядки).

Вернувшись в номер, мы легли отдохнуть. Нас разбудил телефонный звонок. Звонила Вера Федоровна Ливчак (доктор, друг нашей семьи, о ней я уже писал) и Сара Юльевна Твердохлебова (мать Андрея). Танино судебное дело за время нашего отсутствия получило новое развитие. Ее из свидетелей перевели в обвиняемые. Следователь должен был в ближайшие дни описать ее машину (единственное имеющееся у нее имущество). Мы тут же поехали на аэродром, обменяли на ближайший рейс купленный заранее, на следующую неделю, билет, и к 9 часам вечера уже были на Чкалова.

Через несколько дней я с Таней и Ремой на академической машине поехал на дачу, где стояла Танина машина. Туда же из Красногорска приехал следователь. Скучная, формальная процедура описи, сличения номеров почему-то затянулась. Я, не дождавшись ее конца, ушел. Люся потом сильно на меня за это обиделась; она, конечно, была права, мне не следовало оставлять ребят в этой ситуации противостояния.

Еще ранней весной 1977 года стало ясно, что Люсе вновь необходима глазная операция, на этот раз на правом глазу. В апреле она вновь подала заявление на поездку в Италию. Получила же она разрешение на поездку в августе, одновременно с Таней и Ефремом, не независимо... Ефрем и Таня подали свое заявление в июле. Они решились на этот шаг под давлением многих причин, нараставших все последние годы, и понимания, что КГБ будет применять все новые и новые формы давления на них как заложников моей общественной деятельности. В 1977 году к прежним прибавилась новая прямая угроза уголовного преследования Тани и Томар (и то, и другое было непереносимо для Ремы). Самому Реме угрожал арест по политическим статьям (его вызывали в прокуратуру с самыми определенными угрозами). Одновременно вокруг него стали плестись туманные, но опасные обвинения уголовного характера: какая-то якобы скрытая им автомобильная авария, спекуляция книгами — все, конечно, на пустом месте. И ни ребята, ни мы ни на минуту не могли забыть об угрозах внукам, о загадочной и ужасной Мотенькиной болезни в 1975 году. Безвыходность положения была, по-видимому, в глубине сознания ясна нам и тогда. Я вновь вспоминаю (я уже рассказывал) о своем разговоре об этом с Ефремом во дворе Русаковской больницы, когда мы узнали, что непосредственная опасность миновала. Но трудное, трагическое решение все откладывалось. Одной из причин было чувство Ремы, что здесь, помогая Ковалеву и его друзьям, его делу, он нужней и полезней. И, конечно, очень трудно было решиться на это по личным человеческим причинам — ведь такой отъезд означал разлуку, разрыв семьи по самому живому месту. Вдобавок мы понимали, как трудно будет со связью. Сейчас, когда с отъезда детей прошло уже почти четыре года (я пишу это в июне 1981 года), я чувствую, что мы все же, может быть, не до конца понимали — как будет трудно им и нам. Я дальше расскажу о жизни детей в США — трудной, напряженной, временами — непереносимо беспокойной и мучительной. Насколько трагической эта разлука окажется для Люси — этого не могли предугадать ни я, ни даже она.

Дело Томар и Тани явилось последним толчком, но несомненно, что если бы его не было, ГБ придумало бы что-нибудь иное. С другой стороны, было ясно, что ГБ очень хочет отъезда Тани, Ефрема, Томар, потом Алеши. (В чем была тут главная цель КГБ — полностью непонятно мне до сих пор.) Ефрем заявил в ОВИРе, что не поедет без матери и пока теща не получит разрешения. Ему сказали — пусть мать приезжает, подает заявление. Он съездил за ней. Анкеты Томар заполнила тут же в ОВИРе, на краю стола, и через очень короткое время она, вместе с дедушкой Шмуулом и бабушкой Розой, получила разрешение. Брат Ремы Борис с женой еще до этого получили разрешение независимо, тоже очень быстро. Все они, включая Таню и Рему, выезжали по вызову из Израиля. Таня и Рема при этом поехали через Италию в США, в Бостон, где, как мы предполагали, им была обеспечена работа и учеба (это оказалось не совсем так). Вызовы были вполне реальные, от подлинных родственников; у Ремы было много родственников в Израиле, Эшкол в их числе. Дед Ефрема, Шмуул Фейгин, был в 20-е годы одним из пионеров движения за выезд в Палестину. В 30-е годы был арестован, отсидел.

В том, что последние годы жизни он провел в Израиле, есть своя справедливость. Умер он в 1981 году.

Люся, Таня и Рема с Мотей и Аней улетели вместе 5 сентября (самолетом «Ал-Италия»), прямо без пересадки доставившим их в Рим. Томар с бабушкой и дедушкой в тот же день утром вылетели в Вену, а оттуда в Израиль. До этого на даче были проводы, 1 сентября, в день рождения Ани; приехало больше 100 человек (говорят, в кустах пряталось много гебистов; мы их не видели — не до этого было). Много провожающих было также на аэродроме в Шереметьево. Одним из них был Виталий Рекубратский, муж моей двоюродной сестры Маши. Это он помог устроиться на работу на Рыбонаучную станцию Сереже и Реме. Виталий принес на аэродром и отдал мне и Руфи Григорьевне письмо Короленко моему деду, найденное в бумагах тети Тани после ее смерти. Мы не знали, что это был прощальный подарок. Через две недели Виталий покончил жизнь самоубийством. 19 сентября, за несколько часов до гибели, я видел его последний раз на дне рождения Софьи Васильевны Калистратовой; я пишу о ней в следующих главах. После Виталия остались два сына, Ваня и Сережа, мои племянники. Ваня назван, конечно, в честь деда Ивана Сахарова, а младший Сережа — в честь Сергея Ковалева, он родился через месяц после суда в Вильнюсе.

В Италии профессор Фреззотти сделал Люсе операцию. Она прошла не так удачно, как произведенная им же два года перед этим, сопровождалась кровоизлиянием (по-видимому, так как глаз был в худшем состоянии). Люся вернулась в Москву 20 ноября, а Таня и Рема вылетели в США 8 декабря. В Италии они жили большую часть времени во Флоренции, в православной церкви. Мотя и Аня успели выучить несколько итальянских слов — потом они их, вероятно, так же легко забыли. Мотя с интересом наблюдал за крещением и другими церковными службами. Священники приезжали откуда-то издалека. Мотя как-то узнал об их приезде первым и прибежал с криком:

— Святые отцы приехали!

Рема в Италии занимался окончательной подготовкой к печати книги «Год общественной деятельности Андрея Сахарова». Он работал над ней около года еще до отъезда. На обложке книги изображен я с Анечкой на руках, она вполне уверенно и доверчиво прижалась ко мне (Рема сделал этот прекрасный снимок незадолго до отъезда), и составитель — Рема вместе с его другом Володей Рубцовым, которому тогда сильно угрожали. В сборнике много очень квалифицированных необходимых комментариев, составленных Ремой...

Осенью 1977 года во время пребывания Люси в Италии, у меня было несколько общественных выступлений. Одно из них — обращение к Белградской конференции по проверке выполнений Хельсинкских соглашений. (Хельсинкская группа в сентябре, уже после отъезда Люси, выступила с обращением к Белградской конференции, но оно мне чем-то не понравилось, и я написал отдельное письмо.) В этом документе я подчеркнул принципиальное значение официального признания в Хельсинкском Акте связи международной безопасности и гражданских прав человека и охарактеризовал те нарушения этих прав, которые имеют место в СССР вопреки Хельсинкским соглашениям. В числе других я назвал нарушения свободы обмена информацией, в частности, между гражданами различных государств, и нарушения свободы выбора страны проживания. В особенности я подчеркнул недопустимость репрессий против членов Хельсинкских групп, назвав их вызовом, брошенным другим странам — участникам Хельсинкского Акта. Я перечислил поименно всех арестованных участников Хельсинкских групп и призвал правительства западных стран — участников Акта и их представителей на Белградской конференции потребовать немедленного освобождения арестованных участников Хельсинкских групп в качестве предварительного условия переговоров в Белграде по всем остальным вопросам.

Свое обращение я передал, как всегда, иностранным корреспондентам для опубликования, но еще до этого, учитывая важность документа, в течение трех дней посетил консульства ряда западных стран (кажется, 12-ти стран) и вручил тексты обращения консулам для передачи правительствам их стран и представителям на конференции. Я договаривался о встречах по телефону; каждый раз просил, чтобы меня встретил на улице сотрудник консульства (иначе меня, конечно бы, не впустили). Объезжал я консульства на академической машине. КГБ никак не препятствовал мне физически. Раза три гебисты демонстративно фотографировали меня около посольства. В эти же дни была повреждена наша личная машина «Жигули». Ночью машина стояла около дома одного нашего друга. Утром он обнаружил, что в замки двери и багажника залита эпоксидная смола; она еще не успела загустеть, и ему удалось открыть дверь и доехать до нас. Пока он рассказывал Руфи Григорьевне и мне о происшествии, была произведена еще одна поломка — каким-то острым предметом в нескольких местах был через переднюю решетку проколот радиатор, и вся охлаждающая жидкость вылилась на землю. Нам пришлось менять радиатор и замки (в которых, кроме полностью застывшей эпоксидной смолы, оказались еще куски проволоки). Несомненно, эти поломки — способ КГБ выразить свое недовольство моим обращением и посещениями консульств. Западные правительства, к сожалению, не решились последовать моему призыву и потребовать освобождения Орлова и его товарищей в качестве условия открытия конференции.

Два других моих документа, написанные и опубликованные тогда же, касались проблемы смертной казни и проблемы ядерной энергетики.

Письмо о смертной казни я написал, получив от Эмнести Интернейшнл предложение выступить на симпозиуме по этой проблеме, который предполагался в Стокгольме, и было адресовано Организационному комитету симпозиума.

Незадолго до отъезда в Москву Люся дала американским корреспондентам важное интервью — о защите прав человека, ее значении и перспективах. Она рассказала о трудностях борьбы за права человека в нашей стране, об огромных жертвах. Люся подчеркнула при этом, что принципиальное, непреходящее значение имеет самый факт того, что нарушения прав человека в нашей стране стали известны людям во всем мире и что этого уже не в состоянии изменить никакие аресты, никакие репрессии. Арифметика тут ни при чем — больше или меньше сейчас правозащитников. В этом же интервью Люся впервые употребила выражение «международная идеология защиты прав человека» — единственная, способная объединить людей разных политических взглядов, национальностей, религиозных убеждений, образования, социального положения. Это емкое выражение и другие мысли Люсиного интервью получили потом отражение во многих моих выступлениях.

Сообщение о Люсином интервью мы слушали с ней вместе уже в Москве. Изложение было достаточно точным и подробным. Но диктор неожиданно для нас закончил такой фразой: «Присутствовавший при интервью Елены Боннэр корреспондент (кто — неизвестно; во время интервью он не назвал себя) вынес впечатление, что она хочет уехать из СССР».

Эта сентенция никак не вязалась с общим содержанием и духом интервью. Обвинить кого-либо (неизвестно кого) в намеренном искажении трудно: каждый волен иметь любое впечатление. Но психологически заключительная фраза, несомненно, принижала Люсино интервью. Каким образом эта фраза попала на радио, выяснить в этом (как и во многих аналогичных случаях) не удалось.

В 1977 году в ряде стран прошла политическая амнистия. В СССР тоже имела место амнистия к 60-летию Октябрьской революции, но, как всегда, из нее были исключены все политические статьи (в том числе ст. 70, 190-1, 142, 227 УК РСФСР; по двум последним статьям преследуются многие верующие и религиозные деятели). По-видимому, исключение политических статей из амнистии носит принципиальный идеологический характер: формально признавая принципы Всеобщей декларации прав человека, утверждающие свободу убеждений и информационного обмена, государство, защищая партийно-государственную монополию во всех областях жизни, включая идеологию, не допускает свободы информационного обмена. В конечном итоге это — угроза международной безопасности. Кроме исключения политических статей, в Указе об амнистии к 60-летию Октября содержалось много других оговорок и исключений, еще больше

суживавших его значение. Важнейшая из этих оговорок давала администрации мест заключения право по ее усмотрению не применять амнистию к любому заключенному, формально подпадающему под нее, если администрация не довольна его поведением. Ясно, что это условие открывает огромные возможности для несправедливости, сведения счетов, мести за отказ доносить и т. п.

Указанные особенности свойственны также Указам об амнистии в 1967, 1972 и 1982 гг., вероятно, и другим.

Огорчаясь отсутствием политической амнистии в СССР, где в заключении остались сотни узников совести, мы вместе с тем горячо радовались амнистии в других странах, рассматривая ее как результат международной борьбы за права человека, нашей — в том числе. В частности, амнистия прошла в Индонезии (было освобождено очень много людей, но, к сожалению, также много осталось в заключении), в Югославии и, если мне не изменяет память, в Польше. Мы с Люсей решили написать открытую телеграмму Президенту Югославии Иосипу Броз-Тито, выразить свою радость по поводу амнистии. Люся лично знала Тито в детстве — он жил в том же «коминтерновском» доме на улице Горького и имел очень тесные отношения по Коминтерну с ее отцом Геворком Алихановым. Люся подписала наше письмо двойной фамилией Боннэр-Алиханова (тут была мысль, что фамилию Боннэр Тито, возможно, забыл или даже не знал). Мы отдали письмо для опубликования иностранным корреспондентам, в том числе корреспонденту югославской правительственной газеты «Борба». Никаких дальнейших сведений о судьбе нашего письма у нас нет.

В конце ноября 1977 года из СССР в США выехал для операции и лечения Петр Григорьевич Григоренко, человек удивительной судьбы, сделавший чрезвычайно много для защиты прав человека в СССР и много пострадавший от репрессий властей. За рубежом в это время уже жил сын Петра Григорьевича Андрей. Поездка была разрешена также жене Григоренко Зинаиде Михайловне, матери Андрея и другому (больному) сыну. Конечно, при этом возникали сильные опасения, что власти не пустят семью Григоренко обратно (я сказал П. Г., что надо либо считаться с этой реальностью, либо ехать ему одному; он ответил, что мать не может отказаться от того, чтобы увидеть сына; это, конечно, было правильно). Григоренки все же надеялись вернуться, но эти надежды не оправдались: в начале 1978 года Петр Григорьевич был лишен гражданства СССР. Я выступил с заявлением, осуждающим это жестокое действие властей.

Незадолго до отъезда Григоренко у меня возник с ним спор. В 1977 году была принята новая Конституция СССР, в связи с этим отпал смысл проводившейся с 1966 года ежегодной «демонстрации молчания» у памятника Пушкину в день принятия Конституции 5 декабря.

Мне казалось, что эта форма общественной активности слишком напоминает партийные демонстрации революционеров. Кроме того, она и меня ставила в ложное положение чего-то вроде «вождя оппозиции», на что я ни в какой мере не претендовал. В 1976 году гебисты устроили на площади Пушкина свалку, мне на голову высыпали снег с грязью. В дальнейшем можно было опасаться более острых провокаций, все это мне тоже не нравилось. В силу всех этих причин я не видел оснований огорчаться естественному прекращению демонстраций у памятника Пушкину. Но Петр Григорьевич хотел, наоборот, поддержать традицию. Он составил соответствующее обращение; его подписали довольно много его единомышленников. Предлагалось проведение демонстрации 10 декабря, в День прав человека, в годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

Я не подписал обращения и больше ни разу не ходил на демонстрации, проходившие в 1977, 1978 и 1979 годах без моего участия...

В 1977 году, после отъезда Тани и Ремы, роль заложника, по-видимому, перешла на Алешу (а после его отъезда она перешла на его невесту, а потом жену — Лизу Алексееву). Я уже рассказывал, что после того, как в 1973 году Алешу (с помощью некоей махинации) не приняли в МГУ, он поступил в Педагогический институт. Там он учился легко, был одним из лучших, но полностью его способностям этот институт не соответствовал. Я обратился к ректору МГУ академику Р. В. Хохлову с просьбой содействовать переводу Алеши в МГУ. (До этого Рэм Хохлов, сменивший на посту ректора Ивана Григорьевича Петровского, восстановил Таню на факультете журналистики.) Но тут ничего не получилось. Хохлов сказал мне, что он навел справки, Алеша действительно учится хорошо и, в виде исключения, его можно было бы перевести в МГУ, но препятствие в том, что он не является комсомольцем, и это может рассматриваться как проявление моего влияния (я выше рассказывал историю с «ленинским уроком», так что мое влияние тут ни при чем). Я очень благодарен Хохлову — ныне уже покойному — за откровенное объяснение, избавившее всех нас от бесполезных попыток. Алеша продолжал учиться в Педагогическом институте. Однако окончить его ему не удалось. Осенью 1977 года ему была поставлена неудовлетворительная отметка по военному делу, и он был исключен из института, в нарушение установленного порядка, согласно которому студент, не сдавший военного дела и не получивший зачета по военному сбору, должен либо пересдать через год, либо не получить при окончании института звания лейтенанта и идти в армию рядовым. К окончанию института военное дело не имеет прямого отношения, оно не включено в программу института. Но Алешу именно исключили, и ему предстоял немедленный призыв в армию. Мы решили, что в нашем особом, чрезвычайном случае Алеша ни в коем случае не должен идти в армию, где возможны любые эксцессы и за любые несчастья с солдатом, если это организовано КГБ, никто не будет отвечать. Достаточно много ужасных историй произошло с баптистами и другими верующими. В смысле безопасности даже лагерь гораздо лучше (хотя и там бывают организованные избиения и т. п.). Мы приняли решение (возможно, предварительное), что Алеша должен отказываться от призыва в армию и идти под суд (практически это означает лагерь на три года). Одновременно мы предприняли усилия для получения вызова из Израиля, с тем, чтобы Алеша вместе с женой Олей Левшиной и дочерью Катей (которой, как и Ане, как раз исполнилось два года) мог подать заявление на выезд из СССР. Мы, конечно, не знали, дадут ли им разрешение. Попытка была необходима, иначе — лагерь как альтернатива армии. Вызовы пришли в начале декабря. Но в те же дни разразилась еще одна драма, назревавшая уже давно, но мы ничего об этом не подозревали. Вероятно, 10 декабря, точной даты я не помню, Алеша сказал Люсе, что не любит свою жену Олю и расходится с ней. В тот же день он сказал то же Оле. Возможно, если бы не было проблемы отъезда, Алеша еще держал бы некоторое время в себе свою тайну, но тут все обострилось до крайности и молчать он уже не мог и не считал себя вправе. Все же заявление об отъезде Алеша и Оля подали вместе. Потом Оля раздумала ехать; Алеша уехал один. При этом Оля просила его не подавать на развод в течение года, и Алеша на это согласился. Это все произошло после того, как появилось новое действующее лицо — Лиза Алексеева, однокурсница Алеши по Педагогическому институту, дружба с которой перешла в любовь. Лиза фактически стала женой Алеши, но она не могла уехать вместе с ним: юридически ведь он был мужем Оли Левшиной, однако все последующие годы Лиза и Алеша стремились к объединению своей семьи. Через некоторое время мы почувствовали, что эта драма используется КГБ — заложником стала Лиза!

15 декабря Люся поехала в Мордовию на очередное свидание с Эдуардом Кузнецовым. Незадолго перед этим она получила от него письмо. У Кузнецова была надежда, что свидание, после долгого перерыва, будет дано. Люся взяла с собой меня. Она рассчитывала, что при моем приезде ей с большей вероятностью дадут свидание. На этот случай она взяла кое-какие продукты. С нами также поехал Алеша в качестве носильщика.

Для Люси это была далеко не первая поездка в мордовские лагеря: с 1971 года она ездила к Эдику 2—3 раза в год, правда, часто безрезультатно. А вообще ее «знакомство» с лагерем восходит еще к 1945 году, когда она ездила к Руфи Григорьевне. Я же раньше наблюдал лагерную жизнь лишь с некоторой дистанции (на объекте), Алеша вообще попал в лагерный мир впервые. Мордовские лагеря (Дубровлаг) — может быть, не лучший, но, несомненно, не худший его представитель: в местах с более тяжелым, холодным и сырым климатом гораздо хуже, а таких в ГУЛаге большинство. Как уже неоднократно описывалось, все — и зеки, и родные заключенных, приехавшие на свидание, и «начальство» — попадают в Дубровлаг через станцию Потьма. Выйдя из скорого поезда Москва — Ташкент, вы переса-

живаетесь в расшатанный и грязноватый вагончик узкоколейной дороги Потьма — Барашево (конечная точка лагерной страны, там расположена лагерная больница).

Очень скоро вы начинаете ощущать, что что-то в вашем мироощущении непонятным образом изменилось. Краски окружающего мира поблекли, вместо ярких тонов в них стали преобладать мутно-серые и коричневые; звуки голосов людей кажутся вам более резкими, злыми — а может, так оно и есть. По обе стороны дороги то и дело — лагеря (лагпункты, или «зоны», на лагерном жаргоне). Они очень похожи на немецкие лагеря времен войны, известные нам по фотографиям тех лет и по кинофильмам: мне вспомнился сейчас жестокий и страстный фильм Вайды «Пейзаж после битвы». Каждый лагпункт — это большой прямоугольник земли, отгороженный высоким сплошным серым забором с колючей проволокой на нависающих внутрь деревянных кронштейнах. По углам — сторожевые вышки, на которых видны фигуры охранников с автоматами. Внутри забора — «запретка» — полоса вспаханной земли и еще один ряд колючей проволоки, и по центру несколько рядов бараков, длинных и приземистых, опять же серых, одноэтажных зданий, обшитых тесом, с подслеповатыми черными окнами. Все освещено ярким безжизненным светом мощных ламп, укрепленных на высоких столбах. Людей почти не видно и не слышно ни ночью, ни даже днем, хотя их присутствие угадывается за стенами бараков. Время от времени слышен хриплый лай собак-овчарок. Тут понимаешь, что ходячая фраза «собака — друг человека» не всегда справедлива; в особенности если речь идет о человеке в сером ватнике или полосатой одежде заключенного особого режима.

Лагпункт Эдика — «особый режим» — был расположен в поселке Сосновка, примерно в центре Дубровлага. Там же был еще один очень большой чисто уголовный лагпункт и несколько десятков домов, в которых жили работники охраны, начальство и обслуживающий персонал с семьями. Мы остановились в гостинице для приезжающих (вряд ли, по западным нормам, можно тут употребить это слово). Одновременно это было общежитие для офицеров-надзирателей, в основном бессемейных, живших по нескольку человек в одной комнате постоянно.

Кое-как мы разместились в холодной комнате с неоткрывающимися окнами и сырыми постелями, рядом с общей умывалкой-уборной (ничего похожего на душ, конечно, и в помине не было; правда, был титан с горячей водой для чая). С утра мы с Люсей пошли к начальнику лагпункта просить о свидании. Но тут нас ждало разочарование. Начальник категорически отказал. Аргумент — мы не являемся лицами, которые могут благоприятно повлиять на заключенного. Одной Люсе свидания тоже не давали. Мы послали телеграмму начальнику Дубровлага в Явас (административный центр лагеря) и начальнику ГУИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений — так в наше цивилизованное время называется ГУЛаг), обоим с одной просьбой о предоставлении свидания, а сами стали ждать. Мы надеялись, что начальству наше сидение, о котором, конечно, кругами во все стороны пошли слухи и разговоры, будет неприятно. Так оно и было, но свидания нам не дали. Через 10 дней мы вызвали старого друга Эдика Бэлу Коваль, надеясь, что хоть ей дадут свидание. В то же время сам Кузнецов, узнав о нашем приезде, со своей стороны требуя свидания, объявил голодовку. Все было безрезультатно. В конце декабря мы, желая как-то разрядить обстановку, уехали в Москву. А через некоторое время и Кузнецов голодовку прекратил.

Во время нашего двухнедельного сидения я и Алеша впервые могли вблизи наблюдать лагерную жизнь. Впечатления были сильными. Самая быстро сменяющаяся часть обитателей нашей гостиницы — родственники заключенных, приехавшие на свидание. Они производили впечатление до предела напуганных людей, смотрящих как на высокое начальство даже на уборщицу, не говоря уж о тех, кто их направляет на свидание, обыскивает до и после него, может лишить свидания по малейшей прихоти.

Другая часть обитателей, задерживающихся иногда на несколько недель,— командированные, прибывшие большей частью по производственным и хозяйственным вопросам. Лагерь — это поставщик формально дешевой рабочей силы. Заключенные работают как на различных предприятиях (в цехах) внутри зоны, так и на других работах, обычно тяжелых,

вне лагпункта. Труд их обязательный, т. е. принудительный; невыполнение нормы жестоко карается; условия труда — тяжелые, а часто — очень вредные (в Мордовии такими работами являлись огранка стекла без защиты от осколков и стеклянной пыли, окраска лаками без вентиляции и т. п.). Из разговоров командированных-производственников было ясно, что на самом деле экономическая целесообразность лагерного труда очень сомнительна при всей его бесчеловечности. Квалификация заключенных самая низкая, инициатива в работе практически отсутствует, реальная производительность труда очень низкая. Один командированный, приехавший из Горького, рассказывал, что производительность труда в артели слепых инвалидов (!) в Горьком в несколько раз выше, чем на той же операции в лагере, где 600 заключенных делают ту же работу, что 50—60 инвалидов, причем качество работы у инвалидов гораздо выше. Старая проблема с рабским трудом!

Алеша добыл у надзирателей несколько хрустальных подвесок для люстр, которые делали в лагере особого режима. Не знаю, сохранились ли они.

Несмотря на все вышесказанное, принудительный труд заключенных — это реальность, которая не уходит из нашей жизни, хотя и не занимает в ней такого места, как во времена рабовладельческой империи ГУЛага. В Явасе мы с Люсей увидели плакат с социалистическим (!) обязательством: в следующей пятилетке увеличить производство товарной продукции на 100%! Так как такого увеличения производительности труда не может быть, то ясно, что речь идет просто о запланированном увеличении числа заключенных. Это, на мой взгляд, бесстыдно. Но в Явасе все «свои».

Наконец, постоянно живущая часть обитателей гостиницы — это, как я уже писал, надзиратели, начальники колонн и т. п. (Начальство более крупное живет отдельно.) Мы постоянно встречались с ними в клубной комнате, в умывалке, у титана. Однажды двое из них подошли к нам познакомиться, поговорить (очевидно, из любопытства). Оба они после армии пошли в школу МВД. Теперешняя их работа привлекла их более высокой оплатой, более продолжительным отпуском; легче получить путевку в санаторий МВД и т. п. Оба были «начальниками колонн». И очень разными. Один (назовем его Колей) более щуплый, нервный. В его рассказах о работе невольно для него проскальзывало некое упоение властью над людьми, почти садизм, во всяком случае, злоба и презрение к находящимся в его подчинении. Он рассказывал, как какой-то старик, по его словам, прикидывающийся больным, был послан на самую тяжелую работу — на разгрузку угля на морозе. Он плакал, умолял освободить от работы, упал, заболел; за уклонение от работы посажен в карцер. Второй надзиратель в этом месте заметил:

— Зря ты его все-таки наказал.

Коля ничего не ответил, перешел к какому-то другому эпизоду.

Рассказы другого надзирателя (его назовем Ваней) были иными. Один из них о женщине, видимо, деревенской, которая пыталась пронести мужу 10 рублей. Очевидно, их нашли у нее при личном обыске. Женщине грозило лишение свидания в этот раз, а может, и в следующий. Как сказал Ваня, она упала перед ним на колени, плакала.

— Я ей сказал: «На этот раз прощаю. Вот тебе твои деньги, но в следующий раз так не делай — второй раз простить не смогу».

Разные люди, разное поведение даже на такой «крайней» должности, разное отношение к чужой беде.

В клубной («ленинской») комнате мы по вечерам смотрели кино, в том числе очень смешную комедию Рязанова «С легким паром». Надзиратели приносили из своих комнат стулья и тоже смотрели фильм, изредка с интересом посматривая на нас: все же приезд Сахарова был событием в этом уголке страны. Впрочем, лица некоторых уже были красными: видимо, они успели «принять свою порцию». Поздней мы из своей комнаты слышали крики, брань, звуки драки, кого-то за ноги выволакивали на мороз — алкоголь делал свое ежедневное дело.

В один из последних дней перед отъездом мы с Люсей включили телевизор днем. Выступал Давид Самойлов. Дезик читал с подъемом, одно сти-

хотворение за другим, в том числе стихи о Пушкине. В одном из них есть строки:

Благодаренье Богу, ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине.

Я иногда думаю, что эти стихи могли бы быть внутренним — для самого себя — эпиграфом к моим «Воспоминаниям».

Рядом сидел Ваня, у него был свободный от дежурства день. Из наших реплик он понял, что мы лично знаем поэта, читающего свои стихи по телевизору. Это было для него глубочайшим потрясением. Мир, где пишут и читают стихи, и мир, где унижают друг друга, пьют водку, матерятся, дерутся, гнут спину днем и забываются тяжелым сном ночью; мир пустых магазинных полок, кино с рвущимися лентами — эти два мира были в его сознании бесконечно далеки друг от друга, — и вдруг они в нашем лице как бы сблизились. Может, это покажется кому-то наивным и поверхностным, но когда я думаю о выражении лица Вани в тот день, и когда я вспоминаю некоторых других людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, который сейчас даже и не народ в прямом смысле этого слова, все же еще не совсем пропал, не совсем погиб. Не величие исторического пути нации, не православное религиозное возрождение, не сопричастность к революционному интернационализму — все это не то, все это иллюзии, когда говорят о народе. Но простое человеческое чувство, сопереживание чужой жизни, жажда чего-то более высокого, чего-то для души. Эти искорки еще есть, они не погасли окончательно. Что-то с ними будет? Как в общенациональном плане — не знаю, да и важно ли именно это?.. Но в личном, общечеловеческом плане, я уверен, что искры будут гореть, пока существуют люди.

Вернувшись в Москву, мы сделали заявление о деле Кузнецова, встречались с корреспондентами, рассказывали им о наших впечатлениях, в частности, о встречах с двумя надзирателями. В некоторых западных газетах появились статьи, где говорилось: «...посетив Мордовию, Сахаровы обнаружили, что жизнь надзирателей столь же тяжела, как и жизнь заключенных...»

Это, конечно, не то, что мы говорили и пытались передать инкорам. Говорить о тождественности жизни заключенных и их надзирателей — кощунственно. Жизнь заключенных подневольна и бесконечно тяжела. Надзиратели же обладают властью над ними и часто пользуются ею очень жестоко. Но что мы имели в виду: что жизнь надзирателей тоже беспросветна, сера, убога и это плохо само по себе и косвенно отражается на общих лагерных стандартах жизни и морали. Как-то зашел разговор об очень простой вещи — о низком качестве хлеба, который выдают заключенным. Один из надзирателей сказал:

— А вы посмотрите, какой хлеб продают в магазине в Сосновке.

1978 год. Отъезд Алеши. Суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским. Отдых в Сухуми. Негласный обыск

Алеша и Оля получили разрешение на выезд на третий день после подачи документов. Как я уже писал, Оля осталась в Москве с Катей. Она дала Алеше требуемую в ОВИРе справку об отсутствии у нее к нему материальных претензий (мы перевели ей оговоренную сумму). Вопрос о разводе, по ее просьбе и договоренности с Алешей, должен был решаться через год. До моей высылки в Горький мы с Люсей несколько раз, каждый раз с разрешения Оли, были у нее в оставшейся за Олей квартире, проводили по нескольку часов с нашей внучкой Катей. Ко мне

Катя относилась сердечно, доверчиво, к Люсе — более настороженно. Очевидно, это было следствие каких-то разговоров, которые она слышала.

Алеша уезжал 1 марта 1978 года. Накануне, вернее, уже в ночь на 1 марта, он простился по очереди с каждым, кто оставался, — с Руфью Григорьевной, с мамой, со мной, с Лизой. По дороге на аэродром Алеша попросил остановиться у памятника Пушкину. Он один вышел из машины и положил цветы к подножию памятника. Это было его прощание со страной, из которой он — не по своей воле — уезжал. Прощание с тем, что он в ней любит.

Алеша улетел уже утром самолетом, летевшим прямо на Италию. При отъезде произошел некий почти фарсовый (а может и нет) эпизод.

Алеша вез с собой несколько фотографий тех дорогих ему людей, которые оставались здесь, и уже умерших — бабушки и дедушки с отцовской стороны. Все эти фотографии ему не разрешили взять с собой (чистый произвол, мелкая месть КГБ). Люся и я стали громко протестовать, и гебисты-таможенники вроде уступили, но повели Алешу на личный досмотр. Он стал раздеваться и в этот момент увидел, как таможенники опять отложили в сторону фотографии — они хотели его обмануть. Он бросился на них, кого-то ударил, выхватил фотографии, заодно вовсе ему не нужную бутылку водки, которую тоже не хотели пропускать, и, прижимая все эти трофеи к себе, полураздетый выскочил к самолету. Через три часа он был в Италии. А в мае Алеша прибыл в США.

Весной 1978 года у нас произошло радостное событие. Моя дочь Люба, вышедшая замуж в 1973 году, родила мальчика — еще одного моего внука. Его назвали Гриша, Григорий. К сожалению, жизнь складывается так, что с самого его рождения и до сих пор я не мог принимать непосредственного участия в его воспитании, видел его не очень часто (а с момента высылки и вовсе ни разу). Сейчас ему пошел четвертый год!

В те же дни в Москве начался суд над основателем Московской Хельсинкской группы, членом-корреспондентом Армянской Академии наук Юрием Федоровичем Орловым. Одновременно в Тбилиси начался суд над членами Грузинской группы Гамсахурдиа и Костава.

Я сначала предполагал проводить часть времени в Москве, а часть — в Тбилиси. Мы с Люсей даже поехали в конце первого дня на аэродром, но, узнав, что один из обвиняемых в Тбилиси (Гамсахурдиа) на суде осуждает свою правозащитную деятельность, я отменил поездку туда. Видимо, агенты КГБ остались недовольны этим решением. В последующие дни то и дело звонили какие-то люди, якобы грузины (может быть, это и были грузины, но, несомненно, гебисты), и упрекали меня за то, что, когда можно было поесть хороших грузинских шашлыков, я был тут как тут, а когда в беде хорошие грузинские парни, меня нет. Насчет шашлыков у них вышла осечка: я в Грузии их ни разу не ел, не очень люблю. Относительно же Гамсахурдиа и его позиции на суде, а потом выступления по телевидению, где он также признавал ошибочность своих публичных выступлений и контактов с иностранными дипломатами, следует сказать следующее.

Я уже не раз писал, что не считаю правильным осуждать кого-либо за подобные отступления. Силы человеческие ограниченны, и часто многие переоценивают свои возможности, да и обстоятельства бывают иногда непредвиденные. Тяжелей всего в таких случаях судят себя сами эти люди. Но тем выше мы должны ценить стойкость и мужество тех, кто выстоял. О многих из них речь в этой книге. Мераб Костава, подельник З. Гамсахурдиа, — один из них. Он оказался, после отступления Гамсахурдиа, один. И не отступил. Мужественно и достойно Мераб вел себя и в лагере, и в ссылке, в холодном, непригодном для южанина климате. Срок ссылки кончился в 1981 году. Но КГБ организовал новую провокацию против него; об этом и дальнейшей судьбе Мераба я расскажу потом.

Как я уже писал, многие — и я в том числе — думали, что власти (КГБ) не решатся арестовать члена-корреспондента Академии Юрия Орлова, а когда арестовали, — что его не приговорят к лагерю, в худшем случае — к ссылке. Мы ошиблись. Орлов был осужден к максимальному сроку, допускаемому 70-й статьей (ее первой частью) — к 7 годам лагеря

и 5 годам ссылки, и потом, в заключении, непрерывно подвергался самым изощренным притеснениям, создающим угрозу его здоровью и самой жизни. Недавно Президиум Академии наук Армении исключил его на тайном заседании из состава Академии с вопиющим нарушением устава. Суд над Орловым проходил все в том же Люблино. На него приехало очень много друзей обвиняемого, много иностранных корреспондентов и представители некоторых иностранных посольств. Но на этот раз нас не пустили даже к зданию суда — специальные ограждения и наряды милиции не подпускали ближе 15—20 метров. Во время процесса жену и сыновей Орлова дважды обыскивали с применением грубой физической силы, срывали одежду — искали магнитофон с записью этого формально открытого суда. Даже адвоката, однажды, разошедшиеся гебисты подвергли насилию — заперли во время процесса в комнате рядом с залом.

В последний день суда, перед вынесением приговора, когда я стал громко настаивать, чтобы присутствующих друзей подсудимого пустили на суд, и стал протискиваться сквозь толпу, возникла потасовка, подобная той, которая происходила в Омске. Меня, а потом и других, поволокли в стоящие рядом милицейские машины; я ударил кого-то из гебистов, один из гебистов очень сильно и профессионально ударил Люсю по шее, она ему ответила. При заталкивании в машину Люся уже по инерции нечаянно ударила начальника местного отделения милиции. Нас с Люсей вскоре отпустили, а потом вызвали повесткой в суд. Обвинение — хулиганские выкрики во время суда; штрафы: мне 50, Люсе — 40 рублей. Во время суда Люся сказала:

— Сотрудника ГБ я ударила правильно и не раскаиваюсь. Начальника отделения (фамилия) я ударила зря, прошу его извинить меня.

Ее слова были полностью проигнорированы — за рукоприкладство нас судить тогда не собирались. В зале присутствовало много милиции: вероятно, они были довольны Люсиными словами. Двоих из задержанных одновременно с нами осудили на «15 суток». Я чувствовал себя немного виноватым перед ними.

Через полтора месяца состоялись еще два суда и опять одновременно и в разных местах (видимо, ГБ понравилась эта система «разделения» наших и без того малых сил). Это были процессы Александра Гинзбурга в Калуге и Анатолия Щаранского в Москве. Мы с Люсей то вместе, то по отдельности (я в Калуге, Люся в Москве) пытались быть на обоих судах (на улице, конечно). Суд над Аликом характеризовался широким использованием показаний полууголовных, полууголовных пользователей Фонда (много таких пыталось к нему присосаться) и большой активностью нагнанной публики у здания суда (Люся думает, что это были рядовые советские граждане; я думаю, тут она ошибается). Много было провокационных разговоров, выкриков, скоморошества. Гинзбург был осужден на 8 лет лагерей особого режима. Два раза я ездил в Калугу с Владимовыми на их машине. Мне все больше нравилась эта семья.

Суд над Анатолием Щаранским привлек еще больше внимания. Толя Щаранский был обвинен в шпионаже — то был советский вариант дела Дрейфуса. Обвинение это уже фигурировало в провокационной статье Липавского, о которой я упоминал. Суть же дела сводилась к следующему. Щаранский и другие активисты еврейского движения за выезд в Израиль опрашивали некоторых евреев, которым было отказано в выезде под предлогом секретности, в то время как их учреждения не числились секретными. Эти данные были сообщены одному американскому корреспонденту, который и опубликовал их в своей газете. Ясно, что действия Щаранского не носили противозаконного характера. Показательно, что ни один из опрошенных Щаранским людей не был привлечен к ответственности за разглашение секретной информации. Вот вам и весь шпионаж (к слову, президент США официально заявил, что Щаранский не имеет никакого отношения к американской разведке).

Цель КГБ в этом процессе была крупная: запугать евреев, желающих эмигрировать, вбить клин между евреями и инакомыслящими. С Толей они, однако, просчитались. Он выдержал сильнейшее психологическое давление пятнадцати месяцев следствия (в полной изоляции, с многократными угрозами расстрела и обещаниями освобождения, если он покается), очень мужественно держал себя на суде, куда не пустили даже его мать (под предлогом, что она должна была выступать свидетелем, но отказалась).

Во время суда над Щаранским я дал интервью иностранным журналистам, стоявшим вместе с нами на улице. Радиостанция «Голос Америки» передала его с возмутительным добавлением: «Сахаров выразил надежду, что Щаранский вскоре будет обменен».

Ничего подобного я не говорил!.. К сожалению, в те напряженные дни я не смог предпринять шаги для выяснения, как могло возникнуть это добавление, снижавшее трагическую сторону ситуации, как бы спускавшее ее на тормозах. Щаранский был приговорен к 13 годам заключения, из них 3 — в тюрьме. На приговор его мать опять не пустили. При этом гебисты, стоявшие у решетки, построенной при входе в переулочек, где был суд, всячески обманывали ее, обещали пустить, даже когда приговор уже читали. После приговора вышел брат Толи, Леня. Ему удалось запомнить и записать по памяти последнее слово подсудимого. Он громко зачитал нам этот удивительный документ, проникнутый огромной эмоциональной силой. А потом все присутствовавшие, обнажив головы, запели израильский гимн. Пошел дождь. Люди продолжали петь и плакали, и слезы смешивались со стекающими по лицам каплями дождя. Я тоже пел и плакал вместе со всеми. В соседних домах отворились окна, люди слушали. Гебисты (их было очень много) не решались помешать. Горстка людей, стоявших у решетки, в этот трагический момент была сильней всей огромной репрессивной машины государства — для многих уже не их Родины. После суда мать Толи, его брат и жена брата Рая пошли к нам. Они впервые были у нас, но внутренне уже были нам близки. Мы и потом часто общались в начавшиеся годы трудного тюремного и лагерного пути Толи.

Суды 1978 года вызвали очень сильное возмущение во всем мире, во многом способствовали пониманию истинного положения с правами человека в СССР. Среди многих организаций, созданных в это время за рубежом для защиты узников совести в СССР, я хочу особо отметить Комитет американских ученых SOS (Спасите Орлова Щаранского). Впоследствии этот Комитет включил и мою защиту в одну из своих основных задач: первая буква стала читаться Sakharov...

В середине сентября мы с Люсей поехали отдохнуть на две недели в Сухуми. Там было еще тепло. Мы купались, гуляли, я много работал, сидя в номере гостиницы; по вечерам ходили в кино. Очень интересной была экскурсия в Новоафонские пещеры. Туда мы ходили (так же, как обычно в кино) вместе с Копелевыми — Раей и Львом — они тоже приехали отдохнуть — и с нашим другом X., с ним нас подружил Мотя еще в 1977 году.

Копелевых мы неожиданно встретили на Сухумской набережной. Левины доброжелательность, сопереживаемость, терпимость и широта, жизнелюбие и интеллектуальность, неразрывно связанные в моей памяти со всем его обликом большого, сильного, доброго человека с огромными черными, по-детски удивленными глазами, очень украшали нашу жизнь.

Наше пребывание в Сухуми омрачило неожиданное обострение состояния Люсиных глаз — у нее произошло сильное внутреннее кровоизлияние в глазу во время купания в море. Еще весной Люся подала заявление на новую поездку в Италию — необходимо было снова показаться Френзотти, сменить очки (их очень тщательно и квалифицированно подобрали ей в 1977 году, но состояние ее глаз быстро менялось после операции). Возможно, как мы думали, нужно будет сделать еще одну операцию. Ответа все еще не было. По приезде в Москву я предпринял ряд мер с целью ускорения ответа; несколько раз звонил заместителю министра внутренних дел Шумилину, ведавшему делами ОВИРа, и послал письмо Брежневу. В письме я напоминал, что в 1975 году было принято принципиальное решение, в силу которого моя жена получила право лечить за рубежом свои глаза, пострадавшие в результате контузии на фронте Великой Отечественной войны. Я отослал это письмо в середине ноября, но не публиковал его. Копия письма пропала во время негласного обыска 29 ноября.

В этот день случилось так, что на некоторое время (около полутора

часов) наша квартира на улице Чкалова осталась пустой. Обычно мы избегали этого, а когда уезжали все вместе из квартиры, то брали с собой на всякий случай наиболее важные документы. В этот раз мы этого не сделали. Около часа дня мы с Люсей поехали на академической машине в книжный магазин, а вскоре после нас Руфь Григорьевна и Лиза поехали на международный телефонный переговорный пункт. Лиза в это время уже жила у нас, став членом нашей семьи. С квартирного телефона говорить с США, с нашими детьми и Лизиным мужем было невозможно (разговор мгновенно прерывался оператором КГБ, непрерывно находящимся на нашем проводе. Именно эта невозможность услышать что-либо, а не подслушивание, была нашей бедой; подслушивание же — и по телефону, и просто в квартире — конечно, всегда было и малоприятно, но скрывать нам нечего).

С переговорного пункта Руфи Григорьевне и Лизе в 1978 году удалось несколько раз поговорить. Но в этот раз они вернулись ни с чем. Одновременно с ними вернулись и мы с Люсей. Вскоре из ванной раздался голос Лизы:

— Где халат? Не могу найти...

Тут мы обнаружили, что не хватает еще некоторых вещей, подбор их был очень странным — это были поношенные Люсины и мои носильные вещи (в их числе мои домашние брюки и любимая мной синяя куртка, купленная еще Клавой и заштопанная Руфью Григорьевной после того, как куртку изгрызла собака Малыш), мои очки. Более ценные Люсины вещи, лежащие на самом виду, не были взяты.

На следующий день приехала Лидия Корнеевна и попросила что-то показать ей из написанного мною. Тут я обнаружил, что в коробке для документов лежит совсем не то, что там находилось. Исчезло письмо Брежневу, машинописный и рукописный текст первого варианта этих воспоминаний — то, что я успел написать за 5 первых месяцев работы. Это была первая кража, или конфискация — называйте как хотите — в многолетней истории моего «труда Сизифа». Но, в отличие от судьбы этого мифологического персонажа, у меня каждый раз на вершине горы оставался кусочек камня, с такими мучениями поднятого мною наверх. Кажется, Сизиф был осужден за то, что не захотел умереть, когда этого от него потребовали боги. Что ж, в таком случае аналогию можно продолжить — я не захотел замолчать по желанию «земных богов»...

Из коробки исчезла также подборка нескольких десятков адресованных мне писем с просьбой о помощи и черновики ответов на некоторые из них, в большинстве составленные Софьей Васильевной Калистратовой. Исчезли также многочисленные письма с угрозами убить или искалечить меня и моих близких и копии многих моих общественных обращений по разным поводам и других документов, в основном (кроме письма Брежневу) уже опубликованных. Вместо этого коробка была аккуратно заполнена такой же массой других писем и документов, менее важных и интересных, которые до этого лежали в нижнем ящике секретера. Несомненно, все это было делом рук КГБ (кража вещей, вероятно, форма маскировки).

Это был фактически *негласный обыск*! Через четыре года Люсе в поезде устроили уже официально оформленный обыск; до этого КГБ применял лишь «стыдливо-условные» методы...

Само собой разумеется, что дверь в нашу квартиру была заперта на ключ, когда мы уходили, и оказалась исправно запертой при возвращении. Проблемы ключей для КГБ никогда не существовало, там у них для этого достаточно специалистов.

Мы сделали заявление о пропаже документов и моих воспоминаний, а также письма Брежневу. Мы заявили также, что, ввиду неоправданной затяжки рассмотрения Люсиного заявления о поездке в Италию, после 3 января мы будем считать отсутствие ответа отказом и начнем бессрочную голодовку. Боря Альтшулер достал (не без трудностей — это «дефицит») 40 бутылок «Боржоми» и привез нам в двух авоськах, мы положили их под секретер и кровать — места-то у нас мало.

Перед самым Новым годом позвонил заместитель начальника Московского ОВИРа Зотов и сообщил, что Люсе разрешена поездка. Он рассчитывал, что Люся приедет немедленно за визой (вероятно, это было нужно ему для отчетности), но Люся воскликнула:

— Что вы, в такой мороз!

В это время температура на улице была 30—35 градусов мороза, в отдельные дни еще холодней. Небывалые холода зимы 1978/79 года причинили множество бед в Москве и еще больше — в других местах.

1979 год. Третья поездка Люси. Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент. Новое дело Мустафы Джемилева. Адвентисты. Владимир Шелков. Письмо крымских татар Жискару д'Эстену и мое новое обращение к Брежневу. Збигнев Ромашевский. Новые аресты

Люся улетела 15 января. Фреззотти и крупнейший американский офтальмолог д-р Скеппенс не сочли возможным делать ей еще одну операцию и были вынуждены ограничиться консервативным лечением и выпиской новых очков, соответствующих изменившемуся состоянию глаз. В связи с консультацией у д-ра Скеппенса Люся вылетела в США и смогла своими глазами посмотреть, как живут и осваиваются в новом и чужом мире дети и внуки (до сих пор мы никому не говорили, что Люся была в США; даже в клинике Скеппенса никто, кроме его самого, не знал ее подлинной фамилии; но я думаю, что к моменту выхода «Воспоминаний» в свет скрывать Люсину поездку уже не будет необходимости). Добавление 1987 г.: КГБ знал о поездке Люси, а мы знали, что они знают. В мае 1984 г. в статье в «Известиях» они выложили эту карту на стол. Так что теперь мы можем писать обо всем.

Люсины впечатления были сильными и сложными, быть может, даже противоречивыми.

Уже будучи интернированным в Горький, я написал документ, согласно которому Ефрем Янкелевич является моим официальным представителем за рубежом. Но еще задолго до этого, фактически с самого начала, на Ефрема и Таню легла большая тяжелая работа и, позволю себе заметить, — расходы, связанные с тем, что никто, кроме них, не мог адекватно представлять за рубежом мою позицию и мои интересы. Одновременно выяснилось, что быть родственником Сахарова за рубежом, скажем, конкретно в Бостоне, конечно, менее «накладно», чем в СССР, но вовсе не открывает никаких дорог — даже наоборот.

Это очень явственно проявилось в судьбе и трудоустройстве Ефрема, в истории поступления в МТИ Алеши, отчасти и в Танином трудоустройстве. Те обещания, которые приходили к нам в 1973—1977 гг. из МТИ, оказались чистой формальностью; никто из подписывавших, оказывается, не принимал их всерьез. Алешу в МТИ не приняли, когда он сразу по приезде в США туда пришел, а приняли в Брандейский университет, куда он пришел, как говорится, «с улицы». Там, на его счастье, не знали, что он родственник Сахарова, а может, не знали, кто такой Сахаров. (Брандейский университет — прекрасный, так что, быть может, Алеше повезло.) А вот Ефрему определенно не повезло. Уже 3 года он без работы, хотя у него было удачное начало, руководитель был им доволен. И ругать потенциальных работодателей тоже не приходится — Ефрем и Таня то и дело вынуждены куда-то ехать по делам Сахарова или высту-

пать, или срочно что-то писать — кому это понравится не только в деловой Америке, но и в более безалаберном обществе? Ситуация почти тупиковая!..

Контуры всех этих трудностей выявились к концу Люсиного (очень недолгого) пребывания в США; она вернулась с этим тягостным впечатлением. Но, конечно, было также много радостного, в особенности от общения с внуками, уже освоившимися с языком и со всей разноплеменной средой Ньютона (город-спутник Бостона, где живут дети и внуки).

15 февраля в Танином и Ремином доме в Ньютоне торжественно отмечали Люсин день рождения, дети пели традиционную песенку:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you...

Пока Люся находилась за рубежом, у нас происходили драматические общественные события, и на мою долю выпало как-то в них участвовать.

Часть этих дел была связана с положением крымских татар, в котором вновь наступило обострение. Летом 1978 года Совет Министров СССР принял постановление № 700, дававшее органам МВД новые широкие полномочия в выселении крымских татар из Крыма и препятствовании их возвращению в Крым. Это постановление было формально секретным, но в Крыму о нем открыто и с угрозой говорили татарам в милиции и других советских учреждениях. В соответствии с постановлением были созданы специальные подразделения МВД (или КГБ?), проводившие жестокие акции выселения — с разрушением домов, насилием и погромами. Категорически запрещались прописка и трудоустройство крымских татар в Крыму, продажа им домов. Я позвонил сотруднику ЦК Альберту Иванову, занимавшемуся вопросами, связанными с функциями МВД (дела о выезде и поездках, положение о лагерях, прописка и т. п.). Я спросил его, правильны ли сведения о постановлении № 700. Он ответил утвердительно. На мое высказывание, что это — национальная дискриминация крымских татар и несправедливость по отношению к народу, ставшему 35 лет назад объектом преступлений Сталина и его администрации, он ничего не возразил, только сказал:

— Так или иначе, но крымским татарам в Крыму делать нечего. Их место там занято. Мы не можем выселять украинцев.

На мою реплику, что никто не требует выселять украинцев, места в Крыму не меньше, чем в любом другом районе, единственное, что надо, — покончить с национальной дискриминацией, Иванов ничего не ответил.

Выселения крымских татар продолжались. Они происходили и до принятия постановления № 700. Летом 1978 года милицейская команда подошла к дому крымского татарина Мусы Мамута. В знак протеста против преследований крымских татар Муса облил себя бензином и поджег. Когда милиционеры взломали дверь, они увидели пылающий факел — человека. По дороге в больницу нестерпимо страдающий Мамут сказал:

— Надо было кому-то это сделать!..

В больнице Муса Мамут умер.

Я написал большое письмо о судьбе крымских татар в СССР, о национальной дискриминации и их общенародной мечте о возвращении в Крым, за которую они борются законными ненасильственными методами. Это письмо я направил Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму и постоянному представителю США в ООН Эндрю Янгу. (Письма я посылал через консульство США. Быть может, это два различных письма: Вальдхайму раньше, чем Янгу, я сейчас не помню этого точно. В письме, написанном в 1978 году, я сообщал о самосожжении Мамута.) Ни на одно из писем я не получил ответа.

В январе 1979 года (уже после отъезда Люси) крымские татары вновь несколько раз приходили ко мне и сообщали о новых вопиющих фактах произвола и дискриминации, осуществлявшихся на основании постановления № 700. Я решил обратиться по проблеме крымских татар к Брежневу и подготовил соответствующий документ. Однако раньше, чем я успел его отправить, перед мной встало другое трагическое дело, и получилось так, что я отправил на имя Брежнева одновременно два обращения.

Еще летом 1978 года Мальва Ланда сообщила нам, что в Ереване распространяются слухи об аресте бывшего политзаключенного Степана Затикяна по обвинению в соучастии во взрыве в московском метро в январе 1977 года. При этом сообщалось о давлении, оказываемом на армянских политзаключенных в разных лагерях, с тем чтобы они подтвердили, что Затикян замышлял акты террора. Мальва была очень взволнована. Но я не стал выступать в какой-либо форме на основании этих сообщений, считая их слишком неопределенными и отрывочными. В январе 1979 года, примерно 25-го числа, ко мне пришла Юла Закс (сестра А. Твердохлебова) и рассказала (вернее, написала на бумажке), что трое армян — Затикян, Степанян и Багдасарян — приговорены к смертной казни за совершение террористического акта: взрыва в московском метро. Никто не знает, когда и где был суд, как он происходил, о нем никто не был извещен, даже родственники подсудимых. Единственное, что было известно, это то, что два дня назад родственники подсудимых были срочно доставлены в Москву и тут им сообщили об уже вынесенном приговоре...

Вечером во вторник я написал обращение к Брежневу. Я просил его способствовать приостановке исполнения смертного приговора и назначению нового судебного разбирательства. Я сообщил известные мне сведения, заставлявшие меня сомневаться в вине обвиняемых в совершении ужасного, не имеющего оправдания преступления. Главный мой аргумент — что в суде не была обеспечена необходимая для исключения судебной ошибки и несправедливости гласность и публичность, о суде никому не было известно: ни общественности, ни даже родственникам осужденных.

На другой день утром я пошел отправлять оба письма (я сдал их, как всегда, в приемную писем Президиума Верховного Совета в Кутафьей башне). По дороге я прочитал в вывешенной газете сообщение «В Верховном суде СССР». Оно было очень странным, необычным для сообщений такого рода. Сообщалось, что в Верховном суде СССР рассмотрено дело по обвинению во взрыве в московском метро, повлекшем человеческие жертвы, но не было указано, когда состоялся суд, под чьим председательством, состав суда, кто представлял защиту. Далее говорилось, что преступники — рецидивист Затикян и два его сообщника — приговорены к исключительной мере наказания (смертной казни) и что приговор приведен в исполнение. Не были даже указаны фамилии Багдасаряна и Степаняна, как-никак приговоренных к смерти. Наличие в этом сообщении таких умолчаний является одним из факторов, способствующих моим сомнениям в этом деле...

В «Известиях» примерно 8 февраля было напечатано письмо от имени родственника погибшего при взрыве мальчика, который, по его словам, присутствовал на суде.

Кончалось письмо в «Известиях» утверждением, что Затикян вел себя на суде злобно, допускал антисемитские выкрики, восхвалял Гитлера (автор прибавлял: «Послушал бы его Сахаров!»).

Через несколько дней после статьи в «Известиях» в нашу квартиру пришли два неожиданных посетителя. Я открыл им дверь и, видя их возбужденные, заплаканные лица, спросил:

— У вас какое-нибудь горе?

— Да. Мы родные погибших при взрыве в метро. И мы пришли спросить вас, почему вы защищаете убийц?

Один из посетителей был крупный, немного рыхлый на вид мужчина с бледным рябым лицом и бегающими глазами. Он непрерывно вынимал из кармана носовой платок и прикладывал его к глазам, даже тер их. Другой — приземистый, крепкий и смуглый, со злыми черными глазами, время от времени весь как бы подбирающийся от удара. И все же первый, по виду «старший по чину», был страшней. Несомненно, это были гебисты. Я пытался говорить, что вина не может быть доказана без открытого суда, а его не было. Спросил, почему не были извещены родственники, и получил уже известный мне ответ, очевидно, уже ставший стандартным для гебистов:

— Мы бы их растерзали; это они виноваты, что вырастили таких убийц.

Я говорил нарочно размеренно, а они — все громче и возбужденнее. Маленький начал подступать ко мне с криками и выбрасывать у меня перед лицом сжатый кулак. Я продолжал, стараясь соблюдать спокойствие и неподвижность, свои аргументы. В квартире были Лиза и Мальва Ланда. Они прибежали на шум. Один из посетителей сказал Мальве:

— Вам, Мальва Ноевна, тут делать нечего. Опять клевету напишете! (выдав тем самым окончательно свою гебистскую принадлежность.) Крики и размахивание руками усилились. Обстановка становилась все напряженней. Лиза стала протискиваться между мной и гебистами, пытаясь как-то защитить меня. В этот момент один из гебистов быстро нанес ей — незаметно от меня — сильный и болезненный, как она потом призналась, удар в живот, но тогда Лиза даже не поморщилась. Продолжая кричать, «посетители» постепенно двигались к двери и, наконец, ушли, пообещав напоследок прийти со всеми родственниками погибших и окончательно разделаться со мной.

Потом начался поток писем. Всего их пришло более 30, может, около 40 — с оскорблениями, упреками (почему ты защищаешь убийц, а не их жертв? И тебе не стыдно?..), с угрозами. Примерно в 15 письмах содержались прямые угрозы убийства. В одном из них мне обещали отрезать голову и положить ее напротив американского посольства. Авторы многих писем сообщали, что они уже отсидели немало и готовы посидеть еще ради того, чтобы покарать такого мерзавца, как я. Эти угрозы получили свое продолжение спустя два месяца во время моей поездки в Ташкент...

В начале 1979 года мне стало известно, что новое дело возбуждено против Мустафы Джемилева, только что вышедшего из заключения. Он вновь арестован, на этот раз формально за нарушение «правил надзора» (а по существу это было продолжение перманентных репрессий за общественную активность). Брат Мустафы Асан сообщил из Ташкента о дате суда, и я вылетел туда, чтобы присутствовать на суде. Перелет из Москвы до Ташкента занимает около пяти часов. Я прилетел в Ташкент около часа ночи по местному времени, легко нашел квартиру Асана — они с женой жили в большом многоквартирном доме, построенном после землетрясения. Хозяева не ложились спать, ждали меня. На другой день с утра мы пошли на суд, но суд был отложен под предлогом, что в тюрьме нет транспорта для привоза заключенного. Через неделю суд был назначен неожиданно, многие родственники не смогли на него попасть. Мустафа был осужден к 5 годам ссылки...

Через две недели мне пришлось вновь вылететь в Ташкент, на этот раз на процесс адвентистов. Главным обвиняемым был 83-летний духовный глава Церкви адвентистов Владимир Алексеевич Шелков.

Самолет прилетел в Ташкент очень рано, еще до рассвета. Несколько часов я бродил по берегу канала, всматриваясь в зеленовато-мутную, таинственно-живую воду, которая меняла свой облик по мере того, как солнце выходило из-за горизонта и поднималось все выше по небу. Я пожалел (не в первый и не в последний раз), что так редко провожу на улице, а не в постели это лучшее время суток... Наконец, наступило рабочее время, и после некоторых недоразумений я добрался до здания Ташкентского областного суда, где проходил суд над Владимиром Шелковым и его товарищами, арестованными около года перед тем при внезапном налете милиции и КГБ на конспиративную квартиру адвентистов. Здание суда было одноэтажным, очень невзрачным.

На крыльце и около него стояло и сидело — прямо на траве — десятка два людей, мужчин и женщин. Это и были адвентисты. Их, конечно, не пустили в зал суда, кроме 2—3 человек, имевших при себе документы, подтверждавшие ближайшее родство с подсудимыми. Я провел с ними весь день: прислушивался к их разговорам между собой, некоторые вступали в разговор со мной, а также делились той едой, которую они принесли с собой, чтобы не отлучаться от суда, — хлебом, яблоками. Я уже не помню подробностей разговоров, лишь общее впечатление — их глубокой убежденности в моральной правоте, преклонения перед дедушкой (Шелковым), какой-то духовности — все это в сочетании с «крестьянской»

практичностью и здравым смыслом (вероятно, далеко не все среди них были крестьяне, может быть, никто; но я не знаю, как точней иначе передать представившийся мне духовный облик). Запомнились слова одной пожилой женщины:

— Мы верим всерьез. Так, чтобы вся наша жизнь была по вере, — ведь только так верить и есть какой-то смысл!

О жестоких преследованиях, которым их подвергают власти, они рассказывали удивительно просто, без всякой аффектации и рисовки, без озлобления. Примерно так, как говорят об явлениях природы.

Я мог провести в Ташкенте только один день и не дождался окончания суда. О приговоре узнал лишь в Москве. Шелков и все остальные были приговорены к длительным срокам заключения. Для Владимира Алексеевича Шелкова этот последний приговор в его жизни оказался смертным — он умер в лагере в возрасте 84 лет, меньше чем через год. Я тогда уже находился в Горьком, но ко мне еще иногда попадали люди (милиционеры дежурили в подъезде, и они не знали всех жильцов дома в лицо; кое-кто проходил мимо них незамеченным).

О смерти В. А. Шелкова мне пришли сказать две адвентистки, мать и дочь (девочка лет восьми). Мать была потрясена. Чем тут можно было помочь? Я поцеловал обеих и посоветовал побыстрей уходить, пока их не забрали. Больше я их не видел.

Случилось так, что во второй мой приезд в Ташкент, во время суда над адвентистами, я почему-то отошел от здания и оказался один. Воспользовавшись этим, ко мне подошел какой-то человек «восточного» типа. Он сразу начал разговор на самых высоких нотах.

— Я родственник погибших в метро. Тут нас много, и мы не допустим, чтобы защитник убийц ходил по нашей ташкентской земле!

Я что-то пытался сказать про открытый суд, но остановить поток его слов, которые он выкрикивал гортанным голосом, было невозможно. При этом он яростно вращал глазами; мне почему-то кажется, что его подослали ко мне именно из-за этого редкостного умения. Кончил он зловещим шепотом:

— Если ты сегодня же не уберешься в свою Москву, то я за себя не отвечаю. Я уже отсидел, посижу еще.

На самом деле мне было необходимо сегодня же улетать, я не хотел пропускать семинар в ФИАНе. Гебисту я об этом не сказал. Тут подошел один из адвентистов. Он услышал обрывок разговора и очень обеспокоился. Адвентисты хотели провожать меня на аэродром, но я попросил их не делать этого, наслушавшись рассказов о том, как ведет себя с ними Ташкентский ГБ. На Москву билетов не было. Я подошел к администратору, показал геройскую книжку, тот пообещал помочь; и вскоре по радио объявили:

— Товарищ Сахаров, вас просят подойти к кассе.

Около кассы какой-то мужчина спросил меня:

— Вы — Сахаров?

— Да.

— Выйдемте на балкон, мне надо вам кое-что сказать (или спросить — не помню).

Лицо его показалось мне знакомым (кто-то из моих коллег в прошлом?). На самом деле это был гебист, и я его действительно видел много раз. Я вышел на балкон. Это, конечно, была ошибка. Там стоял еще один гебист. Они отрезали мне путь с балкона и начали новую психологическую атаку. На этот раз это были не угрозы, а многословные рассуждения. Тема была все та же: как я мог докатиться до того, чтобы защищать убийц. Я вяло возражал. Наконец вырвался с балкона и стал подниматься по лестнице, как всегда — медленно (из-за сердца). Гебисты шли по бокам, продолжая свою «лекцию». Вдруг я остановился. Один из гебистов язвительно спросил:

— Что это вы останавливаетесь — отстать хотите?

Я ответил:

— А вы бы, идя на такое задание, хотя бы снимали значки Дзержинского.

Они посмотрели друг на друга: у каждого в лацкане был гебистский значок — и быстро ушли вверх по лестнице...

В конце марта ко мне пришли мои друзья крымские татары. Они составили письмо на имя президента Франции Жискара д'Эстена с просьбой при его встречах с Брежневым поставить вопрос о восстановлении национальных интересов крымских татар, о прекращении дискриминации.

Я написал новое письмо Брежневу, где вновь изложил проблему крымских татар и привел те же конкретные дела и просил его вмешаться. В письмах Брежневу и Жискару д'Эстену я информировал их об одновременном обращении к другому адресату. Я просил Жискара д'Эстена во время встречи с Брежневым поднять приведенные мною конкретные дела и просить от своего имени об их решении. Это двойное обращение — один из наиболее аргументированных моих документов по крымско-татарскому вопросу. Письмо Брежневу я, как всегда, отдал в отдел писем Президиума Верховного Совета, а письмо Жискару д'Эстену отвез во французское посольство. Я договорился по телефону, секретарь консульства встретил меня на улице и провел в кабинет консула. Во дворе шли какие-то строительные работы, и пока мы пробирались между лесами и кучами строительных материалов, мой провожающий обменивался шутками с рабочими и работницами (французами). Мне показалось, что в СССР подобная непринужденность в общении дипломата и рабочих невозможна: наше рабоче-крестьянское государство успело за 60 лет стать более кастовым, чем «буржуазная» республика...

Через несколько недель консул позвонил мне домой и сообщил, что мои письма вручены президенту. Сведений о дальнейшем ходе дела у меня нет. Я не знаю, говорил ли Жискар д'Эстен с Брежневым по этому вопросу, ничего не знаю и о результатах всей этой акции.

Два года перед этим с делом Вагнера получилось удачней. И само дело в этот раз было сложней, и Жискар д'Эстен занял, возможно, другую, более пассивную позицию, чем Шмидт (если так, то сожалею).

В посольстве я был 10 апреля. Через пять дней я поехал на нашей личной машине встречать Люсю на аэродром. Вел машину наш друг Арий Мизякин, и по моей просьбе он оставался в машине, пока я ожидал выхода Люси с таможенного досмотра. Но на одну минуту он все же покинул свой пост, чтобы помочь донести чемоданы. Этим воспользовались гебисты и прокололи шины (видимо, выражение неудовольствия действиями моими и Люси за последнее время и просто желание испортить настроение). Нам помогли сменить колесо французские корреспонденты Пьер Легал и Меретик. Гебисты отомстили им за это, проколов одно колесо немедленно, а на следующий день проколов обоим все колеса. Таможенный осмотр в этот раз был очень быстрым. Люся радовалась. Но она радовалась зря. Таможенники (тоже гебисты) украли у нее очень много мелких и более крупных вещей, всего рублей на 500—600.

В 1978—1979 гг. как за рубежом, так и среди нас очень горячо обсуждался вопрос об отношении к предстоявшей в 1980 году Московской Олимпиаде. Многие наши друзья за рубежом считали необходимым вести кампанию за бойкот Олимпиады — в знак протеста против арестов и преследований инакомыслящих и других серьезных нарушений прав человека в СССР. Эта точка зрения разделялась некоторыми инакомыслящими в СССР. Сторонники бойкота Олимпиады при этом говорили:

— Конечно, мы понимаем, что невозможно добиться бойкота реально. Однако уже само обсуждение этого привлечет всеобщее внимание к нарушениям прав человека в СССР, будет способствовать расширению правозащитных позиций на Западе.

Мне эта позиция казалась неправильной как в тактическом, так и в принципиальном смысле. Я считал, что нельзя призывать к бойкоту Олимпиады как бы условно, не желая этого на самом деле. А я не хотел тогда (в 1978—1979 гг.) бойкота Олимпиады-80, не хотел срыва всей этой гигантской работы по подготовке, не хотел лишить миллионы людей, в том числе спортсменов, не несущих прямой ответственности за нарушения прав человека, той радости, которую они могли от нее получить. Я рассматривал Олимпиаду как часть процесса разрядки, часть начавшегося процесса общения людей. В общем, я надеялся, что Олимпиада с приездом в СССР сотен тысяч людей с Запада (хотя большинство из них, конечно, ни о чем, кроме спорта, не хочет думать) — все же какая-то щелка в той стене разобщенности и непонимания, которая отделяет нас от Запада. Поэтому я считал, что в связи с предстоящей Олимпиадой надо увеличить усилия информировать мир о нарушениях прав человека в СССР, о нашем трудном, а в чем-то трагическом положении и сделать попытку и с п о л ь з о в а т ь Олимпиаду для активизации помощи Запада нам. Возникли, в частности, идеи о шефстве отдельных западных команд и даже отдельных спортсменов над конкретными жертвами репрессий в СССР — и над такими известными, как Юрий Орлов, Анатолий Щаранский, и над многими другими, менее известными, но столь же нуждающимися в защите. Предполагалось также, что среди западных туристов и спортсменов будут распространяться майки и другие предметы с портретами жертв репрессий и с призывом к их защите. Такой подход исключал призыв к бойкоту Олимпиады. Эта позиция разделялась, по-видимому, большинством инакомыслящих в СССР. Принятый Московской Хельсинкской группой документ по вопросу Олимпиады (Обращение к Международному Олимпийскому комитету и его председателю лорду Килланину) обращал внимание на нарушение прав человека в СССР, на усиление репрессий, но не ставил вопроса о бойкоте. Я присоединился к этому документу, считая этот подход правильным. К сожалению, это решение не было вполне единодушным и бесспорным для всех в самой Хельсинкской группе (Наум Натанович Мейман до сих пор сомневается в его правильности), и в еще меньшей степени оно встретило поддержку у наших зарубежных единомышленников. Некоторые из них, как я подозреваю, были просто слишком увлечены шумными бойкотными кампаниями. Этот разнобой был очень печален в 1978—1979 гг. Еще больше вреда он принес, когда обстоятельства изменились и вопрос о бойкоте встал всерьез, неотвратимо. Это было как в известной истории о мальчике-пастухе, который кричал в шутку: «Волк! Волк!». Когда же волк появился на самом деле, никто из деревни не пришел к нему на помощь.

В начале 1979 года ко мне пришел неизвестный мне ранее посетитель. Когда я впустил его в дом, он осведомился, Сахаров ли я, и сказал, что мой адрес ему дал X. и что он — Збигнев Ромашевский из Польши, из Комитета обороны рабочих, и хотел бы со мной поговорить. У меня было с ним две встречи, вторая — на другой день. Вторая беседа проходила в присутствии Тани Великановой — она пришла одновременно со Збигневом Ромашевским — частью в нашей с Люсей комнате (Люся была в это время, к сожалению, за рубежом), частью на кухне за чашкой чая.

Это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, в поевропейски хорошо сидящем костюме, с резко очерченными чертами энергичного лица. По-русски говорил он не очень быстро, но совершенно правильно, четко построенными ясными фразами. Ромашевский интересовался нашими диссидентскими делами, проявляя в них осведомленность, которой обычно так недостает иностранцам (да он и не был для меня иностранцем). Со своей стороны, он кратко, но содержательно рассказал о положении в Польше, о настроениях в стране и целях КОР. Он сказал, что рабочие в массе настроены очень решительно, часто приходится слышать фразы такого рода:

— Теперь, когда вы (т. е. интеллигенты) пришли к нам, мы вместе им (т. е. партийной верхушке) покажем! Добьемся правды (или порядка — не помню точно).

КОРовцам постоянно приходится удерживать рабочих от слишком поспешных действий, предупреждать возможные эксцессы.

Одним из направлений работы КОР является расследование событий 1970 года, действий органов власти, материальная и юридическая помощь рабочим — жертвам репрессий властей, — сказал Ромашевский.

Однако расследование часто встречается с большим сопротивлением. Он рассказал о случаях давления со стороны властей на жертвы произвола, запугивания и даже убийства свидетеля, который присутствовал при избиении рабочего, приведшем к его смерти. Ромашевский сказал, что рабочие Польши с большим уважением относятся к интеллигенции и гордятся ею. Он также сказал, что понимает, что в СССР в силу ряда причин положение сильно отличается от положения в Польше и, соответственно, — цели и возможности движения в защиту прав человека другие. Но в основе все же лежит, по его мнению, нечто общее (а может, это

я сказал, а он согласился). Ромашевский предложил мне написать статью для журнала «Культура», обещая, что она обязательно будет напечатана. Я ответил, что подумаю, но, к сожалению, в 1979 году не осуществил этого. Я вообще с трудом пишу, и мне было неясно, что я могу написать, не пережевывая давно известного моим читателям. А потом обстоятельства изменились, и мне тем более было трудно...

1979 год ознаменовался новой волной арестов в Москве, на Украине, в Прибалтике. Эта волна имела свое продолжение и в последующие годы.

Мальва Ланда составила список, согласно которому в январе — октябре 1979 г. было арестовано и осуждено 100 человек. В ноябре—декабре последовали новые аресты, затронувшие нас уже совсем непосредственно. 1 ноября в Москве были арестованы член Комитета защиты прав верующих священник Глеб Якунин и Татьяна Великанова. Через месяц (7 декабря) — Виктор Некипелов.

Имя Тани Великановой много раз встречалось в этой книге. Я знаю Великанову с 1970 года, глубоко ее уважаю и люблю. Мы впервые встретились с ней на квартире Валерия Чалидзе в связи с подписанием письма о Ж. Медведеве. Потом — на суде Пименова — Вайля. Т. Великанова — одна из тех людей, которые в моих глазах воплощают правозащитное движение в СССР, его моральный пафос, его чистоту и силу, его историческое значение. Татьяна Михайловна по профессии математик. Она работала всегда много и успешно, у нее не было профессиональных трудностей и никогда не было ни профессиональной, ни какой-либо иной ущемленности. Она — сильный, волевой и трезвый по складу ума человек. Участие Т. Великановой в правозащитном движении отражает ее глубокую внутреннюю убежденность в нравственной, жизненной необходимости этого. Начало ее активного участия в защите прав человека относится к 1968 году, а быть может, и раньше, т. е. длилось — до ареста в 1979 году — более 10 лет. Мало кто — и мужчины, и женщины — сумел выстоять в этом потоке так долго. Таня Великанова все эти годы, решающие для правозащитного движения, находилась в его эпицентре. В 1969 году она была одним из организаторов и участников Инициативной группы защиты прав человека. В 1974 году Великанова вместе с Ковалевым и Ходорович принимает на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». В том же году она — одна из организаторов Дня политзаключенного. Арест и последующий суд Тани Великановой вызвал очень большое возмущение всех, кто ее знал; всех, кому дороги права человека, законность, гласность. Это новый беззаконный шаг властей на пути подавления инакомыслящих, на пути насильственной борьбы с теми, кто отвергает насилие, считая своим единственным оружием в борьбе за права человека правдивое и точное слово.

Не менее жестокая беда — арест и осуждение Виктора Некипелова. Виктор Некипелов — прекрасный поэт, член Московской Хельсинкской группы, ранее судимый за стихи (2 года заключения), добивавшийся разрешения на эмиграцию и получивший отказ. Для него готовили другую, более печальную участь! По профессии медик-фармацевт, он был арестован прямо в аптеке. Виктор — семейный человек. Эти сухие данные не вмещают того, что мне страстно хочется передать: трагичность судьбы честного, талантливого и внутренне крайне ранимого и одновременно мужественного и отзывчивого человека. Среди его гражданских дел последних лет — защита и просто человеческая помощь, переписка и передачи репрессированным рабочим Михаилу Кукобаке и Евгению Бузинникову (без него мы могли бы почти ничего не знать об этих замечательных людях); сотрудничество с Комитетом защиты прав инвалидов, подвергающихся жесточайшим преследованиям; блестящие публицистические статьи: «Институт дураков» (о печально знаменитом Институте психиатрических экспертиз имени Сербского), «Сталин на ветровом стекле» (о сложной психологической и социальной проблеме отношения к Сталину и его наследию).

Виктор Некипелов из семьи возвращенцев-«харбинцев». В годы гражданской войны сотни тысяч людей оказались за рубежом. Судьба большинства из них, особенно тех, кто, как родители Виктора, вернулся в Россию, — была трагична. Трагичность эта продолжилась и в следующем поколении. Биография Виктора — один из примеров тому.

Так кончался 1979 год для нас. Последние его недели ознаменовались очень важными событиями в мире. О них я пишу в следующих главах.

Письма и посетители

Я получал много писем: с выражением поддержки (я думаю, что большинство таких писем осело в КГБ и до меня дошла лишь очень малая доля), с осуждениями, с угрозами (письма последних двух категорий приходили очень странно — то их не было вообще, то, обычно после какого-либо моего выступления, они приходили целыми пачками; я думаю, что письма с угрозами, в основном, исходят непосредственно от КГБ, а письма с осуждением моего вмешательства в то или иное дело — скажем, Зосимова или Затикяна, или моего письма Пагуошской конференции и т. п. — частично исходят от КГБ, а в большинстве — от реально негодующих граждан и просто выборочно отобраны КГБ из большого числа писем другого содержания.)

Но не обо всех этих, важных самих по себе, категориях будет далее речь в этой главе. Она посвящена письмам и посетителям с просьбой о помощи. Письма с просьбой о помощи стали приходить сразу после объявления о создании Комитета прав человека в ноябре 1970 года. Тогда же появились первые посетители — сначала нв Щукинском, потом на улице Чкалова. За 9 с лишним лет — до моей депортации в Горький — многие сотни писем, сотни посетителей! И в каждом письме, у каждого посетителя реальная, большая беда, сложная проблема, которую не решили советские учреждения. В отчаянии, потеряв почти всякую надежду, люди обращались ко мне. Но и я почти никогда, почти никому не мог помочь. Я это знал с самого начала, но люди-то надеялись на меня. Трудно передать, как все это подавляло, мучило. К сожалению, я в этом трудном положении слишком часто (по незнанию, что отвечать, по неорганизованности, по заваленности другими срочными делами) выбирал самый простой и самый неправильный путь: откладывал со дня на день, с недели на неделю ответ на письмо; потом или отвечать уже было бесполезно по давности, или оно терялось, но при этом не переставало мучить меня. Таких оставшихся без ответа писем было бы еще гораздо больше, если бы не бесценная помощь, оказанная мне Софьей Васильевной Калистратовой. Ранее мне предложил свою помощь один из советских журналистов, но я не сумел вовремя воспользоваться ею. (Я не хочу называть фамилии, но тот, о ком я пишу, поймет, что речь идет о нем, если эти воспоминания когда-либо попадут в его руки. Я пользуюсь случаем выразить ему свою признательность.)

Прежде чем переходить к отдельным делам, я должен сказать несколько слов о самой Софье Васильевне.

Это — удивительный человек, сделавший людям очень много добра. Простой, справедливый, умный и добрый. Редко когда все эти качества соединяются, но тут это так. По профессии Софья Васильевна юрист, адвокат. Более 20 лет она вела защиту обвиняемых по уголовным делам, вкладывая в это дело всю свою душу, жажду справедливости и добра, желание помочь — и по существу, и морально — доверившимся ей людям. Нельзя было без волнения слушать ее рассказы. Для нее всегда всего важней была судьба живого конкретного человека, стоящего перед ней. Однажды, как она рассказывала, она защищала молодого солдата М., обвиненного в соучастии в изнасиловании. Улики явно были недостаточны и, по убеждению Софьи Васильевны, он был невиновен, но был приговорен к смерти. Она посетила какого-то большого начальника, и тот, несколько неосторожно, не понимая, с кем имеет дело, стал ей рассказывать, что сейчас расшаталась дисциплина в армии, очень много случаев воинских преступлений, и что с целью поднятия дисциплины суровый

приговор М. очень полезен, отменять его ни в коем случае не следует. Реакция Софьи Васильевны была неожиданной для него, огненной. Она начала кричать на начальника:

— Вы что, на смерти, на крови этого мальчика хотите укреплять дисциплину, учить своих подчиненных?!

...И дальше все, что тут следовало сказать. Кричала она так громко и решительно, что начальник явно испугался. В конце концов ей удалось добиться пересмотра приговора. В другом деле ей удалось добиться того, что пятнадцатилетний приговор двум обвиняемым, которых она считала невиновными, был заменен 10 годами заключения. Когда она, уже после оглашения приговора, собирала свои бумаги, собираясь уходить, очень расстроенная, к ней подошли члены кассационного суда и спросили:

— Ну что, товарищ адвокат, вы довольны результатом?

— Как же я могу быть довольна, ведь нет никаких доказательств вины обвиняемых, а они приговорены к заключению!..

Несколько удивленный такой логикой, один из судей сказал:

— Если бы были доказательства, разве мы изменили бы приговор?..

Одним из выводов, которые Софья Васильевна вынесла из своего адвокатского опыта, является неприятие смертной казни как нечеловеческого, чудовищного и социально вредного института.

Всю свою жажду справедливости, осуществлению которой она пыталась способствовать на протяжении многих лет адвокатской работы, она перенесла на защиту обвиняемых за убеждения, узников совести. Эта единственно возможная для нее позиция изменила всю ее жизнь, само место ее в мире. Эта же линия в конце концов привела ее к участию в открытых общественных выступлениях, в Хельсинкскую группу, а потом — к преследованиям, допросам, обыскам.

Софья Васильевна защищала в числе других Петра Григоренко, Наталью Горбаневскую. Читая материалы этих давних судов, видишь, как умно и смело она вела защиту. Но не менее важна для обвиняемых была ее теплота при встрече с ними, та связь с внешним миром, которая при этом восстанавливалась.

Когда Софья Васильевна согласилась помогать мне в переписке, я стал приносить к ней получаемые мною письма целыми сумками. Она отвечала на них, давала юридические и просто житейские советы, основанные на ее богатом жизненном опыте. Потом я подписывал эти письма (после обсуждения с нею), она их отсылала. Конечно, и она не была способна сделать чудо. Но все же письма не оставались без ответа. Это уже было кое-что, хотя бы в моральном смысле. Софья Васильевна оставляла у себя письма и копии ответов. Но весь этот архив через несколько лет попал в КГБ — он был конфискован при одном из обысков у Софьи Васильевны. Поэтому я сейчас, в своих воспоминаниях, очень мало что могу рассказать конкретно. Расскажу, что сохранила память (дела, о которых речь ниже, как раз все шли помимо Софьи Васильевны, но и по ним у меня сейчас нет материалов; все рассказываю по памяти, так что возможны неточности и многое опущено).

Больше половины посетителей составляли люди, желающие уехать из страны. Основываясь на опыте, извлеченном из этих дел, я уже не раз писал о тех многообразных причинах, которые толкают людей на эмиграцию, и о почти непреодолимых препятствиях, с которыми многие из них сталкиваются.

В дополнение к описанным ранее расскажу еще о двух, тоже в каком-то смысле типичных делах.

Однажды к нам пришли молодые женщины-румынки. Они были одеты не по сезону легко и явно растеряны. История их была такова. Они жили в Молдавии. Во время войны еще совсем маленькими девочками они попали в Румынию, там выросли, стали работать белошвейками. Около двух лет назад они по вызову родственников из Молдавии приехали к ним, привезли с собой несколько чемоданов всякого добра, нажитого ими за время работы в Румынии. Некоторое время все было хорошо. Но постепенно отношения с родственниками стали портиться, условия работы и заработки были не такими, на которые они рассчитывали. Они решили вернуться в Румынию. Получили отказ. Тут начались настоящие несчастья, с которыми они приехали к нам. Работы у них не было. Родственники их попросту выставили, не отдав им, однако, почти ничего из вещей, в том числе теплых. Этим объясняется их «летний» вид.

В этом деле отразилась ситуация с выездом в социалистические страны, еще более трудная и часто более безнадежная, чем с выездом в капиталистические страны или Израиль — заступиться совсем некому! В деле двух румынок Люсе удалось помочь, выхлопотав израильский вызов; через полгода они уехали, счастливые и благодарные.

Гораздо трудней сложились дела у семьи штурмана гражданской авиации Евсюкова, решившей эмигрировать. Эти люди, по моему впечатлению, честные, умные и мужественные, принявшие свое решение сознательно, с полным пониманием тех трудностей, которые могли последовать, и последовали. Евсюков получал отказ за отказом. Подошел срок призыва в армию его сыну. Сын отказался, так как служба в армии обычно означает секретность, и был осужден к 2,5 годам заключения.

Добавление 1987 г. Весной 1986 года с Евсюковым-старшим беседовал представитель КГБ. Он сказал — откажитесь от эмиграции, и все ваши беды кончатся. Если будете продолжать свои попытки — пеняйте на себя (раньше такая беседа была с его женой). Евсюков отказался последовать «совету». Через месяц освободившийся по отбытию срока Евсюков-младший был вызван на призывной пункт и после повторного отказа от службы в армии арестован вторично. При аресте он был избит и затем увезен в тюрьму в наручниках. Суд приговорил его еще к трем годам заключения, которые ему пришлось отбывать в одном из худших уголовных лагерей (стены в ШИЗО, по его рассказу, были всегда мокрые, якобы потому, что в раствор была специально добавлена соль; одетые в тулупы садисты-охранники «вымораживали» помещение, а полуголые заключенные дрожали от холода, некоторые погибали). Евсюков-старший осенью 1986 года был помещен в психиатрическую больницу. Лишь в 1987 году в положении этой семьи произошло улучшение. Евсюков-старший был освобожден из психбольницы, а затем — в июле — и младший вышел на свободу. В судьбе Евсюковых, в привлечении к ним внимания — что, вероятно, было решающим — огромную роль сыграла Люся. Многие годы она использовала каждую возможность, каждый контакт для того, чтобы напоминать о них — и в СССР иностранным корреспондентам, и — в 1986 году во время зарубежной поездки — политическим деятелям, включая самых высших, представителям масс-медиа. В 1987 году в эти усилия включился и я. В августе 1987 года Евсюковы выехали за рубеж.

Вторая по численности группа посетителей — люди, пострадавшие из-за каких-то конфликтов с начальством на работе, незаконно уволенные и т. п. Те, кто приходил ко мне, часто по многу лет безуспешно добивались справедливости в различных центральных учреждениях. В некоторых из этих центральных учреждений, например в приемных Прокуратуры СССР и Верховного Совета, существует система направлять особо настойчивых посетителей в специальную комнату, где они попадают прямо в руки санитаров психиатрической больницы. Следует, правда, сказать, что среди моих посетителей этой категории некоторые, несомненно, были психически больными людьми.

Третья группа — пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. Из их рассказов передо мной раскрывались трудные условия жизни, часто подлинная нищета тех, кто зависит от системы социального обеспечения. Пенсии в СССР крайне низки, за исключением военных и тех, кто имел высокие заработки. В особенности трудны проблемы жилья, ремонта и т. п. Помочь я, конечно, ни в чем никому не мог.

И наконец, очень много посетителей — родственники осужденных и находящихся под следствием. Все те же категории представлены в письмах, только наоборот — на первое, подавляющее большинством место выходят письма от родственников заключенных и от них самих. Это страшное, удручающее чтение о судебных ошибках, вызванных низким юридическим и нравственным уровнем работы судебных учреждений, предвзятостью суда и следствия, в особенности по отношению к повторно судимым, о произволе в местах заключения, об избиениях и пытках при следствии, о зависимости судебных органов от местных партийных и административных органов, о полной безнадежности добиться пересмотра

приговора, о бесполезности обращений в прокуратуру и кассационные инстанции, отделывающиеся бесконечными формальными отписками. Можно допустить, что часть писем написана людьми, реально виновными и пытающимися «сыграть на жалости», обмануть. Но, несомненно, такой может быть лишь малая часть писем. В большинстве случаев возникало ощущение полной достоверности сообщаемого — слишком страшного, чтобы быть выдумкой. Стиль писем был такой простой, даже наивный, что подделка мне казалась полностью исключенной. Ошибиться я или мы с Софьей Васильевной, конечно, могли, но лишь в отдельных случаях.

Расскажу по памяти несколько дел, не обязательно самых типичных, но тех, которые запомнились.

Два или три письма я получил от заключенного в одном из лагерей Коми АССР (это район с весьма тяжелым климатом; там сосредоточено много лагерей, пользующихся среди заключенных дурной славой). Письма я получал в этом, как и в некоторых других случаях, каким-то «левым» способом. Заключенный (фамилию не помню) писал, что он был осужден на несколько лет за хозяйственное преступление. Ему предложили стать лагерным осведомителем, он отказался. Его привели на вахту, надели наручники и жестоко избили. При этом против него было сфабриковано лагерное дело о попытке нападения на надзирателей. Он осужден на новый 9-летний срок, подвергается преследованиям и не надеется выйти живым на волю.

Другой заключенный, тоже из Коми АССР, рассказывал, что он находился под следствием в городе Очамчири (недалеко от Сухуми). Он оговорил себя, так как боялся пыток, которым подвергали следователи других заключенных в той же следственной тюрьме. Я не могу сомневаться в правдивости этого рассказа. Я имею независимую информацию (переданную Гамсахурдиа еще до того, как он был арестован и осудил свою деятельность) о многих случаях пыток в следственной тюрьме Очамчири.

Однажды я открыл дверь на звонок. Какая-то женщина спускалась по лестнице, в ящике лежало большое, толстое письмо. В нем были рассказ и документы по делу Рафката Шаймухамедова. За два года до получения мною письма молодой рабочий Шаймухамедов был арестован вместе с двумя другими молодыми людьми по обвинению в убийстве с целью ограбления продавщицы продуктового магазина. Шаймухамедов был приговорен к расстрелу, двое остальных — к небольшим срокам заключения. В кассационных жалобах адвокатов из Фрунзе и из Москвы приводились веские аргументы в пользу невиновности Шаймухамедова — свидетельские показания об его отсутствии на месте преступления, данные экспертизы о несовпадении группы крови убитой и на его куртке. В письме матери сообщалось, что прокурор Бекбоев требовал от матери Шаймухамедова сразу после его ареста крупную взятку; мать отказалась ее дать. Она с мужем поехала с жалобой в Москву. Прокурор Прокуратуры СССР отказался принять у нее жалобу и угрожал обоих отправить в психиатрическую больницу. Шаймухамедов пробыл в камере смертников около года (или более). Он объявил голодовку, требуя пересмотра дела. Прокурор обещал ему смягчение приговора, если он прекратит голодовку, но он отказался. На письме матери была приписка, в которой сообщалось, что заместитель Генерального прокурора СССР Маляров (тот самый, который «беседовал» со мной в 1973 году и которому в 1967 году я звонил по делу Даниэля) утвердил смертный приговор, Рафкат Шаймухамедов расстрелян. Одновременно был по ложному обвинению в наезде на человека арестован брат Рафката. Прокурор Бекбоев вызвал мать Рафката, сообщил ей о расстреле сына и добавил:

— Нужен дом твоего сына. Продай его (подразумевалось — по очень малой цене). Я расстрелял одного твоего сына, могу расстрелять и второго.

Письмо из Якутии. Заключенный сообщал, что он отбывает заключение по повторному обвинению. Он не был виновен, но судьи предвзято отнеслись к нему, как ранее судимому (этот мотив встречается во множестве писем; действительно, это один из самых больных вопросов нашей юридической системы. Я уже об этом писал. Но самый больной вопрос — низкий образовательный и нравственный уровень судей, что отражает общее положение в стране).

Мой корреспондент далее писал, что ему «шьют» новое лагерное дело с большим сроком.

Письмо женщины-бухгалтера, осужденной на 11 лет заключения, по ее словам, за преступление, совершенное ее начальником.

Письмо из Казахстана от матери мальчика, погибшего от избиений во время следствия. В их городке традиционно при проводах призванных в армию происходят жестокие драки между русскими и казахами, по ее словам, ненавидящими русских. Это одно из проявлений истинного состояния национальных проблем в СССР. После драки были арестованы подростки, русские и казахи. Погибший мальчик — русский. Следователи-казахи избивали его, пытаясь получить у него необходимые им признания.

Письмо жены молодого парня, осужденного за пьяную драку. Он и она воспитанники детского дома, у них была очень трудная жизнь. Письмо трогательно наивное, искреннее, проникнутое любовью. Им только что улыбнулось счастье, они любят друг друга. Выпивка была случайной, Коля — ее муж — отказывался, его уговорили. В драке он был виноват, но меньше других, а наказан много больше других.

Кроме того, еще несколько писем от бывших воспитанников детских домов, непропорционально много. Это указывает на серьезную социальную проблему и на непонимание судами необходимости большей чуткости и терпимости в этих случаях.

Темы выпивки, водки — во множестве писем. Пьянство — великая национальная трагедия, превращающая в ад семейную жизнь, умелых работников — в бездельников, причина множества преступлений и связанных с ними трагедий.

Трагедия Коли — одна из них. Рост пьянства в стране отражает глубокий внутренний кризис общества и вину государства, не желающего и не умеющего эффективно бороться с алкоголизмом (написано в 1983 году; сейчас появилась надежда, что что-то изменится). Народный едучий юмор нашел броские названия для крепленых дешевых вин, которые стали главным орудием спаивания и выкачивания денег: «бормотуха», «пло-дово-выгодное» (для кого выгодное?..).

Таковы те невеселые мысли, которые приходят в голову при чтении полученных мною писем (точней — воспоминании о них).

Афганистан, Горький

В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. Специальный отряд КГБ расстрелял главу государства Х. Амина и свидетелей этой акции. Бабрак Кармаль объявил (по радио Ташкента) о создании нового правительства. Советские войска вступили в бой с партизанами; началась антипартизанская война, фактически — война против афганского народа. В чем была цель вторжения и каковы его последствия? В многочисленных советских заявлениях говорится, что советские войска вступили в Афганистан по просьбе его законного правительства, чтобы помочь защитить завоевания апрельской революции от действий засылаемых из Пакистана бандитов. Это объяснение несостоятельно.

Глава государства Амин не мог требовать введения советских войск, которые его же и убили. Фактически Амин стремился к национальной независимости Афганистана и именно поэтому был неугоден советским руководителям. В проводимой им внутренней политике он действительно сталкивался с большим сопротивлением, но, по-видимому, рассчитывал справиться с ним национальными силами. Вооруженное сопротивление политике Тараки (убитого Амином предшественника) и самого Амина до декабря 1979 года было почти исключительно внутренним, часто почти племенным; общенациональным оно стало лишь после советской интервенции, и тогда же оно стало получать некоторую поддержку извне, первоначально (да и сейчас) очень незначительную. Для основной массы населения Афганистана советское вторжение обернулось трагедией войны, огромными бедствиями.

Истинная причина советского вторжения в том, что оно — часть советской экспансии. По-видимому, советские руководители были в какой-то мере озабочены тем, что после осуществленного при участии КГБ кровавого свержения Дауда Афганистан стал не более, а менее управляемым; вместе с тем, как я думаю, положение в Афганистане было, главным образом, не причиной, а поводом для вторжения, преследующего далеко идущие геополитические и стратегические цели. Афганистан, по-видимому, мыслился как стратегический плацдарм для установления советского господства в обширном примыкающем регионе. Менее чем за два месяца до вторжения так называемые революционные студенты ворвались в Тегеране в американское посольство и захватили заложников. Этот акт до крайности обострил американо-иранские отношения. Все это было чрезвычайно выгодно для планов «мирного» или военного проникновения СССР в Иран, настолько выгодно, что заставляет предполагать участие советских агентов в захвате заложников: некоторые опубликованные в зарубежной печати данные вроде бы подтверждают такое предположение. Вероятно, введя войска, советские руководители рассчитывали на очень быструю победу. Но получилось совсем иначе. Афганистан, не поддавшийся в прошлом Англии и царской России, не поддался и на этот раз. Советские войска оказались перед лицом общенародного сопротивления. Армия режима Кармаля наполовину развалилась, в ней началось массовое дезертирство и переход на сторону партизан. Одновременно война стала принимать все более жестокий характер.

С ужасом и стыдом за свою страну мы узнаем из передач западных радиостанций об обстрелах с вертолетов и бомбардировках деревень, являющихся опорой партизан; о применении напалма, о массовом уничтожении посевов, обрекающем на голод и вымирание обширные контролируемые партизанами районы, о минировании с вертолетов горных дорог, о применении мин-ловушек и даже отравляющих веществ! Спасаясь от ужасов войны, более 4 миллионов афганцев бежали в Пакистан и Иран. Это четверть населения страны. Положение этих людей тоже крайне бедственное. Это самая большая масса беженцев в современном трагическом мире. Могут ли афганцы простить все эти причиняемые им страдания, гибель близких?..

В первые месяцы войны на улицах Кабула кагебисты (как передавало радио) расстреляли демонстрацию девочек-школьниц. Такие преступления производят глубокое впечатление на людей и никогда не забываются. Сообщалось о случаях, когда попавших в плен партизан, в том числе раненых, сжигали заживо; о расстрелах семей крестьян, помогавших партизанам. Конечно, и партизаны совершают много жестокостей. Как заявил один из их представителей, партизаны не имеют возможности охранять и кормить пленных и обычно их расстреливают. Было много сообщений об очень жестоких расправах с пленными и афганцами, сотрудничавшими с режимом Кармаля.

От обмена пленными советско-кармалевская сторона всегда отказывается. Известны случаи, когда советских солдат, попавших в окружение, расстреливали с воздуха советские же вертолеты, чтобы не дать им сдаться в плен.

Общее число убитых советских солдат и офицеров за три года войны превысило, по сообщению иностранного радио, 15 тысяч (сюда не входят потери ранеными и потери правительственных афганских войск).

Очень существенны международные последствия афганских событий. Вторжение в Афганистан нарушило его статус «неприсоединившейся» страны и тем нанесло удар по всей системе «неприсоединения». Оно вызвало серьезное недовольство всех мусульманских стран. Китай увидел в действиях СССР большую угрозу; они стали еще одним очень важным препятствием улучшению отношений между СССР и КНР. Далекие последствия изменений расстановки сил на мировой арене, которые произошли вследствие этого, могут оказаться катастрофическими для всего мира. Западные страны, в особенности США и Япония, увидели во вторжении опасное проявление советского экспансионизма.

Это вместе с другими одновременно происходившими событиями сильно подорвало доверие к международным обязательствам Советского Союза, к его политике, к громким словам о стремлении к миру и международной безопасности. Косвенным следствием психологических изменений явилось более тесное сближение Запада и КНР, пересмотр программ вооружения Запада и международной политики в целом, отказ Конгресса США ратифицировать договор ОСВ-2. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила вторжение как нарушение международного права (104 голоса!). Только «вето» в Совете Безопасности спасло СССР от санкций. Я убежден, что вторжение советских войск в Афганистан явилось одной из крупнейших ошибок советского руководства. При этом мы даже не знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто персонально несет за него ответственность.

Здесь проявилась опасность для всего мира, которую несет в себе закрытое тоталитарное общество. Ранее те же особенности нашего общества сделали возможным вторжение в Венгрию и Чехословакию; я уж не говорю о трагических по своим последствиям советско-германском договоре 1939 года и последующем альянсе Сталина — Гитлера.

На Западе часто спрашивают и обсуждают, каково отношение советского народа к действиям своего правительства, в результате которых наши солдаты гибнут — физически и морально — в ненужной афганской войне. Ответить на этот вопрос не просто: у нас нет ни свободной прессы, ни опросов населения (в которых была бы гарантирована анонимность, чтобы люди не боялись); впрочем, вообще нет никаких широких опросов по острым проблемам — их результатов, даже закрытых, видимо, боятся стоящие у власти. Если говорить о том, что на поверхности, то поражает пассивность, равнодушие, отсутствие информированности и даже желания узнать, что же такое происходит на самом деле там, где наши сыновья оказались в роли карателей, убийц и насильников и одновременно — жертв страшной, жестокой и бесчеловечной войны...

Из живых недавних впечатлений. Мы с Люсей должны были получить какой-то документ в нотариальной конторе. Там одновременно с нами находилась женщина средних лет, которая пришла, чтобы заверить справку о том, что у нее есть сын, для получения прибавки к пенсии (на самом деле нотариальная контора была тут излишней, но наши начальнички зачастую гоняют людей за ненужными бумажками, как большие начальники гоняют их самих). Формальная трудность была в том, что сын у женщины находился в Афганистане. Нас поразило то безразличие, с которым женщина сообщала об этом. Но и тут никогда не узнаешь, что же у человека внутри...

Начинался 1980 год под знаком ведущейся войны, к которой непрерывно обращались мысли. Похоже, что в это примерно время КГБ получил какие-то более широкие полномочия — в связи ли с войной, или в связи с предстоящей Олимпиадой — не знаю. Наличие этих полномочий проявилось в серии новых арестов, в моей депортации. Я вижу большую потенциальную опасность в таком усилении роли репрессивных органов; ведь мы живем в стране, где был возможен 1937 год!..

Что касается событий, непосредственно относящихся к моей личной и семейной судьбе, то они развивались так.

3 января утром я должен был выходить из дома, мы с Люсей собирались в гости. Позвонила жена корреспондента немецкой газеты «Ди вельт» Дитриха Мумендейла, Зора. Она передала вопрос мужа: Что я думаю о бойкоте Московской Олимпиады в связи со вторжением советских войск в Афганистан? Я ответил:

— Согласно древнему Олимпийскому статусу, во время Олимпиад войны прекращаются. Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из Афганистана; это чрезвычайно важно для мира, для всего человечества. В противном случае Олимпийский комитет должен отказаться от проведения Олимпиады в стране, ведущей войну.

На другой день Зора зачитала мне по телефону текст статьи, написанной Дитрихом для его газеты. У меня были какие-то возражения по тексту (как я сейчас понимаю, малосущественные в масштабе происходящих событий). Я попросил задержать статью. Зора ответила, что это невозможно. 4 января (если мне не изменяет память) позвонил Тони Остин, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк таймс» (не менее влиятельной в США, чем «Ди вельт» в ФРГ). Он попросил разрешения приехать для интервью. Я согласился. Тони рассказал ряд последних со-

общений из Афганистана и задал мне вопросы о моей оценке создавшегося положения и путей его исправления. Через несколько часов он приехал вновь с готовым текстом статьи, и, пока Люся угощала его чаем, я просмотрел странички и откорректировал свои ответы и их интерпретацию интервьюером. Ввиду чрезвычайной важности предмета, это редактирование было очень существенно. Я крайне благодарен Остину, что он дал мне такую возможность; обычно же корреспонденты такого не делают, ссылаясь на журналистские темпы, а я потом рву на себе волосы. Я не знаю, были ли передачи зарубежного радио по статье в «Ди вельт», но статья Остина много раз передавалась американской радиостанцией «Голос Америки» и, по-видимому, произвела впечатление.

7 января Руфь Григорьевна получила разрешение на поездку к внукам и правнукам в США. Возможно, это не совсем случайно произошло именно тогда; она, быть может, мешала каким-то планам КГБ.

8 января был принят Указ о лишении меня правительственных наград. Мы узнали об этом 22 января, а дату принятия Указа — еще позднее.

14 января ко мне обратился корреспондент американской телевизионной компании Эй-би-си Ч. (Чарльз?) Е. Бирбауэр с просьбой о телеинтервью и передал вопросы. 17 января состоялось телеинтервью. Как всегда в таких случаях, приехало несколько операторов телевизионной компании с переносным, но все же достаточно тяжелым оборудованием, протянули провода и направили на меня свои яркие лампы. Заснятую пленку и магнитозаписи, включая, кажется, видео, они должны были немедленно везти на аэродром. Опасаясь неприятностей для них со стороны КГБ, я накинул пальто и пошел проводить их до машины, стоявшей на площадке напротив нашего дома. Меня поразило огромное количество гебистов в подъезде и на площадке и какая-то чувствующаяся в воздухе особенная атмосфера — то ли враждебности, то ли злорадства. Две машины с гебистами стояли вплотную к машине телевизионщиков. Я сказал:

— Ну, это наши.

— Да, это наши, — громко подтвердил один из гебистов с каким-то подчеркнутым вызовом. (Вероятно, они уже знали о принятом решении о моей депортации.) Никаких инцидентов, однако, не было; американцы беспрепятственно уехали.

21 января вечером к нам пришел Георгий Николаевич Владимов с женой Наташей для обсуждения вопросов, связанных с заявлением хельсинкской группы по Афганистану; к этому документу он присоединился так же, как я и Бахмин. Владимов рассказывал разные слухи об афганских событиях, ходящие по Москве; в частности, об обстоятельствах убийства Амина и самоубийства одного из высших офицеров МВД. Часов в 10—11 вечера Владимов с женой уехали. А в час ночи раздался звонок. Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград. Когда Люся (она подходила к телефону) сообщила мне об этом, я заметил:

— Месяц назад я не отнесся бы к такому сообщению всерьез, но теперь, когда мы в Афганистане, все возможно.

Больше мы с Люсей в этот день и в первую половину следующего не возвращались к этому и, по-моему, не вспоминали о сообщении Владимова. Потом Георгий Николаевич как-то сказал Люсе, что надо было мне в этот злосчастный день 22 января утром уехать куда-нибудь подальше, может быть, и обошлось бы. Я так не думаю. Да и он на самом деле, наверное, тоже.

22 января 1980 года был вторник, день общемосковского семинара в теоротделе ФИАНа. Я, как всегда, вызвал машину из гаража Академии и в 1.30 вышел из дома. До семинара я еще собирался заехать в стол заказов Академии, получить продукты (в том числе сметану, у меня была с собой для этого банка). Но мы доехали лишь до Краснохолмского моста. Неожиданно на мосту нас обогнала машина ГАИ. Инспектор дал сигнал остановиться, и сам остановился перед нами. Водитель удивленно пробормотал, что вроде ничего не нарушил, и вышел навстречу инспектору. Тот откозырял и стал просматривать путевые документы. Я сидел на переднем сиденье (рядом с водительским местом), наблюдал происходящее. Вдруг я услышал звук открываемых дверей, обернулся. В машину с двух сторон влезали двое; показывая со словами «МВД» красные книжечки (это, конечно, были гебисты), приказали:

— Следуйте за машиной ГАИ в Прокуратуру СССР, Пушкинская, 15.

Водитель молча повиновался. Мы медленно поехали. Я успел заметить, что на мосту, кроме нас, не было ни одной машины; очевидно, движение перекрыли с обеих сторон. Мы свернули в переулочек. Когда мы проезжали мимо будок телефона-автомата, я попросил водителя на минуту остановиться, чтобы позвонить Люсе. Реакция гебистов была мгновенной: один быстрым движением накрыл рукой кнопку двери, другой приказал водителю:

— Не останавливаться, продолжать движение, — и, обращаясь ко мне. — Позвоните из Прокуратуры.

Машина въехала во двор Прокуратуры. Я попросил водителя заехать ко мне домой и передать сумку, добавив, что в стол заказов мы, во всяком случае, опоздали (гебисты молчали). Я вышел из машины. Тут же плотным кольцом меня окружили гебисты и повели в здание и потом на лифте наверх, на тот же четвертый этаж, где я «беседовал» с Маляровым в 1973 году и с Гусевым в 1977-м. На этот раз меня подвели к двери, на которой была табличка «Заместитель Генерального Прокурора СССР А. М. Рекунков»:

— Пройдите, вам сюда.

Через двойную дверь я вошел в большую комнату. За столом напротив двери сидел человек, предложивший мне сесть. Это и был Рекунков. Лица его я не запомнил. Слева от меня за другим столом сидело еще несколько человек; на протяжении всей беседы они молчали. Я спросил:

— Почему вы не вызвали меня повесткой, а применили столь необычный способ? Я всегда являлся на вызовы в Прокуратуру.

Рекунков:

— Я отдал указание о приводе ввиду чрезвычайных обстоятельств и ввиду большой срочности. Мне поручено объявить вам Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Зачитывает текст Указа о лишении меня правительственных наград — насколько помню, в точности тот же текст, что и опубликованный впоследствии в Ведомостях Верховного Совета СССР.

Вот этот текст:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР № 100

О лишении Сахарова А. Д. государственных наград СССР

В связи с систематическим совершением Сахаровым А. Д. действий, порочащих его как награжденного, и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности, Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 40 «Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР» постановляет:

Лишить Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя Социалистического Труда и всех имеющихся у него государственных наград СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. Брежнев.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.

Москва, Кремль, 8 января 1980 г.

Не делая паузы, Рекунков продолжает: «Принято решение о высылке А. Д. Сахарова из Москвы в место, исключающее его контакты с иностранными гражданами».

Тут он поднял голову и сказал:

— Таким местом выбран город Горький, закрытый для посещения иностранцев. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с Указом.

Он дает мне напечатанный на машинке лист, на котором я вижу последние слова Указа (опубликованный в Ведомостях текст, т. е. без слов

о высылке) и напечатанные на машинке же подписи Брежнева и Георгадзе и никакой даты. Одновременно он говорит:

— Согласно Положению об орденах и медалях, лица, лишенные правительственных наград, обязаны возвратить их в Президиум Верховного Совета СССР.

То же самое написано в лежащем передо мной листке. Это отвлекает меня от многих других вопросов, я пишу: «Я отказываюсь возвратить присужденные мне ордена и медали, считая, что они присуждены мне в соответствии с заслугами» (не помню точно своей формулировки).

Я спрашиваю, почему под Указом нет даты и собственноручных подписей Брежнева и Георгадзе. Рекунков говорит что-то о технических причинах и добавляет:

— Здесь присутствует представитель Президиума Верховного Совета СССР (не уточняя, кто именно и в какой должности), он может подтвердить, что все правильно.

Один из сидящих за столом слева молча приподнимается со своего стула, делает что-то вроде полупоклона в мою сторону. Еще раньше, когда Рекунков назвал город Горький, я переспросил:

— Это точно, что Горький закрыт для иностранцев? Это важно.

— Да, конечно.

На самом деле это была совсем не моя забота, и спрашивать мне это было не обязательно. Многие же весьма важные вещи я не спросил. Я не спросил, какая инстанция, кто персонально и на каком формальном основании принял решение о моей высылке. Я не задал этого вопроса, так как считал, что вообще все происходящее — полное беззаконие, и бессмысленно входить в юридические споры с нарушителями закона. И мне было все равно, кто формально принял решение — Президиум Верховного Совета по подсказке КГБ или КГБ при попустительстве Президиума. Но в результате такой моей линии поведения, которую я продолжал и в Горьком в первые недели, получалось, что я как бы соглашаюсь с беззаконием. И даже хуже: при такой пассивной тактике легко без борьбы «отдать» больше, чем требуется ситуацией. Эта ошибочная установка еще принесла свои плоды. Рекунков, не возражая по поводу моей приписки об орденах, сказал:

— Теперь нам надо обсудить некоторые практические вопросы. Вы должны немедленно выехать в Горький. Ваша жена может вас сопровождать.

Я спросил:

— Я могу заехать домой?

— Нет, но вы сможете позвонить жене.

— Где мы можем встретиться?

— Этого я не могу вам сказать, но за ней заедут. Сколько времени ей потребуется на сборы?

— Не знаю, часа два.

— Хорошо, пусть будет два часа. Через два часа после того, как вы ей позвоните, за ней заедут.

На этой стадии беседы я тоже не задал ряда важных вопросов: о своем режиме в Горьком (было бы, вероятно, лучше, если бы мне сообщил его Рекунков), и не уточнил, распространяются ли какие-либо ограничения на Люсю. Я не стремился к уточнениям, думая, что постепенно установится какой-то статус-кво и не следует торопить события — можно накликать лишнее. Может, тут я был и прав.

Я вышел в приемную, где стояло много телефонов. У стен толпилось человек 10 гебистов. Секретарша указала мне городской телефон. Я набрал наш номер и услышал обычный голос Люси (конечно, водитель до нее не доехал).

— Я говорю из Прокуратуры (я не сказал, что СССР). Меня задержали на улице.

— Что-оооо?!..

— ГАИ остановила машину, вошли гебисты, приказали ехать в Прокуратуру. Тут заместитель Генерального Прокурора Рекунков объявил о лишении всех правительственных наград и о моей высылке в город Горький, закрытый для иностранцев.

— Ты заедешь домой?

— Нет, я должен ехать прямо отсюда. Я понял, что ты тоже можешь ехать со мной.

(Словами «ты можешь» я хотел подчеркнуть, что Люся имеет свободу выбора, ехать или не ехать; но она, видимо, не поняла или не до конца поняла и не сказала другим.)

— Где я могу тебя увидеть?

— За тобой заедут через два часа.

Я слышу, как Люся буквально повторяет все мои слова вслух Руфи Григорьевне и Лизе. Последние слова, что за ней заедут через два часа, звучат почти так, что ее арестуют через два часа. Я повесил трубку и пробормотал сам себе:

— Вот так-то...

Тут меня попросили опять зайти к Рекункову. Он спросил:

— Переговорили?

— Да.

— Вопросов ко мне больше нет?

— Нет.

(Мне, наверное, следовало задать свои «юридические» вопросы, но я этого не сделал.)

— До свидания.

— До свидания.

Я повернулся и вышел. Остановился около двери. Меня со всех сторон обступили гебисты; двое из них «символически» дотронулись до моих локтей и тут же отпустили. Мы пошли вниз к микроавтобусу. Один из гебистов нес мою сумку для продуктов. Очевидно, они отобрали ее у водителя, как только я вошел в здание. Мы разместились в микроавтобусе с занавешенными окнами. Я сел на заднее сиденье; рядом со мной справа и слева сели гебисты. Поехали. Впереди нас шла машина ГАИ с маяком и сиреной, сзади — какая-то легковая. Напротив меня расположился человек, заявивший, что он — врач и «так я на него и должен смотреть». Он то и дело спрашивал, не надо ли мне валерьянки (ее у него якобы целая бутыль) или валидола от головной боли и не холодно ли мне. Я на все отвечал отрицательно. Так с почетным эскортом, как будто кто-то мог меня отбивать, приехали в аэропорт Домодедово. Там меня отвели в какое-то служебное помещение, кажется, милиции. Через два — два с половиной часа ожидания один из гебистов сказал:

— Ваша жена подъезжает, сейчас поедем.

У Люси, по ее рассказу, происходило следующее. Как только я позвонил и повесил трубку, наш телефон отключили (и в этом состоянии он находится до сих пор). (Добавление 1987 г. Находился до января 1987 года.) Люся стала поспешно собираться и одновременно сразу послала Лизу позвонить из телефона-автомата друзьям и иностранным корреспондентам. Около дома ближайшие аппараты были отключены, но Лиза добежала до неотключенного и успела позвонить кому-то из инкоров и Насте Подъяпольской (дочери Гриши и Маши). Тут же отключился и этот телефон-автомат, а через несколько минут и телефон Подъяпольских, но Настя успела позвонить еще в одно место, Ире Каплун, которая смогла позвонить еще нескольким инкорам. (Я уже писал об Ире, об ее трудной судьбе. Странно сейчас писать об ее участии в событиях 22 января — через полгода она трагически погибла.)

Когда Лиза вернулась, дом был уже плотно оцеплен милицией и КГБ. У двери квартиры стояли два милиционера. Если бы Лиза замешкалась, возможно, ее уже бы и не выпустили. Вскоре стали подъезжать иностранные корреспонденты и наши друзья. Но уже никто из них не мог проникнуть внутрь кольца оцепления. Кто-то из милиции, вернее из КГБ, «подбросил» идею, что меня увезли в Шереметьево (международный аэродром). Отсюда возникла версия, что меня высылают, и вскоре появились сообщения, что меня ждут в Вене. Впрочем, эти сообщения шли как сугубо непроверенные. Основное, что передавалось в эти часы по всем телетайпам и радиостанциям, что попало в экстренные телевизионные передачи и экспресс-выпуски газет и буквально всколыхнуло весь мир — это переданное Лизой и Ирой сообщение о моем задержании, лишении наград и депортации в Горький, и передавалось также, что вместе со мной вывозят мою жену. Через два с половиной часа после моего звонка

в дверь позвонили. На площадке стояли несколько офицеров милиции. Они спросили:

— Вы готовы?

Люся ответила:

— Да, пройдите.

Они отказались.

— Могут меня сопровождать Руфь Григорьевна и Лиза?

— Да, конечно.

Люсю, Руфь Григорьевну и Лизу провели по черному ходу и посадили в стоявший во дворе микроавтобус с занавешенными окнами, такой же, вероятно, как и тот, в котором доставили меня (а может, вообще тот же самый). Был также такой же «эскорт». Люся настояла, что она будет сидеть с Руфью Григорьевной и Лизой и, приоткрыв занавеску, увидела, что их везут в Домодедово. В тот момент никто из них не думал (не до этого было), что в оставшейся пустой квартире неизбежно будет проведен негласный обыск и изъятие того, что они сочтут нужным (в числе прочего в тот день пропали рукописи моих отданных уже в печать научных статей на русском и английском языках; вероятно, многое другое; возможно, в этот же день был похищен мой нобелевский диплом).

Около шести часов вечера меня вывели из помещения милиции на поле аэродрома к микроавтобусу, в котором я увидел мою жену, Руфь Григорьевну и Лизу. Мы обнялись и поцеловались. Через пять минут офицер скомандовал:

— Пора, самолет готов к вылету.

Мы с Люсей попрощались с Руфью Григорьевной и Лизой и, держа в руках толково собранные за два часа Люсей сумки, пошли к трапу самолета. Он стоял наготове рядом. Через несколько минут самолет ТУ-154 взял курс на Горький, а Руфь Григорьевна и Лиза в том же микроавтобусе поехали домой, где их уже ждали друзья и иностранные корреспонденты, которые только от них получили, наконец, долгожданную информацию. Через час она была уже достоянием всего мира.

В самолете летели мы и человек десять гебистов (в том числе, как нам сказали, врач-мужчина и врач-женщина). Потом я слышал, что одновременно в Горький вылетел еще один самолет, на котором находился в числе других заместитель председателя КГБ Цвигун. Точность этого сообщения не гарантирую.

Мы испытывали такое облегчение, что наконец вместе (куда угодно — хоть на край света), что странным образом этот полет воспринимался как некий момент чего-то вроде счастья. Бортпроводница принесла обед. Обычно на таких коротких линиях пассажиров вообще не кормят, а тут нас угостили по высшему — интуристскому или, верней, начальственному — классу. Это было очень кстати, мы оба с утра не ели. При посадке произошла небольшая заминка — не выходило шасси, пилот сделал несколько кругов над Горьким (народная мудрость учит, что если в деле замешано слишком много начальства — всегда жди неполадок). Но пилот тряхнул, и шасси вышло. На аэродроме нас опять посадили в микроавтобус, полный каких-то людей, и повезли. Ехали долго. Люся спросила:

— Куда мы едем?

— Домой, — сказал, усмехнувшись, один из сопровождающих.

Наконец автобус свернул с проспекта Гагарина (как мы потом узнали) к 12-этажному дому-башне. Мы вошли в квартиру на первом этаже. Меня сразу пригласили в большую комнату, где за столом и рядом сидело несколько человек. Вероятно, я должен был настоять, чтобы для беседы пригласили также Люсю. Но я хотел поскорей разделаться с официальной частью, приняв ее на себя. Сидевший за столом человек отрекомендовался:

— Заместитель прокурора Горьковской области Перелыгин. Мне поручено ознакомить вас с условиями установленного для вас режима.

(Я не спросил — кем установленного, на каком основании, считая и так ясным, что — КГБ и без каких-либо оснований; повторяю, я сейчас считаю эту тактику не лучшей. Я не потребовал также каких-либо документов о режиме и не спросил, почему я получаю «сюрпризы» после того, как мне сегодня утром делал свое объявление Рекунков, но я все это считал пустой тратой слов.)

Перелыгин продолжал:

— Вам запрещено выходить и выезжать за пределы города Горького, где вы поселены под гласный надзор. Вам запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами. Периодически, по вызову МВД вы обязаны являться в Управление МВД для регистрации к товарищу Глоссену по адресу улица Горная, дом 3. В случае невыполнения этого предписания вы можете быть подвергнуты приводу. По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться к сотрудникам Комитета Государственной Безопасности майору Чупрову Юрию Петровичу и капитану Шувалову Николаю Николаевичу. Запишите их телефон.

Я никак не высказал своего отношения, согласия или несогласия, к сказанному Перелыгиным. Он и сопровождавшие его люди ушли. Люся в это время поговорила с женщиной, назвавшейся «хозяйкой» гостиничной квартиры, и осмотрела помещение. Это действительно была квартира гостиничного типа из четырех комнат с кухней и ванной (но одну из комнат занимала «хозяйка»; мы только через полгода узнали, в чем на самом деле заключалась ее роль). «Хозяйка» рассказала Люсе, что она вдова офицера КГБ, товарищи мужа устроили ее на эту работу. «Хозяйка» заперлась в своей комнате (в дальнейшем она на ночь и большую часть дня вообще уходила, а приходила лишь на два-три часа днем и сидела без видимого дела в своей комнате).

Мы остались вдвоем. Люся сразу отругала меня за мое поведение во время беседы и за то, что я согласился вести беседу без нее (она вошла в комнату, а ее попросили выйти). Люся захватила в свои двухчасовые сборы самую важную вещь — транзисторный приемник (подарок Алеши) Мы включили его. Сообщения о высылке Сахарова были главной темой — наравне с Афганистаном — в этот вечер и многие последующие. Две недели передавалась подборка из моих статей, дававшая довольно полное представление о моих взглядах и общественной деятельности. Передавались протесты общественных деятелей, писателей и особенно весомо — ученых, в их числе: Филиппа Хандлера, Джереми Стоуна, Сиднея Дрелла и многих других. Хандлер выступил в мою защиту от имени Академии и американских ученых еще в 1973 году. Выступления сразу после моей высылки и многочисленные последующие имели широкий отклик, сыграли большую роль в формировании кампании «Сахаров дефенс», важной, я убежден, не только в моей личной судьбе. Я не исключаю, что выступления президента Национальной Академии США Хандлера и других видных ученых произвели впечатление на советские власти и удержали от новых шагов против меня.

К сожалению, мои коллеги в СССР опять так же, как и в деле Юрия Орлова и множестве других, никак себя не проявили (если не говорить о таких, как академик Федоров и академик Блохин, которые выступили с публичными нападками на меня, вероятно, прямо выполняя полученные ими инструкции). Между тем, я думаю, что открытое публичное выступление нескольких (пяти, даже трех) заслуженных, пользующихся уважением академиков имело бы очень большое значение, могло бы изменить не только мою судьбу, но и — что гораздо существеннее — положение в стране в целом. При этом (и это тоже важно) этим людям ничего бы не грозило: не только высылка или арест, но и потеря работы, изменение их положения в научной иерархии. Максимум (максимум!) — на какое-то время были бы ограничены их поездки за рубеж. И больше ничего! Совершенно несоизмеримые огромные возможные положительные последствия для всей страны, в том числе и для науки, ее авторитета; для личного престижа тех, кто на это решится, и — минимальный риск. Однако таких людей в научной верхушке СССР на сегодня не нашлось. Почему — не знаю, но это факт, и крайне постыдный и печальный. Неужели наша интеллигенция так измельчала со времен Короленко и Лебедева? Ведь П. Н. Лебедев не меньше нынешних любил науку, не меньше был связан с университетом, когда ушел после решения министра просвещения Кассо о допущении жандармов на территорию университета (сколько гебистов в МГУ сейчас, известно, наверное, только Андропову). Хочется все же думать, что люди

просто еще не понимают своих возможностей и ситуации в целом. В этом случае еще есть на что надеяться.

В феврале 1980 года Люся написала обращение к советским физикам. Она не согласовала его до публикации со мной, опасаясь, что это как-то свяжет и ее, и меня. В марте или апреле 1980 года Анатолий Марченко (об его судьбе я писал выше) написал открытое письмо академику П. Л. Капице. В обоих этих документах — с разных точек зрения, с разных сторон — проводится та же мысль об ответственности ученых сегодня.

В первые дни нашего пребывания в Горьком мы имели сильное переживание — мы услышали по радио голос Тани. Она читала обращение по поводу высылки. Голос был таким близким, звучал так тепло и взволнованно, что невольно глаза застилали слезы. Изменение моего положения очень сильно отразилось на детях в Бостоне. Я уже пытался описать ту сложную, трудно объяснимую ситуацию, в которой они оказались, приехав в США.

После моей высылки на них навалились новые заботы и новые неотложные дела. В результате необходимое утверждение их в зарубежной жизни осложнилось еще больше. Это одно из тех следствий моей высылки, которое волнует меня больше всего.

В советской прессе о моей высылке и лишении наград было сообщено 23 января.

В Ведомостях Верховного Совета СССР был опубликован уже приведенный Указ о лишении наград. Примечательна его дата — 8 января. Повидимому, этот Указ КГБ рассматривал как развязавший ему руки в отношении меня и разработал операцию высылки.

Как рассказывают, заседание, на котором был принят Указ, проходило в узком составе под председательством Тихонова (будущего председателя Совета Министров СССР); Брежнева не было. От КГБ докладывал Цвигун.

В первые недели после высылки в советской прессе вновь появились статьи с осуждением моей деятельности; по телевидению с комментариями выступил известный обозреватель Юрий Жуков. Типичной статьей этой кампании была «Цезарь не состоялся», напечатанная в «Комсомольской правде», перепечатанная в «Горьковском рабочем» и, вероятно, в других местных газетах.

25 января, через три дня после нашего прибытия в Горький, Люся собралась в Москву. Она поехала на вокзал, взяв с собой мое заявление с сообщением о моей депортации и установленном режиме, с подтверждением моей принципиальной позиции по основным общественным вопросам. Но через два-три часа вернулась назад. Оказывается, когда она уже села в поезд, к ней подошел офицер милиции и предложил выйти на перрон.

— Разве мне не разрешены поездки?

— Разрешены, но есть известия о вашей маме.

Взволнованная Люся вышла.

— Ваша мама с Наташей Гессе и Лизой едут на машине в Горький.

— Кто это придумал?

(Люсе, конечно, не надо было так спрашивать, но у нее вырвалось.)

— Наверное, Наташа, — сказал гебист не без яда.

На самом деле, Руфь Григорьевна, Наташа и Лиза, измученные отсутствием точных известий (наши телефонные звонки с почтамта прерывались, в телеграммах мы могли сообщить лишь адрес и очень мало сведений), решились на поездку (на машине нашего близкого знакомого Эмиля Шинберга, который и привез их в Горький к ночи после целого дня труднейшей зимней дороги). Это было, конечно, субъективно совершенно героическое действие, особенно со стороны Руфи Григорьевны, очень больного человека. В 1980 году ей исполнилось 80 лет, но у нее всегда находились силы в трудных ситуациях, когда она считала, что должна прийти на помощь близким. Мы с Люсей сначала, однако, встретили их упреками — зачем приехали: это, конечно, было с нашей стороны несправедливо и жестоко, но надо понять и нас, нашу досаду — ведь сорвались наши планы.

Руфь Григорьевна рассказала об обстановке в Москве. Вечером 22-го Руфь Григорьевна и Лиза дали импровизированную пресс-конференцию; о ней мы уже знали. Не только в этот день, но и все последующие квартира на Чкалова с раннего утра и до позднего вечера была полна людей — инкоров, жаждущих новой информации, которой не было; друзей, просто знакомых и совсем незнакомых — это был «сумасшедший дом», по выражению Наташи (сама она бросилась на поезд в Москву вечером 22 января, сразу, как только они в Ленинграде услышали по радио о происшедшем с нами; вероятно, первой услышала Регина, она всегда аккуратно слушала радио).

Накануне приезда к нам Руфь Григорьевна поехала к знакомым и позвонила академику П. Л. Капице (напомню, что наш телефон был отключен, так что из дома она позвонить не могла). Фактически это был призыв вмешаться. Но Капица уклонился от каких-либо действий, как и все другие «именитые». Дополнение 1988 г. В 1987—88 году мне стало известно, что Капица все же дважды предпринимал негласные действия в мою защиту. Несколько слов о позиции Академии в целом, ее Президиума. Бытует мнение, что Академия оказала противодействие нажиму властей, требовавших моего исключения из числа академиков. По дошедшим до меня рассказам это не так. Исключения требовали на заседании Президиума два или три особо «ретивых» академика. Фамилии я их забыл. Александров ответил, что вопрос об исключении не стоит. Из этого ответа кажется очевидным, что ни отдел науки ЦК, ни КГБ не ставили вопроса об исключении.

Люся с Лизой уехала в Москву в воскресенье и вернулась через неделю. Она опубликовала мое заявление на пресс-конференции, получившей очень широкий отклик. Она также дважды была в прокуратуре по вызову. Там она потребовала объяснений моей высылки и разрешения проблем Лизы, все еще не получившей возможности выехать к своему жениху — Алеше.

В первые дни моего пребывания в Горьком меня посетило несколько человек, живших в Горьком и узнавших так или иначе мой адрес (его передавало, в частности, зарубежное радио). Среди них был Феликс Красавин, которого Руфь Григорьевна и Люся, а затем и я, знали уже с давних времен. Остальных мы не знали совсем, за исключением горьковского еврея-отказника Марка Ковнера, которого я как-то раз мельком видел в Москве на еврейском семинаре (как он мне об этом напомнил). Пришел участник одного из горьковских политических процессов Пономарев, женщина-адвентистка с дочерью с известием о смерти Шелкова. Вместе с Ковнером пришли двое его знакомых, еще несколько человек, которых я не запомнил. При выходе же из квартиры всех приходивших задерживал милиционер и отводил в расположенный рядом «Опорный пункт по охране общественного порядка» (такая там висела вывеска, оставшаяся от прежнего времени, потом ее сняли). Там их держали несколько часов, проверяли документы, вели устрашающие беседы, и многие имели неприятности. Через несколько недель власти изменили тактику и перестали пускать ко мне кого-либо, кроме тех, кого подослал или пропустил КГБ для «воспитательной беседы». Еще через несколько месяцев прекратились и «воспитательные» беседы. Пономарев и некоторые другие спрашивали, в чем я нуждаюсь, и предлагали свою помощь; но, опасаясь больших неприятностей для них, я говорил, что ничего не нужно, а от меня безопасней держаться подальше, лучше вообще не приходить. Боюсь, не показались ли эти слова кому-то обидными. Я этого не хотел бы.

В понедельник Руфь Григорьевна уехала с Эмилем в Москву. Последующую неделю со мной была Наташа. К сожалению, за эту неделю я допустил ряд серьезных ошибок в своих отношениях с властями. Оглядываясь на этот период сейчас, спустя полтора года, я думаю, что у меня были тогда неправильные психологические установки, о которых я уже писал, когда описывал свою беседу с Рекунковым. На это наложилось, быть может, общее состояние некоторого шока, который у меня, возможно, был, хотя я внешне этого не показывал и не ощущал; и общие мои характерологические особенности — недостаточная боевитость, что ли, и медленная реакция в беседе. В этих отношениях, как и во многих других, Люся выгодно от меня отличается. В общем, вместе мы хорошо друг друга дополняем, но тут ее не было.

Утром в понедельник, через час после отъезда Руфи Григорьевны,

пришел офицер и предложил мне зайти в Управление МВД. Я не попросил у него для первого раза повестки и вскоре вместе с Наташей поехал на улицу Горную и прошел в указанную мне комнату. Там за столом сидели два человека в штатском, представившиеся:

— Майор Чупров.

— Капитан Шувалов.

Они начали разговор с претензии: зарубежное радио передает, со ссылкой на ваш телефонный звонок из Горького, что вы внесли добавления в так называемый документ Хельсинкской группы. Вы тем нарушили установленный вам режим.

Я говорю:

— Это недоразумение.

— Можете ли вы написать это?

— Конечно.

Я взял лист бумаги и написал: «Я не звонил в Москву; все мои попытки позвонить незаконно пресекаются. Я не вносил никаких поправок и дополнений в документ Хельсинкской группы, так как я не являюсь ее членом. Сообщения об этом основаны на недоразумении. Но я присоединился к документу».

Чупров продолжал:

— Режим нарушается и тем, что вы принимаете людей, общение с которыми запрещено вам: Красавин ранее отбывал заключение, Ковнер привлекался к ответственности за участие в незаконной демонстрации. Пономарев отбывал заключение.

Я сказал:

— Я вообще не понимаю, что значит «общение с преступными элементами». Я общаюсь с людьми, которые являются моими знакомыми. Феликс Красавин — наш давнишний знакомый, судимость с него давно снята, он работает в городе Горьком, и общение с ним было и, я думаю, будет чисто личным. Я понимаю, что вы можете устроить людям неприятности за общение со мной; я говорю об этом всем приходящим, говорил и Пономареву (это я очень зря добавил!). Но это совершенно беззаконно, ни на чем не основано и, по сути, не нужно и вам.

Вспоминая эту и предыдущую часть разговора, я очень недоволен пассивным, не наступательным характером моей линии, тем, что я не защищал активно право на общение со мной ни для кого, кроме Феликса, и не предъявлял претензий к гебистам. Я сказал:

— Теперь у меня будет ряд просьб к вам. Я понимаю, что все вопросы, относящиеся ко мне, решаются на высоком уровне. Я прошу записать мои вопросы и сообщить их вышестоящему руководству.

1. Чрезвычайно важным и срочным вопросом, решение которого способствовало бы смягчению ситуации в целом, является дело невесты сына Лизы Алексеевой. Она до сих пор не имеет разрешения на выезд к нему, ее задержание — незаконно.

2. Необходимо, чтобы ко мне приезжали в командировку молодые научные сотрудники из ФИАНа. Это необходимо для продолжения мною научной работы.

3. Я — диспансерный больной поликлиники АН СССР. Необходимо организовать возможность продолжать мне пользоваться услугами моих врачей.

4. Необходимо восстановить отключенный телефон у моей тещи в Москве. Она — тяжело больной человек, и отсутствие телефона создает опасность для нее.

5. Необходимо поставить телефон в той квартире, в которой я поселен. Я академик и имею право на личный телефон.

Чупров сказал, что доложит мои просьбы.

— Относительно телефона вы можете сами обратиться на телефонную станцию. По вопросу медицинской помощи вы можете обратиться в любую поликлинику.

Я сказал, что никто со мной на телефонной станции и разговаривать не будет, я не прописан в городе Горьком и официально — москвич.

— Вы можете прописаться.

— Я не буду этого делать ни в коем случае. Я считаю свой вывоз в Горький незаконным. Относительно медицинской помощи — я не собираюсь менять своих врачей, это мое право.

Я стал уходить. Чупров попросил меня задержаться на минуту, расписаться в посещении. Вошел человек в форме, Чупров назвал его фамилию — Глоссен, с тетрадью под мышкой. Я подумал, что раз уж я приехал, то смешно отказываться расписаться. У меня еще не было твердого решения отказаться от регистрации во что бы то ни стало, так как я еще не совсем ясно представлял себе все возможности своей ситуации.

Вечером произошел еще один инцидент. Раздался звонок. Я впустил двух мужчин. Оба они были пьяны или, как я думаю, изображали опьянение.

— Мы хотим посмотреть, какой такой Сахаров!

— Я — Сахаров.

— Почему вы выступаете за бойкот Олимпиады?

— Потому что СССР ведет военные действия в Афганистане.

— Почему вы защищаете бандитов, которые убили бортпроводницу?

— Я никогда не выступал в защиту Бразинскасов. За угон самолета они отбыли свой срок по приговору турецкого суда. Но не они убили Надю Курченко — ее случайно убил советский охранник.

Мой нарочито спокойный тон не действует на них, они все больше распаляются, начинают выкрикивать все более бессмысленные обвинения. Один из них неожиданно вынимает из кармана пистолет системы Макарова и начинает «играть» им, поворачивая направо и налево, подбрасывая. Прямо в меня он при этом не целится, но очень близко — то справа, то слева, то над головой. Он говорит:

— Это невозможно, чтобы охранник убил нечаянно. Я сам работал охранником и без промаха стреляю из любого положения — стоя, сидя, лежа.

Другой вроде успокаивает «стрелка», подтверждая, что он действительно классный стрелок. Еще раньше я спросил:

— Что это, пистолет или зажигалка?

Они начинают деланно хохотать:

— Это зажигалка, такая, которая в человеке дырочки делает!..

Другой в это время приходит в страшное возбуждение и кричит:

— Я сейчас вам покажу Афганистан! Я сейчас из всей квартиры сделаю Афганистан!

Потом они вдруг меняют пластинку и начинают доверительно говорить:

— Вам тут недолго жить, скоро вас вывезут в санаторий, где есть хорошие лекарства: из людей быстро идиотов делают!..

На кухне в это время были Наташа и хозяйка, она кипятила себе чай. Наташа с ужасом наблюдала через открытую дверь происходящее, игру с пистолетом, и решила, что надо как-то вмешаться. Она шепотом сказала хозяйке:

— Выйдите с ведром, как будто выносите мусор. Подойдите к милиционеру, скажите ему, что здесь пьяные с пистолетом.

Хозяйка вышла, очень долго отсутствовала (мусоропровод был рядом). Когда она вернулась, Наташа спросила:

— Сказали?

Та изобразила непонимание. Наташа послала ее еще раз. Через несколько минут вошли несколько милиционеров. Они спросили:

— Что у вас происходит?

Я говорю:

— Ничего особенного.

Они тут же увели «пьяных».

Вечером я сел писать дневник. Я веду дневник с января 1977 года (к сожалению, не вел раньше; многое в этих воспоминаниях могло бы быть точней и с большими интересными подробностями). В этот вечер я начал после перерыва записывать все события, происходившие 22 января и в последующие дни. Наташа потушила свет раньше, чем я кончил писать.

На другой день рано утром (Наташа готовила на кухне завтрак) пришел Глоссен:

— Мне необходим ваш паспорт.

Я, не задумываясь, пошел в другую комнату и принес ему паспорт. Глоссен, не глядя, стал вкладывать паспорт в принесенную им с собой папку.

— Зачем вам паспорт? — все же у меня появились какие-то сомнения.

— Мне приказало начальство забрать у вас паспорт. Мы можем выписать вас из Москвы и постоянно прописать в Горьком.

Я внутренне испугался, но решил держаться с достоинством, как полагается академику.

— Это исключено. Я даю вам паспорт самое большее для временной прописки.

Глоссен сказал:

— Я передам начальству.

Может, мне следовало сказать ему:

— Верните мне паспорт.

Вероятно, это было бы совершенно бесполезно. Или попытаться вырвать у него паспорт. Это я бы не сумел. Я жалею, что не попросил вернуть паспорт — это было бы более определенным выражением моего желания. Но главный вопрос: почему я так легко отдал паспорт? Я до конца этого не понимаю сейчас и не понимал тогда. Я думаю, тут играло роль несколько факторов. Общая установка стараться выполнять обращенные к тебе просьбы, основанная на некотором внутреннем уважении к людям. Длительная (десятилетиями) независимость от каких-либо документов, отсутствие привычки думать о документах всерьез. Оба эти фактора, конечно, не должны были действовать в новой моей ситуации, но привычки часто сильней разума. Состояние скрытого шока еще более усиливало их действие в подсознании. И наконец, четвертое. Как я уже сказал, я еще не выработал четко всей своей линии в целом.

На другой день (в среду 30 января) на улице (я шел в магазин) ко мне подошел незнакомый офицер милиции и сказал, что я должен явиться к заместителю прокурора Горьковской области тов. Перелыгину. Он стал говорить мне адрес. Я перебил:

— Я пойду по повестке.

В течение ближайшего часа несколько офицеров приходили в дом, устно предлагали явиться к Перелыгину. Я же требовал повестки. Наконец наспех приготовленную повестку принесли (а может, наоборот, она была у них с самого начала). Я, в сопровождении Наташи, поехал в прокуратуру. Этот вызов был ответом на Люсину пресс-конференцию в понедельник. Я прошел в кабинет Перелыгина. Он был один (редкий случай при таких беседах). Перелыгин стал говорить:

— Ваша жена организовала в Москве пресс-конференцию с иностранными журналистами. Зачитала составленное вами заявление, содержащее ложные, клеветнические измышления. Эти действия являются нарушением установленного для вас режима, с которым я ознакомил вас 22 января.

Я спросил:

— Кем установленного, на каком основании? Я должен иметь на руках письменный документ, устанавливающий основания моей высылки и определяющий ее условия. Устные формулировки от меня ускользают и ни к чему не обязывают.

Перелыгин:

— К этому вопросу мы вернемся позднее. Сейчас дайте мне закончить то, что я должен вам сообщить. Я должен вас предупредить, что при нарушении установленного для вас режима будет поставлен вопрос о принятии мер, исключающих такие нарушения. В частности, будет поставлен вопрос об изменении места вашей высылки. Также я сообщаю вам, что к ответственности будут привлечены лица, являющиеся посредниками в осуществлении запрещенных вам контактов с иностранцами. К ним будут применены меры, исключающие такие их действия. Вы должны написать объяснение по поводу допущенных вами нарушений.

Я взял несколько листов бумаги и написал примерно следующее (к сожалению, я не оставил копии):

«Мое заявление с изложением моей позиции и описанием положения, в котором я нахожусь, по моей просьбе опубликовано в Москве моей женой Е. Г. Боннэр на пресс-конференции. Я и только я несу ответственность за его содержание и за факт его публикации в мировой прессе и радио. Я считаю себя вправе и в дальнейшем высказываться по тем или иным вопросам современности и информировать о своем положении, и публиковать эти высказывания. Заявление прокурора Горьковской области Перелыгина, согласно которому такие мои действия являются нарушением установленного мне режима, является безосновательным. Эти действия не противоречат моим законным правам. Совершенно незаконными и недопустимыми являются угрозы и обвинения в заявлении Перелыгина в адрес посредников в опубликовании моих документов, в частности, в адрес моей жены Елены Боннэр. Само слово «посредник» в данном случае совершенно лишено какого-либо юридического смысла. Мои документы публикую именно я без посредников в соответствии со своим правом на свободу убеждений и информации, и никто, кроме меня, не может нести за это какой-либо ответственности.

30 января 1980 года.
Андрей Сахаров, академик АН СССР».

Перелыгин прочитал мою записку, усмехнулся и пробормотал:

— Очень недвусмысленно написано.

Затем, обращаясь ко мне, он сказал:

— В подтверждение этой беседы и сделанного мною заявления я прошу вас визировать вот это.

И он подал мне листок размером меньше чем в полстраницы, на котором было напечатано на машинке следующее:

«Сегодня, 30 января 1980 года, советник юстиции (не помню какого класса) заместитель прокурора Горьковской области Перелыгин (инициалы) объявил мне, что при дальнейших нарушениях установленного мне режима может быть поставлен вопрос об его изменении, в частности, об изменении места высылки; мне сообщено также об ответственности за нарушение режима посредниками в контактах с иностранцами.

Дата, место для подписи».

Я сказал:

— Да, вы действительно все это заявили, а я выразил свое к этому отношение.

И, говоря это, подписал листок. Перелыгин сказал:

— Я вижу, вы уже собираетесь нарушать режим.

Я говорю:

— Конечно. Я считаю его незаконным, и я написал — почему.

Я вышел из кабинета. Вместе с Наташей мы спустились на улицу, и я стал ей рассказывать перипетии беседы, вполне довольный собой. Лишь через несколько часов я сообразил, что подписанный мною листок является документом, совершенно независимым от моей записки, и может использоваться в смысле, что я подтверждаю, что я предупрежден. При большой натяжке это может даже использоваться как некоторое согласие с предупреждением, а юридические деятели — большие мастера на такие натяжки. Я заволновался и в тот же вечер написал Перелыгину «Разъяснение к подписи», в котором подчеркнул, что моя подпись имеет смысл только как подтверждение того, что я ознакомлен с его заявлением; мое же отношение к его утверждениям и угрозам как к незаконным сформулировано в моей записке. Это «Разъяснение» я послал по почте и через полмесяца получил уведомление о вручении.

Я подробно рассказал о событиях 22—30 января, первой недели моего нового положения, о своих ошибках в эти дни. Вспоминая об этом, я невольно сопоставляю свое положение с положением арестованных, которые оказываются в обстановке гораздо более сильного давления и стресса и при этом в состоянии полной изоляции. Но я вижу, конечно, в своем поведении в эти дни и последующие не только ошибки. Я полностью сохранил свою позицию по принципиальным вопросам и нашел в себе силы для жизни и самой напряженной работы в новом положении. Огромную роль в том, что это стало для меня возможным, сыграла и продолжает играть Люся.

Дом в Щербинках. «Режим». Кражи и обыски. Общественные выступления. Научная работа. Люся в эти годы

В первые месяцы 1980 года в основном сложились внешние контуры моего положения в Горьком — с его абсолютной беззаконностью и в чем-то парадоксального. Иногда КГБ совершал новые акты беззакония, нарушая статус-кво. Очень важные события (важные и по существу, и для моего мироощущения) связаны с делом Лизы. Об этом я пишу в следующей главе. Внутри этих контуров продолжались моя общественная деятельность и, в каких-то масштабах, попытки научной работы. Происходили и некоторые события личного характера.

Как я уже писал, меня поселили на первом этаже двенадцатиэтажного дома-башни в одном из новых окраинных районов Горького с несколько странным названием «Щербинки», очевидно, унаследованным от когда-то находившейся здесь деревни.

В первые дни из каждого окна, на каждом углу я видел характерные фигуры в штатском. Это — кроме постоянно, днем и ночью, дежурящего в подъезде милиционера. В дальнейшем фигуры перестали маячить столь назойливо, за исключением «особых» случаев, вроде моего дня рождения. Но, конечно, это не значит, что штаты и «бдительность» следящих за мной людей уменьшились: время от времени они давали о себе знать. Сообщая мне о «режиме», Перелыгин сказал, что мне запрещено общаться с иностранцами и «преступными элементами». Очень скоро выяснилось, что КГБ трактует этот термин очень расширенно и по существу лишает меня возможности общаться вообще с кем-либо, кроме крайне ограниченного круга лиц. Беспрепятственно ко мне могут приезжать только моя жена, Руфь Григорьевна и мои дети. Посещения также были разрешены трем горьковчанам: Феликсу Красавину и его жене (но не сыну-школьнику) и Марку Ковнеру (о них я уже писал). Несомненно, что разрешения Феликсу и Марку были даны не «по слабости», а с ними были связаны определенные расчеты, оставшиеся им обоим и нам неизвестными; о них мы можем только догадываться. Каждого из них время от времени вызывали в КГБ «для беседы». Один из примеров возможных расчетов КГБ, быть может, не главный. Жена Феликса Красавина — врач-терапевт. Обычно Феликс приходит без нее. Но два или три раза, когда у меня было ухудшение состояния сердца или тромбофлебит, Феликс приводил ее, чтобы она меня посмотрела.

Когда к президенту АН А. П. Александрову кто-то обратился с вопросом, почему Сахаров лишен медицинской помощи, Александров воскликнул:

— Почему лишен? Ведь его смотрит эта Майя.

На самом деле визиты Майи были чисто личными и эпизодическими и никак не могли заменить серьезной медицинской помощи. И вообще: откуда он знал про визиты жены Красавина, которую он так «запросто» называл по имени? Вопрос чисто риторический — несомненно, не без участия КГБ.

Моей невестке Лизе, как я пишу ниже, в мае 1980 года запретили ездить ко мне в Горький. В первые месяцы ко мне пропускали также незнакомых людей, относительно которых была уверенность, что они будут пытаться «переубедить» меня. Потом и эти посещения прекратились. Всех остальных неизменно задерживал дежурный милиционер — пост с марта 1980 года расположен непосредственно у входной двери; ночью дежурный иногда дремлет, но так протягивает ноги, чтобы было невозможно подойти к звонку, минуя их. Всех задержанных милиционер отводит в специально выделенное помещение в доме напротив, куда сразу прибывают для допроса соответствующие чины. Если задержанные — незнакомые люди, сочувствующие или надеющиеся найти защиту от каких-либо притеснений, часто приехавшие специально издалека, то я могу, вернее всего, никогда и не узнать об их посещении. Если это — иногородние, их часто тут же вывозят из Горького. Во всех случаях у людей бывают неприятности, иногда — весьма крупные (вплоть до помещения на несколько месяцев в психиатрическую больницу; я задним числом узнал о трех таких случаях).

Однажды к нам проникли поговорить два мальчика-школьника. По выходе их схватили и вели «допрос» около трех часов. Мы все это время ждали у окна, когда они выйдут из опорного пункта. Один из мальчиков, наконец, вышел и махнул нам рукой; мы с облегчением поняли, что ребята не сломлены (такое иногда определяет всю жизнь!). Через месяц к нам пришли родители мальчиков, работники одного из горьковских заводов. У них были неприятности, и они пытались предъявить нам претензии, зачем мы разговаривали с их детьми. Родители сказали нам, что о поступке ребят было также сообщено в школу.

О людях же знакомых я, конечно, узнаю. Среди них приехавший из Ленинграда знакомый врач, 80-летняя тетя и пожилая писательница. Один из первых случаев такого рода произошел в феврале 1980 года, в день рождения Люси. Накануне она находилась в Москве и должна была приехать с нашим другом Юрой Шихановичем, я не раз уже писал о нем. Утром Люся позвонила в дверь и возбужденно закричала:

— Юру схватили!

Оказалось, что его задержали три дежуривших в вестибюле милиционера (очевидно, их число специально было увеличено) и повели, а вещи заставили оставить в вестибюле (Юра был сильно нагружен продуктами, которые он помогал везти Люсе). Мы побежали вслед. Тогда на помещении, куда отводили задержанных, висела табличка «Опорный пункт по охране общественного порядка», потом ее сняли. Мы прошли внутрь. Юру держали, очевидно, в задней комнате; мы его не видели, а напротив нас сидел капитан в форме МВД по фамилии Снежницкий. Он — заместитель начальника милиции в нашем районе, и формально именно он осуществляет надзор надо мной (КГБ, как всегда, формально держится в стороне; впрочем, может быть, Снежницкий как раз и является представителем КГБ в «нашем» отделении милиции).

Мы стали требовать у Снежницкого ответа, где Шиханович и что с ним. Очень скоро ему это «надоело», и он приказал милиционерам вывести нас. Те выполнили это с полным удовольствием и профессиональной сноровкой. Так что мы, получив несколько увесистых толчков, оказались за дверью: я врастяжку на полу, Люся получила удар по глазу (от последствий ее спасли очки) и синяки на руке. В этот момент стали выводить Шихановича, он успел через головы милиционеров передать нам обратный билет — молодец — мы сдали билет в кассу. Как потом выяснилось (из телеграммы Шихановича), его самолетом вывезли в Москву.

Примерно до августа 1980 года КГБ пытался заставить меня ходить в отделение милиции на «регистрацию». Я получил штук 50 повесток, на которые отвечал стандартным отказом (с требованием прислать в мое распоряжение машину, полагающуюся мне как академику). В повестках часто содержалась угроза «привода», однажды была сделана попытка осуществить ее. В середине марта в квартире был взломан замок. На другой день явились два лейтенанта милиции и объявили, что я должен немедленно ехать с ними на «регистрацию», в противном случае я, по приказу Снежницкого, буду приведен силой. Я вышел на улицу. Там стоял микроавтобус. Я сказал, что мне необходимо отправить телеграмму, и направился к почте. Милиционеры побежали за мной и, схватив за руки, стали тянуть в сторону микроавтобуса. Я упирался, так что ноги скользили по снегу, и продолжал что-то кричать про почту и регистрацию. Некоторые прохожие стали обращать внимание на происходящее. Милиционеры затянули меня в подъезд и там внезапно отпустили; я добежал до двери и запер ее за собой на цепочку. На следующий день пришел неизвестный мне капитан милиции. За несколько минут до него пришел слесарь менять замок. Капитан стал требовать моей явки на регистрацию, а когда я отказался, составил протокол «о нарушении требования работника милиции», заставив слесаря расписаться в качестве свидетеля. Очевидно, слесарь тогда был для этого и нужен, а для чего понадобилось вообще

ломать и менять замок, я до сих пор не знаю. Дальнейших последствий в этот раз не было.

Все эти годы, когда я выхожу из дома, за мной немедленно следуют «наблюдатели» из КГБ. Многих из них я знаю в лицо. В лесу это иногда парочка, изображающая «любовь». Иногда это наблюдатель, который прячется за толстым стволом дерева в двух шагах от нас, если мы его заметили и ему некуда спрятаться, он стремительно убегает. Когда в 1981 году мы с Люсей стали ездить на машине, гебисты тоже стали ездить за нами, обычно на двух машинах. Иногда они «пугали», создавая ситуацию, похожую на аварийную. И машины, и пешие сопровождающие обычно меняются на протяжении одной поездки: в общем, государственных, а верней — народных — денег не жалеют. Какую цель они преследуют? С одной из них я непрерывно сталкиваюсь — они не дают позвонить по телефону-автомату в Москву или в Ленинград, или куда-либо еще: забегают передо мной на любую почту по дороге и, очевидно, дают команду выключить аппарат, во всяком случае, он оказывается «неработающим» (читатель, конечно, помнит, что в квартире телефона нет; более того, телефон у нас в Москве на улице Чкалова и даже на даче выключен еще 22 января 1980 года). Очень редко мне (и Люсе: на нее тоже распространяются эти фокусы) удается обмануть их бдительность. Например, недавно, когда я беспокоился о здоровье Наташи в Ленинграде, я вышел с помойным ведром, оставил его у помойки и, не заходя обратно в дом, забежал на почту (после этого случая, вплоть до 16 декабря 1986 года, милиционер выходил вместе со мной и Люсей к помойке). Другая их цель — (вероятно, главная) — пресечь возможность контактов с людьми на улицах. Опасаются ли они, что я сделаю попытку явочным порядком уехать в Москву? Вряд ли, тут они знают свои «возможности» (я тоже). Однажды они сочли нужным сделать «демонстрацию» этих возможностей. Это было накануне Общей сессии Академии наук в марте 1980 года. Общая сессия проводится по уставу ежегодно, на ней президент и ученый секретарь делают отчетные доклады о работе Академии и ее ученых за год, проводится обсуждение докладов и организационных вопросов, многие из которых требуют голосования и кворума. Согласно Уставу, присутствие академиков на Общем собрании является правом и обязанностью, каждое исключение из списков на данную сессию (по болезни, по причине заграничной командировки) рассматривается Президиумом Академии в индивидуальном порядке (так же, как в случае выборов). Я послал заранее телеграмму в Президиум с просьбой выслать мне приглашение на сессию (их рассылают всем академикам, но я в этот раз — и в последующие — его не получил). Ответа на телеграмму долго не было. Я послал повторный запрос, и тут, наконец, пришел беспрецедентный ответ: «Ваше присутствие на сессии не предусматривается».(!)

Иностранным корреспондентам, сообщавшим об инциденте, возможно, не была полностью понятна языковая и ситуационная пикантность телеграммы. Кем не предусматривается? Уставом? Но Устав говорит прямо противоположное. Я понял из телеграммы, что АН СССР полностью идет на поводу у КГБ, нарушая собственный Устав. Вечером накануне сессии уезжали Руфь Григорьевна с Лизой (которую тогда еще пускали). Мы с Люсей поехали их провожать. Но когда я попытался внести в вагон чемодан Руфи Григорьевны (она уже вошла в тамбур), передо мной неожиданно выросла шеренга вооруженных людей, сцепивших руки так, что я не мог пройти. У одного из них пистолет был вынут из кобуры. Я попрощался с Руфью Григорьевной издали. Потом Лиза рассказывала, что в дороге на глазах у Руфи Григорьевны были слезы. Надо знать ее — никогда не плачущую и не позволяющую себе расслабиться в самых трагических ситуациях жизни, чтобы вполне оценить ее переживания. Так КГБ продемонстрировал, что с запретом мне выезжать из Горького они шутить не намерены.

В тот же день, вернувшись в квартиру, мы с Люсей столкнулись с еще одним сюрпризом. Слушать радио по транзистору было невозможно. Из обоих наших приемников несся сплошной рев. Это была «индивидуальная глушилка», очевидно, установленная где-то поблизости. В дальнейшем мы стали слушать радио, выходя из дома и удалившись от него на

50—100 метров. На период сессии Академии перед дверью квартиры Руфи Григорьевны тоже был установлен милицейский пост, и к ней тоже, как и ко мне, пускали лишь очень немногих. Зачем была осуществлена эта безусловно беззаконная акция, чего боялся КГБ — до сих пор мне неизвестно.

КГБ осуществляет здесь в Горьком не только надзор надо мной и изоляцию, но и некоторые еще более «деликатные» акции. С первых недель пребывания в Горьком мы стали замечать следы проникновения в квартиру посторонних людей — не всегда безобидные. То и дело оказываются испорченными магнитофоны, транзисторы, пишущая машинка (за это время мы ремонтировали их по многу раз). Наиболее важные и невосполнимые записи, документы и книги я боюсь оставлять в квартире и постоянно ношу с собой (ниже я расскажу, что и эта мера дважды не помогла). Но кое-что из мелочи, которую я не брал с собой, возможно, пропадало. Мы предполагали, что милиционеры без особых церемоний пускают гебистов в квартиру. Вероятно, сейчас это именно так и происходит (быть может, не каждый из дежурящих милиционеров к этому причастен, а только те из них, которые пользуются доверием КГБ или попросту являются сотрудниками). Но в первые полгода, как мы выяснили, действовал другой способ. Как я писал, одна из комнат в квартире была как бы служебным помещением, и ключи от нее были у женщины, называвшей себя «хозяйкой». Она действительно иногда давала нам смену постельного белья, хранившегося у нее в шкафу, и полотенца. Но в основном ее функции были нам непонятны. Она почти каждый день приходила и без видимого дела сидела в «служебной» комнате, оставив приоткрытой дверь, а затем уходила, заперев дверь на свой ключ. На следующий день повторялось то же самое. Подоплека всего этого раскрылась случайно. В июле 1980 года однажды, когда мы отдыхали после обеда, уже около 7 вечера прибежала запыхавшаяся девушка с почты. Только что пришел телеграфный вызов на телефонный разговор с Нью-Йорком. Это мог быть вызов от детей, и мы, естественно, заспешили на почту. Несомненно, именно на эту спешку и рассчитывал КГБ, в частности, вероятно, их интересовала та сумка с моими рукописями и документами, которую я, как уже сказал, носил с собой; а может, и что-нибудь еще. Потом, рассмотрев вызов, мы увидели, что он пришел в Горький в 11 часов утра, т.е. 8 часов «вылеживался» в КГБ. К слову, мы так и не знаем, от кого был вызов, и больше никаких вызовов из-за рубежа не получали. Я первым пришел на почту, вслед за мной — Люся. Она захватила с собой мою сумку, но забыла какие-то вещи, кажется сигареты. Кроме того, на почте не было часов, поэтому мы не знали, прошел ли срок вызова. Люся вернулась в квартиру. И тут она увидела в нашей спальне и в соседней с ней комнате двух гебистов: один из них рылся в моих бумагах, а другой что-то делал с магнитофоном (потом оказалось, что запись, которую я наговорил в магнитофон для детей, была стерта). Люся страшно закричала, и гебисты бросились бежать. Но не к входной двери, а в комнату хозяйки, которая была открыта, так же как окно. Гебисты вскочили на диван, опрокинув его, потом на подоконник, оставив на нем следы, и выпрыгнули наружу. Люся тут же позвала милиционера и показала ему этот разгром; кажется, он был несколько растерян. Сама же Люся потом рассказывала, что у нее было неприятное чувство от всего происходящего. Теперь нам стало ясно, в чем была основная функция «хозяйки». Просто она должна была, уходя, оставлять открытым окно (все окна в нашей квартире запираются изнутри на задвижку, и если она закрыта, то снаружи открыть окно невозможно). Проникнув в комнату «хозяйки» с улицы, гебисты уже совсем просто открывали своим ключом дверь изнутри, делали в квартире что хотели и тем же путем уходили. При этом милиционер не должен был знать об их визитах (лишний свидетель и, вероятно, большинство из них не сотрудники КГБ). Именно за это «хозяйка» и получала свою зарплату!

В этот день Люся должна была уезжать в Москву. На другой день я послал телеграмму председателю КГБ СССР Андропову с протестом против беззакония. Люся провела в Москве пресс-конференцию, на которой она рассказала о новом беззаконии КГБ, а также послала телеграмму президенту АН СССР А. Александрову, в которой поставила его в известность о произошедшем. Аналогичные телеграммы она послала и прези-

дентам американских Академий, членом которых я состою. Через несколько дней на квартиру пришел курьер КГБ с повесткой на беседу по поводу моей телеграммы Андропову. Я пошел. Состоялся разговор с двумя гебистами, один из которых отрекомендовался начальником ГБ Горьковской области, а другой — майором Рябининым из Москвы. С Рябининым у нас в дальнейшем была еще одна встреча (во время голодовки 1981 года). К сожалению, я провел эту беседу неудачно, в «ненаступательном» духе, и в значительной степени «смазал» психологический эффект создавшейся ситуации. В заключение рассказа об этом эпизоде я хочу подчеркнуть, что тайные проникновения гебистов в квартиру (все равно — через окно или через дверь) являются грубейшим нарушением права неприкосновенности жилища и других прав, а также создают угрозу для самой моей и Люсиной жизни: например, мало ли что они (при желании) могут подсыпать в еду или куда захотят. Последняя мысль (в отношении меня) упомянута в Люсином письме Александрову и президентам американских Академий.

Что касается «хозяйки», то я перестал пускать ее в квартиру. Она (и КГБ) легко примирились с этим. Ее функция была раскрыта, и больше она не была нужна.

Как задним числом мне очевидно, КГБ продолжал охотиться за моей сумкой все последующие месяцы. К сожалению, я относился к этой опасности слишком легкомысленно и очень многое имел в одном экземпляре (и тем самым — в одном месте). Через восемь с половиной месяцев КГБ добился своей цели, воспользовавшись моей неосторожностью при посещении поликлиники. Вот как это произошло.

Я в Горьком не имел возможности пользоваться услугами врачей. Все мои лечащие врачи остались в Москве. Но большие неприятности с зубами все же вынудили меня в сентябре 1980 года обратиться в зубоврачебную поликлинику. Мне подлечили некоторые зубы, удалили другие и назначили на протезирование. В начале февраля мне обточили несколько зубов, сняли мерки. Потом полтора месяца я с нетерпением ждал открытки от врача-протезиста и, получив ее утром 13 марта 1981 года (в это время Люся была в Москве), заторопился на прием. Надо сказать, что как раз в эти дни я обнаружил ошибку в одной своей работе и находился в несколько «отключенном» состоянии, больше думая о формулах, чем о чем-либо ином. Придя в поликлинику, я хотел по лестнице подняться на верхний этаж, в кабинет, но в этот момент врач-протезист К. вышла мне навстречу и предложила пройти в другой кабинет на первом этаже. Это было мне легче: я всегда с трудом поднимаюсь по лестницам из-за сердца. Кто-то стоявший рядом сказал, что наверху ремонт (что было неправдой!). При входе в кабинет К. сказала, что это — хирургический кабинет и что по строжайшему распоряжению главного врача я должен оставить свою сумку при входе (чистейшая глупость, вернее — умышленный обман: о какой стерильности может идти речь при обточке зубов, при грязных полах и т. п.). Я, конечно, должен был или отказаться от приема, или настоять на отмене распоряжения. Но я вместо этого обратился с просьбой к медсестре, стоявшей рядом, присмотреть за моей сумкой или взять ее в кладовку. Медсестра сказала:

— Не беспокойтесь, у нас здесь никогда ничего не пропадает.

Я посмотрел, что в коридоре сидят больные, ожидающие приема, и тут допустил свою главную ошибку, подумав, что на глазах у такого числа людей ничего с моей сумкой не произойдет. Как говорится, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Доктор К. стала заниматься моими зубами. Я сидел спиной к входной двери. Дверь скрипнула. Вдруг К. воскликнула:

— Кто это?

И потом, после паузы:

— А, это вы.

Вошла главный врач; к сожалению, забыл ее фамилию. Она тут же вышла, а минут через пять вошла опять. Еще через 10 минут К. окончила свою работу, я вышел в коридор и не обнаружил там своей сумки! Один из присутствующих больных рассказал, что какие-то двое мужчин вертелись около сумки, заглядывали в кабинет. Потом один из них взял сумку и внес ее в кабинет. Это не привлекло ничьего внимания: ведь он же не

унес сумку, а наоборот, внес ее туда, где находился ее владелец. О дальнейшем можно догадываться. Вероятно, второй гебист вошел в кабинет с сумкой большего размера и за моей спиной положил в нее мою; после этого он мог спокойно уйти. Какова была роль при этом главного врача, во всех деталях не знаю. Но несомненно, что распоряжение не пускать меня с сумкой в кабинет она сделала вполне сознательно и понимая, зачем это.

Удар КГБ был чрезвычайной силы. Пропало множество моих записей как общественного, так и чисто научного характера, множество документов, писем ко мне и копии моих писем (так же как копии Люсиных писем детям), три толстых тетради моего дневника за 14 месяцев и три таких же тетради — рукописи моих воспоминаний. Первая тетрадь воспоминаний пропала в ноябре 1978 года во время негласного обыска. Я затратил оба раза большой труд, оказавшийся в значительной степени впустую. Мое заявление по поводу пропажи сумки вызвало большой отклик во всем мире; КГБ вновь покрыл себя позором. Кража заставила меня существенно изменить многие планы, временно отставить в сторону некоторые задуманные научные работы. Необходимо было спешить с воспоминаниями, пока КГБ не вырвет их у меня из рук или не помешает их завершению иным способом. Если эти воспоминания оказались все же перед тобой, мой дорогой и уважаемый читатель (не из КГБ), это будет означать, что мои старания на этот раз оказались не напрасными.

Очень огорчила также меня (и Люсю) пропажа дневников, в которых я записывал не только ежедневные события, но и пришедшие в голову мысли, впечатления от книг, включая научные, впечатления от кино, от разговоров и т. п. Там же были четыре статейки-эссе на литературно-философскую тему: две о стихотворениях Пушкина «Давно, усталый раб, замыслил я побег...» и «Три ключа». Во второй статье я говорил и о стихотворении «Арион», которое, по моему мнению, имеет внутренние связи со стихотворением «Три ключа» и важно как для понимания состояния души и творчества поэта, так и для меня самого, оказавшегося на Горьковской скале в то время, как многие мои друзья — в пучине вод. Я пытался потом восстановить эти статьи (объединив их вместе) в дневнике, но по второму разу, как это часто бывает, получилось хуже — суше и както механичней. Боюсь, что то же самое случится частично с воспоминаниями; буду стараться этого избежать. Две другие статьи: 1) об «Авессалом, Авессалом» Фолкнера и 2) о замечательной повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» я даже не пытался восстановить. Одну вещь из сумки гебисты вернули, верней, подбросили. Когда я, потрясенный, вернулся из поликлиники, на столе лежало письмо, которое я собирался по дороге в поликлинику отправить в Институт научной информации (с просьбой о присылке оттисков научных статей). Видимо, они таким способом оставили «визитную карточку» (проникнув в запертую на ключ квартиру мимо милиционера), а, может, попутно они хотели показать, что они не мешают моей научной работе. (Но это не так.) Кража сумки потрясла меня (тут было и чувство досады на самого себя за неосторожность, и горькое сожаление о пропавших, совсем невосполнимых письмах и документах и трудно или частично восстановимых рукописях; боль за потерю ценностей чисто личного характера и неприятный осадок от того, что в чужие и враждебные руки попали интимные письма и записки). Это потрясло Люсю тоже. Люся говорит, что я был в состоянии физического шока, буквально трясся. Это было действительно так. И все же мы не были сломлены, даже на какое-то время. Моя активность, может, даже возросла в эти дни (общественная; научную работу я был вынужден надолго отложить в сторону).

Люся приехала 13-го вечером. Я ее «огорошил» сообщением о краже еще на вокзале. Обратно в Москву она уехала 24 марта. Перебирая свои бумаги, я нашел 6 документов, написанных в эти дни. Это:

1. Обращение в защиту Толи Марченко, арестованного незадолго перед этим;

2. Автобиография для юбилейного сборника, который подготавливали к моему 60-летию друзья;

3. Статья «Ответственность ученых» (черновой вариант статьи был в сумке, и все пришлось писать заново);

4. Обращение о краже;
5. Уточненный список моих выступлений для сборника;
6. Письмо о Валленберге.

При этом в первые дни после Люсиного приезда мы «отдыхали», верней, старались освободиться от чувства кошмара: ездили через весь город смотреть какой-то боевик с Бельмондо, очень замерзли. Так продолжалась жизнь!..

Я не буду повторять здесь историю Рауля Валленберга; она известна всему миру. Недавно я слышал по радио, что на запрос шведского МИД советские власти вновь ответили, что Валленберг умер в 1947 году и что дело его не может быть предъявлено, так как оно сожжено. Но, во всяком случае, последняя часть ответа — ложь. На всех следственных делах НКВД — КГБ стоит пометка «Хранить вечно» — и она выполняется, за некоторыми исключениями, когда из дел, по распоряжению самого высшего руководства, изымались отдельные страницы, но и эти дела остались в какой-то форме. (Я слышал на объекте рассказ, как все это делалось, от Г-ва — одного из работников КГБ, принимавшего участие в переборке старых дел 30—40-х годов; во всех делах сохранялись первые страницы; в делах, по которым был расстрел, — обязательно справка о приведении приговора в исполнение, в этой справке была графа — пистолет номер такой-то.)

Несомненно, что дело, в котором речь идет об иностранном подданном, при всех обстоятельствах (на всякий случай) сохраняется полностью.

Рауль Валленберг — один из тех людей, которыми гордится не только Швеция, но и все человечество. Нельзя ослаблять дипломатических усилий, добиваясь, чтобы советские власти, пока, к сожалению, продолжающие покрывать преступления Сталина и его сообщников, все же раскрыли тайну, связанную с судьбой этого замечательного человека. Если Валленберг жив, то его освобождение в огромной степени способствовало бы авторитету нынешнего руководства СССР, которому вроде бы не к лицу принимать в свой багаж преступления прошлых лет.

Почти сразу после кражи я начал по памяти восстанавливать украденное (дневники и воспоминания), при этом я все писал, наученный горьким опытом, в двух экземплярах под копирку. (Люся просила меня так делать и раньше, но я ее совета до кражи не послушался; без копирки писать удобней и быстрей, легче делать исправления и можно пользоваться мягкими ручками и фломастерами. Но тут пришлось смириться.) Один экземпляр написанного мною Люся примерно раз или два в месяц отвозила в Москву и потом переправляла в США Реме и Тане. Как она это делала — целая история; рассказывать ее, однако, в подробностях — пока преждевременно. Опасаясь краж и негласных обысков, Люся в Москве и поезде ни на минуту не расставалась с рукописями, часто весьма объемистыми. К апрелю 1982 года, через год с небольшим после кражи, я закончил вчерне рукопись и начал на основе имевшегося у меня экземпляра готовить вариант («макет») для перепечатки на машинке (перепечатку Люся организовала в Москве; в Горьком у нас такой возможности нет). К сентябрю я сделал половину этой работы, а в течение сентября подготовил вторую половину макета. А 11 октября все это опять было у нас украдено — 500 страниц на машинке и 900 рукописи. Кража на этот раз была организована очень драматичным, «гангстерским» способом. Очевидно, КГБ уже некоторое время перед этим охотился за моей сумкой, в которой я носил рукописи воспоминаний, дневник, важные для нас документы, а также фотоаппарат и приемник, которые нельзя было оставить в пустой (хотя и «охраняемой» милицией) квартире — мы уже имели несколько случаев поломок.

За несколько дней до приезда Люси, когда я стал заводить стоящую около дома нашу автомашину «Жигули», в моторе возник пожар. «Неизвестные» слегка отвинтили ночью крышку бензобака и укрепили рядом на проволоке отсоединенный контакт зажигания. Я думаю, что гебисты рассчитывали, что я растеряюсь и оставлю сумку без присмотра. Но я мгновенно выключил двигатель, и пожар затух сам собой (правда, пришлось менять обгорелые провода зажигания).

9 октября, за два дня до осуществления ГБ кражи, мы с Люсей поехали в город. Я оставил ее в машине около рынка, а сам пошел в зубную поликлинику (ту самую, где за полтора года до этого у меня украли сумку в первый раз). Люся сидела на переднем сиденье, сумка лежала на полу сзади. Подошла какая-то незнакомая женщина и тихо сказала Люсе:

— Будьте осторожны, тут их кругом очень много. Я не знаю, что они хотят с вами сделать, но их-то я узнала.

Люся взяла сумку себе под ноги, подняла все стекла и стала ждать, что будет. Подошел человек в форме милиции, попросил предъявить документы. Документы лежали в сумке, но Люся не хотела ее доставать, опасаясь, что у нее ее могут отнять, и сказала:

— Документы у мужа, он скоро придет.

«Милиционер» отошел. Больше никто не подходил. Очевидно, гебисты рассчитывали на какое-то другое Люсино поведение, менее осторожное, или им кто-то помешал.

11 октября мы с Люсей поехали на машине в город, остановились на площади возле речного вокзала. Там же рядом — железнодорожная касса предварительной продажи билетов. Люся пошла за билетом. Она, как всегда, взяла из сумки свою книжку инвалида Отечественной войны, дающую право получения билетов вне очереди и со скидкой. Я остался в машине, сумку положил, как обычно, на пол сзади водительского места, прижав ее креслом. Было 4 часа дня, совершенно светло. К машине подошел человек лет тридцати пяти с темным лицом и черными курчавыми волосами. Стекло водительской двери было наполовину опущено. Он заглянул в машину поверх стекла и спросил:

— У вас московский номер, вы едете в Москву?

Я ответил:

— Нет, я еду в Щербинки.

Дальше же у меня какой-то непонятный провал в памяти. Следующее, что я помню — что кто-то вытаскивает сумку через окно дверцы (задней или передней — не помню). Я пытаюсь выйти из машины, но несколько минут (или секунд?) не могу найти ручку дверцы (обычно это абсолютно автоматическое движение). Выйдя, я вижу стоящих около машины трех женщин; одна из них с баульчиком, похожим на медицинский. Женщины говорят:

— Они побежали к балюстраде, перепрыгнули через нее.

— Почему вы так долго не выходили из машины?

Я отвечаю:

— Не мог найти ручку...

Они, очень успокоенно:

— А-а-а.

— А вы знаете, что они разбили у вас стекло?

Я иду к машине и вижу, что действительно стекло задней левой дверцы полностью выбито, на полу машины и на улице много осколков. Такое выбивание нельзя сделать мгновенно без шума, но я *н и ч е г о* *н е* *с л ы ш а л*. Единственное объяснение, которое я могу дать, — что против меня был применен наркоз мгновенного действия, нечто вроде рауш-наркоза. Никаких «вещественных» доказательств этой гипотезы у меня нет, но иначе все в целом совершенно необъяснимо, в особенности провал памяти и то, что я не слышал грохота осколков. Я вновь вышел из машины. Женщины стояли на прежнем месте. Одна из них сказала:

— Мы вызвали милицию. Ждите, они сейчас приедут.

Я думаю, что эти женщины были медицинские работники: врач и две медсестры — на случай, если мне станет плохо от наркоза. Слова о вызове милиции, как вскоре стало ясно, были ложью: они никого не вызывали и не могли вызвать; просто им для чего-то было надо, чтобы я не сразу пошел в милицию (может быть, они боялись, что я упаду по дороге). Женщины тут же ушли; я не успел им сказать, что им следует задержаться и быть свидетелями. Тут пришла Люся. Она еще издали заметила, что я иду как-то странно, как пьяный, и на руке кровь. (А я вдыхал воздух и чувствовал странный запах, как от гниющих фруктов.)

Оказалось, что в билетной кассе она задержалась, так как все кассирши почему-то были вызваны в другую комнату и минут десять некому было выдавать билеты. Очевидно, гебисты таким образом за-

держали Люсю, чтобы я был один достаточное для проведения «операции» время.

Я тут же пошел в милицию, заявил о краже. Следователь составил протокол, осмотрел место происшествия и сфотографировал машину; все, как полагается (но, конечно, они ничего не нашли, да я и не рассчитывал на это). Количество украденного (может, юридически правильней говорить не о «краже», а о «грабеже») было колоссальным, не меньше, чем полтора года назад в поликлинике. Я вновь написал заявление для прессы с сообщением о новом преступлении КГБ. Люся повезла это заявление в Москву, чтобы там передать его инкорам. Утром 30 октября она подошла к двери нашей квартиры и обнаружила там пост милиции. Милиционеры никого, кроме нее, в квартиру не пускали, так что вызвать корреспондентов домой она не смогла, но саму ее выпускали. Наш квартирный телефон, как я уже писал, отключен с 22 января 1980 года. Люся вышла на улицу и по уличному телефону-автомату договорилась о встрече с корреспондентом агентства «Рейтер», тоже на улице. Вместе с ней при этой встрече была Ида Петровна Мильгром, мать Толи Щаранского. Ида Петровна рассказала о своих попытках узнать что-либо в ГУИТУ о состоянии Толи, уже больше месяца державшего голодовку за право переписки и свиданий с матерью, а Люся отдала мое заявление о краже сумки.

На другой день (или в тот же день вечером) Люся включила свой радиоприемник. К своему ужасу, она услышала, что «Голос Америки» (а вслед за ним — «Свобода») передали нечто несусветное.

К Сахарову приехала дочь (!?). Жена ушла из квартиры (!?). Сахаров остался один (то ли в квартире, то ли в машине — не помню), и у него пропала сумка с рукописями и документами (где при этом была дочь — неясно).

То же самое, что и Люся, услышали миллионы советских радиослушателей. На следующий день был передан уже правильный текст, но радиостанции не заикнулись, что накануне был передан лживый. У множества людей отложилось в памяти первое впечатление, всегда более сильное; многие же вообще не стали слушать повторную передачу, раз они слышали первую. Абсолютно ясно, что лживый текст был подсунут КГБ с целью запутать следы своего преступления и заодно чуть-чуть скомпрометировать Люсю (получалось по передаче, что причиной пропажи сумки был ее уход из дома «из-за приезда дочери», неизвестно какой; фактически ни одна из моих дочерей с марта 1982 года и до декабря 1982 года ко мне не приезжала).

К сожалению, и в этом, может самом показательном, случае никакие западные спецслужбы не заинтересовались, кто же «всунул» лживую передачу, так же как остались нерасследованными и другие аналогичные эпизоды, в том числе относящиеся ко мне и описанные в этой книге.

Чтобы покончить с темой о возможных действиях просоветской агентуры при публикациях на зарубежном радио моих документов и сообщений обо мне, упомяну еще об одном, совсем недавнем случае.

В январе 1983 года в Москве получил распространение документ в мою защиту, озаглавленный «Письмо к иностранным коллегам». Документ этот анонимный; авторы указали, что они не подписывают его, опасаясь за свои семьи и положение на работе. При передаче документа по зарубежному радио было заявлено, что, по слухам, распространяющимся в Москве, автором документа является сам Сахаров (!). Насколько мне известно, никто из иностранных корреспондентов в Москве не передавал такого сообщения о моем анонимном авторстве письма в собственную защиту. Я уверен, что сообщение инспирировано КГБ. Вероятно, истинные авторы документа были известны КГБ и была уверенность, что они не раскроют своего авторства.

В конце октября ко мне должны были приехать мои коллеги — физики из ФИАНа. Однако в этот раз поездка не состоялась. Как я слышал (не из первых уст), кто-то якобы дал распоряжение, что сейчас поездки не своевременны. Похоже, КГБ продал сам себя. Ведь никакого публичного моего заявления о краже сумки еще не было. Следующая поездка физиков состоялась лишь в середине января, через четыре месяца после предыдущей и накануне трехлетнего «юбилея» моего пребывания в Горьком. Верней всего, опять не случайное совпадение.

4 ноября я получил повестку в Областную прокуратуру. Там мне было предложено пройти к заместителю областного прокурора Перелыгину — к тому самому, с которым я имел дело в 1980 году. Я его, однако, сразу не узнал. Поздоровался за руку по привычке к вежливости. Перелыгин сказал:

— Гражданин Сахаров, я пригласил вас в связи с вашим клеветническим заявлением.

Потом было длинное препирательство, в ходе которого Перелыгин приписывал мне различные не сказанные мною слова, пытался уличить в противоречиях, а главное — пытался заставить подписать текст «предупреждения», — а я категорически отказывался от подписания чего бы то ни было и настаивал на ответственности КГБ за совершенное преступление. Оставив, наконец, план получить от меня подпись, Перелыгин встал и «торжественно» заявил, что я еще раз предупрежден о серьезной ответственности за нарушение мною «...режима, установленного для меня высшим органом власти».

Я:

— Президиумом Верховного Совета СССР?

Перелыгин, вроде бы неуверенно:

— Да.

Я:

— До сих пор все мои попытки получить ответ, кто установил мне режим, были безрезультатны. Рекунков показал мне только указ о лишении наград (и только он был впоследствии опубликован), на письменные запросы ответа я не получил; в «Известиях» говорилось о «компетентных органах» — это всеми читается как КГБ.

Перелыгин достает с полки толстый том и показывает мне через стол страницу, на которой у него была подготовлена закладка:

— Я объявил вам в 1980 году, что режим вам установлен Президиумом Верховного Совета СССР, и вы подписали соответствующее предупреждение, вот оно.

Я говорю:

— Вы ничего не говорили о Президиуме Верховного Совета, и я не помню, чтобы я подписывал предупреждение с этой формулировкой. Я не мог бы такое забыть.

В том тексте предупреждения, которое Перелыгин предлагал мне подписать 15-ю минутами раньше, никакого упоминания о Президиуме Верховного Совета, во всяком случае, не было. Я стал внимательно вглядываться в документ, который Перелыгин держал передо мной, но он тут же его убрал. Формат был вроде не тот, что в 1980 году — тогда это была половина листка. Я не только поставил тогда подпись, но и написал, что я ознакомлен с текстом (я, как описано в предыдущей главе, не стал выражать своего отношения к предупреждению, т. к. сделал это на отдельном листке). Сейчас была только подпись, причем сделанная не авторучкой, а нечто очень похожее на факсимиле. Сопоставив все это в уме, я прихожу к выводу, что Перелыгин показывал мне фальшивку.

Окончательной ясности в отношении того, как в 1980 году была «оформлена» моя высылка (точнее — депортация) и установление мне режима, у меня нет.

Согласно Конституции СССР, Указы Президиума Верховного Совета СССР **публикуются** за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР и секретаря Президиума (тем самым только при этом они имеют законную силу). Никакой публикации в данном случае не было. Следует по-прежнему полагать наиболее правдоподобным, что решение о депортации, выбор места и, тем более, установление мне противозаконного режима изоляции были приняты на менее высоком уровне, чем Президиум Верховного Совета, а именно — КГБ. (Косвенным подтверждением является следующий факт. Первоначально от меня требовали периодической регистрации. Однако, когда я этому воспротивился, то об этом требовании режима как бы забыли. Вряд ли так могло бы произойти с Указом Президиума.)

Опять, как в 1981 году, после кражи 11 октября 1982 года я начал

усиленную работу по восстановлению «макета». Однако эта работа была крайне затруднена тем, что у меня под рукой не было не только тех добавлений и «связок», которые я сделал во время подготовки украденного «макета» (в объеме 200—300 страниц), но и входившего в состав макета первоначального текста рукописи, тоже нуждающегося во многих важных для меня исправлениях и изменениях и в перекомпоновке. Получить посланную в США копию рукописи, так же как копию украденных перепечатанных частей макета, чтобы их отредактировать, чрезвычайно трудно, почти невозможно. В самом благоприятном случае на это уйдут многие месяцы, а там возможны новые кражи и обыски!

Затягивание дела с «Воспоминаниями» также очень сильно обостряет, как я это чувствую, положение Люси.

Как все это разрешится, сейчас, когда я пишу эти строки, — я не знаю. (Позднейшее добавление: Сейчас, в апреле 1983 года, с большими трудностями Ефрем переправил часть первоначальной рукописи, при этом «в дороге» пропало около трети посланного им. Я вновь пытаюсь восстановить, хотя бы частично, макет, но вовсе не уверен, что нам удастся благополучно переправить это Ефрему.)

Пока, полагаясь только на свою память и воображение, я пишу фрагменты, рассчитывая, что они органически войдут в имеющуюся в США у Ремы и Тани часть рукописи. Но и эта работа идет под дамокловым мечом...

6 декабря Люся повезла в Москву часть подготовленной мною рукописи фрагментов. Несколько дней перед отъездом Люсю мучили очень сильные боли в сердце, возможно, это был первый инфаркт; но, как всегда в нашей жизни, откладывать было нельзя.

Я провожал Люсю на вокзал. Билет был куплен заранее, у нее было место в четырехместном купе (часто ей приходится довольствоваться местом в общем, т. е. не купированном вагоне; вообще с билетами всегда трудно, и выручает только инвалидная книжка).

Ничто в этот вечер не предвещало каких-либо неприятностей. Однако, когда поезд в 7 часов утра остановился в Москве и Люся приготовилась выходить и искать носильщика для ее довольно тяжелых вещей, в купе вошли двое — мужчина и женщина, следователи. Они задержали двух из трех пассажиров, объявив, что они будут понятыми при обыске. Пассажиры пытались вроде протестовать, но безуспешно. (На самом деле я убежден, что эти пассажиры тоже были привлечены заранее и просто «играли роль». На всех известных нам обысках инакомыслящих понятые всегда «сотрудники»; не может быть, чтобы тут было сделано исключение. Адрес одной из понятых — тот самый соседний со мной дом в Щербинках, 216 по улице Гагарина; именно туда водят задержанных и, вероятно, там живут некоторые из приставленных ко мне гебистов. «Понятая» выдала себя также тем, что изображала ничего не знающую о Сахарове, а на самом деле меня все знают в округе.)

У нас осталась копия протокола обыска. Ее всегда вручают обыскиваемому (но иногда отбирают при следующих обысках). Люся, желая сократить процедуру и не уехать вместе с поездом на запасные пути, сразу отдала мои рукописи, полагая, что это — единственное, что интересует следователей. Но после этого обыск длился еще около трех часов, сопровождался «личным» осмотром женщиной-следователем (этот термин означает, в частности, что от осматриваемого требуют полного раздевания) и осмотром всех вещей, длительным составлением описи. Состав увели на станцию Москва-III, и Люсе самой пришлось тащить тяжелые сумки до пригородного поезда. Она несколько раз присаживалась по дороге с сильными болями в сердце, но потом была вынуждена идти дальше. Поднимаясь на проложенный через пути мост, Люся потеряла на некоторое время сознание. Остаток пути ей помог дойти какой-то молодой человек. Я думаю, что ухудшение ее здоровья в последующие месяцы было, в частности, стимулировано и этим обыском, в особенности если у нее уже был инфаркт в ноябре. Тогда Майя (жена Феликса) сделала ей кардиограмму на переносном аппарате с малым числом отведений, она сказала, что все благополучно. Возможно, это прибавило «смелости» ГБ.

В Москве Люся пошла в поликлинику Академии и повторила кардиограмму. Однако и там ей сделали кардиограмму с малым числом отведений и сказали, что инфаркта нет. Впоследствии (в марте 1984 года) эту кардиограмму смотрел профессор Сыркин. Люсе неизвестно точно его мнение, но, по-видимому, он какие-то тревожные изменения увидел.

На обыске отобрали примерно 250 страниц моих рукописей, а также многое другое: портативный (и весьма ценный) малоформатный киноаппарат, кассеты с отснятыми любительскими кинофильмами, магнитофонные кассеты с записью моего голоса и кассеты с записью голоса преподавательницы английского языка — с английскими уроками, неправильными глаголами и т. п.; книга переписки Бориса Пастернака с его сестрой Ольгой Фрейденберг (Люсе особенно жалко эту книгу, к тому же чужую); Люсину личную записную телефонную книжку; присланное мне из Канады письмо, где рассказывается о том, что мое обращение к Пагуошской конференции не могло быть использовано (по некоторым деталям я предполагаю, что это — фальшивка КГБ; но, быть может, я ошибаюсь, пусть в таком случае автор этого письма откликнется); копию моей телеграммы членам Президиума Верховного Совета СССР с просьбой включить узников совести в амнистию к 60-летию СССР.

Формально обыск проводился по делу С. В. Калистратовой. Конечно, это был только предлог. Ни один из документов и предметов, отобранных на обыске, не имел к Софье Васильевне никакого отношения (единственное — некриминальное — телефон С. В. в Люсиной записной книжке). В чем для КГБ была истинная цель обыска — мы можем только гадать. Может, это новая попытка помешать моей работе над воспоминаниями. Может, это попытка оказать психологическое давление на Люсю и на меня. Или это — реально некое подготовительное действие для более суровых мер против Люси, — мы не можем исключить этой возможности. До сих пор КГБ проводил против меня только кражи и негласные акции, теперь он провел формальное действие, которое обычно означает большую угрозу. Я надеюсь, что эта сторона дела понятна тем, кто озабочен нашей судьбой (и уж безусловно должно быть понятно, что действия против Люси — это действия и против меня; и наоборот), — написано в 1983 году.

В любом случае обыск 7 декабря, так же как гангстерская кража за два месяца до этого, означал дальнейшее ужесточение тех действий, которые разрешены КГБ против нас.

Как мне стало известно, через несколько дней после обыска в поезде на какой-то встрече присутствовали иностранные журналисты и Рой Медведев. Журналисты спросили Медведева, что он думает об обыске. Медведев сказал:

— Этот обыск вполне закономерен. Сахаров не имеет права писать воспоминания. Он в прошлом имел отношение к секретным работам. Я имею право писать воспоминания, а Сахаров — не имеет.

Это высказывание Медведева, возможно, способствовало тому, что обыск не получил большого отклика в иностранной прессе и радио. Я позволю себе заметить, что считаю себя вправе писать воспоминания, разумеется, не включая в них сведений, представляющих собой государственную или военную тайну. Более того, по причинам, о которых я неоднократно писал, я считаю это важным.

Перейду теперь к рассказу о моих общественных выступлениях за эти последние, горьковские годы. Моя высылка, как я убежден, явилась частью общей политики усиления репрессий против инакомыслящих. Также не случайно она совпала по времени с вторжением в Афганистан и последовала за моими выступлениями об этом. В дальнейшем сюда добавились польские события. Все это создало очень тревожную, даже трагическую ситуацию и определило тональность и тему моих выступлений. Одно из моих первых крупных выступлений из Горького так и называлось «Тревожное время» (статья в «Нью-Йорк таймс мэгэзин»). До этого было заочное интервью корреспонденту «Вашингтон пост» Кевину Клоузу (я отвечал в письменной форме на поставленные им вопросы, которые привезла Люся) и такое же письменное интервью итальянскому радио и телевидению. (Такая форма интервью и раньше мне подходила, так как я не слишком находчив в диалоге; теперь же она стала единственно возможной.)

В апреле 1980 года Люся сняла меня на кинопленку и записала на

магнитофон мое пятиминутное выступление. Эти кадры прошли по телевизионным экранам многих стран мира и привлекли очень большое внимание.

Не останавливаясь на нескольких других выступлениях общего характера, назову те, которые мне кажутся наиболее важными:

1. Письмо главам государств — постоянных членов Совета Безопасности об Афганистане.
2. Статья «Ответственность ученых».
3. Статья «Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир».
4. Обращение к участникам Пагуошской конференции.
5. Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу.
6. Текст выступления при получении премии имени Лео Сциларда. (Премия эта, которой я весьма горжусь, была присуждена мне Федерацией американских ученых; премию принимала от моего имени Таня Янкелевич на заседании Федерации 19 апреля 1983 года. Текст выступления удалось своевременно переслать; чего это стоило Люсе, — я не буду тут объяснять.)

В последних трех выступлениях, в основном, развивались те же мысли, что и в статье «Что должны сделать США и СССР...». В чем-то, однако, они отражают дальнейшее уточнение и конкретизацию моих мыслей. В особенности я придаю значение письму Дреллу. Дрелл прислал мне тексты своих выступлений и копии статей об ядерной опасности и проблемах ядерного разоружения через Люсю, у которой он был в январе 1982 года. Мое письмо представляет собой в известной мере ответ на его статьи.

Усилившиеся в последние годы репрессии против инакомыслящих, затронувшие многих близких мне прекрасных людей, — аресты и жестокие приговоры, угрожающие обыски — заставили меня выступать с обращениями в их защиту, адресованными мировой общественности и советским руководителям.

Одно из самых ужасных — дело Анатолия Марченко. Я писал об этом удивительном человеке, его мужестве и благородстве. Репрессивные органы не могли простить ему убийственно точной книги «Мои показания» (о современных лагерях и тюрьмах) и в особенности его спокойного и непоколебимого нонконформизма. В марте 1981 года он был арестован — в шестой раз! Суд состоялся через несколько месяцев. Судить его — кроме стойкости и независимости — фактически было не за что. Главным и почти единственным пунктом обвинения явилось письмо в мою защиту академику Капице и эссе «Терциум датум». Но Марченко — «рецидивист»; он осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Этот приговор ни за что человеку, уже проведшему в заключении половину жизни, тяжело больному — фактически пожизненный! Он разлучен со своей замечательной женой Ларисой Богораз, с горячо любимым сыном Павлом. Последнее время перед арестом Марченко усиленно строил своими умелыми трудолюбивыми руками дом в Карабанове — ближе к Москве ему не разрешали поселиться. И теперь Пашка отказывается переехать в Москву: «ведь надо докончить дом; этого так хотел папа!..». Я обращался с просьбой вмешаться в судьбу Марченко к академику Капице: как-никак это именно к нему было обращено Толино письмо; но я не получил ответа!

В мае 1980 года арестована член Хельсинкской группы Татьяна Осипова — жена Ивана Ковалева, сына Сергея Ковалева. Она осуждена на 5 лет ссылки *. Через год арестован и затем осужден на семь лет заключения и 5 лет ссылки ее муж Ваня Ковалев (тоже член Хельсинкской группы). Трагедия этой молодой семьи не может не потрясти. В 1982—1983 гг. Таня Осипова держала длительную голодовку, добиваясь права свидания с мужем. По советским законам такие свидания заключенного с заключенной не запрещены, но и не оговорены. Власти трактуют отсутствие упоминания как запрещение. Я обращался с просьбой способствовать разрешению свидания к Генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову и к мировой общественности. Аналогична судьба супругов Руденко и Матусевич. Ранее Люся пыталась добиться свидания Э. Кузнецова и Сильвы Залмансон — но тоже безуспешно.

* Т. Осипова была приговорена к 5 годам лишения свободы и 5 годам ссылки (**Прим. ред.**).

Преодолеть сопротивление властей, добиться осуществления естественного человеческого права на свидание мужа и жены не удается.

Вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки замечательный украинский поэт Василь Стус (сразу после вступления в Хельсинкскую группу Украины). Он умер в лагере.

Незадолго до окончания срока ссылки Мераба Коставы (в конце 1981 года) была устроена возмутительная провокация. Костава жил на частной квартире. К нему пришел незнакомый гость, сказавший, что он ссыльный художник. Неожиданно нагрянула милиция и задержала гостя под предлогом, что у него нет документов. Костава пошел в милицию выяснять причину задержания и был там арестован. Домой он уже не вернулся. Мераб Костава повторно осужден на 5 лет заключения якобы за нападение на работников милиции.

Я послал телеграмму с просьбой о вмешательстве в дело Коставы первому секретарю ЦК Грузии Шеварднадзе. В телеграмме я указал, что Костава арестован за действия, которые он совершил, следуя традиции гостеприимства грузинского народа. Ответа и результатов и у этой телеграммы, как обычно, не было.

Это мое выступление — первое после голодовки 1981 года, о которой я рассказываю в следующей главе. Люсе (еще совсем не оправившейся от голодовки) с большим трудом удалось на какое-то время ускользнуть от слежки и по междугородному телефону позвонить в Москву и передать текст телеграммы одному инкору. В прессе и по радио появилось сообщение о моем выступлении в защиту Коставы, но не передавался текст телеграммы и даже не сообщалось, что она адресована Шеварднадзе (а это было, по-моему, важно). В 1986 году Костава был осужден на третий срок! Освобожден лишь в 1987 году.

Репрессиям и издевательствам в заключении подвергаются Юрий Орлов, Анатолий Щаранский. А. Щаранский держал длительную голодовку за право корреспонденции и свидания с матерью.

Вновь арестована и осуждена к ссылке Мальва Ланда.

Этот горестный список можно продолжить...

В Москве в 70-е годы и в Горьком я продолжал попытки заниматься физикой и космологией. Мне в эти годы не удалось выдвинуть существенно новых идей, и я продолжал разрабатывать те направления, которые уже были представлены в моих работах 60-х годов. Вероятно, это удел большинства ученых по достижении ими некоторого предельного для них возраста. Впрочем, я не теряю надежды, что и мне, быть может, что-то еще «блеснет». При этом я должен сказать, что и просто наблюдение за научным процессом, в котором сам не принимаешь участия, но знаешь, что к чему, — доставляет глубокую внутреннюю радость. В этом смысле я «не жадный»...

Продолжу рассказ о нашей с Люсей горьковской жизни. Тут очень быстро установился некий шаблон. Примерно раз в месяц-полтора Люся уезжает в Москву, оставляя меня одного в квартире (с милиционером, дежурящим за дверью). Отсутствует она обычно 10—15 дней. (В первый год эти интервалы были гораздо короче; это, конечно, было еще утомительней для нее.) Каждая поездка — это бессонная ночь в душном или мертвенно-холодном вагоне, часто даже не в купированном, а в переполненном общем. Но Люсины поездки совершенно необходимы, это почти единственная наша связь с внешним миром, в том числе с детьми, оказавшимися за океаном. Поездки необходимы также и для того, чтобы она могла передать иностранным журналистам мои заявления, обращения и интервью по животрепещущим, часто трагическим поводам, а также способствовать (как я уже писал, не конкретизируя деталей) переправке рукописи этих воспоминаний. Все это, конечно, делается «явочным порядком» и требует от Люси не только огромных усилий, но и решимости. Обратно Люся едет с тяжелыми сумками (одна или две из них — «сумки-холодильники»), заполненными продуктами — творогом в пачках, сливочным маслом, мясом и многим другим, чего практически нет в Горьком — городе с полуторамиллионным населением. Замечу для объективности, что в самое последнее время снабжение в Горьком несколько улучшилось, напри-

мер овощами, а в Москве, наоборот, ухудшилось, так что разрыв сократился. Следует также указать, что некоторые дефицитные продукты, например колбаса, продаются закрытым образом по предприятиям — к нам все это имеет мало отношения (кроме овощей); закрытая продажа — вовсе не имеет.

Кстати, КГБ усиленно распускал слухи, что я в Горьком якобы получаю какие-то пайки на дом (финский сервелат, еще что-то столь же «обкомовское»). Многие этому поверили. Конечно, это абсолютная выдумка. Правда, раз в неделю, по пятницам, я вижу в окно, как привозят пайки (не слишком экзотические) для тех гебистов, которые делают свою таинственную работу вокруг меня. По числу пакетов я вижу, что их человек 35. Это — «стрелочники»; начальство где-то вдали...

Без Люси я стараюсь как можно больше работать, выходя из дома только за хлебом и овощами с непременной сумкой с документами и рукописями, перекинутой через плечо (килограмм 10—12 в лучшие дни, до кражи). Сумку я стараюсь не выпускать из рук. Даже выходя из машины, чтобы отдать в кассу бензоколонки талончики на бензин, я не оставляю свою сумку на сиденье.

Когда Люся приезжает, мы обычно в первый день обмениваемся новостями, и я читаю (так бывает далеко не каждый раз) «левые» письма от Руфи Григорьевны, детей и внуков. («Левые» — то есть кем-то привезенные; конечно, в письмах нет ничего, что следовало бы скрывать — просто посланные обычной почтой письма не доходят! Единственное, что приходит обычной почтой, — коротенькие открытки от Руфи Григорьевны, ей это разрешается; сейчас уже, видимо, нет — открытки приходят лишь частично).

Привозит Люся и некоторые книги, в том числе научные. Люсины рассказы, ее непосредственная, эмоциональная, но обычно точная реакция на людей и события, привезенные ею бумаги во многом определяют, что я должен срочно делать и писать.

На следующий день начинается необходимая работа, перед Люсиным отъездом переходящая в «аврал». Но в промежутке мы все же смотрим по вечерам телевизор, ходим (очень редко) в кино. В 1980—1981 гг. мы изредка ходили (в «разрешенных» пределах) гулять на откос Оки с чудесным видом вдаль или по осеннему полю. Эти мгновения ухода от города и неволи запомнились. Но в 1982 году у нас на такие прогулки (на самом деле очень близкие) уже не хватало сил и времени.

Явочным порядком мы завоевали право ходить к Хайновским — старым друзьям и дальним родственникам Руфи Григорьевны и Люси. Они издавна живут в Горьком; то, что мы оказались рядом, — чистая случайность.

В 50-е годы Руфь Григорьевна с трехлетней Таней жила у Хайновских. В Ленинграде ей после лагеря жить не полагалось (потом ей пришлось уехать еще дальше, в деревню в 30 километрах от Горького). Хайновские — ставшая нам близкой семья. Душой ее был Юрий Хайновский, очень живой, отзывчивый, общительный и душевный. Жизнь его никогда не была легкой. Детство и юность в семье политссыльного, ранение на фронте, арест и заключение за неосторожные разговоры, многолетний материальный недостаток. И вместе с тем, жили они дружно, почеловечески, окруженные людьми. К нам никого из них не пускают, но нашим поездкам к ним не препятствуют. В первые разы гебисты «нервничали», заглядывали в окна. Теперь они, видимо, получили разрешение и во время наших визитов потихоньку сидят в машине недалеко от дома Хайновских.

Начиная с апреля 1980 года ко мне приезжали мои коллеги-физики по ФИАНу. Потом эти поездки (после трех визитов) прервались; я дальше пишу — почему, и возобновились уже в 1982 году, а после кражи сумки, как сказано выше, возник еще один перерыв. Конечно, такие визиты очень важны для меня, в моей почти полной изоляции. Но они никак не в состоянии заменить нормального научного личного общения — с посещениями семинаров и конференций, свободными беседами в коридорах со свободно выбранными собеседниками, участия (пусть даже пассивного) в научных дискуссиях у доски, когда можно спросить то, что докладчику или автору кажется само собой разумеющимся, и одно слово все разъясняет... (Каждый научный работник знает, как это необходимо.) И угнетает то, что визиты физиков ко мне являются «управляемыми», явно используются для приглушения кампаний в мою защиту.

Из всех физиков в СССР нашелся лишь один, который дважды приезжал в Горький без разрешения властей и по предварительной договоренности встречался со мной на улице. Это — мой бывший однокурсник Миша Левин. В 40-е годы он был арестован и осужден по одному из известных политических дел того времени. Освободившись из заключения, он несколько лет жил и работал в Горьком, пока не произошло «потепления» и он не смог вернуться в Москву (как мы с Люсей — через столько лет). Мишина судьба — через их общего друга Севу — странно приближалась к Люсиной еще в довоенные годы! Таким же способом, как с Мишей, удалось встретиться еще с двумя людьми — с Наташей Гессе и Славой Лапиным, Люсиным однокурсником. Мы встречались либо на главпочтамте в назначенный час, либо в кафе на той же площади; гуляли, беседовали, заходили с Наташей к Хайновским. Со Славой вышла путаница; он не дождался нас, поехал в Щербинки, был задержан и имел двухчасовую беседу в ГБ — в его обычном блистательно «наивном» стиле. Потом мы случайно встретили его на улице, уже потеряв надежду его дождаться.

Каждый раз, когда в СССР приезжают иностранные ученые, заинтересованные в моей судьбе, они получают целый букет выдумок от академических официальных лиц — Александрова, Скрябина, Велихова (это президент, ученый секретарь, заместитель президента — соответственно). Оказывается, я живу в прекрасных квартирных условиях; у меня зарплата, как у министра; секретарша, домработница, привилегированное медицинское обслуживание, продуктовые пайки. Как очевидно из вышесказанного, все это — ложь. Роль секретарши, может, в какой-то мере исполняет Люся, вдобавок ко всем остальным обязанностям. Уборку квартиры, приготовление пищи, покупку продуктов производит тоже она, а в ее отсутствие — я. К слову — о медобслуживании: все оно, пожалуй, сводится к трем проявлениям — к зубной поликлинике, где у меня украли сумку, к насильственной госпитализации во время голодовки и немедленной выписке, как только у меня случился сердечный приступ; к врачам, оказавшимся около машины во время последней кражи с наркозом.

Перед отъездом Люся начинает орудовать на кухне: она готовит мне еду на время ее отсутствия, чтобы я, по крайней мере первую неделю, был избавлен от готовки. Все это помещается в холодильник, и я провожаю ее на вокзал. Цикл начинается снова...

Может, кому-то наша жизнь, по ее описанию, покажется не самой трудной. Действительно, она не столь чудовищна, как в лагерях и тюрьмах. Но то, что сделали со мной, — абсолютно беззаконно. И это очень опасно. По существу, держа меня в беззаконной изоляции, власти закрепляют возможность творить «законное беззаконие» и по отношению ко всем узникам совести. (Смешная аналогия: в первые послевоенные годы, когда было трудно с жильем, жилищные чиновники говорили нуждающимся:

— Что вы волнуетесь? Вот у нас один академик живет в ванной...

Правда, я не знаю такого академика, вероятно, это байка, но сейчас сам, не по своей вине, играю роль вроде этой.)

И еще я должен сказать: наша внешне спокойная (за исключением эксцессов КГБ) жизнь идет на самом деле с огромным напряжением сил, на нервах, на пределе. В особенности это относится к Люсе, не только к ее непрерывным поездкам в переполненных и душных вагонах, иногда на боковых полках, но и ко всей ее жизни.

В Москве на ее долю выпала вся теперь неразделенная тяжесть общения с инкорами, с приезжающими в СССР иностранными коллегами и другими озабоченными моей судьбой людьми; с московскими и немосковскими инакомыслящими и просто посетителями. Надо видеть это, чтобы понять всю физическую и психологическую тяжесть этих контактов. Наташа как-то, пожив с Люсей в Москве, сказала:

— Так жить невозможно, нельзя. Ты живешь на износ. (Добавление 1987 г. Очень скоро эти слова, к сожалению, получили подтверждение.)

Дела, которыми занимается Люся, вовсе не только мои (мои в малой мере), на нее одну лег весь тот правозащитный груз, который раньше лежал на обоих (передача материалов о новых арестах и судах, о ссыльных, об условиях в местах заключения, о всевозможных нарушениях прав человека, организация пресс-конференций для тех, кто сами не могут этого, активное участие в работе Хельсинкской группы; посылки и бандероли — это, быть может, главное, и др., всего не перечислишь!) Люся (как, впрочем, и я) далеко не здоровый человек, она не зря инвалид второй группы; сказывается контузия и многое другое, в особенности операция щитовидной железы 9 лет назад (написано в феврале 1983 года) и, конечно, не самый молодой возраст, целая жизнь по принципу «жить, не жалея себя».

Главная же трагедия ее жизни — разлука с детьми и внуками, вынужденными 5 лет назад уехать из СССР в бесконечно далекий и совсем не простой зарубежный мир, с полным отсутствием нормальной связи — почты и телефона (телефонной связи у меня нет и с Москвой). Я уже писал, что, когда они уезжали, мы понимали, что это будет тяжело и трудно, но насколько — мы все же не могли знать. Сейчас, уже почти три года, к этому добавилась разлука с мамой, Руфью Григорьевной. Все это завязано в тугой, неразрешимый узел.

Говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, что я в своей фантастической горьковской изоляции не стал мертвецом; если это так, то только благодаря Люсе. Это в равной мере относится и к общественной активности, и к науке, и к чисто человеческому общению. Поистине Люся дала мне жизнь и поддерживает ее. Чего это ей стоит — я пытался написать выше. Это все верно и в применении ко всем дням горьковской жизни и к самым первым, описанным в предыдущей главе (я рассказал там, как Люся помогла тогда найти и удержать верную и достойную линию на крутом повороте нашей судьбы).

Дело Лизы Алексеевой

Алеша уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам, не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, — не удались. Разлука ее с Алешей затянулась почти на четыре года, выезд Лизы стал возможен лишь после многолетних усилий, завершившихся голодовкой моей жены и моей в ноябре-декабре 1981 года.

На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее связью со мной, фактически Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности.

Одним из усложнявших обстоятельств была позиция родителей Лизы. Десятилетия изоляции нашей страны от остального мира и целенаправленной пропаганды создали в умах многих искаженные представления о жизни и целях других государств, образовали предубеждения против отъезда из страны. Отъезд представляется им изменой родине, эмигранты в их воображении неизбежно становятся агентами ЦРУ или какой-либо иностранной разведки. Родители Лизы не были тут исключением. Их позиция широко и демагогически использовалась — даже тогда, когда она фактически изменилась.

В первые месяцы 1978 года, когда родители Лизы еще не знали об ее отношениях с Алешей и желании уехать к нему, Лизина мама случайно нашла в кармане ее пальто письмо от Алеши — тогда еще была возможна переписка. Мама устроила Лизе большой скандал — сам факт переписки с человеком, уехавшим из страны, представлялся ей чудовищным и опасным. Лизин отец — инженер на заводе под Москвой, в прошлом военный, сейчас уже на пенсии, человек несомненно искренний и честный, вспыльчивый и упрямый. Было совершенно ясно, что позиция Лизиных родителей не изменится без каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Лиза — совершеннолетняя, по закону родители не могут препятствовать ее отъезду, но фактически при отсутствии их согласия даже подача документов на выезд оказывается чрезвычайно затрудненной. Как я уже писал, при подаче документов требуется справка от родителей об отсутствии или наличии у них материальных претензий; и если они не хотят отъезда, они могут заблокировать подачу документов, не давая никакой справки, при этом нет никакого юридического механизма заставить их это сделать. Частичный выход, который нашли люди, оказавшиеся в таком положении, — посылка документов в Верховный Совет, откуда их обычно пересылают в ОВИР; расчет тут на то, что за время рассмотрения в ОВИРе что-нибудь изменится в лучшую сторону. Так поступила и Лиза, послав в Верховный Совет свои документы, включая вызов от Томар Фейгин (мамы Ефрема) из Израиля, — т. е. было соблюдено и это формальное требование (незаконное, как я уже разъяснял). Впоследствии к этим документам был присоединен вызов от Алеши ей как невесте, а потом вызов как жене.

В апреле 1979 года (вскоре после возвращения Люси из Италии) неожиданно для нас были освобождены «ленинградские самолетчики» — те из них, кто был осужден на 10 лет заключения, т. е. более чем на год досрочно. Всего было освобождено пять человек — Альтман, Бутман, Вульф Залмансон, Пэнсон, Хнох. Вероятно, это был жест доброй воли перед предстоящими переговорами Брежнева и Картера об ОСВ-2, так же как и последовавший затем обмен еще пяти человек. Люся, так много сделавшая в этом деле и считавшая всех его участников своими близкими, тут же поехала в Ригу, где они были выпущены на свободу, чтобы повидаться с ними. Позже у нее возникла мысль, что кто-либо из освобожденных, не связанный другими обязательствами, назовет Лизу своей невестой и потребует ее выезда вместе с собой. «Самолетчики» улетали по высокой международной договоренности, это давало почти 100% вероятности успеха, но, конечно, надо было проявить настойчивость и стойкость. Она обсуждала с ними этот план в поезде Рига — Москва, и потом мы вместе продолжили уговоры на нашей кухне. К сожалению, «самолетчики» побоялись выполнить нашу просьбу — и сами по себе, и в особенности под влиянием «умных» советчиков. Чувствуя неловкость, они уехали, не попрощавшись с нами.

В эти дни у меня произошли сильные головокружения, очевидно, на сосудистой почве. Я лежал в кровати. По радио мы услышали о новом сенсационном освобождении в обмен на двух советских шпионов — на этот раз на двух главных обвиняемых самолетного дела — Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова (первоначально приговоренных к смертной казни, затем замененной 15 годами заключения), Александра Гинзбурга, Валентина Мороза и баптистского пастора Георгия Винса, в это время как раз направлявшегося из тюрьмы в ссылку. Вместе с Винсом за рубеж выезжала его семья, в том числе сын Петр, тоже только что вышедший из заключения. Я многократно выступал по делу как Георгия, так и Петра Винсов. Я решил обратиться к Петру с той же просьбой, с которой перед тем мы обращались к «самолетчикам». Лежа в постели, я написал письмо Пете Винсу, и Мальва Ланда повезла его в Киев, где жила семья Винсов. Однако при выходе на вокзале в Киеве ее задержала «милиция» (КГБ) якобы по подозрению в поездной краже (чуть ли не, говорилось, бриллиантов, конечно, это все была инсценировка). Мальву обыскали, отобрали у нее мое письмо и тут же насильно доставили обратно в Москву. Впрочем, вероятно, ей все равно, наверное, не удалось бы добраться до Винса, их дом был «обложен» КГБ, и никого туда не подпускали. Петя Винс уехал один. Это бы-

ла новая неудача вывезти Лизу, произошедшая сразу вслед предыдущей — с «самолетчиками».

В эти дни Лиза совершила суицидную попытку. Она приняла смертельную дозу попавшегося ей на глаза лекарства. К счастью, Люся заметила ее необычно «заторможенное» состояние, вызвала «скорую», и Лизу удалось спасти. Это был необдуманный поступок оказавшегося в трагической ситуации и совсем еще неопытного в жизни человека. Впоследствии Лиза жестоко раскаивалась. Я рассказываю здесь об этом, так как в этом деле особенно наглядно проявилась заинтересованность КГБ в Лизиной судьбе и так как оно имело влияние на последующие события и, как я думаю, на планы КГБ.

Несколько дней Лиза провела в больнице. Незадолго до ее выписки ко мне в ФИАНе после семинара подошел секретарь парторганизации теоротдела В. Я. Файнберг, с несколько смущенным видом. Потом он приехал к нам на улицу Чкалова и продолжил разговор. Оказывается, в ФИАН приходил отец Лизы, говорил с секретарем общеинститутской партийной организации, а до этого был в райкоме. Отец требовал, чтобы Лизу оградили от моего пагубного влияния, заставили ее не жить у нас. Самое примечательное, что в райкоме уже знали о Лизиной попытке самоубийства. Я кратко рассказал В. Я. об истинном положении дел. В ответ он, еще более смущенно, передал мне исходившую от райкома просьбу не предавать гласности произошедшее с Лизой. Он также обещал, что с отцом Лизы поговорят и постараются как-то успокоить, был в разговоре даже неопределенный намек, что помогут выезду — все эти обещания не были выполнены. Мы же пошли навстречу просьбе райкома, тем более, что публикация была бы тяжела для Лизы; поэтому мы и раньше не собирались ничего публиковать; после же «предупреждения» это как раз следовало сделать. А через месяц (или два) выяснилось, что райком был в этом деле просто передаточным звеном от КГБ! В газете «Неделя» (воскресное приложение к «Известиям» с отдельной подпиской) появился фельетон, целиком посвященный Лизе, центральным в нем была как раз попытка самоубийства. То, что мы ничего не публиковали, дало тут авторам преимущество первого впечатления. Авторы были явно кагебистские, в частности это подтверждалось тем, что в фельетоне использовалось и даже приводилось факсимиле моего письма Пете Вину, отобранное у Ланды на обыске (то, что личные письма недостойно публиковать без разрешения автора и адресата, конечно, игнорировалось). Лиза в фельетоне характеризовалась с самой худшей стороны — как наркоманка и морально неустойчивая личность. Она была обозначена условной буквой Н. Люся же (главная цель клеветы) и я были названы явно и полностью.

Впоследствии мы узнали, что все же, несмотря на усилия авторов фельетона, он произвел на многих впечатление, отличное от того, к которому стремились авторы и их «заказчик». Многие читатели (и особенно многие читательницы) спрашивали: «Если такая любовь, то почему девушка не может поехать к любимому человеку без всех этих сложностей?» В самом деле, почему?

В «Неделе» появился новый фельетон, который должен был, очевидно, исправить дело. Но это произошло уже после моей высылки в Горький, т. е. в «новую эпоху», и после еще одного события. В конце февраля 1980 года в США выехала Оля Левшина, первая жена Алеши, вместе с дочерью Катей. Их отъезд был неожиданным не только для нас, но и для всех знакомых и друзей Оли. Мы до сих пор не знаем всех обстоятельств, предшествовавших этому отъезду, мотивов самой Оли, позиции родителей, но несомненно, что ее отъезд отвечал каким-то планам КГБ и стал возможен благодаря КГБ. Формально, по-видимому, она уехала по тем же документам, которые были оформлены 2 года назад, но на самом деле мы и этого не знаем.

Второй фельетон в «Неделе» появился сразу за Олиным отъездом. Он во многом противоречил первому — но кто из читателей их будет сверять! Тема любви Алеши и Лизы отсутствовала. Получалось так, что Алеша допустил «загул», валялся потом у жены в ногах, она его простила, хотя и не сразу, но теперь семья восстанавливается, Оля едет к мужу. Люся же — любящая бабушка (как будто это криминально) — устраивает отъ-

езды и Оле, и Лизе, последней — «чтобы удалить следы своих преступлений». Фельетон назывался «Оглянись, человек», в нем было обращение к Н., которая, якобы, в любой момент может свободно уехать, уже вроде бы уезжает, но должна в последний момент одуматься и понять, что демоническая Елена Боннэр посылает ее «в никуда» (Алеша уже соединился со своей законной женой), на верную гибель ради каких-то своих планов. Самой же Лизе, к этому времени уже несколько месяцев ждавшей ответа на поданное в ОВИР заявление, как бы давалось понять, что она никогда и никуда не уедет — но это было ясно только посвященным. Оба фельетона были перепечатаны в горьковской местной газете, возможно и в других изданиях, и в сокращенном виде за рубежом.

Тогда же в итальянской газете «Сетте джорни» появился фельетон, специально посвященный Люсиным «преступлениям». Номер газеты был прислан по почте ряду людей в СССР, возможно и за рубежом. Начальнику теоротдела ФИАНа академику Гинзбургу, находящемуся в командировке в Италии, номер подложили в машину советского консульства (я узнал об этом не от самого Гинзбурга, а через третьих лиц). Автор фельетона ссылался на Семена Злотника — это мифический персонаж, под именем которого выступает КГБ. Якобы автору фельетона удалось встретиться с Семеном Злотником (кажется, в Ницце), и тот рассказал ему о сенсационных фактах из жизни жены академика Сахарова Елены Боннэр. Фельетон был написан в самом низкопробном бульварно-постельном стиле и не только содержал безудержную клевету и ложь в Люсин адрес, но и демонстрировал знание подробностей Люсиной жизни чуть ли не с пеленок — несомненный плод тщательного изучения ее биографии целой армией гебистов. Так, в фельетоне говорилось, что в школе, где училась Люся, велась игра в героев «Трех мушкетеров» Дюма, и Люся выступала в роли миледи (демонической красавицы). Автор фельетона тем как бы создавал у читателей соответствующий образ Люси. Игра в названия героями Дюма в Люсином классе в Ленинграде действительно велась, но за год до того, как Люся приехала из Москвы после ареста родителей, и миледи была совсем другая девушка (не исключено, что именно от нее и получили гебисты эту информацию). Фельетон развивал тему якобы причастности Люси к гибели жены Злотника и жены Всеволода Багрицкого. Обвинить автора фельетона в клевете при этом было невозможно, так как он ссылался на рассказ Семена Злотника, с которого уже совсем нет спроса, поскольку он не существует. Кончался фельетон зловещим намеком: Елене Боннэр удалось уйти от ответственности за два преступления — убийства или подстрекательство к ним, но если она совершит третье, то несомненно ответит за это. В этом, видимо, была вся соль. КГБ, толкая Лизу к отчаянию, к гибели, может к новому суициду, заранее готовил психологическую почву для того, чтобы обвинить в этом Люсю (тем самым объясняется также фраза в фельетоне «Недели», что Люся пытается выслать Лизу за рубеж, так как она свидетель ее преступлений!).

Оля приехала в Бостон и начала там работать. Развод Алеши и Оли был оформлен через несколько месяцев после ее приезда. Суд определил алименты и дни обязательного общения дочери с отцом. Со временем Катя вновь привыкла к Алеше, подружилась с Мотей и Аней; во всем этом была существенная, положительная сторона приезда Оли. Сейчас Катя уехала из Бостона, так как Оля вышла замуж, что само по себе, конечно, очень хорошо; общение Кати с Алешей и Лизой, приехавшей в конце 1981 года, и с другими родственниками в Бостоне не прерывается.

Только после развода Алеша смог послать Лизе приглашение как невесте; при этом советское консульство отказалось, вопреки обычной практике, его завизировать, вновь демонстрируя исключительность и трудность нашей ситуации.

Между тем Лизино положение продолжало обостряться. До мая 1980 года Лиза свободно ездила ко мне в Горький (с Люсей или с Руфью Григорьевной). Но 16 мая, когда они вместе с Руфью Григорьевной поехали на мой день рождения, ее не пустили. Она отошла от Руфи Григорьевны, чтобы купить сигарет, мужчины в штатском схватили ее и затащили в комнату железнодорожной милиции, она даже не успела крикнуть. Это, конечно, были гебисты. Они заявили ей: «Вы знаете, кто мы. Мы слов на ветер не бросаем. Вам запрещается ездить в Горький. Вы не должны жить на

улице Чкалова, должны вернуться к родителям!» (Последнее при сложившихся отношениях было исключено.) Через несколько дней Лизу вызвали в КГБ (в «орган КГБ», как было написано в повестке) и сделали официальное предупреждение об уголовной ответственности по статье 190-1 в случае продолжения ею ее деятельности. (Это так называемое «Предупреждение по Указу». КГБ получил по Указу Президиума Верховного Совета право делать такие предупреждения.)

В дальнейшем угрозы в отношении Лизы много раз повторялись, и мы не могли думать, что это только пустые слова. Однажды при поездке Лизы вместе с Люсей в Ленинград они с Наташей Гессе пошли на рынок. Там к Лизе подошли несколько гебистов, и один из них заявил: «Убьем».

Летом 1980 года я послал телеграмму на имя Брежнева, где просил о разрешении Лизе на выезд к любимому человеку, жениху, и подчеркивал, что все, что происходит с нею,— это заложничество, связанное с моей общественной деятельностью.

В августе я обратился с большим подробным письмом к заместителю президента Академии академику Евгению Павловичу Велихову, в его лице к президенту и президиуму Академии. Два месяца Велихов ничего не отвечал на мое письмо и на повторные телеграммы, потом 14 октября прислал телеграмму такого содержания (привожу по памяти): «Мною принимаются меры для выяснения возможностей выполнения Вашей просьбы. По получении результатов сообщу». После этой телеграммы Велихов никогда ничего не сообщил и никак не реагировал на мои дальнейшие телеграммы и еще два посланных ему письма.

20 ноября 1980 года я обратился с большим открытым письмом к президенту АН СССР академику А. П. Александрову. В письме затронут ряд общих и более частных тем. В этом письме я прошу Александрова и в его лице Президиум о помощи в деле Лизы. Ответа я не получил.

Летом 1980 года и зимой 1980/81 года Люся со своей стороны обращалась с просьбой о поддержке к различным общественным и государственным деятелям Запада. Я написал тогда же свое первое письмо канцлеру ФРГ Шмидту.

3 февраля 1981 года я послал большие и подробные письма с настоятельной просьбой о помощи Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону.

Я считал (и считаю), что я в особенности имел моральное право рассчитывать на их помощь — в силу нашей более чем двадцатилетней совместной напряженной работы, а в случае Якова Борисовича Зельдовича и в силу личных дружеских отношений — в деле, которое было столь трагичным, ключевым для меня. Я писал им об этом, подчеркивая, что я прошу у них помощи именно в деле о выезде Лизы и ни в каком другом. Я не получил никакого ответа от Ю. Б. Харитона. Устно мне были переданы его слова, что ответ Якова Борисовича является и его ответом. От Зельдовича же я получил письмо, о котором я рассказал в первой части книги. Яков Борисович писал, что не может выполнить мою просьбу из-за неустойчивости его положения, которая проявляется в том, что его не пускают за границу дальше Венгрии.

Лиза послала свое заявление в ОВИР 20 ноября 1979 года. Через полтора года в мае 1981 года ее вызвали в ОВИР и сообщили об отказе. Отказ сообщал сам начальник Областного ОВИРа полковник Романенков в присутствии заместителей и секретарей и еще двух людей явно из КГБ. Причина отказа, названная Романенковым,— «недостаточная мотивация воссоединения» (?!). К этому времени у Лизы, кроме вполне достаточного по формальным требованиям ОВИРа вызова от Томар Фейгин, был и вызов от Алеши ей как невесте. Присутствовавший гебист обратился к Лизе с предложением написать отказ от дальнейших попыток выехать из СССР. Он многозначительно добавил: «Так и нам, и вам будет спокойней». Предложение это было беспрецедентным и совершенно противоправным — это был шантаж. Оно также раскрывало моральную и юридическую слабость позиции властей. Лиза решительно отказалась.

Смысл фразы «вам будет спокойней» вскоре стал выявляться. Через несколько дней Лизу дважды вызывали на допросы, формально по делу Феликса Сереброва (одного из арестованных членов Комиссии по использованию психиатрии в политических целях и Хельсинкской группы), а фактически — чтобы угрожать ей и запугивать. Допросы происходили в очень грубой форме, с криком, чего Лиза совершенно не выносит, и угрозами как ареста, так и физической расправы. Так, один из следователей угрожал выкинуть ее в окно!

После получения Лизой Алексеевой необоснованного отказа и угроз я решил еще раз обратиться к Брежневу, на этот раз с подробным письмом (отослано 26 мая). В письме я вновь рассказал о деле Лизы, привел аргументы, показывающие необоснованность отказа ей. В заключение я писал: «Я обращаюсь к Вам как к Председателю Президиума Верховного Совета СССР, чья подпись стоит под Заключительным Актом совещания в Хельсинки и другими важнейшими документами, и как к человеку, лично знающему меня с 1958 года. (Я, возможно, ошибся, надо — с 1959 года, а может, наоборот, ошибка в первой части воспоминаний.) У Вас, я уверен, нет оснований сомневаться в моей субъективной честности и искренности. Я готов нести личную ответственность за свою общественную и публицистическую деятельность в соответствии с законами государства. Но то, что происходит со мной и вокруг меня,— бессудная высылка, круглосуточный надзор и изоляция, кража личных и научных записей органами КГБ. В особенности же недостойным является использование КГБ судьбы моей невестки для мести и давления на меня. Это неприкрытое заложничество, и настоящим письмом я ставлю Вас об этом в известность. Недопустимость заложничества неоднократно провозглашалась представителями СССР. Отпустив Лизу, власти подтвердили бы этим свои заверения. Я убежден, что разрешение Е. Алексеевой на выезд из СССР не только прекратит многолетние страдания разлученных любящих, но и будет актом справедливости, способствующим авторитету СССР. Я обращаюсь также с просьбой помочь в деле выезда Алексеевой к главам ряда иностранных государств. С уважением (подпись)». Никакого ответа на это письмо, как и на телеграмму в 1980 году, не было.

Тогда же — в мае или июне 1981 года — я сказал Люсе: «Мне кажется, что исчерпаны все средства, кроме голодовки». Она в принципе со мной согласилась.

Между тем вскоре удалось завершить дело, которое, хотя и не решало само по себе проблемы Лизиного выезда, но имело очень большое косвенное значение, в особенности моральное, как подтверждение верности Алеши и Лизы, их любви. 14 июня в штате Монтана в Северо-Западной части США Алеша в суде города Бют вступил с Лизой в заочный брак. В США есть несколько штатов, где штатное законодательство допускает заочное бракосочетание, один из них — расположенный в Северо-Западной части страны штат Монтана. На церемонии, состоявшейся в торжественной обстановке в городском суде города Бюта, невесту представлял Эд Клайн, большой друг нашей семьи (создатель вместе с Чалидзе «Хроники-пресс»). Эд имел заверенную доверенность от Лизы, получение ее и доставка представили большие трудности. Вдобавок мы не знали, что в США, как и в большинстве стран, но не в СССР, при вступлении в брак требуются справки об отсутствии венерических заболеваний. Во время церемонии Алеша и Эд обменялись кольцами, оба очень волновались.

Официальные лица и пресса в СССР утверждают, что заочный брак в СССР не имеет законной силы. Один из иностранных корреспондентов, узнав о заочном браке Лизы и Алеши, позвонил в ОВИР и спросил о том, как это повлияет на выезд Е. Алексеевой. Он, конечно, сделал это зря — ответ был автоматически отрицательным, а звонок и публикация как-то его легализовали. Между тем в советском Кодексе о браке написано, что заочный брак, заключенный в какой-либо стране в соответствии с ее законами, признается законным в СССР*. Правда, мы сами об этой статье закона узнали уже после голодовки, когда вопрос был уже разрешен. Практически, конечно, КГБ бы с законом считаться не стал, даже если бы мы и указывали на этот аргумент в дополнение к другим, тоже юридически достаточным.

* По-видимому, А. Д. Сахаров имеет в виду ст. 162 Кодекса о браке и семье РСФСР: «...В тех случаях, когда... браки советских граждан с иностранными гражданами заключены вне пределов СССР с соблюдением формы брака, установленной законом в месте его совершения, эти браки признаются действительными в РСФСР...» **(Прим. ред.).**

Родители Лизы Алексеевой, узнав о том, что Лиза и Алеша вступили в заочный брак, переменили свою точку зрения на Лизин отъезд — для них подтверждение Алеши его верности Лизе имело большое значение. Отец Лизы Константин Александрович Алексеев написал летом 1981 года письмо Брежневу, в котором он просил отпустить его дочь. К сожалению, мы об этом тогда не знали. КГБ же, безусловно зная о письме отца, до самых последних дней до окончательного решения продолжал ссылаться на прежнюю позицию родителей, в частности об этом писалось в статье в «Известиях», опубликованной уже 4 декабря 1981 года.

В сентябре 1981 года в Москве состоялась большая Международная конференция по управляемому термоядерному синтезу. Я послал письмо многим иностранным участникам конференции с просьбой о поддержке в деле Лизы. Однако большинство из тех, кому я писал, на конференцию не приехали, поддерживая политику бойкота. К сожалению, я не послал письмо Председателю Европейского физического общества профессору Энгельману, который вместе с Велиховым был сопредседателем конференции — мне кажется, что я предполагал отправить ему письмо, но в обычной суете перед отъездом Люси в Москву этого не сделал. Как мне передали, профессор Энгельман два дня отказывался открывать конференцию, требуя присутствия на ней Сахарова — одного из пионеров ее темы — и еврея-отказника доктора Альперта, специалиста по ионосфере. Потом какими-то ложными аргументами Велихову удалось его уговорить. О деле Лизы Энгельман, по-видимому, не знал и ничего поэтому о нем Велихову не говорил.

Кроме иностранных участников, я также послал письма советским участникам — академикам П. Л. Капице и Б. Б. Кадомцеву и еще одно, уже упомянутое письмо Велихову. Ни один из них никак не реагировал на мои письма.

Окончание следует

Александр Сопровский

ЧЕРНАЯ РАВНИНА

* * *

Ноябрьский ветер запахом сосны
Переполняет пасмурные дали.
Что значил этот сон? Бывают сны
Как бы предвестьем ветра и печали.
Проснешься и начнешь припоминать
События: ты где-то был — но где же?
На миг туда вернешься — и опять
Ты здесь... и возвращаешься все реже.
Так в этот раз или в какой другой
(Уже не вспомнить и не в этом дело),
Но там был лес, поселок над рекой,
И синева беззвездная густела.
Там загоралось первое окно,
Шептались бабки на скамье у дома,
Там шел мужик и в сумке нес вино —
Там было все непрошено знакомо.
Там жили, значит, люди. Я бы мог
(Но веришь, лучше все-таки не надо)
Приноровить и опыт мой, и слог
К изображенью этого уклада.
Когда б я был тем зудом обуян,
Когда б во мне бесилась кровь дурная,
Я принялся бы сочинять роман,
По мелочам судьбу воссоздавая.
Тогда бы я и жил не наугад,
Расчислив точно города и годы,
И был бы тайным знанием богат,
Как будто шулер — знанием колоды.
Я знал бы меру поступи времен,
Любви, и смерти, и дурному глазу.
Я рассказал бы все. Но это сон,
А сон не поддается пересказу.
А сон лишь образ, и значенье сна —
Всего только прикосновенье к тайне,
Чтоб жизнь осталась незамутнена,
Как с осенью последнее свиданье.

ноябрь 1989

Александр СОПРОВСКИЙ родился в 1953 году в Москве. Учился в Московском университете, на филологическом и историческом факультетах, с последнего был отчислен за зарубежные публикации. Работал бойлерщиком, рабочим в экспедициях, церковным сторожем. Последние годы зарабатывал на жизнь репетиторством и стихотворными переводами. Стихи писал с 1969 года. Печатался в США, во Франции, в Югославии, в Австрии и т. д. Один из основателей в начале 70-х годов литературной группы «Московское время». Автор статей о Пушкине, Мандельштаме, Галиче, о Льве Шестове, «Книге Иова» и др. Погиб в автокатастрофе в декабре 1990 года.

* * *

Юность самолюбива.
Молодость вольнолюбива.
Зрелость жизнелюбива.
Что еще впереди?
Только любви по горло.
Вот оно как подперло.
Сердце стучит упорно
Птицею взаперти.

Мне говорят: голод,
Холод и Божий молот.
Мир, говорят, расколот,
И на брата — брат.

Все это мне знакомо.
Я не боюсь погрома.
Я у себя дома.
Пусть говорят.

Снова с утра лило здесь.
Дом посреди болотец.
Рядом журавль-колодец
Поднял подобья рук.
Мне — мои годовщины.
Дочке — лепить из глины.
Ветру — простор равнины.
Птицам лететь на юг.

август 1989

* * *

Мы больше не будем на свете вдвоем
Свечами при ветре стоять.
Глаза твои больше не будут огнем
Недобрым и желтым сиять.
Любимая, давешняя, вспомяни
Свечи оплывающей чад.
В длину, в высоту погоревшие дни,
Как черные балки, торчат.
И пусть их болтают, что правда при них,
И сплетни городят горой.
Мы прожили юность не хуже других
И так, как не смог бы другой.
Я снова брожу в черепковском лесу,
Березовой памятью жив,
И роща свечная дрожит на весу,
Дыхание заворожив.
Как будто мы снова на свете одни,
И, дятлом под ребра стуча,
Прекрасное лето в апрельские дни
Упало на нас сгоряча.

1975

* * *

Нас в путь провожали столетние липы,
Да лампа над темным надежным столом,
Да каменных улиц гортанные всхлипы
С нежданно родившимся в камне теплом.

Мазутных пакгаузов лязг на рассвете,
Цветущие шпалы железных дорог,
Ровесников наших послушные дети,
Да весен московских гнилой ветерок.

И редко кто был виноват перед нами:
Мы стол покидаем в положенный час,
Но будет о ком тосковать вечерами
Глазастым потомкам, не знающим нас.

Разрушатся времени ржавые звенья —
И, может быть, сделаются от того
Нужней и бесхитростней наши прозренья,
Отрывки, ошибки, беда, торжество.

Тогда все сольется в прозрачную повесть
И выступит, будто роса на траве.
Нас в путь провожает непонятый посвист
Разбуженной птицы в дождливой листве.

1975

* * *

Заката рыжая полоска,
Как будто птица горихвостка
Взмахнула огненным пером
Над керосиновым ведром.
Ее усильем невесомым
Обочины озарены
Бесшумным заревом веселым
До появления луны.

Покуда нам нельзя на волю,
Пока в неволе мочи нет,
Остался свет на нашу долю,
Ночной предавгустовский свет.
Остался впредь до жути зимней
Под осязаемой луной
На нашу долю — короб синий
Нагретый, звездный и земной.

Нам остается месяц лета —
И можно ждать, как всякий год,
Пока багровый круг рассвета
Над хрупким дымом не взойдет.
Мы в чистом воздухе окраин,
Как пробки, фортки отворяем —
И пьем рябиновый настой
С последней выжатой звездой.

В такие дни острее слышит
Намеки совести душа.
Над самым ухом осень дышит,
Листами твердыми шурша.
И надо, с зоркостью орлиной
На глаз отмерив крайний срок,
Надежду вылепить из глины
Размытых ливнями дорог...

1975

* * *

Я книгу отложил — и, кажется, душа
Осталась без меня под темным переплетом.
А я закрыл глаза, и лишь комар, жужжа,
Перебивал мне сон охотничьим полетом.

И наяву еще или уже во сне,
Но сдавливая грудь какой-то болью давней,
Той мудрости слова напоминали мне
О двадцати годах надежд и ожиданий.

И оглянулся я на двадцать лет назад,
Под перестук времен — на сбывшиеся строки,
И в брызгах дождевых был над Москвой закат,
И радуга была вполнеба на востоке.

Вот так я жизнь и жил — как захотел, как смог.
То соберусь куда, то возвращусь откуда.
И тьма ее низка, и свет ее высок,
И велика ли честь надеяться на чудо?

Надеяться и ждать. Не напрягая сил,
Осенней горечью дышать на склоне лета,
Ступить на желтый лист, забыть, о чем все это,
И выдохнуть легко — октябрь уж наступил...

август 1989

* * *

Отара в тумане скользит по холму.
Равнина незрима для глаза.
Доколе же брату прощать моему:
Скажи — до седьмого ли раза?

Стада исчезали — и скрылись совсем
За синий расщеп перевала,
Когда непреклонное: семижды семь —
В ответ на века прозвучало.

Господь! наша память доселе строга:
Верни нас на тропы овечьи,
Где мы бы исправно простили врага —
И с братом зажгли семисвечье.

Но слышишь — над рощей с утра воронье.
Гордится земля пустырями.
Здесь дышит на ладан людское житье.
Не двое, не трое во имя Твое:
Приди и постой между нами.

...Морщинки от глаз исподлобных бегут,
И ежели деду поверить,
И ежели счет на морщины ведут,
Их семижды семь — не измерить.

Ты слышал ли песню разграбленных хат —
Отчизны колхозные были —
Про то, как он выехал на Салехард
И малого как хоронили?

Как мерзлая тундра сомкнулась над ним,
Костры на поминках горели,
И стлался над тундрой Отечества дым
По всей ледяной параллели...

...Дорожка ты, тропка! На праздник, как в ад,
На труд, как на смерть — и обратно.
Все утро вдоль пункта приема звенят
Бутылки светло и опрятно.

Смеркается медленно. Пьяный орет,
Поводит больными плечами,
Про то, как ..ут его дни напролет
И как его сушит ночами...

По этой земле не ступал Моисей,
Законы — вне нашей заботы,
И где те блаженные — семижды семь,
Когда бы мы сели за счеты?

Господь! отведи от греха благодать
Под сень виноградного сада.
Сподобь ненавидеть, вели не прощать,
Наставь нас ответить, как надо.

...Черно небо гор. Поднимается дым —
Молочная просека к звездам.
Когда мы вернемся, мы сразу простим:
К Тебе возвращаться не поздно.

1980

* * *

Как хочется приморской тишины,
Где только рокот мерного наката
С подветренным шуршанием сосны
Перекликается подслеповато.

С утра в туман под пенье маяка
Покойно спится человеку в доме.
Пространства мускулистая рука
Рыбачий берег держит на ладони.

Как будто настежь ветру и штормам
Раскрыт неохраняемый порядок.
Пока со звоном не спадет туман,
Обрызгав иглы тысячами радуг.
И горизонт расчиститься готов,
И прояснятся в оба направленья
Каркасы перекошенных судов —
И мощных дюн пологие скругленья.

Вдоль набережной под вечер поток
Наезжих пар курортного закала.
Веранда бара. Легкий холодок
Искрящегося в сумерках бокала.

Что грустно так, усталая моя?
Повесив нос — развязки не ускоришь.
Я взял бы херес: чистая струя,
Сухая просветляющая горечь.
И в даль такую делаешься вхож,
Откуда и не возвращаться лучше...
Уж если в мире — памяти на грош,
Так выбирай беспамятство поглуше.
Подкатит — оторваться не могу.
Магическим обзавестись бы словом,
Открыть глаза на этом берегу —
И захлебнуться воздухом сосновым.

1982

* * *

А. Цветкову

Налей и за старое выпей
Наплюй на уик-энд и поп-арт.
Уже сочиняет нам гибель
Какой-то февраль или март.
Затем нас не гладят по шерстке,
Что сказано: время — вперед! —
И ласточка взором пижонским
Обмерила твой самолет.

О чем тебе снится, покуда
Два неба в раструбах очес,
Пока я с надеждой на чудо
В прожекторах ночи исчез.
Я сгинул под зимние грозы
В родном до проклятья краю...
Березы, березы, березы
Судьбу обступили мою.

Дворы наши в желтых сугробах.
Шурша, догнивает листва.
В беззвездных туманах багровых
Метелями бредит Москва.

Кому-то срываться в рыданье,
Хватаясь за воздух рукой.
Кому-то стекаться рядами
На сбор за Непрядвой рекой.

Мы сдохнем на черной равнине
В расстрелянной светлой дали,
Обнявшись, как братья родные,
Чтоб чистой волной позывные
Сквозь крупчатый воздух прошли.

1976

* * *

Ты помнишь: мост, поставленный над черной,
Неторопливо плещущей волной,
Колокола под шапкой золоченой
И стойкий контур башни угловой.
А там, вдали, где небо полосато,
В многоязыком сумрачном огне
Прошла душа над уровнем заката —
И не вернулась, прежняя, ко мне.

Когда же ночи темная громада
Всей синевой надавит на стекло,
Прихлынет космос веяньем распада -
И мокрый ветер дышит тяжело.
Но смерти нет. И от суда хранима,
Как будто куща в облачной дали,
В налетах дыма — черная равнина,
И пятна крови в гаревой пыли.
Пора мне знать: окупится не скоро,
Сверяя счет по суткам и годам,
Полночный труд историка и вора,
Что я живым однажды передам.

Настанет день — и все преобразится,
Зайдется сердце ерзать невпопад,
И будет — март, и светлая водица
Размоет ребра зданий и оград.
И поплывет — путей не разобрать —
Огромный город — мерой не измерить...
Как это близко: умирать и верить.
Как это длится: жить и умирать.

1977

* * *

Школьница, ослушница, сестрица,
Тихий омут — темная вода.
Вспомнится, приснится, повторится
Дней непоправимых череда.
Мы упрямы, и судьба упряма.
Ночь длинна, разлука далека.
Завтра утром подниматься рано.
Ты ложись, я посижу пока.
Я не знаю, отчего с тобою
Всякий раз, забудешься едва,
В душу лезет давнее, родное,
Чистые Пруды, 12«а».
Слышишь — соблазнительный, опасный
Прошлого несбывшегося зов?
Снег искрится. Светит месяц ясный.
И надежен наш последний кров.
Угли красны. Жар идет на убыль.
Я задвину вьюшку для тепла.
Видишь, как убийственно мы любим?
Помнишь, как черемуха цвела?
По душе тебе с таким отпетым?
Отвернись, забудь, усни, прости...
Залиты лилово-белым светом
Железнодорожные пути.
Зоркие озябшие созвездья
Стерегут равнину до утра.
Мы одни здесь, мы вдвоем, мы вместе.
Милая, проснись. Вставать пора.

1988

* * *

Б. Кенжееву

Записки из мертвого дома.
Где все до смешного знакомо,
Вот только смеяться грешно —
Из дома, где взрослые дети
Едва ли уже не столетье,
Как вены, вскрывают окно.

По-прежнему столпотвореньем
Заверчена с тем же терпеньем
Москва, громоздясь над страной.
В провинции вечером длинным
По-прежнему катится ливнем
Заливистый, полублатной.

Не зря меня стуком колесным —
Манящим, назойливым, косным —
Легко до смешного увлечь.
Милее домашние стены,
Когда под рукой — перемены,
И вчуже — отчетливей речь.

Небось нам и родина снится,
Когда за окном — заграница.
И слезы струятся в тетрадь.
И пусть себе снится, хвороба.
Люби ее, милый, до гроба:
На воле — вольней выбирать...

А мне из-под спуда и гнета
Все снится — лишь рев самолета,
Пространства земное родство.
И это, поверь, лицедейство —
Что будто бы некуда деться,
Сбежать от себя самого.

Да сам-то я кто? И на что нам
Концерты для лая со шмоном —
Наследникам воли земной?
До самой моей сердцевины —
Сквозных акведуков руины,
И вересковые равнины,
И — родина, Боже Ты Мой...

декабрь 1983

Первое пуническое послание

С. Гандлевскому

Я расскажу тебе, Серега,
(Ты рад, я вижу по глазам),
Как левым бортом «Саратога»
Развертывается к пескам.
Уже ишак ревет спросонок,
И горизонт расцвесть готов,
И замерли на рейде сорок
Сопровождающих судов.
Под килем бездна голубая,
С востока — золотая мгла,
И вздрогнет первый луч, играя
На серой плоскости крыла.

Всё шире свет по небосклону.
Свежее ветер перемен.
Так отворился Сципиону
Приговоренный Карфаген.
Воспоминания игривы —
Но это, кореш, навсегда.
Здесь по ночам летают рыбы,
Фосфоресцирует вода.
И праздный раб слагает оду
Тому, кто не страшась толпы,
Мечом распространил свободу
За Геркулесовы Столпы.

апрель 1986

* * *

Вот оно — время, которого мы дождались.
Вот оно — время, в которое зажились мы.
Что с нами будет теперь: настоящая жизнь —
Или гнилой полусвет пересыльной тюрьмы?

Или тюрьма-то и есть настоящая жизнь,
А остальное все — треп, бестолковщина, тлен?
В общем, короче, мы дожили — только держись.
Вот наше время — другого не надо взамен.

Как мы пророчили, прежний застой торопя
Сдвинуться, стронуться — сделаться проще, честней —
Так и сбывается. Время — просить у Тебя:
Вот наша родина, Господи, будь же Ты с ней —

С этими путаными, окаянными и
Втянутыми в безнадежную эту игру...
Светятся все же в окошке у каждой семьи
Слабой надеждой — огни на московском ветру.

Вот и снежку намело. На заре выхожу,
Скрипнув засовом, на снег из церковных ворот.
Воздухом, как уж давно не дышалось, дышу —
И ничего не загадываю наперед.

3—12 ноября 1983

* * *

Спой мне песенку, что ли — а лучше
Помолчим ни о чем — ни о чем.
Облака собираются в тучи.
Дальний выхлоп — а может, и гром.

Ничего, что нам плохо живется.
Хорошо, что живется пока.
Будто ангельские полководцы,
Светлым строем летят облака.

Демократы со следственным стажем
Нас еще позовут на допрос.
Где мы были — понятно, не скажем.
А что делали — то и сбылось.

октябрь 1990

* * *

Опять на пробу воздух горек,
Как охлажденное вино.
Уходит год. Его историк
Берет перо, глядит в окно.
Там город сумерками залит,
Повизгивают тормоза,
Автомобиль во мглу сигналит —
И брызжет фарами в глаза.

Там небо на краю заката
Вдаль от огней и кутерьмы
Отсвечивает желтовато,
Проваливаясь за холмы.
И, бледно высветив погосты
За лабиринтами оград,
Осенние сухие звезды
В просторном космосе горят.

Быть может, через меру боли,
Смятенья, страха, пустоты
Лежат поля такой же воли,
Такой же осени сады.
Быть может, затмевая очи,
Проводит нас за тот порог
Бессвязный бред осенней ночи,
Любви и горечи глоток.

Как будто легкий стук сквозь стену
В оцепененье полусна,
Как будто чуткую антенну
Колеблет слабая волна.
Как будто я вношу с порога,
Пройдя среди других теней,
Немного музыки. Немного
Бессонной памяти моей.

1985

Публикация Татьяны Полетаевой

Валерий Болтышев

ЭГЕЙ

РАССКАЗ

Снился дом без потолка. Наверху была крыша и шесть стропил, и больше во сне не было ничего, кроме серого инея на стропилах и голой высоты до них.

Так было много раз. Эгей не знал, сколько. Он просыпался от холода, потому что забывал закрыть трубу. Сперва тепла хватало до света. Но к Рождеству мороз выстоялся. Эгей открывал глаза, была ночь. Он приносил дрова — а иногда Эгею только казалось, будто он принес дрова и они горят уже, сухие, горькие, а он греет руки.

В рождественскую ночь Эгей топил четыре раза. Ночь была ясная. И к утру уже Эгей сел отдышаться под тополь. Над ним в ветвях стояли звезды, а под ногами светилось. Потом Эгей понял, что спал. Он побежал в дом, все тряпье, какое было, висело по стенкам, покидал на кровать, накрылся и, то ли с испугу, то ли еще почему, согрелся, стал дышать и не умер.

А наутро нашел письмо. Сын Витюха большими печатными буквами писал Эгею, что слать деньги — дело тоскливое, и ему, Витюхе, паршиво, черт, а ездить — сам понимаешь: то, се, да и пацанку бы на юг, и что ему, Эгею, продавать дом надо, и не сомневаться, батя, нисколько, продавать, а за ним Витюха приедет сам, только скажи — решил, мол, все, еду.

Когда пришел Митька Головин, он уже прочитал письмо и лег снова, зарывшись в одежку.

— Здоров, дедунь, — крикнул Митька. — Живой, нет?

— Э-гей, — откликнулся Эгей.

Он любил, когда заглядывал Митька. Но на этот раз он не обрадовался, потому что Митька мешал. Эгей только рассказал ему, что заснул во дворе и чуть не замерз, но Митька, как всегда, понял наполовину.

— Дак а че не топишь-то? — сказал он. — Топить надо. Мороз, дак, конечно, холодно будет.

Он принес дрова и натопил до жары, потому что жалел старика, и, покуда горела печь, разгреб во дворе дорожку.

А Эгей, когда Митька ушел, не стал спать, хотя сделалось тепло. Он думал.

Всех их было четверо: Эгей, Тарас, дом и тополь. Старшим был тополь. Он мог упасть и обрушить дом. Лет шесть назад или семь — точно Эгей не знал — он решил тополь спилить. Но сын не ехал, и тополь остался. С той поры Эгей не любил тополь, который понимал, отчего старик не хочет смотреть в его сторону.

Младшим был Тарас. Эгей помнил, как держал его, мягкого, на ладони, а палец просовывал меж зубов к нёбу, и Тарас зевал, свертывая язык колечком. Правда, ни Эгей, ни Тарас не верили, что это было. Вслед за хозяином Тарас уже пережил время старческих бессонниц, и, чтобы узнать, не издох ли пес, Эгей, проходя, стучал поленом в крышу конуры.

Когда кончился день и стемнело, Эгей принес дрова. Мороз был сильный, огонь с гудом тянулся вверх; но Эгей не слышал — он был глухой. Чтоб не заснуть, он сел на пол и опять перечитал письмо, держа его на свету от печи.

— Ка-ра-вай, — зачем-то сказал он.

Он проснулся от холода, перебрался в постель и увидел сон, как убивает Тараса.

Тарас не хотел идти, он знал, зачем его зовут. Но Эгей обманул его, подозвал хлебом, а когда тот подошел, бросил хлеб на снег, чтоб не глядел. Тарас наклонил голову. Топор пришелся на затылок. Крови не было. Эгей удивился, что нет крови, и тогда она полилась, а лапы стали тянуться и дрожать. Эгей подумал, что теперь придется нести сперва голову, потом тело, и подозвав Тараса во второй раз, ударил ближе к глазам и не так сильно, чтоб не отсечь. Тарас упал в снег, и Эгей, пока тот бился, не смотрел. Потом он вспомнил, что опять убил не так — не там,— и опять подманил Тараса хлебом и ударил, так же, поперек головы, но теперь вокруг было пусто — ни тополя, ни домов. Тарас забился в третий раз, и Эгей понял, что не спит, а просто думает.

Было холодно. Он надел ватник и вышел из дому. По двору путанно тянулась тень, вверху светил молоденький злой месяц, а над крышами высоко стояли дымы.

«Утро»,— понял Эгей.

Тот день был очень морозным. Люська Бычатникова тоже часто ходила к Эгею, но ни разу еще не видела его спящим на полу. Люська закричала, и Эгей проснулся.

— Э-гей,— сказал он.

Люська разбирала его разговор лучше Головина, но слушать Эгея ей было некогда: она топила печь и грела кастрюльку.

— Ой, дядь Андрей, ой, не дай господи... Подопрел ведь, в баньку бы тебе,— бормотала она, а потом кричала Эгею: — Приходи на баню! Слышь? На баню, говорю, приходи! Вечером истоплю!

Люська иногда стирала и носила еду. Больше всего она боялась дожить до Эгеевых лет, а чтобы не было лишней похвальбы, брала из его пенсии пять рублей — и это все знали,— но деньги не тратила, а откладывала Эгею на похороны.

Усадив его за стол, Люська вслушалась и поняла, что толкует он о каком-то доме.

— А жить где? — удивилась, разобрав, наконец.

— Витюха зовет,— сказал Эгей.— Сын. Витюха.

Люська глядела, не понимая.

— Витюха,— повторил Эгей.

— Да ну тебя! — крикнула Люська и махнула рукой.— Чего зовет! Ничего не зовет! Поживешь еще! Ты давай на баню, на баню приходи!

Когда была ночь, Эгей спал, когда был день — ел. Но на этот раз он дождался света, терпеливо пересидев у окна синие сумерки и красную зарю, потом оделся и пошел во двор. Снег, от мороза зернистый, взвизгивал, но Эгей не слышал. Он снял с Тараса ошейник, потому что идти с цепью было тяжело, навязал веревку, и когда навязывал, ткнул ему пальцем в ухо, Тарас мотнул головой, и веревка наделась.

Дом Эгея стоял в середине деревни, как все старые дома. Посидев где-нибудь, Эгей с Тарасом опять шли. Поначалу шершавый воздух мешал, и муть в глазах копилась — Эгей шаркал по глазам ладонью, а Тарас просто ждал, когда стечет. Но потом каждый по-своему придышался. На одной скамейке Эгей даже чуть не забыл про дело, потому что начал думать о домах.

Чем крепче дом, тем дольше стоит и дольше гниет. Зачем ставить крепкий дом? И отчего это: как что ни крепко, все равно гнить? Одной вон, гляди, краски сколь пошло...

Тут Эгей вспомнил свой дом и поднялся было идти, как вдруг увидел перед собой желтый «газик», и начальник милиции, открыв дверцу, крикнул ему:

— Эй, Андрей Василич! Не замерз?

— Э-гей,— отозвался Эгей.

— Живой. А я думал — замерз,— сказал начальник шоферу и вылез из машины.— Ты чего тут? Ты иди домой, Василич, слышь? Иди домой!

Эгей не понял, чего от него хотят, а когда начальник перчаткой принялся тереть ему щеку, даже испугался.

— Ну вот, понимаешь... Снегом, что ли?.. — бормотал начальник, ощущая что-то вроде жалости и гадливости одновременно.— Отморозил, понимаешь. И чего ходит-то? Иди домой!

— Дом,— сказал Эгей.— Надо продать.

— Кого еще... Сидеть надо! Дома сидеть! Мороз сегодня! — и, делать этого не умея категорически, оглянувшись на шофера, сунул Эгею в руки пятерку: — Иди домой! Домой!

Эгей посмотрел на деньги и подумал, что начальник сердится из-за Тараса и хочет купить пса, чтобы он, Эгей, его не убивал. Он подумал и протянул веревку, но начальник, сморщившись и замахав вдруг: «Иди, иди!» — полез в машину.

— В школу! — ударив дверцей, приказал он.— Вот сука-то еще! — добавил, когда машина рванулась, оставив Эгея позади.

— А? — спросил шофер. Он был нездешний.

— Дочь, кто...— сказал начальник, помолчав.— Хотя — чего сука-то? Невестка, не дочь. Ничего не сука...

По случаю холодов у него было много суеты, и он отдавался ей с каким-то не нужным даже остервенением, а к вечеру, одурев от табака и валидола, мучился еще и желудком, поскольку забыл поесть.

А Эгей в этот день поел еще, потому что, заторопившись уйти со двора, где стоял и смотрел тополь, он забыл про топор. В доме, куда он зашел топор просить, жила Прасковья Петровна Дикунова. Она, по какой-то давней привычке сердясь на Эгея, дала ему рассказать, что Витюха зовет и что топор Эгей воротит на обратном пути, а потом так же сердито сказала:

— Я вона на Рождество курчонка зарубила, дура старая, а теперь гадаю, спомнить не спомню, грех ай нет. Садись-ка, батюшко,— она думала, что Эгей голодный.— А письму твоему, стало быть, сколько же? Годов восемь, видать... Витюха уж — семь. Или сколь? Иде ты его только спасал... Я дак рву.

Мяса Эгей не ел давно, и, пока сердитая старуха Дикунова собирала ему с собой кое-какой еды, он думал, что Тарасу давать не надо теперь, нехорошо, если давать. Курчонок был вкусный. Старухе тоже сделалось спокойно, потому что наевшийся Эгей про топор больше не спрашивал.

Он вспомнил о нем только за деревней, на дороге. По обе стороны было поле, а дальше лес. Тарас сидел на снегу, и от глаз у него сосульками намерзли слезы. Тогда Эгей понял, что Тарас устал, и понял, как быть.

Он снял с его шеи веревку, сделал петлю и надел опять, а свободный конец намотал на руку.

— Вот сам... Прощай. Скажем,— куды? А там ехать надо, замерзну, никак нельзя. Дом-то — конечно... А тебе, скажем,— с голоду... Пуще ведь.

Тарас не слышал, он тоже был глухой.

На дороге никого не было.

Эгей дернул и, как мог быстро, побежал. Шагов через десяток он хватанул горлом мороза. Тарас с разбегу ударился в него, и, пока Эгей кашлял, ловя дыхание, пес тоже сипел, полузадушенно вывалив язык. Потом Эгей снова дернул веревку, но Тарас сразу побежал. Больше он не дал себя обмануть. Скоро оба обессилели. В последний раз Эгей решил бежать по целине и, упав лицом в снег, долго не мог подняться, проваливаясь руками по плечи. До твердого было шага два. Эгей лег на спину и стал душить Тараса, уперевшись ногой ему в грудь. Пес захрипел и упал рядом. Некоторое время они лежали, не двигаясь, а когда Эгей ударил Тараса кулаком, пес только взвизгнул, но с места не сдвинулся. Эгей заплакал. Потом приподнялся, завел веревку вокруг своей шеи и потянул...

А закончилась вся эта история хорошо. Люська Бычатникова, вернувшись с вечерней дойки, не увидела дыма над Эгеевой крышей, забеспокоилась, стала искать и — нашла. Старик оказался легонький, будто фанерный. Люська плакала. После больницы его устроили в дом инвалидов, где он и живет теперь, временами, правда, все еще собираясь к Витюхе.

Ижевск

Петр Вайль, Александр Генис

АМЕРИКАНА

Американа — собрание материалов, имеющих отношение к Америке, ее культуре и цивилизации.

Толковый словарь Уэбстера

О СМЫСЛЕ АМЕРИКИ

В России мы, естественно, были западниками. Ощущение исторической неполноценности российской жизни самым натуральным образом вытекало из неполноценности нашего быта, правительства, общества.

Наша эмиграция пришлась на бесцветную эпоху, расплывшуюся тусклым пятном между хрущевской и горбачевской оттепелями. Для людей, которые, с определенным сомнением, причисляли себя к евреям и интеллигентам, Запад казался прямой противоположностью России. Точнее — Запад был всем миром, за исключением России.

Мы все были в плену теории, которую Бродский определил как «геополитическая детерминированность своей судьбы — концепция деления мира на Восток и Запад». Конечно, наивно размещать полюсы добра и зла по разным сторонам света. Жизнь сложнее компаса, а ведь и его стрелка реагирует на магнитные аномалии.

Однако сейчас наше жеребячье западничество кажется вполне простительным. В конце концов, мы выросли в стране утопии. Выросли в уверенности, что если утопии нет в России, то где-то (на Западе) она должна все-таки быть. Пожалуй, это историческое заблуждение мы разделяли со всей эмиграцией. Тем драматичнее было открытие, что на Западе сохранить свой западнический пафос труднее, чем на Востоке.

Годы, прожитые в Америке, основательно поколебали устои нашей молодости. Все чаще мы замечаем, что говорим и пишем об Америке с такой же горячностью, с какой говорили и хотели бы писать о России в своей прошлой жизни.

Разница, конечно, грандиозная... Негативное отношение к старой (исторической? географической? биологической?) родине было явлением общественным и наказуемым. Америке безразличны и наша любовь, и наши обиды.

Отношение к Америке — глубоко личная проблема. Правда, в эмиграции встречаются люди, чаще всего публицисты, которые видят в поклонении Соединенным Штатам свой моральный, если не материальный, долг. В газетах они пишут «Белый Дом» с больших букв, а «кремль» — с маленькой. Их дети не говорят по-русски. На столе у них стоит виски и звездно-полосатый флажок.

Но и это — их частное, интимное дело. Как любовь к жене. При этом не стоит забывать, что личные проблемы самые тяжелые. И если Америке нет дела до нашего к ней отношения, то нам-то есть! Вот мы и решили представить Соединенным Штатам список их злодеяний. А поскольку трудно поверить, что Госдепартамент вступится за честь Америки, мы сами же придумали себе оппонента. Попробуем разыграть диалог между **А.** и **Б.**, где **А.** — это мы, а **Б.** — некая абстракция, исповедующая здоровую любовь к Новому Свету, но лишенная восторгов неофита.

Публикуем главы из книги «Американа», которая в полном виде выходит в редакции «Ex Libris» совместного советско-британского предприятия «Слово» («Slovo»).

Итак, **А.** и **Б.** сидели... ну, не на трубе, а, скажем, за столом переговоров. И вот **А.** сказало:

А. Прежде всего мы должны отделить реальную Америку от Америки как риторической фигуры, от американского мифа...

Б. Прежде всего, кто вы такие, чтобы вообще рассуждать об Америке?

А. А мы сами американцы. Хотите, паспорт покажем? Так вот, нам кажется...

Б. Вот именно — вам может только казаться. (Этот **Б.** начинает хамить с места в карьер.— **А.**) Вы живете не в Америке, а в гетто, которое сами же строите. А для того, чтобы этого не замечать, отгородились от окружающего стенами из русских книг, русских приятелей, русской работы. В вашей колонии жизнь идет по законам, вывезенным из России. И вы с провинциальным высокомерием беретесь судить о стране, которая для вас так же непонятна, как острова Фиджи.

А. Позвольте, нельзя же переходить на личности.

Б. Еще как можно. Вопрос тут чисто психологический. Что бы вы ни сказали, это будет суждение неудачников, не сумевших проникнуться духом страны, стать ее частью. Вы живете в Штатах, как герои Короленко,— без языка. Я имею в виду не только ваш ущербный английский, но и язык в самом широком понимании, как средство социальной интеграции.

С типично российской ограниченностью вы принимаете чужой непонятный язык за язык плохой, неправильный. Понять страну можно только изнутри, живя в ней — зарабатывая деньги, влюбляясь, выбирая президентов, воюя за нее, наконец.

А сидя в гетто, можно только обижаться на Америку за то, что она не похожа на ваше о ней представление.

А. Ну, во-первых, то, что вы называете гетто,— тоже часть Америки. Если есть свобода нырнуть в «плавильный котел», то есть и свобода держаться от него подальше.

А во-вторых, наблюдения снаружи не менее ценны, чем те, которые делают аборигены.

Чужую жизнь можно понять только в сравнении. То, что кажется естественным американцам, поражает иностранцев.

И потом, что значит понять страну, народ? В конечном счете, понимание — продукт интуиции. Никакой опыт, никакая статистика, никакое знание не может быть всеобъемлющим. Любой пример опровергается контрпримером. Сами слова «русский», «американец» есть непозволительное обобщение. Вот Ортега-и-Гассет писал: «Свести необозримое множество событий и факторов, из которых складывается историческая реальность сегодняшнего дня, к короткой формуле — значит несомненно допустить сильное упрощение, то есть преувеличение. Но всякое мышление является вольным или невольным преувеличением. Кто боится преувеличений, должен молчать».

Б. Ну-ну. Не молчите...

А. Так вот, столько лет живя в Америке, мы не перестаем себе задавать вопрос: в чем идея этой страны? Какова ее цель?

Американская мечта давно стала явью. В этом обществе каждый получил возможность вести свободную, независимую и обеспеченную жизнь. Но — куда вести? Дальше-то что? Не сводятся ли просветительские надежды основателей американской республики к элементарному комфорту? Не превратила ли американская мечта гражданина великой страны в простого обывателя?

Достигнутое благосостояние оказалось слишком близкой целью. Представление о счастье сводится к грандиозному супермаркету, лужайке с бассейном, яхте, самолету и т. д.

Двести лет назад, да еще для полуфеодальной Европы, изобилие казалось духовной целью. Но разве можно сказать это сегодня? Разве владелец собственного дома стал нравственно и интеллектуально лучше, выше, чем тот, кто живет в бараке?

Сами американцы ощущают застой в их общественной жизни, отсутствие глобальных, общенациональных целей.

В романе нобелевского лауреата Сола Беллоу «Планета мистера Сammлера» есть персонаж, который предлагает фантастический проект колонизации Луны. По его мысли, в этом нет прямой практической необходи-

мости, но есть необходимость духовная. Дать Америке невероятно трудную задачу, которая потребовала бы от народа духовного порыва, подобного тому, который проявили пионеры, осваивая дальний Запад.

Да и Рейган пытался внушить стране представление об исторической миссии американского народа как всемирного защитника свободы. Определение Рейгана России как империи зла — по сути, призыв к духовному крестовому походу.

Америка, в отличие от Европы, родилась из идеи, «на кончике пера». Идеализм был ее фундаментом. Но сейчас этот фундамент стал сугубо прагматичным.

Декларация независимости провозгласила право на счастье, которое выродилось в право на комфорт. Разве это одно и то же?

Б. Беда в том, что вы мыслите абстрактными категориями. Вам нужна глобальная, облагораживающая человеческая цель? Пожалуйста, коммунизм. Тут есть все — и всемирный охват, и энтузиазм (когда-то — искренний), и никто не может пожаловаться, что мечта о коммунизме стала слишком близка к осуществлению.

Вера в общую цель всегда приводит к тоталитаризму. Цель подавляет личность, и ее охотно приносят в жертву утопии.

Америка стоит на свободе отдельной личности. На том, что абстракция — государство, теория, утопия — не вмешивается в жизнь конкретного, уникального человека. Америка стала раем, во всяком случае, приблизилась к нему больше любой другой страны, именно потому, что никогда не обещала рая своему народу. В Декларации независимости сказано не о счастье, а о «праве на поиски счастья». И каждый волен понимать эту фразу по-своему. Это и есть свобода, конкретная, реальная свобода человека жить так, как он хочет.

А. Ну и как же он хочет? В какой сумме выражается его реализованное право на поиски счастья?

Б. Ваш сарказм по отношению к деньгам в первую очередь порожден неспособностью их заработать.

Брезгливое отношение к деньгам вы привезли с собой как часть советского интеллигентского комплекса. Там процветала манихейская теория разделения жизни на верх и низ, на дух и тело. И деньги, конечно, относились к приземленному, материальному уровню. Потому их и не было. Или наоборот — из-за того, что не было денег, родился этот уродливый миф.

Так или иначе, вы живете в подспудной уверенности, что духовность противостоит богатству. Это логика на уровне Буратино.

А ведь на самом деле деньги — это средство творческого преобразования мира. Перестроить мир не ради возвышенной абстракции, а ради удобства человека.

Деньги — это не цель, а средство. Успех в предприиимательской деятельности — реализация духовной потенции личности. То-то миллионеры работают по 60 часов в неделю. Не страсть к наживе ими движет, а чувство социальной ответственности за общество.

Собственность — это звучит гордо. Только в стране хозяев личность может сохранить свою свободу от государства, от теоретических химер.

Об этом писал еще Джефферсон: «Каждый, благодаря собственности, которой он владеет, заинтересован в поддержании законов и порядков. Такие люди могут надежно и с успехом сохранить за собой полный контроль над своими общественными делами и ту степень свободы, которая в руках городской черни Европы сразу же привела бы к разрушению и уничтожению всего народного и частного».

Надеюсь, вы не забыли, во что превратила Россию чернь, лишенная собственности? Не зря теперь пытаются сделать советских людей хозяевами.

А. Обратите внимание, уважаемый пылкий Б., что вы говорите не о работе, а об успехе, то есть о рентабельности, прибыли, окупаемости, победе в конкурентной борьбе.

Вашему хозяину, в принципе, безразлично, чем именно ему заниматься: держать бакалейную лавку, писать музыку, выпускать авторучки. И действительно, мы знаем одного профессора, который бросил университет, чтобы открыть ресторан. Американцы запросто меняют работу, если в другой компании платят на 10% больше.

Так что они ищут — творчества или денег?

Б. Не судите на свой аршин. В вашей шкале престижа профессор стоит неизмеримо выше ресторатора. Но ведь это липовая иерархия! Почему Америка должна с ней считаться? Свободная личность проявляет себя, как и где хочет. Человек выше схемы. На этом великом принципе построена Америка, и, как видите, работает он прекрасно до сих пор.

А. Хорошо, пусть этот принцип безупречен, как, впрочем, и любые другие принципы — от законов Ликурга до Морального кодекса строителя коммунизма. Согласимся с тем, что американец — это свободный человек, реализующий свои творческие потенции в предприннмательской деятельности. Но давайте посмотрим иа него поближе.

Вы говорите, что наша иерархия — «липовая». Однако и американцы живут согласно некой системе ценностей. Взглянем на мистера Смита, который свободно и независимо выбрал себе точно такой же образ жизни, который ведут миллионы его соседей.

Жилье его находится не в городе и не в деревне, а в пригороде, говоря по-русски, на даче. Его кожа — гладка, одежда — опрятна, машина — современна, дело — доходно, жена — хозяйственна, дети — послушны, собака — дружелюбна, газон — пострижен, душа — чиста.

Жизнь мистера Смита подчинена строгому ритуалу, который не делается менее обязательным от того, что выбран им добровольно. Служба, коктейль, телевизор. По пятницам — покер с соседями. В субботу — шопинг. В воскресенье — покраска забора.

Работает он там, где больше платят, а живет там, где ближе к работе. Он действительно хозяин в своей стране, потому что в любой точке США его ждет точно такой же коктейль, телевизор, соседи.

Его жизнь предопределена до мельчайших деталей. Вся она — цепочка причинно-следственных связей. Учеба — чтобы зарабатывать, жена — чтобы семья, банк — чтоб на старость.

Что же после этого удивляться, что американцы так моложавы и так скучны. Жизнь, прожитая таким здоровым образом, не дает состариться и даже повзрослеть. Она лишена внутреннего драматизма, глубины, эмоционального и интеллектуального достоинства.

Американцы часто кажутся нам существами двухмерными, как персонажи мультфильмов. Или — как силуэты американских городов, которые ведь тоже похожи на театральные декорации. Небоскребы — вырезанные из бумаги фигурки, лишенные глубины, рельефа.

И отношения между людьми тут рационализированы, упрощены, сведены к удобству и этикету. Люди вступают друг с другом в контакт в служебном качестве — коллега, партнер, жена, даже любовница.

Когда смотришь на Америку со стороны, особенно из России, она кажется прекрасной. Но вблизи, в тесном, непосредственном контакте, американская жизнь представляется упрощенной, выхолощенной. Она сродни гигиенической и безвкусной здешней кулинарии.

Вот вы смеялись, когда мы рассуждали о целях. Но послушайте, что говорил своим соотечественникам американский писатель Генри Торо: «Главное, чего не хватало в каждом штате, где я побывал, было отсутствие высокой и честной цели в жизни его обитателей. Когда культура будет нам нужна больше, чем картофель, а просвещение больше, нежели засахаренные сливы, тогда будут разрабатываться огромные ресурсы мира, а результатами или главными продуктами производства будут не рабы, не чиновники, а люди — эти редкие плоды, именуемые героями, святыми, поэтами, философами и спасителями».

Это было сказано 125 лет назад. Ну, и как с урожаем?

Б. И вы серьезно говорите про Америку, страну, куда, например, свозят каждый год все нобелевские премии?

А. Кстати, один физик говорил нам, что сегодняшняя наука в США делается руками эмигрантов. Получается, что Америке есть чем платить ученым из Европы или Азии, но она не может сама производить новые поколения интеллигенции. Все время нуждается в притоке свежих мозгов.

Б. Шарлатан ваш физик. Пусть покажет соответствующую статистику, прежде чем делать такие бредовые заявления.

Но дело даже не в этом. Вы принимаете внешнюю сторону жизни за ее внутреннюю сущность. В действительности нет никакого мистера Сми-

та, а есть миллионы РАЗНЫХ людей. И каждый из них живет неповторимой, уникальной, загадочной жизнью.

Я, например, знаю одного программиста, который подходит под ваше описание. Так вот, каждый год этот, по-вашему, заурядный человек на месяц отправляется в джунгли Бразилии и бродит там в полном одиночестве, изучая индейские диалекты.

Вы хотите свести Америку к стереотипу, который существует только в вашем эмигрантском воображении. Ну, а как быть с тем же Торо? Разве он не продукт американской цивилизации, которая порождает самых острых критиков собственной системы? Ведь эта страна существует в динамическом равновесии, которое вы принимаете за ущербную упрощенность.

А. Вы отвергаете возможность обобщений? Но вспомните: когда подлетаете на самолете к любому американскому городу, внизу простираются мили застроенных одинаковыми домишками пригородов. Разве не отражается в этом единообразии общенациональная система ценностей?

А если взять телевидение. Из года в год, из вечера в вечер Америка смотрит сериалы, в которых жизнь разворачивается именно по той упрощенной схеме, о которой мы говорили. Американское массовое искусство работает на крайне примитивном материале крайне профессиональным способом. В этом его опасность.

И почему, черт побери, в стандартный американский мебельный гарнитур не входят книжные полки?

К чему вообще сводится здесь духовная жизнь?

Мы привыкли считать, что высшим продуктом цивилизации, ее целью и оправданием является культура. Только в ней проявляется совокупный человеческий гений.

Но в Америке культура низведена до второстепенного уровня. Часто ее просто подменяют постыдными суррогатами. Женские романы в супермаркетах и Достоевский — это не одно и то же. И Феллини нельзя сравнивать с Сильвестром Сталлоне.

Не потому ли американская жизнь представляется такой духовно скудной, что из нее изъяли за ненадобностью стержень культуры?

Вот в Советском Союзе, закрытом тоталитарном обществе, европейский пиетет к культуре сохранился, несмотря ни на что. Мы как-то выступали с лекцией в одном пенсильванском университете, где пообщались со студентами гуманитарного факультета. Надо признаться, что их советским сверстникам было бы не о чем говорить с этими студентами. Даже американскую литературу они знают «от сих до сих» — только то, что в программе. А ведь это — будущее поколение американской интеллигенции.

Пренебрежение культурой мстит за себя. Старая европейская система ценностей распадается, а новая не появляется.

Б. Российский пиетет к культуре основан на недоразумении. Там, в условиях нищеты и бесправия, книги, искусство вообще стали убежищем, в котором личность прячется от хищного общества. Отсюда истерическая любовь к культуре, заслоняющая реальную жизнь.

Вы нападаете на Америку с позиции «кухонного аристократизма» советской интеллигенции. Измерять уровень культуры количеством прочитанных книг — смешная нелепость. Есть тут что-то от средневековой схоластики. К Новому Свету не подходят критерии Старого. В Америке заботятся не о творчестве совершенной культуры, а о творчестве лучшей жизни. Здесь поклоняются не музею, а свободной личности. Творческой!

Вы оплакиваете гибель культуры, но на самом деле речь идет только о той культуре, которая соответствует вашим представлениям. Как пишет Бродский, «культура гибнет только для тех, кто не способен создавать ее, так же, как нравственность мертва для развратника».

Америка не страна, а цивилизация. Новый виток в развитии человечества. Ее разнообразие, противоречивость создают новое качество жизни.

Люди умирающей античности с ужасом глядели на христиан, этих варваров, презирающих утонченную языческую культуру, поклоняющихся распятому безумцу, верящих в нелепые чудеса.

Похоже, не правда ли?

А. Вы переносите спор из настоящего в будущее. Может быть, Америка станет такой, когда откроет свою историческую миссию. Но произойдет

это только тогда, когда мещанство перестанет быть и нормой, и идеалом.

Б. Да что вы...

Тут мы, пользуясь правом авторов, заткнем рот оппоненту. Если бы мы знали, чем закончить этот диалог, мы не стали бы его вести. Ведь, как ни крути, **А.** — это мы, но и **Б.** — это тоже мы. В эмиграции раздвоение личности — не исключительное, а нормальное состояние. И только наивные люди думают, что с самим собой проще договориться.

О ПОРТАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ

«Готовь сани летом, а телегу зимой» — это изречение долго было для нас этнографической глупостью из передовиц. Наш коллега каждый год писал два репортажа — к посевной и уборочной кампаниям: «Готовь сани летом...», «Готовь телегу зимой...» И так девять лет подряд, пока его не перевели за талант в инструкторы ЦК. Суть пословицы мы оценили только в Америке. Оказалось, здесь промтоварами торгуют с упреждением: а мы-то, прилетев в Нью-Йорк зимой, таращились на тапочки в витринах. Благодаря невиданной сообразительности мы уже через год поняли, что летом выставляют плащи, осенью — шубы и т. д. Отсюда, собственно, американцы и узнают, какое время года ждет их впереди. Довольно примитивный способ, между прочим. У нас все было глубже, метафизичнее: уж если чего не было на витринах, то не было никогда. Потому мы и жили в единении с природой: зимой — мерзли, осенью — мокли, о весне по скворцам узнавали. Тут весна бушует вовсю в февральских витринах. Мы больше любим осень: осенью выставляют меха, и женам надеяться не на что. Сейчас они разглядывают платья и мило щебечут (Ах, душенька, тебе нейдет палевое! — Мне нейдет палевое???), а мы угрюмо смотрим на майки — они дешевле. Они куда интереснее: во всяком случае, на майках что-то написано. И можно воображать, как эти надписи будут выглядеть весной, на телах-носителях.

«Я на этой планете с коротким визитом». Это, конечно, потерявшая надежды девица: вопль о контакте, пусть и неземном.

«Все вот это и плюс мозги!»... Лучше всего — в обтяжку на не слишком пышных, но приятных формах.

«Хорошие девочки попадают в рай, плохие — куда угодно». О тех, кто носит такое, не стоит и мечтать: не с нашим английским и не с нашей зарплатой.

«Ядерная война?! Прощай, моя карьера!» Четко вырисовывается подписчик «Нью-Йорк трибюн», стойкий антикоммунист, по молодости лет — циник.

«Вступайте в армию: вы увидите далекие экзотические страны, встретите необычных, интересных людей и убьете их». Такое мы надели бы и сами, если бы были похожи на свою заветную мечту: стоим мы, суровые, обветренные, в каждой руке по водородной бомбе...

Подавляющее большинство справедливо полагает, что место философии — на самых пыльных полках библиотеки. Слова «онтология», «антиномия», «суперфосфат» и «эсхатологический» употребляются только в качестве скороговорок. Вроде «шла Саша по шоссе и сосала сушку». Если человек может правильно выговорить «экзистенциализм», его принимают в интеллигенцию, и дальше он уже может спокойно играть в домино и ругаться матом, не поминая Кьеркегора.

Но это не значит, что философия умерла. Она просто поменяла прописку. Из скучных фолиантов максимы и сентенции шагнули в будничную жизнь. Например, в виде надписей на майках.

Придя к такому заключению, мы решили, дождавшись лета, собрать философическую коллекцию, списывая ее с груди прохожих. Довольно скоро выяснилось, что это самый правильный путь постижения идеологии американского общества. Не читать же, в самом деле, Декларацию независимости.

Поскольку женские формы привлекательнее мужских, то первые истины, которые мы обнаружили, были феминистскими: «Дом — место для женщин! Белый дом, конечно...»

Мужчин интересуют вопросы пола в более традиционных аспектах: «Инструктор по сексу: первый урок бесплатно», «Господи, не введи во искушение. Я сам найду дорогу». С возрастом, правда, и эта жизнерадостная тема приобретает томный аспект: «Когда-то было вино, женщины и песни. Теперь — пиво, старухи и телевизор», «Помните то время, когда воздух был чистым, а секс грязным». Впрочем, иногда томность переходит в мизантропию: «Если ты любишь кого-то, отпусти его на волю. Если он не вернется, найди и убей!» Зато светятся простотой наши защитники, нью-йоркские копы: «Обеспечь свою безопасность. Спи с полицейским».

Молодость жадно ищет ответы на все мировоззренческие вопросы (не только на те, которые связаны с сексом). Философия сама спрашивает и сама отвечает. Иногда глубокомысленно: «Опыт — это то, что вы получили, когда вам не досталось того, чего вы хотели»; иногда парадоксально: «Я безумен, но это предохраняет меня от сумасшествия»; иногда весьма разумно: «Жизнь слишком важна, чтобы принимать ее всерьез»; иногда по-русски: «Кайф — ответ на все вопросы, которые я уже забыл». Последняя надпись украсила бы юношу в майке с текстом: «Я пью, чтобы сделать других людей интересиее».

Но, в принципе, задача философии — построить всеобщую модель мира, в которой не останется места для загадок. Поэтому майки — это энциклопедия, которая решает проблемы, как в общем, так и в абстрактном ключе. Вот, например, абстрактное рассуждение о дружбе: «Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются». А вот конкретный вывод из этого тезиса: «Вы никогда не узнаете, сколько у вас друзей, пока не снимете дачу».

Как и положено, в стране бизнеса особенно популярны темы труда и денег. Конечно, «Единственная вещь, которую нельзя купить за деньги, — бедность». Но это не значит, что вся Америка в восторге от трудового процесса. «Что хорошего может быть в дне, который начинается с того, что надо выбираться из постели». Особенно если «Вся неделя состоит из понедельников».

Выход из этого тупика нашел человек в майке с надписью: «Труд завораживает меня. Я могу наблюдать за ним часами». Такая философия не порождает зла и не вынуждает человека объявлять миру: «У меня нет предубеждений. Я ненавижу всех».

Оптимисты полезней для человечества. Даже если дело касается политики: «Когда я был маленьким, мне говорили, что любой может быть президентом. Теперь я вижу, что это так».

Перебирая свою коллекцию, мы видим, что спектр американской философии необозримо широк — от вульгарного материализма до утонченного неоплатонизма. Чего нам не хватало, так это родного штриха. Но вот и он нашелся. Оказывается, покойный Карл Проффер, основатель замечательного издательства «Ардис», радовал своих студентов майкой с мудрым лозунгом: «Русская литература интересней секса».

О ДРУЖБЕ С АМЕРИКАНЦАМИ

Время от времени мы вылезаем из своего уютного эмигрантского подполья и отправляемся на американское парти...

Мучения начинаются с самого слова «парти». Эмигранты, продвинутые в местном языке, произносят его нежно — «пари», люди пожилые говорят «вечеринка», бесшабашные переводят — «балёха» — мы же стараемся избегать и этого слова, и этого дела.

Мы любим Америку. Но не настолько, чтобы пересекаться с ее населением. Нам достаточно телевизора и газет, иногда официанта. Но в дело вмешиваются жены. Выясняется, что они тоже люди и что они тоже имеют право повеселиться, как все, а не как эти, которые до полчетвертого — о влиянии Комара на Меламида, а воду не спускают и окурками в масло. Они хотят на американское парти — с мужьями, а то не верят, что не соломенные вдовы.

На нас надевают галстуки, велят быть скромными, но общительными, выглядеть умными, талантливыми и не толпиться вокруг спиртного.

И вот мы вступаем в праздничные чертоги американского парти, к нам подводят знакомиться первого американца, и мы, приняв позу легкого интеллектуального утомления, заводим пустой, но остроумный светский разговор: «Вот э найс везер! Везер найс из?» («Прекрасная погода! Не правда ли?»).

Американец, подавленный нашим умственным превосходством, отвечает, что «из», и возвращается к своим недалеким товарищам. А мы с мрачной решимостью приступаем к ритуалу парти. То есть жуем картонные сандвичи и следим, чтобы водку не разбавляли.

Все американские парти похожи друг на друга. Мужчины садятся в кружок и говорят о моргедже и машинах. Моргедж всегда растет, машины всегда ломаются, кроме той, что была у дедушки и не знала ремонта со времен президента Вильсона.

Женщины тоже садятся в кружок и говорят о диете. Самая толстая отколупывает от торта кусочек с ноготь, чтобы показать, как мало она ест, а пухнет под воздействием стресса. Дамы похудее злорадно сочувствуют.

Иногда женские и мужские кружки соединяются. Это значит, что пришла пора показывать фотографии — детей, собак, страховых агентов. Мы в этих забавах принимаем участие спорадически: отпустим время от времени тонкую реплику о погоде и опять уткнемся в «водку стрейт ноу айс плиз».

Незлобные по натуре американцы пытаются рассеять наш сплин. Подходят, спрашивают — откуда, зачем, не проездом ли? А убедившись, что — из России, за свободой, навсегда, — широко разводят руки и говорят «Уелкам».

Другие русские (те же жены) иногда пытаются перевести американские парти на русские рельсы. Скажем, рассказать анекдот.

Зрелище это тягостное. «Один чукча...», — начинает рассказчик. «Простите, чукча — это съедобное?» — перебивает вежливый, но любознательный слушатель. «Нет, чукчи — это маленькая отсталая народность, населяющая крайний север Советского Союза». «Очень фанни, очень. Надо жене рассказать», — говорит американец и отходит, видимо, навсегда.

Нет уж, пусть по-английски шутят люди со стальными нервами. Мы предпочитаем кутаться в плащ Чайльд Гарольда — мрачное молчание можно принять за признак глубокого, несуетного ума.

Чем хороши американские парти, так тем, что быстро кончаются. Еще про моргедж не договорено, а уже собираются в обратный путь. Все довольны. Пьяных, естественно, нет.

Да и нам неплохо — едем домой, освобождаясь от галстуков и напряжения. До следующего декабря достаточно времени, чтобы наконец выяснить, зачем Комар влияет на Меламида.

О ВЕСТЕРНАХ И ТРИЛЛЕРАХ

Как и положено людям, ведущим интеллектуально-растительную жизнь, мы часто спорим.

Спорить лучше на ходу — когда пейзаж движется в ритме неспешной прогулки, подбрасывая пищу размышлениям. Однажды мы вот так неспешно прогуливались по мостовой Квинс-бульвара — главной магистрали

этого убогого нью-йоркского района. Минут двадцать мы шли вдоль обочины, и только тогда один из нас оглянулся и с ужасом обнаружил, что за нами в темпе похоронного марша едет колонна машин, конец которой теряется в тумане. Обогнать они нас не могли, но почему не задавили, до сих пор не понимаем. Спор, который нам чуть не стоил жизни, а нью-йоркским шоферам — нервов, шел о сравнительных достоинствах вестернов и триллеров.

Дело в том, что, как все российские интеллектуалы, мы обожаем Платона, Шагала и Феллини. Но в свободное от интеллектуализма время предпочитаем Конан Дойля, Шишкина и телевидение.

Однако на последнем пункте наше единодушие кончается. Если один с наслаждением следит за приключениями ковбоев, то другой — за приключениями духа, то есть духов. Ну, знаете, разные там привидения, заколдованные дома, сверхъестественные вампиры, поющие минералы. Каждый из этих жанров находит в нас страстного защитника и не менее страстного обличителя (по одному на жанр).

Тот, кто защищает вестерны, прибегает к таким примерно аргументам: следует руководствоваться моралью вестерна. Нигде запутанная библейская этика не выражается так наглядно. Нигде злодейства плохих людей и добродетели хороших не обрисованы так выпукло. Конечно, в вестернах выполнение Моисеевых заповедей сопряжено с изрядной стрельбой. И если один негодяй обидел сироту, то за это будет уничтожен целый негодяйский город.

Но, с другой стороны, Библия пестрит подобными примерами. Стоит только вспомнить Содом и Гоморру. Вестерны расчленяют цветную человеческую душу на черно-белые варианты и в таком виде превращают жизнь в притчу, басню, аллегорию. А разве не к этому стремилось все искусство? Только Толстому потребовалось четыре тома «Войны и мира», а вестерну — полтора часа. Таким образом, смотреть, как наказывают порок и как торжествует добродетель, приятно и для души полезно. К тому же уверенность в счастливом конце избавляет от лишних седых волос.

Перед лицом таких аргументов другой должен был бы отступиться, но институт соавторства, как сталинское искусство, признает только конфликт хорошего с лучшим.

— Да, — говорит соавтор номер два, — вестерны, — это, конечно, вещь. Пусть они удовлетворяют наше чувство справедливости. Пусть они зовут к утопическому царству истины, где добро расправляется со злом при помощи винчестера. Но где приключения духа, то есть духов? Где темная часть нашего сознания и подсознания? Где рок, судьба, предначертания? Не упрощают ли вестерны нашу жизнь? Не лишают ли они ее необходимого иррационального момента?

То ли дело триллеры. В них то же столкновение добра и зла, и в конце тоже все будет хорошо, но поэтика триллера учитывает потребность в ужасном. Катарсис невозможен, если перед зрителем не откроются бездны. А что это за бездна, если на хорошего ковбоя нападают сто плохих? Ведь всем же ясно, что он их перестреляет, как белок. А в триллере хорошую, без предрассудков семью атакует стадо озверевших вампиров, франкенштейнов или бестелесных, но от этого не менее опасных привидений. Семья, конечно, спасается благодаря кресту или могендовиду. Но какой урок она вынесет из этого испытания? Если до атаки потусторонней нечисти хорошие, но простые люди жили в позитивистском мире, где за каждой причиной шло свое следствие, то теперь они знают, что мир полнее, разнообразнее и страшнее, чем они думали.

Триллеры составляют компилятивный миф современного человека. Раньше люди искали сверхъестественного в церкви, теперь они черпают метафизику из триллеров в готовом увлекательном виде. Причем те же полтора часа. Разве это не прогресс?

На этом месте спор приходится прервать, так как в 4 часа по телевизору показывают вестерн. И триллер — по другому каналу.

О БЕССМЕРТНОМ ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ

Бонд — Джеймс Бонд, конечно, — отпраздновал свой день рождения. Ему стукнуло 35.

Ну, на самом-то деле он раза в три старше. Бонд появился на свет в 1953 году, в книге Яна Флеминга «Казино Роял». Тогда ему было 36 лет, значит, сейчас должно быть — сколько?

Однако кого волнует путаница с возрастом. Вымышленные герои плюют на метрику. Кто-то подсчитал, что если бы персонажи Агаты Кристи и Сименона жили согласно биографиям, придуманным им авторами, то Эркюлю Пуаро было бы 130, а Мегрэ — около 200 лет. Требование правдоподобия привело бы к тому, что действие романов с такими героями-долгожителями могло бы разворачиваться только среди аксакалов Средней Азии.

Слава Богу, что в вымышленном мире действуют другие законы, законы греческого Олимпа. Герои, вкусившие амброзии, под которой можно понимать популярность, наслаждаются вечной зрелостью и бессмертием.

Джеймс Бонд, как Геракл, совершил свои подвиги и принят за них в сонм нестареющих богов.

Популярность Джеймса Бонда феноменальна еще и потому, что она всеобща. Он — любимец Джона Кеннеди и принца Чарльза. Когда умер отец сверхагента Флеминг, эстафету не побрезговал подхватить прекрасный английский прозаик Кингсли Эмис. Бонд давно стал идолом, образцом для подражания и пародий (одну из них сыграл Вуди Аллен).

Такой успех не бывает случайным. Его не объяснишь низкими вкусами толпы, хотя бы потому, что сразу возникает вопрос — почему же этим низким вкусам потакает именно Джеймс Бонд?

Бессмертие, которым толпа награждает кумиров, не бывает незаслуженным. Толпа знает, что делает, когда отдает свою страсть Робинзону Крузо или Шерлоку Холмсу. Часто она видит тайну там, где интеллектуал находит только пошлость.

Блестящая карьера Джеймса Бонда такую тайну в себе, несомненно, содержит. Но в чем она? Кто же этот герой, чей псевдоним напоминает номер телефона справочной службы?

По странному, но распространенному заблуждению, фольклор принято считать атрибутом древности. Почему-то мы полагаем, что анонимное народное творчество — это всякие былины, всякие «гой еси, добрый молодец». Хотя кому, как не нам, знать, насколько плодотворна фольклорная стихия в стране, где анекдот, частушка, блатная песня были главными жанрами.

Жив фольклор и на Западе. Нас не должно смущать, что он теперь имеет конкретных авторов. Они идут всего лишь на поводу у народного сознания. Авторы только воплощают образы, созданные коллективным разумом. В этом смысле не только Джеймс Бонд, но и Элвис Пресли — фольклорные образы (не зря так живуча легенда о том, что Пресли не умер).

Как раз в нашу, постгутенберговскую эпоху, эпоху массовых средств информации, народный герой легко побеждает героя литературного. Современный писатель наделяет своего персонажа сложным и противоречивым внутренним миром. Герой же кинематографического боевика фантастически прост. Он целен как гранитная глыба. Он даже не личность, это плоское, двухмерное изображение человека, лишенное внутренней структуры — сомнений, раздвоенности, нерешительности.

Простота эта происходит не от неумелости авторов, не от сознательной установки на примитивизацию образа, а от следования фольклорному механизму творчества. Нельзя сравнивать Бонда с Анной Карениной, но можно — с героем волшебной сказки. Любой фильм про Бонда строго следует ее модели. Авторы никогда не уклоняются от хорошо изученной схемы волшебной сказки, примерно такой:

1. Сказочный герой отправляется в путь, чтобы, скажем, спасти принцессу. Бонд получает задание, скажем, спасти человечество.

2. Герою препятствуют враги — Змей Горыныч, Баба-Яга. Бонду противостоит маньяк, сумасшедший профессор, агент КГБ.

3. Герой встречает помощника — волшебника, Сивку-Бурку, Серого Волка. Бонду всегда помогают прекрасные женщины.

4. Герой добывает волшебные предметы — огниво, ковер-самолет, сапоги-скороходы. Джеймсу Бонду приходит на помощь британская разведка. Его снабжают лазерными пистолетами, вездеходами, взрывающимися авторучками.

5. Герой попадает в беду — его сажают в бочку, собираются съесть или просто убить. Бонд оказывается в руках своих врагов, где ему угрожает какая-нибудь экзотическая смерть.

6. Герой освобождается из плена, решив трудную загадку. Именно этому и посвящено главное действие любого фильма о Бонде.

7. Торжество героя заканчивается женитьбой на принцессе. Эпилог фильма всегда застает Бонда в любовном объятии.

Бондиана принципиально бесконечна, как бесконечен фольклор. (Каждый фильм открывается эпизодом, который является развязкой предыдущего приключения.) Бонд никогда не меняется, ничему не учится, не вспоминает о своей прошлой экранной жизни, не приобретает новых качеств. Как грампластинка, он послушно повторяет одну и ту же древнюю схему.

Самое интересное, что героем волшебной сказки он стал именно в кино. Джеймс Бонд Яна Флеминга — всего лишь персонаж очень плохой литературы. Автор описывает его по книжным, а не фольклорным канонам — наделяет внутренним голосом, позволяет рассуждать, жалеть, завидовать. Оказавшись в трудном положении, Бонд Флеминга не знает, что делать. Встретившись с женщиной, не сразу ведет ее в постель. Враги книжного Бонда обладают зачатками биографии. Мотивы их злодеяний объясняются более или менее прагматически. То есть агент 007 из романов — продукт убогого воображения Яна Флеминга. Киношный Бонд находится всецело во власти фольклорного стереотипа. Причем сказочность бондианы возрастает с каждым новым фильмом. Все дальше он отправляется выполнять свои задания (за тридевять земель). Все труднее становятся сами эти задания (достань то, не знаю что). Все более чудовищными чертами наделяются его враги (так появился на экране чуть не трехметровый великан Джоз, со стальными зубами). Приключения агента 007 и есть не что иное, как воплощение мифа в формах современной массовой культуры.

Томас Манн писал: «Миф — это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы».

Вот Джеймс Бонд и будит в нас бессознательную память об этой «вневременной схеме». Его создатели оперируют набором архетипов (тех первоэлементов, из которых складывается и волшебная сказка), находящих отражение в «глубинной психологии» каждого человека.

Происходит то, о чем писал теоретик мифологического сознания Карл Юнг: «Архетипические фигуры имеют свойство сопровождаться необычайно оживленными эмоциональными тонами, они способны впечатлять, внушать, увлекать».

Обращение к таким фигурам — фундамент успеха поэта, политика, пророка. Каждый из них строит миф, основанный на подсознании людей. Например, Рейган воспроизводил архетип всеобщего отца. Его популярность базировалась не на конкретных политических обстоятельствах, а на доверии к образу умудренного опытом защитника, доброго, терпимого патриарха. Джеймсу Бонду проще следовать мифологической схеме. В его вымышленном мире нет препятствий. Ему, как какому-нибудь Иванушке-дураку, просто не на чем споткнуться.

Однако исключительную популярность Джеймса Бонда нельзя объяснить просто удачной эксплуатацией мифа. Ничем другим и не занимается массовая культура. Любой детектив, вестерн, боевик, любовный роман (из тех, что продают в супермаркетах) построен на стандартной комбинации архетипов. Любой из них укладывается в схему, подобную той, что мы использовали для Бонда. Потому дешевка так и популярна, что миф в ней обнажен, не замаскирован сверхсложной символикой Кафки, Гарсиа Маркеса или Феллини.

Чтобы найти ключ к успеху Бонда, мы должны перейти от доисторического уровня — к культурному. Миф — всего лишь схема, форма организации материала, которая наполняется конкретным содержанием, продиктованным культурой и национальной традицией.

И вот тут важно, что Джеймс Бонд не только герой волшебной сказки, но и наследник западноевропейской традиции авантюрного жанра. Прямые предшественники нашего агента — Д'Артаньян, Дон Кихот, Ланселот и все те, кто с детства пленяет воображение читателей своими приключениями. Впрочем, приключениями ли?

Считается, что любовь к остросюжетному, авантюрному произведению вызывается изобилием приключений. Несомненно, битвы, пираты, похищения и всякие прочие внезапные, опасные и экзотические происшествия являются необходимым условием существования этого жанра. Но главное тут все же — особый герой. Только тогда приключенческий роман становится гениальным, когда автору удается создать адекватного жанру героя. Что выделяет «Трех мушкетеров» из десятков романов того же Дюма? Герои!

Приключения сами по себе служат фоном для развития образа. Разве нас волнует, узнает ли король об измене жены, вернет ли Бекингем алмазные подвески, какую тайну скрывает Атос, не соединят ли, не дай Бог, узы брака Д'Артаньяна с госпожой Бонасье? Все это — сюжетный материал, нужный для построения романа, но оказывающийся бесполезным для посмертного — внекнижного — существования его героев.

Классические персонажи авантюрного жанра несравненно значительней тех произведений, в которых они появились на свет. Ни Дон Кихот, ни Шерлок Холмс, ни три мушкетера не исчерпываются своими приключениями. Главное — они сами.

Западноевропейская литературная традиция столетиями культивировала героя, доминирующей чертой которого было обостренное чувство собственной независимости. Персонажем приключенческого романа он стал именно потому, что условный характер этого жанра начисто отметал какую-либо бытовую или психологическую достоверность. Люди с гипертрофированной честью — существа идеальные, не способные ужиться в реальном мире (что и доказывает пример Дон Кихота).

Если мы вспомним все, что известно о трех мушкетерах, то придется признать, что люди они неприятные и малоинтересные. Атос — скучный угрюмец, «его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делала его почти стариком». «Тщеславный и болтливый» фанфарон Портос. Арамис, про которого сказано: «Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом». Знаменитые мушкетеры начисто лишены интеллектуальных интересов или духовных порывов. Роман, повествующий, как заботливо указывает автор, о временах «меньшей свободы, но большей независимости», посвящен, собственно говоря, постоянной демонстрации этой независимости. Только о ней и заботятся его герои. В бесконечных дуэлях они демонстрируют, как дорога им честь. Они ищут приключений, чтобы еще и еще раз испытать не смелость — в ней смешно сомневаться, — а дворянский кодекс поведения. Нелепая, декоративная побрякушка становится моральным императивом. Честь для героев Дюма — священное право личности на автономию от общества. Честь противостоит долгу. Вернее, долг в том и состоит, чтобы хранить честь, ни в коем случае не жертвуя ею ради соображений пользы.

Мушкетеры Дюма — принципиальные нонконформисты. Противоречие общепринятому — основа их характера, главный мотив их поступков, единственное оправдание их существования. «Вступить в бой — значило не подчиниться закону, значило рискнуть головой, значило стать врагом министра, более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек (конечно, Д'Артаньян. — **Авт.**) понял в одно мгновенье. И к чести его мы должны сказать: он ни на секунду не заколебался».

Вот если бы заколебался, он стал бы героем не приключенческой, а обыкновенной литературы. Именно это и случилось с российской словесностью. Честь для ее героев тоже не пустой звук. Как показательно, что испытанию дуэлью подвергаются не только Онегин и Печорин, но и их

авторы (с той трагической разницей, что вымышленные персонажи оказались более меткими, чем их создатели).

Однако героев русской классики ждала иная судьба. Они по-другому решили проблему соотношения личности и общества, ставшую со временем называться проблемой интеллигенции и народа. И как ни велика была русская литература, приключенческого романа в ней нет.

Зато он пышно расцвел в Европе. Жанр, уходящий корнями в рыцарские представления о неприкосновенности личности, о ее праве противостоять обществу, произвел на свет десятки шедевров, сотни произведений посредственных и мириады дешевых поделок. Но в каждой из них прослеживается одна и та же основа — специфический герой. Такой, как Джеймс Бонд. Чтобы ощутить, как далеко разошлись общие мифологические схемы в конкретной культурной традиции, достаточно сравнить Бонда с Штирлицем.

Штирлиц в той же степени унаследовал особенности нашей классики, в какой Бонд — европейского приключенческого жанра. Если один секретный агент мог бы быть сыном Шерлока Холмса и правнуком Д'Артаньяна, то другой пришел из книг Чехова и Достоевского.

Бонд — аристократ, всегда готовый к авантюре. Штирлиц — интеллигент, склонный к рефлексии. Один действует, другой размышляет. Первый не знает сомнений, решителен в своих поступках, не любит скрываться под маской (знаменитая сцена представления: «Бонд, Джеймс Бонд»). Второй — весь списан из Достоевского. Двойник — Штирлиц-Исаев — постоянно подвергается испытанию своей «правды». И враги у него — искушенные, умные антагонисты (не зря любимцем телезрителей стал гестаповец Мюллер).

Но главное, смысл жизни Штирлица — служить своему народу. Джеймс Бонд — одиночка, авантюрист, спасающий человечество только из страсти к приключениям.

Ничего не стоит перевернуть ситуацию, и тогда Бонд окажется сверхпреступником, сверхзлодеем, не потеряв при этом ни одной из своих черт. Это и естественно — миф выше (или ниже) этики. Миф вне ее. Нам совершенно безразлично, сражаются ли мушкетеры за короля или за кардинала. Кому придет в голову спрашивать, на чьей стороне правда?

Крайний эгоцентризм Бонда выражается в том, что с любым заданием он справляется в одиночку. Британская разведка скорее мешает ему, чем помогает. Бонд и относится к своему начальству соответственно — выполняет только те распоряжения, которые считает правильными, презирает государственные награды, дразнит вышестоящих (вплоть до премьер-министра, но не до королевы, над которой запрещалось смеяться и мушкетерам Дюма). Джеймс Бонд никак не вписывается в свою роль а г е н т а. Его служба британской короне — фикция. Одинокий хищник, с лицензией на убийство, он рыщет по миру в поисках приключений. Другого дела у него нет и не может быть. Бонд живет в авантюрной вселенной, где существуют только прекрасные женщины, ужасные злодеи и роскошные пейзажи. Естественно, что здесь нет места обычному, земному.

Бонд не знает ни порока, ни добродетели. Он не нуждается в семье (то-то его жену убили через час после свадьбы), в доме (он всегда живет в отелях), в деньгах. Бонд к ним безразличен.

Все это возвышает его над толпой. Он последний аристократ в мире победившей демократии. Бонд — прямая антитеза заурядному, банальному, массовому. Но не за это ли его так любит именно массовый зритель?

Как это ни парадоксально, но в мире торжествующего большинства, в эпоху всеобщего стереотипа, бунт против массовой культуры осуществляет самый банальный из штампов — агент 007. И в этом бунте человек толпы на стороне воинствующей индивидуальности. «Большой» человек Джеймс Бонд противостоит «маленькому», но последнему лестно ассоциировать себя с первым. Зрители бондианы — это толпа, презирающая самое себя. И тут можно провести еще одну параллель, пусть она будет последней. Другой феномен популярности, несравнимый, конечно, с Бондом по художественным достоинствам, — фильмы Чаплина.

Его Чарли тоже противостоял толпе, но он был ниже ее. Великолепный супермен и нищий бродяга находятся на противоположных социальных полюсах, но они равно далеки от мещанской нормы. Чарли не пускают в средний класс, а Бонд туда сам не хочет, и оба они отражают экстремальные модели поведения.

Слишком «большой» человек Бонд и слишком «маленький» Чарли воплощают самый древний из мифов — миф о личности, выделившейся из безликой среды.

Чем тотальнее становится массовое общество, тем больше его потребность сопереживать архетипу такого героя.

Судя по всему, Джеймса Бонда действительно ждет бессмертие.

О ЦЕНЗУРЕ

Организация «Американский путь», поставившая своей задачей следить за выполнением Первой поправки к Конституции, опубликовала тревожные данные. За один год зарегистрировано более ста случаев изъятия книг, сокращения классических текстов и других вмешательств в школьную программу.

Сразу возникает вопрос: кто эту цензуру осуществляет? Ведь вроде бы никаких специальных инстанций в Штатах не предусмотрено.

Практически все возмутительные случаи цензурного вмешательства — дело рук школьных советов. То есть общественности.

Вообще-то общественность — явление отвратительное. Почти целиком она состоит из пенсионеров, не имеющих серьезного хобби. На всем своем многовековом пути от инфузории до Эйнштейна эволюция не создала ничего гаже, чем отставной подполковник, не пристрастившийся к рыбалке. Способность общественности отравлять окружающую среду не снилась никаким химическим заводам. Бесславно отслужив свое в войсках МВД СССР или интендантской службе США, общественность поселяется за городом, покупает ведро почтовых марок, и торжествующие трели рвутся из ее отечного зоба.

Она находит опечатки в газете «Правда» и энциклопедии «Британика». Она обличает транспортную службу и коммунальное хозяйство. Она забрасывает инстанции проектами системы защиты от насморка и нейтронной бомбы, стаканов-невыливашек, каналов через Сьерра-Неваду и Валдай, поголовного введения портупей и нумерации домашних животных. Но главное, что волнует общественность, — нравственность подрастающего поколения.

Ей, общественности, ясно, что юную хрупкую мораль следует ограждать от всех нежелательных влияний — в том числе, влияний классиков, которые преступно не заботились об этой стороне своего творчества. Что, например, может подумать об отношениях мужчины и женщины школьник, читающий Тургенева? Это сейчас кажется, что все его героини сидят на закате, с толстой косой наперевес, а все герои стоят перед ними на коленях в костюмах-тройках. В девятом классе мы вычитывали из «Отцов и детей» совсем другое: «Эдакое богатое тело! — продолжал Базаров: — хоть сейчас в анатомический театр». Надо сказать, такие обороты в целом полезны для изучения классики. Суть споров Базарова с Кирсановым давно стерлась в памяти, но, слава Богу, остался хоть сам нигилист, режущий лягушек и говорящий циничные слова. Но, с другой стороны, как не встревожиться, что ребенку внушаются с помощью высокого авторитета безнравственные понятия.

Точно так же рассуждает американская общественность, потребовавшая сокращения «Ромео и Джульетты» в школьном курсе. Вроде бы Скалозубы — хуже некуда. Но прочтем:

> — Меньших лет, чем ты,
> Становятся в Вероне матерями.
> А я тебя и раньше родила.

Это наставляет дочь синьора Капулетти, ту самую Джульетту, о которой чуть раньше сказано: «Ей нет еще четырнадцати лет».

Шекспиру, значит, можно — а нам?
А Чосер, великий классик, выражается еще определеннее:

А вот апостол, это знаю твердо,
Он женщине не заповедал гордо
Быть девственной...
Советовать нам могут воздержанье,
Но ведь совет не то, что приказанье.

Тут-то школьный совет и задумывается: и так в школе, по некоторым данным, всего одна девственница — прыщавая учительница рисования. Едва только самые добропорядочные учителя и родители, члены школьного совета, собравшись с духом, захотят что-нибудь изъять или сократить, поднимается буря. И правильно поднимается, не для того классики писали, чтобы их подполковники редактировали. Но, с другой стороны, и пенсионеров понять надо: под окнами до утра музыка, на улице хулиганство, никто не хочет идти на войну. И будет только хуже, не зря ведь читают в школе черным по белому написанные жуткие слова:

«В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал... Было там несколько хороших учителей, и все равно они тоже притворщики... Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый кадиллак, да еще вечно притворяются, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет».

Вот сидит общественность и размышляет. Дать прочесть один из величайших американских романов — «Над пропастью во ржи», или спрятать от греха подальше? И конечно же, прячут. Потому что запретить всегда проще, чем объяснить.

Так школьные советы в разных местах изъяли из библиотек Сэлинджера, Чосера, Шекспира. «Гекльберри Финна» Марка Твена, «О мышах и людях» Стейнбека, «Убить пересмешника» Харпер Ли и даже «Дневник Анны Франк». Последняя книжка попала под запрет, видимо, чтобы дети не расстраивались зря: это же все давно было.

Тысяча случаев цензуры. На 45 миллионов школьников. В общем-то немного: ведь каждый запрет касается, слава Богу, только одной конкретной школы. Это не тотальный запрет или указ об изъятии, действующий от Бреста до Камчатки. Но тут сравнения неуместны: когда порежешь руку, мало утешает соображение о том, что была мировая война.

О ПЛЕМЕНИ СЛАВИСТОВ

Мы приближались к месту нашего назначения — маленькому университетскому городку Амхерст, в штате Массачусетс. (В России это название мог выговорить только прилежный читатель Фенимора Купера.)

Здесь проходил фестиваль современного неофициального русского искусства и литературы. Мы были его официальной частью — гостями, и ради этого случая везли с собой одолженные у солидных друзей галстуки.

Десять фестивалей назад мы присутствовали на открытии этого благородного начинания (без галстуков). Тогда здесь царил Алексей Хвостенко. Парижский культуртрегер, он один представлял американцам все ипостаси русского неофициального искусства.

В городском театре шла его пьеса (написанная вместе с Анри Волохонским) «Запасной выход». В городской галерее были выставлены его «Упражнения в дзен-буддизме». В городских киосках продавался журнал «Эхо», который редактировал тот же неуемный Хвостенко (с В. Марамзиным). И, наконец, в городском кабаре он пел песни собственного сочинения.

Если бы Хвостенко тогда заинтересовался политикой, он мог бы в одночасье стать мэром Амхерста. Популярность его была так велика, что когда он подходил к перекрестку, светофоры немедленно меняли цвет на зеленый. Но Хвостенко, устав от славы, вернулся к Парижу, дешевому красному вину и беззаботности.

В тот приезд мы впервые познакомились с американской богемой. До этого мы думали, что богемой в Америке называют людей, пользующихся «мерседесом» вместо «роллс-ройса». Но тут мы влились в коммуну веселых нищих, которые знали все о Джойсе и ничего о моргедже. Жили они сообща, в немыслимом бараке, спали без простыней и обедали у знакомых. Нечего удивляться, что силами этих безалаберных пиитов была поставлена инсценировка книги Ерофеева «Москва — Петушки». А могли бы осилить и «На дне» Горького.

Памятуя о них, мы приехали в Амхерст, чтобы провести семинар о роли богемы в русском искусстве. Но времена меняются. В сегодняшней Америке бедность непопулярна. Студенты предпочитают изучение хлебных профессий валянию дурака. Оздоровилась общая атмосфера. В кампусах читают не романиста Гарсиа Маркеса, а автопромышленника Айякокку, и мы с нашей темой выглядели, как стареющие хиппи, зашедшие погреться в вестибюль банка.

Во всяком случае, аудитория у нас была малочисленная. (Не то чтобы слушателей нельзя было пересчитать по пальцам, но «малочисленная» звучит приличнее.) Зато слушатели представляли все студенческие категории: девочки, которые пришли под угрозой отчисления, старательный юноша с толстой тетрадью, обросший бородой юноша постарше, которого мы приняли за реинкарнацию Че Гевары. (Потом выяснилось, что мы были правы. Бородач пришел, чтобы выяснить, собираемся ли мы свергать президента.) Были, правда, еще и профессора, которые выгодно отличались от студентов тем, что понимали, о чем мы говорим.

Американские слависты заслуживают отдельного разговора. Их уникальность состоит в том, что только они проявляют хотя бы минимальный интерес к существованию русской культуры. Эта их очевидная ненормальность позволяет осуществлять контакт.

Все-таки приятно сосет под ложечкой, когда встречаешься с безупречным джентльменом, посвятившим себя проблеме «Образ чиновника у раниего Боборыкина».

Конечно, безупречные джентльмены гораздо чаще занимаются не образами чиновников, а стратегическими планами советского Генштаба. Помнится, когда мы, желторотые новички, попали на вашингтонский конгресс славистов, нас поразило количество ученых в генеральских и адмиральских мундирах. До тех пор нам казалось, что славистика — мирное дело. Но оказалось, что тема «Энергетические ресурсы гражданской обороны» собирает аудиторию раз в триста большую, чем семинар о поэтике Платонова.

Американские слависты в штатском (к людям в форме мы из трусости не подходили) подкупают своей вежливостью и дотошным знанием одного предмета — своего. Необычайно льстит их прилежный интерес к русским. Мы для них объекты исследования, а это предусматривает определенную загадочность нашей натуры.

Есть, конечно, в таком отношении и кое-какие неудобства. Объекты исследования не должны становиться его субъектами. Согласитесь, что было бы нелепо, если бы вождь племени ирокезов написал грамматику ирокезского языка. Достаточно того, что он им владеет.

Один славист-профессор, а они, как все нормальные люди, обожают говорить о глупостях коллег, рассказал нам забавную историю об отношениях объектов и субъектов. Писатель Саша Соколов попросил грант (стипендию) в солидном университете, чтобы написать новый роман. Ему отказали. Через месяц в этот же университет за грантом обратился американский ученый, собирающийся написать диссертацию о романе Саши Соколова. Его просьба была немедленно удовлетворена.

Не то что среди славистов совсем не было русских эмигрантов, но все же их меньше, чем казалось бы нам естественным. Другой профессор, на этот раз коллега по «Третьей волне», объяснил ситуацию вполне доходчиво. Представьте себе людей, посвятивших жизнь изучению устриц. И вдруг эти самые устрицы заговорили сами. Развязные и нахальные, они

претендуют на право заниматься самоанализом. Они утверждают, что лучше посторонних знают свой устричный язык, лучше разбираются в проблемах раковины, мантии и перламутрового слоя, что им точно известно, какая отмель лучше подходит устрицам и сколько из них скрывают в себе жемчужину.

Может, они врут, может, говорят правду, но ясно, что своей разговорчивостью устрицы мешают плавному течению академической мысли. Как мы уже сказали, Амхерст находится посредине Массачусетса, Массачусетс — посредине Новой Англии, а Новая Англия — посредине необъятной лесной чащи.

Дикий характер местной природы странным образом отразился на литературной географии этого края. Если благодаря Одессе русская словесность располагает Юго-Западной школой, то благодаря здешним штатам будущие ученые, те же слависты, смогут говорить о Новоанглийском направлении в русской литературе.

В самом деле, в недалеком Вермонте живет Солженицын. Там же периодически поселяется кочующий Соколов. В соседнем Нью-Хэмпшире обитает Лосев, в Коннектикуте — Алешковский, и нет ничего странного в существовании русского издательства Романа Левина «Нью Ингланд корпорейшен».

Кроме того, возле Амхерста стоит дом Бродского, подолгу читающего лекции в бесчисленных массачусетских университетах.

Интересно, что привлекает русскую литературу в Новую Англию? Относительная дикость (говорят, что медведей здесь больше, чем в Сибири)? Европейские аллюзии британской топонимики? Традиции американской классики?

Лично нам показалось, что этот северо-восточный уголок страны меньше других принадлежит Америке. Прародина Соединенных Штатов слишком старомодна, чтобы быть по-настоящему американской. Не поэтому ли здесь есть фестиваль русского искусства, а «Мак-Дональдса» мы так и не нашли?

О ТРИУМФЕ АМПИРА

Наверное, всем эмигрантам когда-то снилась Америка. В Вене, Италии или еще дома. В последние предотъездные дни, когда семья спит на полу, положив под голову, вместо упакованных подушек, библиотечные книжки, американские сны были особенно горячими.

Помнится, было, в этих снах что-то белоснежно-огромное, грандиозно-стеклянное, бетонно-железное, в брызгах шампанского. И по всей этой роскоши ездили взад-вперед длинные, не меньше линкора, машины. За рулем сидели мы — высокие блондины, а рядом наши жены — высокие блондинки...

Сны, кстати сказать, вообще вещь замечательная, но непредсказуемая. Кому на них везет, кому нет. Вот, скажем, в нашем соавторском коллективе. Одному постоянно снится, что он стоит на трибуне ООН рядом со Сталиным и Рузвельтом. А другому — что едет в трамвае без билета. Так рождается черная зависть.

Зато в эмигрантских снах царило равноправие.

В наших сновидениях почему-то преобладала архитектура. От нее веяло нездешним модернизмом космического масштаба. И мы долго не могли простить Нью-Йорку, что наяву он оказался совсем другим. Сейчас-то уже притерпелись, но вначале до дрожи возмущения поражало, как главный город Америки посмел быть таким старомодным. Даже захолустный Ростов в целом выглядит поновей. Стеклянная закусочная «Ветерок», театр в виде трактора. А здесь нет ни одного подземного перехода для пешеходов. Плюшевые занавески — крик моды.

Патриархальный облик Нью-Йорка легко объясняется историей. В отличие от Ростова его не бомбили. Здесь все как поставили, так и стоит.

Отсутствие оккупационной армии немало способствует консервативным тенденциям.

Впрочем, именно недостаток военных воспоминаний привел к тому, что господствующим архитектурным стилем Нью-Йорка стал ампир. В виде компенсации.

Ампир — это бесконечные колонны, триумфальные арки, гипсовые венки, лиры, стрелы, лавры, орлы, львы и так далее. Рабочий язык ампира — латынь. Стиль этот покорил Европу вместе с Наполеоном и предназначен был исключительно для воспевания воинских доблестей.

Лучший образец ампира в Америке — доллар. Вглядимся в строгий дизайн этого небезразличного каждому предмета. Все здесь соответствует требованиям стиля. Гордый орел, зажавший в одной лапе пучок стрел (символ войны), а в другой — оливковую ветвь (что как-то связано с маслинами). Пирамида с римскими цифрами (интересно, сумеет ли их расшифровать поколение, привыкшее к калькуляторам?). Загадочные латинские тексты — «новус ордо секлорум».

Кругом ампирный орнамент — меандры, аканты, пальметты. Даже надпись «ONE» (другой купюры мы у себя не нашли) выполнена в классической манере. Несомненно, доллар — самая героическая деталь американского обихода. В советских банкнотах преобладала сельскохозяйственная тематика.

Если как следует всмотреться в нью-йоркскую архитектуру, то легко заметить, как она похожа на доллар. Та же смесь армейского парада с зоопарком — стрелы, копья, львы. Причем необязательно искать ампирную символику на триумфальных арках. Она повсюду. На фонарных столбах, в сабвейных будках, даже в оформлении публичных туалетов.

Античные аксессуары в равной степени украшают библиотеки, школы, тюрьмы, ночлежки.

Местные жители, не отягченные излишней эрудицией, наверное, и не замечают, что их город целиком слизан с Древнего Рима. (Наполеоновский Париж использовал тот же образец.) Но европеец сразу обнаруживает плагиат. Вот что сказал, например, Менделеев, попавший в Америку в прошлом веке: «В Новом Свете людские порядки остались те же — старосветские. Там просто повторяют на новый лад все ту же латинскую историю».

Латинская история продолжается и сегодня. Все так же стоят капитолии, все так же заседают сенаторы, все тот же императорский орел объясняется на все той же золотой латыни. И эту государственную преемственность прекрасно иллюстрирует нью-йоркская архитектура. Даже в суперсовременных зданиях ампир берет свое. Поднимаясь на 86-й этаж какого-нибудь небоскреба, обратите внимание на решетку лифта, и вы обязательно обнаружите знакомое — оливковые венки, львов, лаврушку.

Стиль всегда торжествует над человеческими намерениями. Он лучше знает, на что похожа Америка. Тем более в Нью-Йорке. Где прямо на автомобильных номерах написано — «Имперский штат».

О «РЕВИЗОРЕ» НА 22-й СТРИТ

В сознании русского человека Гоголь почти такой же свой, как Пушкин. К нему можно и нужно относиться фамильярно, запанибрата, слегка свысока. Это довольно странно: ничего в жизни Гоголя не располагает к насмешливому отношению. Не сравнить, например, с Толстым. Тот и вегетарианец был, и ханжа, и пахать выходил исключительно к курьерским поездам — казалось бы, поводов для иронии множество. Но не откликнулось народное творчество на его чудачества (кроме известной песни).

Совершенно избежал надругательств Достоевский, никак не отражен в фольклоре Тургенев, никаких порочащих фактов не рассказывают про Гончарова.

Гоголь же следует вплотную за Пушкиным, опережая даже Лермонтова, — в качестве героя невероятных историй, фантастических домыслов

и, главное, анекдотов. В знаменитой серии анекдотов про русских классиков — с полным пренебрежением авторитетом, с немыслимо грязными подробностями интимного быта, с простодушным цинизмом и наивной грубостью — Пушкин, несомненно, главный герой. Но если завязка всегда одинакова: «Как-то Пушкин с Лермонтовым...», — то и к развязке почти всегда поспевает неизменный Гоголь (часто вместе с императором Николаем).

Непьющий, целомудренный, тихий — чем это он так потрафил фольклору? Ну, длинноносый, ну, смешная фамилия — вроде бы этого мало.

Все дело, конечно, в чувстве юмора, в смехе. В том, что гоголевские произведения можно пересказывать хохоча. В том, что его повести и пьесы сами вошли в сознание как анекдот: независимо от личности автора (у Пушкина как раз он сам анекдотичен).

Очень уж немного смеха в русской классической литературе, чтобы его редкие вкрапления не ценить как золотую жилу. В одних только Гоголя и Чехова ушла чуть не вся российская веселость. Атрофировано чувство юмора у Толстого, Тургенева, Бунина. Едва-едва брезжит у Гончарова. Даже у Салтыкова-Щедрина все, кроме «Истории одного города», — мрачная сосредоточенная сатира. Особый случай — с Достоевским. Его блестящий юмор существует как-то сам по себе, в отрыве от образа писателя и представления о его творчестве. Должно, видно, пройти время, чтобы Достоевский занял место не только в ряду психологов и философов, но и в ряду юмористов.

С Гоголем же все ясно: он уморительно смешон, и потому над ним можно беспрепятственно и безнаказанно смеяться. Самое гениальное издевательство над Николаем Васильевичем Гоголем принадлежит Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду.

Поставленный им в 1926 году «Ревизор» так потряс российскую публику, что возмущению и восторгу не было конца. Разумеется, возмущения оказалось больше — как всегда, когда затронуты святыни. В России такой святыней уже полтора столетия служит родная классическая литература — даже больше, чем самодержавие, народность и партийная принадлежность.

Во всяком случае, насмешки Гоголя над самодержавием, так явно заложенные в образ Городничего и его шатии, такого сильного впечатления на самого самодержца и его окружение не произвели. Цензор Никитенко вспоминает в «Дневниках», что Николай Первый «хлопал и много смеялся», а его августейшее семейство «комедия тоже много тешила».

Когда, через девяносто лет после премьеры «Ревизора», Мейерхольд поставил гоголевскую пьесу, спектакль вызвал бурю негодования посягательством на самое сокровенное. И теперь возмущались не просто тупые чиновники, но и прогрессивные писатели, художники, артисты.

Злую и блестящую пародию на мейерхольдовскую постановку оставили в «Двенадцати стульях» Ильф и Петров.

Интересно, что не только Гоголь, но и давно уже Мейерхольд записан в классики, и Ильф и Петров являются авторами классической юмористики. И в этой невероятной каше в полном смысле классик на классике сидит и классиком погоняет.

Мы же недавно стали свидетелями очередного — веселого и талантливого — поругания русской классики. Будем считать, что это уже четвертый план издевок. Мейерхольдовскую постановку «Ревизора» показал американский театр «American Shakespeare Repertory».

Насмешки начались сразу, как только мы подошли к зданию «Театра 22».

Он назван без всяких затей — просто потому, что находится на 22-й стрит Манхаттана. Это один из тех домов, которые охотно фотографировали советские журналисты, снабжая снимки зловещими подписями: «А всего в нескольких кварталах отсюда — богатые особняки Пятой авеню...» Здание живописно: отвалившаяся штукатурка слежалась на тротуаре мощными сталагмитами, на голубых когда-то дверях застыли золотистые потеки, ушами спаниеля повисли полуоторванные афиши, ступеньки похожей на трап лестницы почти все целы.

Главное удовольствие ждало нас в фойе. Так мы решили называть лестничную площадку, где продавались билеты и щебетали в предвкушении театралы. Все было устроено очень удобно: у стены стояли стулья, на которые можно было присесть, рассматривая программу. Мы выяснили, что глава труппы — Дуглас Овертум, он же исполняет сегодня роль почтмейстера. Режиссер — Джанет Ферроу. Девушка с метлой попросила нас поднять ноги, чтобы она могла подмести. Мы подивились простоте нравов и продолжали изучать программу: музыка Шостаковича, Прокофьева, Глиэра — подобрано со вкусом. Сильное впечатление произвел перечень прочих постановок театра: Софокл, Сенека, Шекспир, Мольер. Толковая дама эта Джанет Ферроу, решили мы, и пошли спрашивать, не могут ли русские журналисты задать несколько вопросов миссис Ферроу. Добродушная билетерша помахала рукой: «Джанет! К тебе!» Девушка с метлой высыпала совок в урну и, потирая ладони, направилась к нам.

Но поговорить с режиссершей не пришлось: где-то ударили в гонг, и миссис Ферроу с необычайным проворством взобралась по веревочной лестнице в прибитую к потолку деревянную конуру. Мы хотели броситься в зрительный зал, и бросились было — но некуда. Выяснилось: мы уже полчаса находимся в зрительном зале и, собственно, уже сидим на своих местах.

Та рогожа, которую мы принимали за нарочито демократическое оформление фойе, оказалась занавесом. Рогожа поднялась, открыв пространство сцены.

Билетерша (она же гример) прошипела нам, чтобы мы не вытягивали ноги — и вовремя: они были бы отдавлены вошедшим с лестницы Держимордой.

Мы вообще долго не могли привыкнуть к тому, что сидим в первом ряду, и все боялись — как бы невзначай не съездил по уху Городничий или не ущипнула Марья Антоновна. Вообще-то мы предпочитаем бельэтаж, но в «Театре 22» с этим никто не думал считаться, и мы, если захочется, могли называть бельэтажем второй ряд, потому что третий уже был балконом, а дальше шла глухая стена. Зрительный зал, как мы заметили, рассчитан на 32 места, но в этот вечер был аншлаг, и ввиду грандиозного успеха переполненный театр вместил 41 любителя искусств. Если учесть, что в спектакле заняты 17 актеров, то соотношение — в нашу пользу.

Ошеломленные всем увиденным, мы вначале настроились скептически и грустно отмечали забавности текста: «перекладные» обернулись новым видом транспорта «public troika», в мечтах Городничего о лакомствах рыбы «корюшка и ряпушка» стали «eels and smelts» («угри и корюшка»).

Мы даже думали, что переименован в какого-то Колесникова главный герой — однако все дело в особенности произношения: «Кхолестакофф».

Но постепенно все больше и больше захватывала гоголевско-мейерхольдовская фантасмагория, помноженная на абсурд американской постановки.

Сменившая метлу на магнитофон, Джанет Ферроу из конуры под потолком подавала музыкальные сигналы, и четко менялись мизансцены, без запинки разыгрывались эпизоды, с механической определенностью праздновали свой карнавал монстры из уездного города николаевской России.

Три главных греха усмотрела советская критика в мейерхольдовском спектакле: мистику, эротику, асоциальность.

Эротики у «American Shakespeare Repertory» хоть отбавляй. Совершенно непристойная (и довольно невнятная) сцена, которой у Гоголя не было, — возня слуги Осипа с поломойкой — вызвала наш интерес, особенно пристальный потому, что разыгралась прямо у нас под ногами, так что слюна сладострастия летела на ботинки. Через плечо почтмейстера мы рассматривали порнографические открытки, которые он показал развратной дуре Марье Антоновне. Анна Андреевна переодевалась так подробно и так близко, что хотелось в смущении выйти в фойе, если бы оно не служило зрительным залом и сценой.

Мистика была обильно и превосходно представлена шествием персонажей с курительными трубками разных конфигураций и размеров. Адские клубы дыма, извергаемые чиновниками, окутали нас, погрузив в ат-

мосферу нереальности, хотя уж куда нереальнее сам тот факт, что все происходило в центре Манхаттана.

Что касается асоциальности, то есть поворота от сатиры на самодержавный режим к общечеловеческим проблемам, то Мейерхольда правильно ругала советская критика: гоголевские чудовища из «Ревизора» живут всегда и везде: в Санкт-Петербурге, в Америке, на Брайтон-Бич. Да что далеко ходить — мы и сами такие. Уже после спектакля мы говорили с Дугласом Овертумом, который рассказал, как просиживал в библиотеке над записями Мейерхольда и описаниями его затей. Все «ревизорские» выдумки гениального режиссера Овертум и его коллеги тщательно и осторожно перенесли на сцену своего театра. Собственно, тут слово «коллеги» не вполне точно постольку, поскольку речь идет не о работе в обычном смысле слова.

Не много долларов набирают они даже в дни аншлагов. Помножив 41 на 8 (цена билета), получим всего только 328 долларов. А помещение, а свет, а аппаратура, а костюмы, а печать программки? А разделить на 17 актеров?

В существовании такого театра — абсурд, который не снился ни Гоголю, ни Мейерхольду, и над этим, возможно, не стали бы смеяться смелявшиеся над всем Ильф и Петров. Не потому, что есть какие-то запреты на насмешку и существуют пределы иронии, а потому, что при всем абсурде своего бытия американский театр поставил мейерхольдовский спектакль по гоголевской пьесе — хорошо. Смешно, изобретательно, лихо.

Какой-то совсем другой образ возникает. Что-то непохожее на ту Америку, в которую мы ехали и в которой оказались. Разве это не наша российская привилегия: безденежная духовность? Разве не мы одни во всем мире отвергаем материальные блага ради интеллектуальных радостей? Разве не одни российские подвижники творят вечные ценности, наплевав на карьеру и добывая жалкие гроши истопниками, сторожами, лифтерами?

Как легко рушатся удобные и приятные схемы: у них — деньги, у нас — дух. Как просто убедиться еще и еще раз в том, что такое разделение проходит не по государственной границе или национальной принадлежности. Дуглас Овертум, Джанет Ферроу и их товарищи — стопроцентные американцы, достаточно молодые, чтобы выбрать любой иной путь в жизни, и достаточно взрослые, чтобы не считать свое занятие юношеским увлечением.

То, что большинство из нас не знают такой Америки и таких американцев, — наша беда и вина. Это нам нравится повторять, что тут всех интересуют только деньги и карьера, кроме тех, конечно, кто спит на скамейках в парке, клянчит квотеры в метро и лежит в куче тряпья на вентиляционных решетках. На самом деле красота бедности не выдумка жителя бочки Диогена, а способ существования: надо только знать, зачем быть бедным (как, впрочем, хорошо бы знать, зачем быть богатым). Потому что бедность может быть унизительной и убогой, а может — свободной и веселой.

О НОВОСТЯХ

Довольно трудно представить, о чем могли болтать на прогулке, скажем, Пушкин с Лермонтовым. О гекзаметрах, или французском театре, или лошадях? Может быть, о кавказской природе, а может, о какой-нибудь горничной. О чем бы они ни говорили, им приходилось самим выдумывать предметы для беседы. Наш век упростил эту задачу. Сегодня люди не говорят, а обмениваются новостями. Каждое утро газеты аршинными заголовками подсказывают нам темы. Они лучше знают, что важнее — эпидемия СПИДа, удаление бородавки на носу президента или захват террористами трамвая.

Мы живем в густом информационном бульоне. Американские журналисты сделали новости необходимым компонентом жизни обывателя. Газеты и телевизор держат нас постоянно в курсе событий. Стоит на один день отстать от этого курса, как человек оказывается немым: ему просто не о чем поболтать с приятелем, соседом, коллегой.

И все же жадность современного человека к новостям объясняется не только такими приземленными и суетными причинами. Информация об окружающем мире делает зрителя или читателя мнимым участником происходящего.

Новости всегда свежие, известия всегда последние. Мы живем исключительно в сегодняшнем дне. Значительно только то, что происходит сейчас. Сиюминутность диктует нам дискретную картину мира. Кому придет в голову читать старую газету? А завтрашней не существует вовсе. Все прошлое и будущее должно уместиться в день сегодняшний. Из-за сугубой актуальности новостей мы теряем ориентацию в иерархии ценностей. То, что казалось вопросом жизни и смерти сегодня, завтра представляется нелепым пустяком. С точки зрения газет, мир состоит из одних сенсаций. Но сколько подлинных сенсаций способна вместить одна человеческая жизнь? Штук пять с головой хватит. Однако мы охотно позволяем себя дурачить. Соглашаемся верить, что убийство в Бронксе и есть та новость, которая перевернет мир. Хотя бы на тот период, пока не произойдет убийство в Квинсе. Нам даже нравится, что окружающая вселенная живет такой напряженной, остросюжетной жизнью. Нравится, потому что на самом деле главное в новостях не само событие. В 99 случаях из 100 оно не касается непосредственно нас. Покоряет другое: журналисты превращают скучные будни в драму.

Изо дня в день люди встают, умываются, ходят на работу, ругаются с женой, платят налоги, ложатся спать. А на фоне этого однообразного существования разворачивается увлекательный спектакль. Иногда кровавый боевик, иногда уморительная комедия, иногда слезливая мелодрама. И все это на самом деле, без дураков. События происходят в реальности, а не придумываются ловкими щелкоперами. И кровь льется настоящая. К тому же драма эта в отличие от тех, которые показывают в театре, не имеет конца. Сюжет ее непредсказуем. Он часто нелогичен, абсурден, часто вообще не имеет смысла.

Что может быть интереснее, чем следить за перипетиями постановки, у которой нет ни автора, ни режиссера. И ведь для этого не надо самому принимать в ней участие. Мы отгорожены от новостей голубыми экранами и газетными полосами. И как бы близко мы ни принимали к сердцу происходящее, стоит только выключить телевизор, как наша обыденная жизнь вступает в свои права: жена, тахта, тапочки. Поволновались за судьбу очередных заложников, ужаснулись очередному злодейству, насладились полноценным катарсисом и юркнули обратно в свой безопасный, но скучноватый мирок. В конце концов, никто и не ждет, что лично мы примем участие в этой бурной драме. Довольно того, что мы ей сопереживаем.

Когда Шекспир заявил, что мир — это театр, мир еще театром не был.

Люди путешествовали в каретах со скоростью 20 миль в день. Парусник покрывал 125 миль за сутки. Почтовые курьеры, выжимая из лошадей, что могли, делали за день 85 миль. Новости требовалось 10 дней, чтобы добраться из Венеции в Париж. Когда такая новость наконец приходила, уже поздно было что-нибудь предпринимать. Поэтому она мало кого волновала: «Что там турки? Да... Но овес-то вздорожал».

Шекспировские современники, воспринимая мир как театр, имели в виду историческую драму. Счет шел не на дни, а на династии. Даже вероломное убийство Юлия Цезаря представлялось достаточно актуальной новостью.

Поэтому-то так интересно, как коротали время на прогулке Пушкин с Лермонтовым. Скорее всего их волновали вечные темы — поэзия, женщины, евреи.

ОБ ИСПЫТАНИИ ХАЛЛОВИНОМ

Главный праздник Америки — это, конечно же, Халловин.

Наверное, это кощунственное утверждение следует пояснить. День независимости существует везде, и везде празднуется примерно одинаково. Нет никакой хитрости в том, чтобы объявить день нерабочим, перекрыть движение за казенный счет и побудить граждан съесть в этот вечер вдвое больше, чем обычно (не говоря уж про выпить).

Ведь все это делается ради красивых и высоких идеалов, в ознаменование важных исторических событий. Счастливое освоение Нового Света (День благодарения), труд как основа народной нравственности (День труда), обретение свободы (День независимости), память о павших (День поминовения) и так далее.

Что касается второй группы праздников — то и с ними все ясно. Даже русские эмигранты из числа лиц еврейской национальности знают, по какому поводу устраиваются Рождество или Пасха.

И лишь один праздничный день выпадает из этой череды значительных событий: Халловин. 31 октября.

Так было не всегда. Возникший среди друидов — жрецов древних кельтов, — Халловин был посвящен очень серьезной проблеме: чертовщине, ведьмовству, нечистой силе. В нынешней Америке это день не чертовщины, а чепухи. Сохранив древний антураж в виде дьявольских масок и тыкв (тоже наследие друидов), Халловин утратил главное — важность. И главное же приобрел — несерьезность.

Апофеоз несерьезности царит в этот день в Америке. Страна превращается в обитель с уставом «Делай что хочешь». И все действительно делают что хотят. Причем это не всегда так уж приятно, но в этот день не принято обижаться. Мы лично не одобряем только дурацкий обычай бросаться яйцами. Хорошо еще, что в Штатах не достать тухлых. Но и свежее разбитое яйцо гораздо уместнее на сковородке, чем на пальто. 1 ноября Нью-Йорк выглядит замощенным яичницей и даже несколько изменяет колористическую гамму, приобретя веселенький желтый цвет.

Мы не приходим в восторг от американского изобилия, позволяющего зря уничтожить количество продуктов, достаточное для годового прокорма Тамбовской области. Слоняясь по халловинскому городу, мы думали о другом изобилии — эмоциональном и даже духовном.

Только пройдя через исторические искусы и обманы главных праздников, можно так беззаветно радоваться празднику принципиально неглавному. Только народ, не ставящий перед собой значительной цели, способен отдаваться стихии бесцельной и незначительной. И не в компании друзей, а — во всенародном масштабе.

Мы вспоминали элементы Халловина из наших прежних праздников. Навсегда в памяти осталось 50-летие Октября, когда в 67-м году мы оказались в Москве и пришли на Красную площадь.

Главным аттракционом дня, за который кто-то собирался, надо полагать, получить орден, был трюк с призраком Ленина. С дирижабля над центром Москвы свесили гигантский тканый портрет вождя, который должен был осенять праздничный город. Но изобретатели не учли ветра. Ноябрьский ветер раскачивал портрет. Вместо того, чтобы строго отечески смотреть на столицу, вождь подмигивал, гримасничал, кривлялся. Короче, вел себя так же непристойно, как здешние вожди на халловинском параде, когда стройными рядами идут искаженные вашингтоны, линкольны и рейганы. У нас нет оснований подозревать изобретателя московского аттракциона в диверсии, тем более что с ним разобрались, видимо, без нас. И потому нам остается повторить мудрые слова Бахчаняна: «По-настоящему там что-то начнет меняться тогда, когда в газетах появятся карикатуры на Политбюро».

Народу необходимо доказать самому себе право на несерьезность. Возвращаясь к нашей теме, — пройти проверку Халловином.

О ПИВЕ

Неторопливая прогулка по Манхаттану — это привилегия бродяг и других приближенных к ним лиц, плюнувших на карьеру. Мы, занимая промежуточное положение, гуляем часто и основательно. Приятно чувствовать себя выброшенным из стандартной суеты нашей столичной жизни. В толпе одинаковых, как матрешки, клерков мы выделяемся развязностью походки, отсутствием галстуков и портфелей типа «дипломат». Вместо «дипломатов» мы несем по банке пива в коричневом пакете. Это как бы символ нашей независимости. Пиво в 11 утра — клерки себе такого не позволят.

Но почему же мы прячем невинное пиво в уродливые бумажные мешки? — спросил бы наш наивный соотечественник. И мы бы ему с удовольствием и не торопясь (см. выше) объяснили, что в Америке нельзя пить пиво на улице. И что полицейский за это может вас отвести в тюрьму. С другой стороны, ни один полицейский не посмеет нарушить ваше право на тайну и не спросит, что вы там прячете в коричневом пакете. Великая вещь свобода, особенно если знаешь, как ею пользоваться.

Все было бы хорошо, если бы пиво не было таким тоскливо безвкусным. Может, одесситам и кишиневцам все равно, но нам — уроженцам пивного города Риги — это не безразлично. Мы, знаете ли, привыкли, чтобы пивная пена могла удержать двухкопеечную монету. Вот так — и не меньше.

Когда гуляешь не торопясь, приятно ругать окружающую действительность. Почему это, черт побери, в нищей Бразилии делают приличное пиво, а в социалистической Чехословакии великолепное, и во Франции, где все пьют вино, есть замечательный «Кроненберг», а в богатой и здоровой Америке производят бурду? Что это за пиво, которое по вкусу не отличается от пакета, в который оно завернуто?

Оказывается, все взаимосвязано. И пивная история характеризует эволюцию американских нравов не хуже любой другой.

Сначала в Америке все было как у людей. Англичане и немцы привезли в Штаты свои пивные традиции, и все было слава Богу.

Потом появилась мораль и благие намерения. Как всегда, эти вещи приводят к катастрофе. В Америке они привели к сухому закону. Никогда в истории не было другого периода, когда бы столько людей занимались производством и продажей алкоголя, как в те тринадцать лет, когда это запрещалось. Единственное спиртное, которое пострадало от сухого закона, было пиво. Кто же станет рисковать из-за напитка в пять градусов крепости? Это как с самиздатом. Человек еще мог рискнуть свободой ради перепечатки «Архипелага ГУЛАГа», но не садиться же из-за эстетских романов Набокова.

Сухой закон начисто стер с лица Америки такую отраву, как пиво, зато породил широко разветвленную систему самогоноварения и организованной преступности.

Потом была Великая депрессия и война, когда всем было не до пива. А там появилось кое-что пострашнее — телевидение.

Специалисты считают, что десятилетие между 1952 и 1962 годами американцы провели у домашнего экрана. Отрывались они только в случае землетрясения. Позакрывались кинотеатры, театры, кегельбаны, публичные дома и бары. Американец 50-х годов пил пиво, не отходя от телевизора.

Пиво теперь покупали не его потребители — мужчины, а их жены, которым было все равно, лишь бы мужа не тянуло на сторону, от голубого экрана. Естественно, что женщины покупали пиво не хорошее, а то, о котором они что-нибудь слышали. Слышать же о пиве они могли только по телевизору.

Индустриальные магнаты сразу сориентировались в происходящем и стали тратить на рекламу денег больше, а пиво становилось хуже. За десять лет напряженных усилий Америке удалось уничтожить все следы пивных традиций. Нынешнее поколение американцев живет с сознанием,

что пиво отличается от кока-колы только тем, что его не продают малолетним.

Эта поучительная история показывает, к чему может привести стремление к общему благу.

Иногда кажется, что только шкурный эгоизм и циничное равнодушие способны противостоять разрушительной поступи добра.

О ЮЖАНАХ И ЮГЕ

Нас давно уже мучило подозрение, что мы открыли Америку не с того конца. Пароксизм удивления, испытанный в первый же нью-йоркский день, на многие годы заслонил всю остальную страну. Контрасты, сконцентрированные в этом великом городе, мешают освоиться в нормальной американской жизни, заменяя ее выигрышным суррогатом: Америкой космополитичной, разноликой, многоязыкой, веселой, бурной, сверхсовременной, но — не настоящей.

Для эмигрантов вполне естественно принять иллюзию за реальность — поверить, что «плавильный котел» и есть та страна, куда мы ехали. Но, плавая на поверхности этого хрестоматийного котла, мы все время имеем дело лишь с пеной, взвесью, летучими эфирными маслами, которым именно легковесность и не дает опуститься на дно.

Так и в самом деле легко перепутать американское гражданство с национальностью. А вследствие этого заблуждения поверить, что никакой Америки нет, что Америка — это мы сами, что совокупность отрицаний дает в сумме тот плюс, который мы зовем загадочным словом «американец», не вкладывая в это имя общности языка, происхождения, культуры, то есть всего того, что делает человека там, в Старом Свете, кем-то — русским, французом, китайцем.

Что ж, Соединенные Штаты дают основание и для такого толкования. В самом названии этой страны таится указание на разрыв с традицией. Недаром все, кто стремится начать жизнь с чистого листа, подбирают себе аббревиатуры вместо человеческого и исторического имени. Тут у США и СССР много общего. Прежде всего сам акт рождения: оба государства возникли «на кончике пера», из декрета, концепции, с той, конечно, грандиозной разницей, что можно быть русским и советским, нерусским и советским, русским и антисоветским, а у американца выбора, казалось бы, нет — им становится всякий, кто разделяет не общую кровь, а общую конституцию.

Как в загробном мире, в Америке реализуется мечта о втором рождении, только на этот раз на свет — в Новом Свете — появляешься в результате свободного, осознанного выбора: там, где хотел.

Один умный француз назвал Соединенные Штаты «искусственным спутником Земли», добавив при этом, что будущее принадлежит людям, не обремененным корнями.

Теоретически это все верно, но практически — практически остается неразрешимым вопрос: возможен ли народ без корней? Что делает эту страну единой? Что держит этих людей вместе, да еще так прочно, что даже самая страшная в американской истории война — Гражданская — не смогла разорвать их союз. И звездочек на флаге с годами становится все больше, и никогда — меньше. Все империи поражала эпидемия центробежности. Но стоязыкая Америка стоит Вавилонской башней, продолжая расти — в том числе и за наш счет.

Как все пришельцы, мы часто задавали себе вопрос — где настоящая Америка, где ее родина, где она живет в не разбавленном нами же экстракте?

На Юге — подсказывала ответ американская литература, на Юге — в стране Марка Твена, Фолкнера, Флэннери О'Коннор. В каждой стране ядро там, где литература гуще. (От этого утверждения мы не откажемся, даже если придется считать родиной России — окраинный Петербург.)

И мы поехали на юг. Пока вы не пересекли линию Мэйсон — Диксон, границу Пенсильвании и Мэрилэнда, «ю» можно писать с маленькой

буквы — это всего лишь сторона света, но за чертой, исторически разделяющей два лагеря, вы оказываетесь уже на Юге, где уместна только заглавная литера. Здесь уже все свое: еда — никакого хлеба, зато 160 сортов кукурузной муки, язык — без костей, одни гласные, флаг — старинное знамя южан — со звездами, по числу рабовладельческих штатов, объединившихся в Конфедерацию.

Кстати, нью-йоркские номера машины сделали в одно мгновение то, чего не случилось за двенадцать лет эмиграции: мы стали янки, о чем не забывал напомнить каждый водитель, недовольный нашей нерасторопной ездой. Только ничего мы от этого не выиграли: северян здесь не любят. Потомки конфедератов, как они любят говорить, «ничего не забыли и ничего не простили». Самая популярная надпись на бамперах: «Генерал Ли сдался, я — нет».

Сперва можно подумать, что Гражданская война еще не кончилась, но постепенно начинаешь привыкать к местной разновидности декоративного патриотизма, столь любимого Америкой.

Глубокий, а значит, настоящий Юг начинается не с какой-то определенной географической точки, а с накопления мелких наблюдений, которые подсказывают, что вы добрались до непривычной, чужой территории. Вдруг, например, из поля зрения исчезают негры. Не то чтобы, скажем, в Теннесси действовали другие законы, но проблемы сегрегации здесь вполне актуальны. В местной газете горячо обсуждался острый конфликт: впервые негры плавали в бассейне вместе с белыми.

Толпа, состоящая из одних белых, производит скучное впечатление. Оказывается, пестрая нью-йоркская улица приучает к другой цветовой гамме: чистый, несмешанный расовый тип удручает пресностью. Впрочем, мы, конечно, знаем немало соотечественников, которые не пожалели бы отдать за эту пресность Билль о правах.

А еще Юг — это страна кресел-качалок. Здесь не найдешь обычного четвероногого стула. Куда бы вы ни сели, пол под вами предательски качнется в сторону. Жизнь на качелях располагает к сладкому безделью. Раскачиваясь, невозможно толком ни читать, ни писать, ни считать деньги — только жевать табак да потягивать любимый нью-йоркскими алкашами за 45-градусную крепость ликер «Услада юга».

Этот тягучий южный ритм — взад-вперед — отделяет Америку Обломова от Америки Штольца. В прошлом Юг себя чувствует лучше, чем в будущем. Отсюда и природная консервативность южан, которая является не столько политической философией, сколько защитным рефлексом. Любые перемены, нарушающие ленивый южный статус-кво, угрожают естественному образу жизни.

Большая политика чужда Югу — новости тут бывают или местные, или никакие. Иностранцами считаются выходцы из соседних штатов, а туристам из Нью-Джерси вполне серьезно говорят: «Добро пожаловать в Америку».

Во всем этом проявляется гордое ощущение самодостаточности. Юг — это полюс изоляционизма, откуда даже Белый дом, не говоря уже о других континентах, кажется враждебным миражем. Не зря южане поставляют стране самый чистый тип реднеков, «красношеих». Эта своеобразная порода американцев, которую, по мысли многих, следует считать костью нации, лучше всего представлена водителями больших грузовиков. И правда, грузные, мускулистые, обильно татуированные реднеки, которые не выходят из дома без вязанки пивных банок, национальны как яблочный пирог и бейсбол. Эти настоящие американцы твердо знают свое место в мироздании и искренне презирают любое другое.

Однажды мы встретились с компанией реднеков в манхаттанском японском ресторане. Каким чудом они туда забрели, неизвестно, но сделали это напрасно, судя по тому оторопелому виду, с каким они глядели на сырую рыбу-суши. «Что это?» — с ужасом спросил самый молодой. «Такое же говно, как все остальное», — отвечал реднек с большим жизненным опытом.

Мотаясь без определенной цели по южным штатам, мы не искали ничего специального. В том-то и трудность американских путешествий, что эта страна уже не чужая, но еще и не своя. Известно, что о любых местах проще писать, если провел там один день, а не много лет. Близкое

знакомство только увеличивает пропасть, разделяющую людей и страны. Ведь часто и жену понять труднее, чем случайного прохожего.

В этом смысле Юг помогает туристу еще меньше, чем другие районы Америки. Он лишен оригинальности Запада или уюта Новой Англии. Но зато у Юга есть то, чего нет нигде,— Фолкнер.

Во всех поездках лучший проводник — хороший писатель. Если его нет, страна так и остается немой. Но если есть, то происходит таинственное слияние вымысла и реальности. Любого писателя лучше всего читать на его родине, что мы и делали, возя с собой несколько томов Фолкнера.

Как ни странно, литература наполняется другим содержанием просто от того, что читатель перемещается в соответствующие широты. Ожившая география из скучных, казалось бы, нужных только автору указаний, становится необходимым комментарием к тексту. Неважно, писатель ли отражает жизнь, или жизнь в глазах читателя подстраивается под книгу, существенно лишь то, что в месте пересечения литературы и реальности они сливаются в особое магическое единство, которое и остается в памяти уже навсегда.

Образ фолкнеровского Юга впервые мы открыли на старинном теннессийском кладбище в долине Кейп-Ков. В этих краях за могилами следят с особой любовью. Потомки нередко приезжают со всех концов страны, чтобы привести в порядок ветхие кладбищенские плиты.

Могилы на кейп-ковском кладбище расположены так, чтобы мертвецы лежали ногами к востоку — в Судный день вставать будет проще. Похоронено здесь человек двести, но фамилий на всех плитах только две — Оливер и Грегори. Эти двое патриархов — первые белые поселенцы Кейп-Кова — пришли сюда в 1811 году, откупили землю у индейцев-чероки, построили фермы, основали свои кланы, переженившиеся потомки которых живут здесь до сих пор.

Фамильная сага, записанная на кладбищенских плитах, читалась как романы Фолкнера. У каждого из бесчисленных Оливеров и Грегори была своя, какая-то очень американская судьба, в которой нам помог разобраться местный священник. Одного убили конфедераты, когда он защищал от мародеров корову. Другая повесилась, не простив мужу измены. Этот погиб в пьяной ссоре, возникшей по поводу выборов Теодора Рузвельта. А тот убит в перестрелке из-за контрабандного виски.

Всего шесть поколений назад на месте этого кладбища была девственная земля, на которой лишь изредка охотились индейцы. Все, что здесь случилось, произошло совсем недавно. Времена пионеров только что кончились, да и то не совсем. В тех же краях мы видели ярмарочные представления, где одетые в кожи ковбои демонстрировали искусство стрелять с двух рук без промаха, а патриот из местного драмкружка поэтически рассказывал зевакам историю освоения Дымных Гор.

Мы воспринимаем Америку как данность. Для нас она существует вне времени — Америка вообще. Но тут, на теннессийском кладбище, мы видели страну в ее исторической протяженности.

Однако это была не та история, которую знает Старый Свет. Кардинальное отличие в том, что американская история — личная, а не государственная, народная, национальная.

В основе Нового Света лежит миф о пионере, первопроходце. Это не только голливудский штамп, но и глобальная мировоззренческая концепция. Пионер — поневоле одиночка. Оторвавшись от старых корней, он пускает новые там, куда приходит и где заключает союз не с людьми, а с землей, которую он завоевывает и возделывает.

Свобода от прошлого — это бегство из истории политической в историю фамильную. Американская история по-настоящему должна бы ограничиваться семейной сагой. Как раз такой, которую и писал Фолкнер.

Этот великий южанин открыл своей стране ее подлинную сущность. Все его книги сплелись в один грандиозный эпос пионеров. И в этом он близок поэтике вестерна, истинно национального жанра американской культуры.

Интересно, что мы не считаем романы Фолкнера историческими, хотя он и выстраивал их по хронологии реальных событий. Они действительно не похожи на «Войну и мир», скорее — на Ветхий Завет или исландские саги. Дело в том, что земля Фолкнера еще так нова, что помнит имена своих первых поселенцев. Вот так те же исландцы могут перечислить всех, кто впервые вступил на их остров.

У Фолкнера родословная заменяет историю. Прошлое прорастает в личности, а не в обществе. Происхождение — главная, определяющая черта каждого из его персонажей. Они обречены нести в себе благодать или проклятие предков просто потому, что память о них еще слишком свежа. Свет еще Новый, он еще не успел растворить в безличном обществе индивидуальную судьбу каждого. И трагедию своей страны Фолкнер видел в том, что прогресс отрывает человека от мистического союза с почвой, на которой выросли могучие, преувеличенные герои его книг. Отрывает, чтобы бросить в тот самый «плавильный котел», в котором с таким успехом варимся и мы.

У Фолкнера не бывает мелких характеров. Все они — гении добра или зла, люди-гиперболы, как раз такие, каких мы привыкли встречать в голливудских вестернах.

Эта героизация — следствие перенесения Фолкнером действия в мифическое, а не историческое время. (Такую же операцию проделал со своей страной и писатель из другой Америки — Гарсиа Маркес.) Страсти, которые обуревают фолкнеровских героев, всегда величественны и разрушительны, как бы ни был ничтожен повод, их вызвавший. Люди убивают друг друга из-за пустячной обиды, из-за неподеленного доллара, из-за случайного слова.

Любой поступок приобретает характер эпического деяния, потому что каждый персонаж у Фолкнера выписан с библейским размахом, о чем говорил и сам автор: «В Ветхом Завете меня увлекают описания великих мужей прошлого, живших и действовавших, подобно нашим предкам, в XIX веке».

Таких героев Фолкнер не придумал, он просто списал их со своих предков, не так уж давно пришедших в эти края, чтобы стать патриархами нового мира.

«Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски» — такими его южане не только были, но такими они во многом остаются и сегодня: в упрямых и грубых реднеках можно узнать потомков фолкнеровских пионеров. И только здесь, на Юге, нам пришлось видеть книжные магазины, где продается одна книга — Библия.

Нынешние «русофилы» ищут в Фолкнере союзника. Их привлекает концепция священного союза человека с почвой, которую исповедовал американский писатель и которая так близка многим писателям русским. Но почва там и здесь все же разная.

В России речь идет о национальном, то есть коллективном союзе святого народа-богоносца с матерью-землей. Фолкнер же безразличен к национальности своих героев. Более того, он уверен, что, «если дух национализма проникает в литературу, она перестает быть литературой».

Фолкнера воодушевляла идея независимых личностей, которые еще не успели срастись в народ. Он имел дело с людьми, заключавшими свой, личный, союз с землей Нового Света. У Фолкнера собственно американская история еще не началась, да и самого понятия «американец» еще не существует. Американец — это человек с именем, фамилией, родословной, но — без национального предания.

Гражданская война лишила Юг политической истории и тем облагодетельствовала его: «Ища объяснений живой южной литературе, следует обращаться к войне. Северяне выиграли войну, а единственный благородный поступок, который можно совершить на войне,— это проиграть ее».

Юг, а не Север ощущает себя хранителем традиции, ядром Америки, ее духовным бастионом. Потому Юг и верен знамени конфедератов, что не хочет меняться. Миф о пионере здесь по-прежнему жив.

Иногда его можно обнаружить в неожиданных местах. Например, в музее самого знаменитого, наверное, южанина — Элвиса Пресли.

Когда мы бродили по залам этого невероятного музея, нас не оставляло чувство, что местные жители перенесли на легендарного Элвиса вечную мечту об одиноком ковбое, добравшемся наконец до неба.

Элвис — личность, выросшая до гротескных размеров — стал пророком религии успеха. Экспозиция, рассказывающая о его жизни, больше похо-

жа на собрание священных реликвий: перстень, костюм, рентгеновский снимок грудной клетки. Вот так в Стамбуле хранят волос из бороды Магомета. Кажется, и сам Пресли верил в волшебную власть над фортуной. Приближенным он дарил свои вещи как амулеты — галстуки, пижамы, трусы. В листке из его блокнота мы заметили небрежные каракули — кресты, могендовиды, полумесяцы. Похоже, он присматривался к атрибутам других религий.

Но главное в Элвисе, в его несусветной славе — происхождение. Когда он, в фантастически нелепых нарядах, увешанный золотыми побрякушками кумир, выходил на сцену, каждый восхищенный зритель помнил, что Пресли — один из них, простой парень, такой же реднек из соседней деревушки, которого судьба буквально вознесла над миром. Пусть Элвиса называли «Король», но это был монарх, короновавший себя сам — Наполеон по-американски.

В этом странном культе прослеживается та же бешеная вера в провидение, которая гнала героев Фолкнера в дикие края, а еще раньше вела отцов-основателей в Америку. Жесткая и жестокая вера в человека, живущего по своим правилам, без оглядки на Старый Свет.

Америка — страна людей, искавших убежища от истории. И на Юге, где время идет медленнее, чем на Севере, легче погрузиться в безмятежный поток вечности, омывавший этот континент всего пятьсот лет назад.

О ПРАВДЕ ПРАВА

Пренебрежительное отношение к закону — генетическая черта «Третьей волны». Мы вывезли ее с собой и насаждаем здесь с тем усердием, которое ограничено только полицейским. Да и то не всегда — вспомним о мафии на Брайтон-Бич, эффективность которой удостоилась высокой оценки специалистов.

Как бы решительно «Третья волна» ни разошлась с родиной, эмиграция по-прежнему делит с отечеством общее наследство — тоталитарное мышление.

Между прочим, этот популярный термин — отнюдь не ругательство. В советском словаре раньше «тоталитарный» для простоты объяснялся синонимом — «фашистский».

Однако стоит вспомнить, что этот термин происходит от латинского «цельность, полнота». Именно в таком значении он и употреблялся в русской традиции, причем без всякого негативного оттенка. Бердяев, например, называя русское сознание тоталитарным, объясняет, что для русских правда (неложь) и правда-истина — одно и то же. Поэтому та правда, которую устанавливают в суде, и правда в высшем, нравственном значении всегда сливаются воедино. Первая правда без второй неполноценна, бессмысленна, а иногда и преступна.

Тот же Бердяев писал об этом со всей категоричностью: «Всякий правовой строй есть узаконенное недоверие человека к человеку, вечное опасение, вечное ожидание удара из-за угла. Государственно-правовое существование есть существование враждующих».

Дилемма — что выше, закон или совесть? — мучила всех наших классиков. Не зря в русской литературе столько раз описан неправый суд.

Например, у Достоевского суд — орудие справедливости, осуществляемой через бездушный закон. Однако юридическая справедливость еще не есть Правда. Человек вообще не может судить другого человека — это прерогатива Бога.

Закон, перед которым все равны, — принадлежность государства. Но идеал Достоевского другой — вселенское братство, которое исключает понятие вины и потому не нуждается в справедливости. Его герой — не проницательный следователь Порфирий Петрович, а всепрощающая Соня Мармеладова.

Поэтому и совершенствовать надо не частности — юридическую систему, а основу — человеческую душу. Правовое общество, по Достоевскому, не исключает судебных ошибок. Более того, оно обречено совершать их —

как это случилось в «Братьях Карамазовых». Юридическая справедливость противостоит справедливости высшей, той, что основывается на законах добра, любви и красоты. Там же, где царит братская любовь, право всегда отступает. Не случайно в Советском Союзе меняется обращение к подсудимому. Прежде чем судить человека, надо превратить его из «товарища» в «гражданина».

Вроде бы наши эмигранты мало похожи на Достоевского, но в основе и тут, и там один источник, один символ веры: добро должно побеждать зло при всех обстоятельствах, в том числе и вопреки закону. Как написано у Платонова, «плохих людей убивать надо, а то хороших мало».

В Америке нам этим правилом пользоваться не дают, чего не скажешь о Советском Союзе. Долгая и успешная практика следования не букве закона, а его духу (в самом расширительном смысле) привела к твердому убеждению: юридическая справедливость должна уступить место справедливости высшей — классовой, нравственной, Божьей. Солженицын: «Общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека».

Сегодня это некогда восторженно принятое (нами — не Западом) заявление уже не кажется таким бесспорным. Сейчас уже вроде бы стало ясно, что юридические весы опасно заменять какими-либо другими. На словах мы готовы принять идею правового общества. Но — с исключениями: иногда закон может потерпеть.

В России наша жизнь сплошь состояла из таких исключений. Ее регулировало не право, а личные отношения — со швейцаром, соседом, начальником, конвоиром. Все мы, как заклинание, твердили оптимистическую формулу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». (Не потому ли мы в конце концов добрались до Америки?)

Мир, построенный на неформальных отношениях, теплее и человечнее того, который существует на основе параграфа. Может быть, оттого советская власть так отчаянно уже семьдесят лет воюет против бюрократа, что видит в нем пророка-диверсанта, заменяющего кровь чернилами.

Российский человек видит унижение в низведении своей личности до уровня «истца». Если уж суд необходим, то лучше бы ему быть «товарищеским». То есть таким, который имеет в виду не столько факты, сколько личность участников тяжбы. Мания характеристик в Советском Союзе объясняется попыткой внести в закон человеческое измерение, сделать его более интимным, расширить область права за счет других форм «человековедения». Персональная характеристика — это редуцированная форма литературного исследования. Все эти «в быту чистоплотен, на работе отзывчив» были призваны смягчить, гуманизировать право, чей суровый принцип — «невзирая на личность» — оскорблял как раз своей неразборчивостью. Как же не взирать? А если подсудимый — передовик?

Правда с большой буквы выше правды с маленькой ровно настолько, насколько человек выше и шире закона. Юристы описывают только права и обязанности — душа выпадает в остаток.

Примириться с этой потерей нам не дает это самое тоталитарное мышление, требующее принимать и мир, и человека во всей его полноте и нерасчлененности.

Попав в правовое общество, «Третья волна» никак не может примириться с унизительными ограничениями, которые оно накладывает на нашу свободу пренебрегать формами общежития. Как бы ни стеснена была наша жизнь в России, в Америке она оказалась куда более регламентированной.

Конечно, где-то в главном, на уровне Билля о правах, американские свободы не сравнить с советскими. Но на уровне рядовой, обыденной жизни в России было проще обойти и государство, и закон. А ведь понятно, что рядовой человек со свободой совести сталкивается куда реже, чем с правами соседа слушать «хэви-металл».

Так что эмигранты, независимо от уровня сознания, столкнувшись с реальностью правового общества, нашли его несуразным. Преступников выпускают, а честному человеку и плюнуть некуда.

Сейчас уже ничего, притерпелись, а в свое время, помнится, какое нас охватывало бешенство перед закрытыми в воскресенье водочными магазинами! И ведь обидно не то, что закрыты, а то, что это обстоятель-

ство не вызывает возражений. Его не обойти, не объехать — закрыто, и точка.

Законопослушность американского общества приводит к тому, что здесь не осталось места для привычного нам полулегального поведения: или ты преступник, или лояльный гражданин, «тварь дрожащая». За всю жизнь в США мы ни разу не видели, чтобы кто-нибудь пролез без очереди.

Конечно, как-то это все и нас воспитывает, потому что теперь, встречая советских гостей, уже сам, не хуже аборигенов, начинаешь поражаться их причудливым взаимоотношениям с законом.

Перестройка нас, как и всех эмигрантов, вынудила постоянно торчать в аэропорту, провожая на родину друзей, родственников, друзей родственников и родственников друзей. Эти посещения наградили нас картинами ожесточенной конфронтации двух моделей правосознания.

Как всем известно, очереди к аэропортным окошечкам делятся надвое: для советских и остальных. Делается это не из дискриминации, как думают гости, а только потому, что заградительный шнур разделяет две формы отношения к закону. Очередь пассажиров обыкновенных течет быстро и бесперебойно. Зато наша двигается судорожно, рывками, проходя через взрывы взаимонепонимания.

Во всем виноваты правила провоза багажа. И дело не в том, что советские гости везут его много. Дело в том, что одна сторона стремится эти правила толковать расширительно, а вторая настаивает на их буквальном прочтении.

Выглядит это, например, так. Вежливая американская служащая объясняет: «Правила разрешают перевозить два чемодана такого-то веса». Красивый седовласый мужчина с кавказской внешностью кладет руку на ее ладонь, мягко заглядывает в глаза и ласково говорит: «Плиз». Она его не понимает, но мы понимаем. В одно слово он вкладывает целую тираду: «Пойми, ласточка, я не какой-нибудь фарцовщик. У меня особое положение. В первый раз в Америке, гостинцы надо привезти? Я интеллигентный человек, понимаю, что такое правила, но у меня же исключительный случай. Можно же по-человечески». До американки из всего этого дошло только «плиз», потому она и продолжает упрямо цитировать инструкцию.

В соседнем окошечке стоят три темпераментные дамы. Эти английского не знают и говорят по-русски, в глубине души уверенные, что хоть простейшие слова, хоть как-нибудь, но американцы их речь поймут: «Что значит доплатить? Нету! Рады бы, но нету. Мы бедные женщины, где нам взять? Войдите в положение».

Каждая такая сцена кончается появлением советского представителя Аэрофлота. Помочь он не может. Но самое интересное, что и он на стороне пассажиров. Каждому объясняет: «Это — не наши законы. Америка!» — и разводит руками. То есть в Москве еще могут судить по-людски, в Америке — никогда, здесь человек человеку — волк и бюрократ. Никто не станет вникать в конкретную ситуацию, никого не интересует личность, всем правит безжалостный циркуляр.

Подобные сцены разыгрываются во всем Советском Союзе. Примерно так же протекает главный спор о перестройке, спор между «западниками» и «почвенниками». И первые, и вторые согласны признать необходимость правового общества. Но одни видят путь к нему — в подчинении закону, а вторые — в подчинении закона высшему, более благородному, нравственному принципу.

Как сказал один депутат: «Принцип правового государства — в защите честных людей, а не тех, кто посягает на наши права».

Разве под такими словами не подписалась бы «Третья волна», которую так беспокоит излишняя церемонность американской Фемиды, считающей, что закон обязан защищать всех — и плохих, и хороших.

Другой депутат, куда более известный — Валентин Распутин, еще горячей поддерживал право, но только тогда, когда оно работает «во имя души, достоинства, культурного и нравственного облика народа».

Крыть вроде бы нечем, кто же станет возражать. Но тут же выясняется, что в руках Распутина закон немедленно превратится в цензуру, направленную против «нравственной разнузданности, похотливости, неразборчивости и сквернолюбия средств массовой информации». Распутину нужна не свобода слова, а свобода разумного, доброго, вечного слова.

Как всегда в России, зло символизирует бездушный закон, добро — живое нравственное чувство. С одной стороны, абстрактный принцип, с другой — высшая цель. Одни апеллируют к реальности, другие — к благородному вымыслу. На стороне первых — опыт истории, на стороне вторых — опыт утопии. Без закона жить трудно, с законом — больно. Но другого выхода просто нет.

Не зря в Америке никто не спрашивает — нравственен ли этот закон, только — справедлив ли он? Юриспруденция не подменяет собой религию. Демократия ведь никогда не ставила себе задачу улучшать человеческую природу. Закон не должен делать человека выше, чище, нравственнее. Он всего лишь ограждает личность от произвола другой личности или государства.

Правовое сознание — это возвращение из царства универсального добра к нашей земной жизни, где закон есть закон, а не инструмент созидания светлого будущего.

О СТАТУЕ СВОБОДЫ И СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Снова нас тянет к сексу. При этом мы не имеем в виду ничего (и никого) конкретного. Мы сейчас в самом безопасном возрасте — когда до климакса далеко, а от половой зрелости еще дальше.

Нынешний поворот к сексу произошел случайно. Бродя по Гринич-Виллиджу и Сохо, мы рассматривали изображения статуи Свободы, выставленные во всех витринах, и поражались разнообразию сюжетов и идей. В преддверии праздника 100-летия статуи весь Нью-Йорк завален часами, барабанами, майками, комиксами, карандашами, салфетками, шоколадками, пуговицами, чашками, полотенцами, зажигалками, кепками и скрепками со Свободой.

Можно только удивляться острому галльскому смыслу французов, которые свой подарок Америке заказали Фредерику Огюсту Бартольди, только и умевшему сооружать фигуры такого размера, когда недостатки определить невозможно. Монументальность сама собой являет экспрессию, заменяет пластику и делает ненужным изящество. То есть сводит мастерство к нулю. На самом деле это не так, и если бы статую Свободы делал современник Бартольди — Роден, то в нью-йоркской гавани расположился бы шедевр. Но посредственный Бартольди еще сто лет назад неосознанно угадал главный запрос американской массовой культуры: искусства должно быть много. Крепкая зеленая девица 46-метрового роста, поражающая грубостью черт, статичностью позы и декларативностью всей композиции, стала символом Америки.

В этом заслуга, конечно, не Бартольди, которому не было бы цены на ВДНХ, а времени. Бельевая прищепка стала бы символом, проторчав у всех на виду столько лет.

Обожествление статуи началось в 1924 году, когда ее объявили национальным памятником и стали устраивать экскурсии на остров Либерти. В качестве Американской Девы она — предмет уважения и поклонения. В этот момент мы увидели очередную статую в витрине. Пластиковая фигура сантиметров 40 высотой была выполнена старательно и с любовью. Свобода вся устремлялась вверх — от босых ступней баскетболистки вдоль полуспиральных складок одеяния к честному крестьянскому лицу, по мускулистой неженской руке к фак... Тут приходится остановиться. В руке статуи был не факел, а совсем другое. Откровенно говоря, даже не карандаш.

Мы огляделись. Народ шел мимо, изредка бросая взгляд на опозоренную девственницу Бартольди, и не замедлял шагов. Не слышно было даже протестующего визга феминисток.

Не то что бы такие произведения изобразительного искусства могли шокировать нью-йоркцев, привычных ко всему. Но в предпраздничном,

а потому благостном городе — возникал диссонанс. Готовясь к юбилею, нью-йоркские власти наложили запрет на изображение статуи Свободы в нежелательном контексте: на собачьих ошейниках, кошачьей еде, унитазных крышках. И вдруг среди полного парада — такая Мисс Либерти с заведомо чуждым ей предметом в руке.

Тут-то мы обратились к проблеме секса. Точнее — сексуальной революции.

Кощунство — это не извращение. Это всего лишь способ недогматического мышления. Конечно, многие наши знакомые объявили бы надругательство над статуей Свободы отвратительным порождением либерализма. Можно и так, только не следует забывать, что «либерал» и «Либерти» — слова одного корня. Дело ведь в принципе, а не в степени: если считать пагубным для общества сотворение кумиров (а кому знать об этом, как не нам), то почему не возражать против любых таких попыток. Во всяком случае — высмеивать их.

Когда иконы статуи Свободы застилают Нью-Йорк, самое время сунуть в руку Свободе вместо факела... допустим, кочергу. И тем самым внести трезвый диссонанс в слаженный елейный хор декоративного патриотизма.

Гораздо интереснее разобраться — почему это все-таки не кочерга. Только ли для того, чтобы перегнуть палку в обратную сторону как можно резче? Да нет: дело в том, что этот, упорно не называемый, предмет в руках Мисс Либерти — точно такой же штамп, как и она сама.

Каждая эпоха безудержно и патологически хвастлива. «Патологически» — потому что предмет гордости эпоха видит как в величии достоинств, так и в неизмеримости пороков. Нет столетия, которое бы современники не объявляли одновременно «веком разума» и «веком разврата». Современникам всегда кажется, что они пошли дальше предков — в том числе, и по стезе разложения. В сетованиях прежних и нынешних савонарол о некоем золотом времени, когда любовь была целомудренна, брак свят и простыни белоснежны, отчетливо слышится мазохистский восторг от того, что зато теперь мы, как никогда, распутны, наши связи рекордно беспорядочны, наши юбки небывало коротки. По этому поводу Байрон замечал: «Теперь уже известно, что доброе старое время, когда процветала ,,любовь старых времен, старинная любовь'', было как раз наиболее развратным из всех возможных...»

Все это было до сексуальной революции, что в общем-то удивительно — если не согласиться с одним: никакой сексуальной революции не происходило. Или: она происходила всегда, что одно и то же.

Теория «перманентной революции» вполне приложима к сексу. Движущая сила, представленная непримиримым противоречием, налицо: молодые еще хотят, а старые уже не могут. Это противоречие вне времен и границ, именно поэтому сексуальная революция — самая перманентная, то есть вечная. Но чтобы не размахиваться на всю историю человечества, ограничимся одной лишь Америкой и посмотрим: к чему апеллируют нынешние моралисты, что это за патриархальные ценности, к которым призывают консерваторы. Соединенные Штаты до второй мировой войны предстают краем непорочного зачатия — по сравнению с нашей разнузданной эпохой. А вот что пишет свидетель — Френсис Скотт Фицджеральд: «Карнавальная пляска увлекла людей, которым было за тридцать, людей, уже подбирающихся к пятидесяти... Сильно поредело за столом трезвенников. Неизменно украшавшая его юная особа, не пользующаяся успехом и уже смирившаяся было с мыслью, что останется старой девой, в поисках интеллектуальной компенсации открыла для себя Фрейда и Юнга и снова ринулась в бой... Году к 1926-му все просто помешались на сексе».

Добрые старые времена отличаются от наших злых только тем, что были давно и про них можно врать безнаказанно.

Декорации благопристойности или декорации разгула — вот это действительно подлежит влиянию времени, прихотливо чередуясь вместе с архитектурными стилями, шириной брюк, высотой причесок, манерой разговора, привычкой обедать поздно или не завтракать никогда. Причем история нравов вовсе не дает картины поступательного движения: от добродетели — к пороку. Расцвет свободы интимных отношений, скажем, во Франции приходится скорее всего на первую половину XVIII века; в Англии — на начало XIX; в России, пожалуй, на первую четверть XX столетия. При этом речь идет опять-таки не о самой сути интима, а о манере скрывать его под дымкой приличий или наоборот — выставлять напоказ. Чтобы добиться закулисной правды от прошедших веков, нужны непомерные усилия: копаться в судебных протоколах, читать частные письма, штудировать газетную хронику и мемуарную литературу. Любопытному нашего времени — легче. Прежде всего есть статистика, к которой можно обратиться, чтобы узнать — правда ли, что раньше люди были чище и умереннее?

Правда ли, как утверждают сторонники возврата к «настоящей» Америке, только наше поколение окончательно увязло в трясине безнравственности?

Девственный флер патриархального образа нарушается сразу: 36 процентов американок, родившихся между 1900 и 1920 годами, жили половой жизнью до брака. Выдержка из журнала 1929 года, напечатавшего протест простой американской матери: «Сегодняшние девушки намного агрессивнее. Они сами приглашают парней на свидание, что было немыслимо в те времена, когда я была девушкой». Что-то сомнительно. На что уж Татьяна была застенчива, а позвала же Онегина в сад — и ведь в России, и ведь еще на сто лет раньше.

Сейчас встречаются устрашающие показатели: каждая вторая жительница американского города в возрасте 20 лет жила половой жизнью до брака. Вроде бы внушительно, но только с первого взгляда: более 80 процентов из них ограничивались одним партнером — то есть тем, за которого собирались замуж. Тут можно говорить о падении престижа брака, но никак не о разврате.

Отношение к сути сексуальной жизни человека меняется ничтожно. Другое дело — внешняя сторона, декорации.

Разговоры о сексе стали повсеместны — как часть общей раскованности и свободы. Беседа о свободе негров или всеобщем избирательном праве тоже была когда-то верхом неприличия. За это даже могли посадить в тюрьму. Сейчас секс стал вроде погоды — и жаль. Как прекрасный богатейший русский мат превратился в удручающе серую стилистическую фигуру в эмигрантских писаниях, так американский секс утратил свою загадочную привлекательность, выйдя в тираж.

Потому никто и не замедляет шагов возле пластиковой статуи Свободы, сжимающей в руке фак... то есть... ну да, как раз это и сжимающей. Так они и сошлись вместе — символ декоративного патриотизма и эмблема декоративной сексуальной революции.

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА

Кинотеатр «Карнеги синема» — одно из самых русских мест Нью-Йорка. Разумеется, из тех, что специально для русских не предназначались. Ничего ведь нет удивительного в том, чтобы услышать родную речь в колбасном департаменте магазина «Интернэшенл фуд» на Брайтон-Бич («Это полный конец, а не краковская, белив ми!»). Несколько более неожиданно она звучит в центре Нью-Йорка, в одном из самых эстетских кинотеатров города. («Обожаю Фассбиндера! — Он гомик. — Ну и что, что гомик? Чайковский тоже гомик. Я его обожаю! — Пидарас твой Фассбиндер».)

Наши освоили «Карнеги синема», и не зря «Нью-Йорк таймс» как-то писала, что среди зрителей европейских фильмов — процентов 20 русских. Американский журналист, правда, объяснил это тем фактом, что для русской интеллигенции французский традиционно был вторым языком — отсюда и интерес к искусству Европы. У нас нет ни одного знакомого со вторым языком французским. Идиш — это встречается. У нас самих вторым был латышский, мы бы и рады, но латышских фильмов не видать.

Так или иначе, мы вместе со всей третьей эмиграцией ходим в «Карнеги» и за несколько лет пересмотрели в этом, говоря по-прежнему, кино-

театре повторного фильма всего Пазолини, всего Феллини, всего Куросаву.

На них мода не проходит, и каждый раз зал полон. Правда, и интерес к японцам явно растет. Дело еще и в том, что если итальянское кино в кризисе, то в Японии на смену Куросаве пришли такие мастера, как Ичикава, Синода и особенно Сехеи Имамура, который поставил один из самых потрясающих фильмов в истории кино — «Легенда о Нараяме». Мы любим смотреть и японские самурайские поделки. О том, как отвратительный клан Сибаи задумал вырезать дотла рыбацкую деревушку. Но обуреваемый честными вожделениями, самурай-одиночка Магобей вынашивает благородные замыслы и не дает свершиться злу. В конце фильма Магобей разрубает пополам брата своей жены и уходит по заснеженной равнине. Он идет, неожиданно маленький в зимнем пейзаже, помахивая мечом и потряхивая самурайской косичкой, неуклюже, носками в стороны, переставляя ноги в каких-то соломенных противоснежных опорках. Две прекрасные женщины — жена и так просто — глядят ему вслед, а он не оборачивается и все уходит, все больше становясь похожим на кого-то очень знакомого.

Именно так — расставляя ноги, помахивая тросточкой и не оборачиваясь, — уходил из своих фильмов Чарли Чаплин. Уходил — заметим — всегда победителем, как самурай.

Самурай одинок и ненавидим. Чарли — одинок и презираем. Это и определяет методы борьбы. Чтобы спасти три десятка рыбаков, самурай вырезает под корень весь клан, включая свою многочисленную родню. Таким образом нарушается правильный ход вещей, по которому в первую очередь должны гибнуть не важные для жизни люди. Чарли — ничтожный червячок в котелке — тоже борется за справедливость: ему не нравится нормальная ситуация, когда дочь богача должна выходить за сына богача (другого). Любой из нас именно такого пожелал бы своей дочери — даже если мы не богачи. Но Чарли против — и разворачивает бурную деятельность, в результате которой отец девушки лежит в гипсе с противовесами, дом сгорает дотла, хохочущего жениха увозят санитары.

Самурай пускает в ход меч и доблесть. Чарли — тросточку и хитрость. Его методы не более утонченны и интеллигентны, чем приемы японца. Ему ничего не стоит ловко увернуться так, что громила-лакей отправляет в нокаут начальника полиции. После этого лакея ведут в наручниках куда-то, откуда он возвращается через много лет трясущимся стариком.

Чарли самого, конечно, колотят, как бубен. Но он человек идеи и твердо знает, что стоит потерпеть ради торжества истины. Отцом-родоначальником этих неукротимых персонажей следует считать героя первого в истории литературы современного романа — Дон Кихота. Борцы-одиночки до него, разумеется, были, но они как раз воплощали правду порядка, справедливость установленной нормы — все эти Гераклы, Ильи Муромцы, Амадисы Гальские. Дон Кихот же запутал все и всех, проявил невиданное до сих пор своеволие и безразличие к любой норме — включая и нравственную. Чего стоит его реплика после того, как он сшиб с коня ни в чем не повинного бакалавра.

«— Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду — это мне неизвестно, — возразил бакалавр, — а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу, и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней.

— Раз на раз не приходится, — заметил Дон Кихот».

Вроде бы нам говорили в школьные годы о каком-то другом Дон Кихоте. Но на самом деле никакого противоречия тут нет — это просто издержки самостоятельности мышления. То есть интеллигентности — в том высоком значении, в котором интеллигент — это тот, кто не согласен. Не с чем-то конкретным, а вообще — не согласен с миропорядком.

В этом смысле и Дон Кихот, и Чарли Чаплин, и самурай Магобей, и даже герои Клинта Иствуда и Чарльза Бронсона похожи. Разница есть одна — зато очень существенная: с кого начинать исправление общества. Можно сразу с других при помощи пистолета и меча, а можно с себя — и тогда главным оружием становится юмор, ирония, смех. Пусть от поджог Чарли попал в больницу начальник пожарного дела, пусть безумный идальго случайно нанес вред невинному бакалавру. Важно то, что от несовершенства общества страдают в первую очередь они сами, а когда они берутся за «выпрямление кривды», то страдают еще больше.

Конечно, Чарли и Дон Кихот — победители, но победители исторические. А их жизненный, повседневный путь к победе полон унижений, обид, побоев. Победный путь начинается с поражений и из них, собственно, состоит.

Другое дело — угрюмые правдолюбцы. Ослепительные шпоры, каменные желваки, чувство справедливости, обостренное до святости, до полной невозможности взглянуть на себя хоть раз со стороны. Этим героям некогда, они творят истину, у них нет времени поскальзываться на арбузной корке, драться с винным бурдюком, лежать в блюде заварного крема. Их ждут великие дела. Им не до смеха.

Самурай и Чарли уходят с экрана одинаковой походкой, с одинаковым чувством исполненного долга: рыбаки спасены, дочка банкира свободна. Но не оборачиваются они по разным причинам. Одному некогда: где-то еще есть недоспасенные поселяне и недорезанные кланы. Другой боится снова быть смешным: он вовсе не уверен в том, что за ним остался такой уж порядок. Слишком много было суеты, ругани, оплеух. Слишком все было несерьезно, лучше уйти от стыда подальше. Когда там еще история рассудит...

О ПОЕЗДКЕ НА РОДИНУ

В любой эмигрантской компании обсуждается знакомый по прошлой жизни вопрос: что везти? Только на этот раз не на чужбину, а на родину. И опять, как тогда, на поверхность всплывают странные предметы. Помнится, раньше знатоки утверждали: лучше всего на римской барахолке «Американо» идут деревянные шахматы, дешевые будильники и нитки мулине. Самые доверчивые тащили на продажу слесарные наборы из чугуна — багаж с максимальным удельным весом.

Теперь в ходу другие, но похожие истории. Советуют запастись гонконгскими телефонами, тайваньскими зажигалками, корейскими колечками для ключей, отзывающимися, как пес, на свист хозяина.

Пересечение советской границы в любом направлении связано с возвратом к доденежным экономическим отношениям. В формуле «товар — деньги — товар» средняя часть безнадежно отсутствует. Эмигранты — что по дороге «туда», что по дороге «обратно» — пользуются исключительно доденежными эквивалентами. На островах Полинезии в ходу ракушечная валюта. У нас — еще более странные предметы: зубная паста «Зорька» или часы из пластмассы.

Причуды экономики превращают каждого эмигранта, приехавшего навестить родные пенаты, в Миклухо-Маклая. А шалости неконвертируемого рубля, которые позволяют нам устанавливать обменный курс без вмешательства Госбанка, делают из нас еще и ротшильдов. Кто же мог поверить в такое счастье?

Много лет назад мы прощались с Россией навсегда — обстоятельно и мелодраматично. Попрощавшись, мы ныряли в «плавильный котел» Нового Света без оглядки на Старый. Некоторые, особенно решительные, первым делом старались забыть русский язык и перейти на коктейли. Что-то они будут делать теперь, перед лицом неизбежного визита домой? Брать с собой русско-английский разговорник?

Вообще-то возможность навестить родные места — довольно неожиданная выходка перестройки. От того, что граница оказалась преодолимой, «Третья волна» пришла в некую растерянность. До сих пор мы пребывали в постоянном эмоциональном комфорте, замешанном на умеренной ностальгии и неумеренной ненависти к режиму, отнявшему у нас дом.

Но одно дело вспоминать березки, Черное море, пельмени из пачки, а совсем другое — сесть в самолет и оказаться рядом со всеми этими вожделенными предметами. Пограничный либерализм нарушил чистоту жанра.

Представим себе похороны дедушки. Все в горе восклицают: «Зачем ты нас оставил!» И тут дедушка встает и говорит, что передумал — мол, он не знал, что его так любят. Все это хорошо, но как-то не по правилам, не так ли?

Россия выплыла из ностальгического тумана и стала вмешиваться в нашу жизнь как раз тогда, когда мы уже привыкли обходиться без нее.

Однако «Третья волна», со свойственным ей напором, стремительно овладела новой ситуацией. Началась эра возвращений — не насовсем, что было бы рискованно, а на время, что безопасно.

Тут-то наши эмигранты и сделали сенсационное открытие: перестройка, разрешившая контакты, — грандиозный подарок.

Многие считают, что СПИД появился только для того, чтобы очистить Америку — этакий бич Божий с узкой избирательностью. Вот и поездки в Россию вроде бы придуманы специально для «Третьей волны».

Нормальный иностранец едет в Россию, как в любую другую страну. Ничем особенным она иностранца не радует — стоит не дешевле Франции, за гостиницу дерут, в ресторанах все жирное, по-английски никто толком не говорит, перестройку им не с чем сравнивать. Короче — экзотический отпуск для тех, кому уже надоела не только Флорида, но и цивилизованная часть Европы.

Зато наш эмигрант возвращается на родину так, как мечтал Деникин — на белом коне. Благодаря вышеописанным экономическим кунштюкам, благодаря трансформации рядового эмигранта в гибрид Миклухо-Маклая с Ротшильдом «бывший» (под этим эвфемизмом мы известны в отечестве) становится героем.

Все воспоминания посетивших Россию строятся по одному и тому же образцу. Прежде всего это рассказ не о стране, а о том, как рассказчик себя вел там. В центре — встреча с потрясенными близкими. Сокращенная формула выглядит примерно так: «У НАС — все, у НИХ — ничего. Я открываю чемодан — они в обмороке».

Эмигрант приезжает домой, как Санта-Клаус: для всех у него подарок. Причем то, что здесь обходится в доллар, там обменивается на безграничную благодарность. Наверное, никогда еще в истории благотворительность не стоила так дешево. Каждый эмигрант, независимо от доходов и социального положения, вступает на территорию Советского Союза богатым американским дядюшкой.

В Америке эмигранты живут по-разному, и относятся они к ней по-разному, но в России все выступают в одинаковом качестве. Здесь мы — эмигранты, там — гордые американцы.

Оказалось, что получить гражданство еще недостаточно, чтобы стать патриотом. Что ж за хитрость быть американцем среди американцев. Только в России мы начинаем по-настоящему гордиться новой родиной. Похоже, эта гордость и есть тайная цель поездки.

Один наш знакомый, из тех, кто не может дня прожить без борща и «Нового русского слова», специально к российской экскурсии обзавелся рубахой с гигантским белоголовым орлом на спине. Здесь ему соседи-янки поперек горла. Зато по Москве он ходил полномочным и очень чрезвычайным послом американской цивилизации.

Другой знакомый поразил своих ленинградских приятелей тем, что целыми днями фотографировал мусорники.

Третий собрал однокашников и объяснил им суть американской внешней политики. При этом он демонстрировал открытку с Рейганом, намекая, что президент эту самую политику с ним нередко обсуждает за стаканом кока-колы.

Занятно, что нам еще не приходилось встречать эмигранта, который бы не жаловался на Америку: негры, преступность, пуэрториканцы, наркотики, мексиканцы, отсутствие смертной казни, избыток демократии...

Но это здесь. В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас в Соединенных Штатах», — и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.

В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний. Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту вэлфэра выглядеть в Черновицах графом Монте-Кристо.

Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно — лишь бы похвастаться. Только странно, что, приехав домой, эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.

И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и кадиллаки длиной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал. Вернувшись домой, «Третья волна» получает дивиденды с не ими заработанного богатства.

Как-то все забыли, что не мы строили эти самые небоскребы; не мы вкалывали на американское процветание, и вообще здешний капитализм не наших рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.

Но все это, видимо, вылетает из головы сразу за советской таможней. Оказалось, что стопроцентным американцем можно стать только в бывшем доме. Только гуляя по Красной площади или Крещатику, эмигрант расправляет свои мощные, как у белоголового орла, крылья. Он наконец понял, зачем уехал из России: чтобы вернуться сюда гражданином Соединенных Штатов Америки.

Публицистика

Г. Померанц

В ПОИСКАХ ПОЧВЫ ПОД НОГАМИ

В недавно опубликованных заметках «Век XX и мир», 1990, № 1) В. Вернадский противопоставил Ленину Ганди. Ганди был учеником Толстого. Почему Вернадский не вспомнил Толстого? Я думаю, тогда пришлось бы винить в революции не только Ленина, а самих себя. Вся почти русская интеллигенция прошла мимо Толстого, сочла его нелепым, непрактичным. В том числе либеральная интеллигенция, к которой принадлежал Вернадский, и его партия — Конституционно-демократическая партия народной свободы. Толстой яростно выступил бы против войны 1914 года, против требования проливов, против лозунга водрузить крест над Святой Софией. И был бы прав: обычное, «законное» зло проложило дорогу всему хаосу XX века.

Вернадский был, судя по всему, прекрасный человек, и ошибка его — самая простительная: непонимание того, что обычай решать споры войной, терпимый в течение тысяч лет, становится немыслимым, когда столкновение сверхдержав может привести к гибели человечества. Такое непонимание почти что и не является личным грехом и относится к категории «всемирно-исторических ошибок». Но именно потому надо об этом говорить. Именно потому, что неспособность понять изменившийся дух времени повторялась на каждом шагу.

В прямом противопоставлении Ленина христианской традиции есть что-то фальшивое. Бунт против крепкой традиции непременно был бы подавлен. Победа революции — признак глубокого кризиса режима. К революции слишком многое вело. Даже кое-какие страницы Достоевского. Книга Мережковского «Пророк русской революции» очень убедительно написана. Так тогда многие читали — и Достоевского, и Толстого. Запомнилось про Толстого —из-за статей Ленина. Но из Достоевского вывести революцию проще, чем из Толстого. Из-за слезы ребенка, которая как-то входит в гармонию Божьего мира, Иван Карамазов возвращает Богу билет на торжество всеобщего примирения. «Это бунт»,— говорит брату Алеша. Бунт по-французски «револьт». Бунт Ивана и большой бунт (революция) одинаково начались с «нетерпения сердца», с нетерпеливого желания немедленно и раз навсегда покончить со слезами детей — и взрослых, погибавших на большой войне. Революция объявила войну — войне. Не тихому и мирному христианскому житию, но всеобщему озверению — и продолжила его и усилила (все вместе: и красные, и белые, и зеленые; патриарх Тихон в 1919 году вынужден был издать особое послание против участия христиан в погромах). А началось со слезы ребенка. И Дзержинский одновременно занимался красным террором и спасением детей. В его уме это было одним и тем же делом.

Несколько десятилетий считалось, что призыв Льва Толстого — не отвечать насилием и злом на насилие и зло — совершенно не научен и научное добро должно быть с кулаками. Мы дружно ненавидели врагов рабочего класса, врагов народа, врагов России... И вдруг ненависть вышла из канавок, куда ее направляли, и стала заливать город за городом...

Иногда это все объясняют отходом от церкви — отлучившей Толстого; от церкви, которая благословила (как и все церкви) войну 1914 года. Тогда впервые началась массовая организованная ненависть целых народов друг к другу. И с

этих пор в нашей стране ненависть только меняла направление: вместо войны империалистической — война гражданская; вместо немцев — буржуи, кулаки, «троцкистско-бухаринские мерзавцы», снова немцы, потом американцы, напустившие на нас колорадского жука, космополиты, масоны, сионисты. И сегодня несколько журналов только и делают, что разжигают ненависть, смешивая возрождение веры отцов с возрождением ненависти отцов друг к другу.

В бунте Толстого против православия были свои потери. Красота, которую остро чувствует Толстой-художник, нравственно безразлична, а нравственность безразлична к красоте. Толстой боялся власти красоты без четкого нравственного направления (это видно в его страхе перед музыкой Бетховена). Он доверял только прямому указанию в прямых, четких словах, и ему казалось, что красота богослужения мешает, подменяет прямое следование словам Христа наслаждением от красоты напевов, мерцания свечей перед иконами и т. п. Соскальзывание в красоту обрядов — соблазн культа, и по отношению к нему Толстой прав; прежде всего нужна повседневная нравственная ясность, повседневная жизнь по совести. Но красота литургии вовсе не мешает голосу совести, она скорее помогает ему проснуться. Здесь ближе к правде князь Мышкин, сказавший, что «мир красота спасет» (красота поможет родиться нравственной воле, красота природы и высокого искусства). Об этом же написал и Флоренский: «Есть Троица Рублева, следовательно есть Бог».

После нескольких десятков лет помрачения ума и порчи художественного вкуса нам заново открывается весь мир искусства, созданного древними и средневековыми художниками вокруг богослужения, вокруг церкви. Толстовское отрицание литургии смотрится сегодня как разрушительная инерция критической мысли (вместе с отрицанием медицины, оперы и т. п.). Но пафосом его отрицания было утверждение нравственного призыва Христа, и сегодня это так же своевременно, как сто лет тому назад. Толстой неповторим и незаменим в страстной, убежденной и глубоко нужной передаче нравственного призыва Нового Завета, призыва вселенского, направленного против всякой ненависти, и национальной, и личной, против всякого жаления себя, против всякого раскармливания чувства действительных и мнимых национальных обид.

Преодоление обиды начинается изнутри, в каждой душе. Оно не может сразу стать массовым. Оно приходит как глас вопиющего в пустыне, но если этот глас не будет услышан, если он не захватит народы, мы захлебнемся в крови.

«...в старом законе вашем сказано: люби человека своего народа, а ненавидь людей чужих народов.

А я говорю вам, что надо любить всех людей. Если люди считают себя врагами вашими, и ненавидят, и проклинают вас, и нападают на вас, то вы все-таки любите их и делайте им добро. Все люди сыны одного Отца. Все братья, и потому надо одинаково любить всех людей». («Детям о Христе»).

Так Толстой в брошюре пересказывает Евангелие — не совсем точно; в Библии нигде не говорится «ненавидь людей других народов». Напротив, в Ветхом Завете несколько раз повторяется: «Будь милостив к страннику (чужаку), ибо сам ты был странником (чужаком) в земле Египетской» [1]. Но Толстому хотелось резче подчеркнуть разницу между племенным и вселенским сознанием. Христианство не стало бы мировой, вселенской религией без слов апостола Павла: «Несть во Христе ни иудея, ни эллина, ни скифа, ни римлянина». Толстой приписывает эти слова самому Христу; это неточно, но по сути, по духу верно. Устами Павла говорил дух Христа. И во всем современном мире, и в нашей стране отчаянно важно найти такую духовную точку, в которой все народы, оставаясь разными и не теряя своих различий, почувствуют свое духовное единство,— как иудей и эллин, римлянин и скиф, становясь христианами, находили свое единство во Христе. В наши дни, при нынешнем развитии науки и техники разрушения, взаимная ненависть грозит погубить всю жизнь на земле. И призыв Толстого, казавшийся наивным, нелепым, ненаучным, оказался в ладу с непреложной необходимостью.

---

[1] В синодальном переводе — странник. По мнению многих ученых,— скорее чужак, пришелец.

Само развитие производительных сил заставляет вспомнить, что есть путь борьбы за добро без насилия. И, во всяком случае,— без ненависти.

Хочется начать движение в защиту человека, человеческой личности — от борьбы вооруженных групп, от государства и от толпы, от фанатиков веры и фанатиков народности. Может быть, надо назвать это движением охраны личности, может,— как-то иначе, но так, чтобы объединить всех, кто защищает личность, любую личность: ветерана, военнослужащего, репрессированного, инвалида, беженца и т. п. Кому-то надо отвлечься от предметов спора и сосредоточить свои усилия на стиле спора, чтобы не терять человеческого лица, чтобы против всех групп, и коллективов, и учреждений защитить человека и человеческое в каждом из нас.

Мне кажется, здесь на помощь духу Льва Толстого приходит дух Андрея Сахарова.

Сахаров не очень много говорил о духовности, но в него незримо входил дух целого: входил потому, что место не было занято никаким мусором. И поэтому становилось ясным простое разумное решение сложных и запутанных вопросов. Они почти все разрешимы, если разум не помрачен страстями...

Сахаров возмущался, но не злился; он всегда готов был вести диалог со вчерашним врагом, если это нужно для дела. Личные обиды он смахивал, как пыль с башмаков; и не ослепляли его национальные обиды. Не было в нем того, что я назвал «национальной озабоченностью». Мне хочется избежать слова «национализм», оценка которого зависит от мировоззрения, я говорю о национальном чувстве — таком же естественном, как половое чувство. И о национальной озабоченности, не менее патологичной, чем сексуальная озабоченность, алкогольная озабоченность и т. п. Национальная озабоченность ведет к поступкам, прямо противоположным национальным интересам, здраво понятым, к национальным катастрофам... Только при отсутствии национальной озабоченности можно говорить о мирном решении национальных споров. Для этого нужно всего-навсего выйти из зацикленности на Своем и встать на точку зрения Другого.

В Сахарове это было, и потому вокруг Сахарова всегда была какая-то светлая аура. Он противостоял ненависти не только словом. Он весь был сосудом, в котором ненависть гасла, исчезала сама собой. Он весь утверждал превосходство стиля полемики над любым предметом полемики. И если у нас будет настоящий парламент, он должен быть сахаровским по своему стилю.

Там, где нет свободы личности и свободного слова, только юродивый, полубезумный говорит в лицо освященной, табуированной власти: «Не могу молиться за царя-Ирода». В XIX веке место юродивого Николки заняли писатели (Толстой, Короленко). Потом самыми авторитетными людьми стали ученые. И Сахаров почувствовал, что его обязанность — занять кафедру Николки. Он не думал в таких терминах, но он почувствовал призыв...

История ведет нас ко все более ясному, рациональному выражению глубинного духа истины. Суть не меняется, но изменение формы имеет смысл, прокладывая путь к нравственной ответственности каждого мыслящего человека за судьбу всего мира; и в парадоксальном сближении двух имен,— врага науки Толстого и великого ученого Сахарова,— я вижу знамение времени. Толстой почувствовал необходимость нравственного скачка. Почувствовал накануне века великих насилий и угрозы самоуничтожения человечества. Сахаров, Григоренко, Ковалев, Великанова и другие диссиденты превратили новое сознание ответственности в социальную практику, но их «анонимному христианству» до сих пор не хватало разработанной нравственной философии. Можно отметить попытку одного из диссидентов, Анатолия Якобсона, опереться на толстовскую идею ненасилия, но эта ласточка не сделала весны.

Как попутчик и до некоторой степени участник диссидентства я могу свидетельствовать, что движение это диктовалось сердцем, что теоретическая деятельность диссидентов не доходила до духовных основ, оставалась в области проектов политических решений, правозащитных деклараций и т. п. Эту ограниченность унаследовал современный советский либерализм (сочетание терминов, ставшее политической реальностью в Моссовете, Ленсовете и других Советах). В итоге

нынешняя журнальная и газетная полемика может быть описана, как борьба честного прагматизма с извращенной духовностью. С одной стороны, деловая сосредоточенность на проблемах социальной структуры, с другой,— поиски святынь, источников вдохновения, но таких, которые позволяют сохранить привычки ненависти. Эти поиски святынь привлекают публику к «Нашему современнику» — и она попадает в ловушку демонизированной духовности. Г. П. Федотов отметил опасность демонического извращения православия еще в 40-е годы, наблюдая за эволюцией культа святых в эмигрантской среде. Еще тогда стали выдвигаться на первый план святые-воины, в которых эмигранты видели покровителей в новой гражданской войне против большевизма. С историческим Георгием, мучеником за веру, это никак не связано; но с традициями исторического православия связано крепко.

В эту схему не укладываются отдельные люди и группы. Не уложился Александр Мень. Но как ему было трудно! И чем кончился его жизненный подвиг...

Православный священник, глубоко верующий человек, автор нескольких замечательных богословских трудов,— он был убежденный экуменист. Русское православие, в его понимании, связывало Россию со всем христианским миром, а не обособляло какой-то своей, почти племенной религией. Это шло наперекор и почти староверческому национальному фундаментализму, и новому славянофильству, и влиятельным кругам, травившим его фельетонами, вызовами в КГБ, попытками обвинить в связях с сионизмом и т. п. Круги эти были равнодушны к «поповщине», но православный фундаментализм держали в уме как запасной фиговый листок, на случай если марксистский отвалится. Тогда,— кто знает,— может быть, и сгодится план Геннадия Шиманова,— преобразовать Коммунистическую партию в Православную партию Советского Союза (это не ирония. Труды Шиманова опубликованы за границей).

Единомышленники Шиманова мазали дегтем ворота церкви, где служил Мень, призывали анафему на весь «зараженный» приход, угрожали сжечь церковь, если там будут читаться лекции Православного университета. Почему-то план Православного университета особенно их возмущал.

Мы не знаем, какой смердяков нанес удар, но мы знаем, что многие были этому рады.

Наши привычки гораздо сильнее, чем наше мировоззрение. Ранние революционеры по своим этическим привычкам были полухристиане. Об этом писал Владимир Соловьев и недавно снова говорил Сергей Аверинцев («Век XX и мир», 1990, № 7). А многие новые христиане, прошедшие через советскую школу, сохранили этические привычки большевизма: двигаться к светлому будущему через усиление борьбы с врагом. Им решительно не дается заповедь о любви к врагам.

Последовательным христианином очень трудно стать. Для этого нужна большая, долгая внутренняя работа. Настолько большая, настолько долгая, что она кажется невыполнимой. Сравнительно хорошо, если новый христианин понимает свою неспособность к этой работе — так, как Андрей Синявский. Его замечательная трилогия («Голос из хора» — «Прогулки с Пушкиным» — «В тени Гоголя») пронизана одной мыслью: «по-христиански жить нельзя, можно только умереть». (Мысль, близкая и Толстому.) Подсознание художника-христианина остается языческим и толкает его к языческому искусству. Так жил и писал Пушкин — страстно, яростно, а на смертном одре простил Дантеса и умер христианином. Так жил и писал другой любимец Синявского — Василий Васильевич Розанов. След их правильной (по Терцу) жизни — великая русская культура XIX—XX веков, след неправильной жизни — сожженная рукопись «Мертвых душ».

Эта полемика, родившаяся на следствии и продолженная в лагере, обогатилась в книге о Гоголе новой, более глубокой мыслью: художник, не оставляя своей грешной дудочки, должен «переудеть черта», изнутри искусства, изнутри творческой личности приблизиться к святости. Но это остается задачей без ответа. Какие-то подступы к новому образу человечности можно проследить в поздней прозе В. Гроссмана, в созданиях Тарковского, но только подступы. Я глубоко убежден, что Рублев в одноименном фильме был неудачей, что гармоническая святость оказалась недоступной молодому режиссеру, и только позже он создал

правдоподобные характеры юродивых. Иконников и Иван Григорьевич у Гроссмана, Сталкер и итальянский самосожженец в «Ностальгии» — вот все вершины художественного диссидентства.

Консервативное сознание проще и доступнее. Крещеный просто-напросто признается христианином, и хотя отдельный крестьянин в прозе Белова или Распутина рисуется таким, каков он есть, но известный отпечаток святости приписывается общине, «миру», деревне, России. А все противостоящее Деревне и России (иностранцы, инородцы, москвичи) выступает в роли орудий сатаны. Христианство национализируется в духе ночного разговора Шатова со Ставрогиным, перестает быть религией личности и человечества; кумир народности заслоняет Сына Человеческого, распятого для блага народа. «Пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ»,— говорит, вслед за первосвященником, слепое народничество. Это мировоззрение отражает чувства десятков миллионов людей, раскрестьяненных, оторванных от «почвы» и не нашедших опоры в самих себе. Они хватаются за призрак этноса, потому что не могут обойтись без внешней опоры, и если реальной опоры (деревенского «мира») уже нет, то надо ее выдумать.

Между тем с точки зрения религии, которую наши романтики мнимо исповедуют, обетование вечной жизни дано личности, а не народу. Вечен Амвросий Медиоланский, а не римский народ. Вечен Симеон Новый Богослов, а не Византия. Христианство не отрицает ни народа, ни государства, но ставит их на второе место, в мире временного,— безусловно ниже личности с ее вечной душой. Европейская нация-государство возникает в этих рамках как этническое воплощение вселенского духа, голос, перекликающийся с другими родственными голосами во вселенском хоре. Каждая нация по-своему понимает вселенский призыв, по-своему толкует общее наследие древности (еврейской Библии, греческого искусства и философии, римского права), и в каждой нации этой возможностью самостоятельного толкования обладает каждая личность.

Нам очень не хватает борьбы за личность, исполненную вселенского духа и готовую встать на сторону любой попранной группы (как вставали Толстой, Короленко, Сахаров). Диссиденты, переступая через барьер страха, сближались в одну общину. Сейчас нужно другое: нужна новая философия, вокруг которой можно сплотиться.

Начатки этой философии заложили «Вехи». Но не все в «Вехах» выдержало испытание временем. Я хотел бы подчеркнуть линию, начатую Владимиром Соловьевым и нашедшую свое завершение в философской публицистике Г. П. Федотова.

Обаяние мысли Вл. Соловьева в ее духовной чистоте. Он не уклонялся от полемики и даже любил «игры Марса», но никогда не доходил до ненависти к оппоненту, до желания унизить его,— и всегда был открыт пониманию чужой истины, если только это истина.

Начав с традиционного для церкви отчуждения от иноверцев, Соловьев очень быстро преодолевает его и раскрывает действие родного ему Духа в католицизме, в иудаизме, в исламе (не дался ему только буддизм). Вселенскость Соловьева — это узнавание единой тайны сквозь «букву» разных писаний. Никто ближе Соловьева не подошел к мышлению, создавшему догматику Троицы; а в вопросах, требующих простого здравого смысла, он прост и ясен, без завихрений полудуховных страстей, без любования иррациональным, без злоупотребления символами глубины, характерного для поэтов-символистов и философов — современников символизма. Не случайно первые шаги символизма (опиравшегося на Соловьева) мыслитель встретил эпиграммами. Твердо причастный глубинам, недоступным разуму, он не любил игры в глубину.

Ранний Соловьев близок к славянофильству, но он преодолел и эту односторонность и познал дух, веющий в западничестве. Поздний Соловьев — сотрудник либеральных журналов и, несомненно, может быть назван либералом. Его мысль подымается над трагическим расколом на западничество и почвенничество, расколом, повторившимся, после России, в ряде афро-азиатских культур. Соловьев естественно соединяет целостное духовное знание с ясностью интеллектуального анализа предметов, допускающих вычленения из таинственного Целого. Другие примеры этого можно найти разве только в Индии.

Человек XIX века, Соловьев еще несколько скован представлениями о необходимости философской системы; однажды он попытался это сделать и написал трактат «Оправдание добра». Более плодотворными были, как мне кажется, его сравнительно короткие опыты, написанные в едином порыве вдохновения. «Смысл любви» формулирует поразительно важный принцип: грех — это увлеченность частным в ущерб целому. Целостное безгрешно. Таким образом, разрушается искусственная граница между любовью небесной и земной — но не так, как делает Фрейд, а в противоположном духе, раскрывая порыв к святости в целостности чувства, сливающего «здесь» и «там». Соловьев выходит за рамки исторического христианства, освятившего материнство, но не близость, в которой женщина становится матерью. Это направление продолжал Бердяев и все вообще «новое религиозное сознание», вплоть до его завершения в «Розе мира» Даниила Андреева. К «новому религиозному сознанию» прямо ведет и замечательная статья Соловьева «Упадок средневекового мировоззрения»; наиболее важный следующий шаг был сделан здесь Г. П. Федотовым в статье «О действии Святого Духа в истории». Основа ложного аскетизма — искусственная граница между единожды данным откровением, застывшим в догме, и всем остальным. «Вне церкви нет спасения». Вне церкви, ее обрядов и таинств — царство дьявола. Если же Святой Дух пронизывает всю культуру, всю историю, то открываются безграничные возможности обожения мира, без фантастических допущений Н. Ф. Федорова. Философия культуры Г. П. Федотова органически вытекает из предпосылок Соловьева.

К сожалению, наследие Федотова меньше всего известно современному читателю. А между тем оно удивительно современно. Трезвый ум Федотова ясно отделяет поиск святынь от поисков душевного комфорта и самооправдания. Его книга о святых древней Руси раскрывает трагические последствия победы «осифлян» над «нестяжателями», победы обрядоверия и ненависти к еретикам над культурой обожения у заволжских старцев. В Федотове православная духовность связывается с европейским духом свободы личности.

Не хватает нам и знакомства с огромной западной и восточной религиозно-философской литературой последних 70 лет. Стоит напомнить, что русская философия росла на открытом перекрестке, что в творчестве Бердяева переплавлены Ницше и Маркс, Мейстер Экхарт и Кант...

Только на открытом перекрестке вырастает свободная личность, находящая в самой себе решение государственных и общественных задач; «сильно развитая личность», готовая «отдать себя всю всем» (Достоевский). Гипертрофия государства и угроза буйства толпы могут и должны быть уравновешены движением, путь и цель которого — личность, координированный рост свободы и ответственности личности.

Давид Гай, Владимир Снегирев

ВТОРЖЕНИЕ

ОПЫТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

«НАПРАСНЫЕ ПОТУГИ»

Вернемся в декабрь 1979-го.

Ничто не указывало на подготовку вторжения советских войск в соседнее суверенное дружественное государство Разве что скупее становились вести ТАСС из Кабула. Впрочем, промелькнуло одно сообщение, привлекшее внимание искушенных аналитиков. 23 декабря «Правда» в заметке с характерным заголовком «Напрасные потуги» писала: «В последнее время западные, особенно американские, средства массовой информации распространяют заведомо инспирированные слухи о некоем «вмешательстве» Советского Союза во внутренние дела Афганистана. Дело доходит до утверждения, что на афганскую территорию будто бы введены советские «боевые части». Все это, разумеется, чистейшей воды вымыслы».

До ввода войск оставались между тем считанные часы.

Можно ли было этого избежать? Л. И. Брежнев сразу после начала военной акции в интервью той же «Правде» сказал о «непростом решении», о том, что мы-де не можем допустить превращения Афганистана в «империалистический военный плацдарм на южной границе нашей страны»...

Но — обратимся к фактам.

Из архива Генерального штаба ВС СССР:

«Я был приглашен к тов. Амину, который по поручению Н. М. Тараки высказал просьбу о направлении в Кабул 15—20 боевых вертолетов с боеприпасами и советскими экипажами для использования их в случае обострения обстановки в приграничных и центральных районах страны против банд мятежников и террористов, засылаемых из Пакистана.

При этом было заверено, что прибытие в Кабул и использование советских экипажей будет сохранено в тайне...

14.4.79. Горелов».

Резолюция тогдашнего начальника Генерального штаба Н. В. Огаркова: «Этого делать не следует».

«Тараки, а также Амин неоднократно возвращались к вопросу о расширении советского военного присутствия в стране. Ставился вопрос о вводе примерно двух дивизий в ДРА в случае чрезвычайных обстоятельств «по просьбе законного правительства Афганистана». В связи с этим заявлением афганского руководства было заявлено, что Советский Союз на это пойти не может...

19.7.79. Б. Пономарев».

«...В беседах с нами 10 и 11 августа X. Амин отметил, что использование войск в Кабуле против мятежников станет возможным после положительного ре-

---

Окончание. Начало см. «Знамя» № 3 за 1991 г.

шения советским руководством просьбы правительства ДРА и лично Н. М. Тараки о размещении в афганской столице трех советских спецбатальонов. 12 августа председатель службы безопасности Сарвари по поручению X. Амина просил нас об ускорении выполнения просьбы руководства ДРА о направлении советских спецбатальонов и транспортных вертолетов с советскими экипажами.

12.8.79. Пузанов, Иванов, Горелов».

«11 августа состоялась беседа с X. Амином по его просьбе. Особое внимание в ходе беседы было уделено просьбе о прибытии советских подразделений в ДРА.

X. Амин убедительно просил проинформировать советское руководство о необходимости скорейшего направления советских подразделений в Кабул. Он несколько раз повторял, что «прибытие советских войск значительно поднимет наш моральный дух, вселит еще большую уверенность и спокойствие».

Далее он сказал: «Возможно, советские руководители беспокоятся о том, что недруги в мире расценят это как вмешательство во внутренние дела ДРА. Но я заверяю вас, что мы являемся суверенным и независимым государством и решаем все вопросы самостоятельно... Ваши войска не будут участвовать в боевых действиях. Они будут использованы только в критический для нас момент. Думаю, что советские подразделения потребуются нам до весны.

12.8.79. Горелов».

«20 августа был приглашен к Амину. В ходе беседы тов. Амин поставил ряд вопросов о том, что в районе Кабула сосредоточено большое количество войск, в том числе с тяжелым вооружением (танковые, артиллерийские и другие части), которые можно было бы использовать в других районах страны для борьбы с контрреволюцией, если бы СССР согласился выделить соединения (1,5—2 тысячи) командос (десантников), которых можно было бы разместить в крепости Бала-Хисар. Для борьбы с контрреволюцией они привлекаться не будут.

Далее Амин поставил вопрос о замене расчетов зенитных батарей 77 зенап, прикрывающих Кабул и располагающихся на господствующих высотах вокруг города, в благонадежности которых он не уверен, на советские расчеты...

20.08.79. Павловский».

«25 августа совместно с главным военным советником встретился с Амином. Амин вновь поднял вопрос о вводе наших войск в Кабул, что, по его мнению, высвободит одну из двух дивизий кабульского гарнизона для борьбы с мятежниками.

Ответил Амину, что ввод наших войск может привести к осложнению военно-политической обстановки в регионе и усилению американской помощи мятежникам.

25.08.79. Павловский».

Резолюция министра обороны СССР Д. Ф. Устинова: «Доложить ЦК КПСС».

«3 декабря состоялась встреча с X. Амином. Во время беседы X. Амин сказал: «Мы намерены передать часть личного состава и вооружения дивизий (из Мазари-Шарифа и Баглана) для формирования подразделений народной милиции. В этом случае вместо ввода в ДРА советских регулярных войск лучше прислать подразделения советской милиции, которые совместно с нашей народной милицией смогли бы обеспечить безопасность и восстановить порядок в северных районах ДРА.

Магометов. 04.12.79».

Из тех, кто подписывал донесения, отправленные в Москву и в конечном счете уложенные с грифом «Секретно» в архивы, мы раньше уже называли Льва Николаевича Горелова, генерал-лейтенанта, главного военного советника в ДРА; Александра Михайловича Пузанова, посла СССР в Афганистане; Бориса Семеновича Иванова, генерал-лейтенанта КГБ; Бориса Николаевича Пономарева, секретаря ЦК КПСС.

Новые имена: Иван Григорьевич Павловский, генерал армии, главком Сухопутных войск — заместитель министра обороны СССР; Султан Кекезович Магометов, генерал-полковник — с середины ноября 1979 года сменил в Афганистане Л. Н. Горелова.

Ради справедливости надо сказать, что не только афганские руководители просили о вводе войск на территорию ДРА (таких обращений всего было двадцать, причем семь из них исходили от Амина уже после того, как он устранил Тараки). Наши представители тоже иногда слали в Москву предложения направить в Афганистан какие-либо воинские подразделения для обеспечения безопасности советских граждан. Так, 19 марта 1979 года наш посол и представитель КГБ предложили «рассмотреть вопрос о каком-то участии, под соответствующим подходящим предлогом, наших воинских частей в охране сооружений и важных объектов, осуществляемых при содействии Советского Союза. В частности, можно было бы рассмотреть вопрос о направлении подразделений советских войск:

а) на военный аэродром Баграм...

б) на Кабульский аэродром...

В случае дальнейшего осложнения обстановки наличие таких опорных пунктов позволило бы... при необходимости обеспечить безопасность эвакуации советских граждан».

1 августа советские представители в Кабуле сообщали: «...есть необходимость положительно отнестись к просьбе афганских друзей и в ближайшие дни направить в Кабул спецбригаду».

Все это характеризует сложности тогдашнего положения в ДРА.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ГЕНЕРАЛЫ И ДИПЛОМАТЫ

— Обстановку в Афганистане я знал хорошо,— рассказал Иван Григорьевич Павловский.— Не раз бывал там. В августе 1979-го с группой генералов вновь прилетел в Кабул. Передо мной ставилась задача организовать помощь в очистке территории ДРА от душманов, как было принято называть оппозиционеров. В этих операциях должны были участвовать только подразделения афганской армии. Перед самым вылетом из Москвы я звонил в Сочи проводившему там отпуск министру обороны СССР Д. Ф. Устинову. Среди прочих вопросов задал Дмитрию Федоровичу и такой: «Планируется ли ввод войск в Афганистан?» «Ни в коем случае!» — категорично ответил он. Об этом мнении министра, члена Политбюро я по прилете в Кабул уведомил нашего посла А. М. Пузанова. Сразу же нанес визит Тараки. Пожилой добродушный человек, склонный к отвлеченным, философским рассуждениям, он принял меня открыто, я бы даже сказал, сердечно. В конце моего визита сказал: «А теперь езжайте к Амину».

Амин был премьер-министром и министром национальной обороны в правительстве Тараки. Я знал, что они дружили, друг без друга не обедали. Амин выглядел энергичным, напористым, активным, показал, что разбирается в военном деле. Амин попросил меня передать Д. Ф. Устинову просьбу прислать бригаду воздушно-десантных войск, чтобы с ее помощью покончить с враждебными бандитскими группировками... Подчеркиваю, речь шла об одной бригаде. Но ведь для введения войск на чужую территорию должны быть весьма серьезные причины. Таких причин я не видел. В Афганистане соперничали различные группи-

ровки НДПА, их борьбу обостряла племенная рознь. Агрессия извне в тот момент республике не грозила — малочисленные формирования душманов не в счет. Есть ли надобность в присутствии бригады ВДВ? К тому же ее негде разместить.

Я отправил в Москву шифровку, в ней известил о просьбе Амина и высказал свое мнение: «Вводить войска нецелесообразно». Я передал также Д. Ф. Устинову, что лично побывал у Тараки и Амина. По реакции Дмитрия Федоровича понял: Москва не доверяет Амину.

3 ноября 1979 года я возвратился из Афганистана в Москву. Возвратился с трудом, так как сам маршал Устинов все оттягивал срок моего возвращения, потом я понял, почему... Он встретил меня холодно, мимоходом поинтересовался, знал ли я о внутрипартийной борьбе в НДПА? Закончив доклад, я высказал свое мнение о том, что нет необходимости вводить наши войска в Афганистан, привел ряд соображений. Но министр не стал слушать...

О том, что войска вошли в Афганистан, я узнал из официальных сообщений.

Спустя одиннадцать месяцев Дмитрий Федорович Устинов объявил мне: «Пойдете в группу генеральных инспекторов». Так закончилась моя служба на посту главкома Сухопутных войск.

Не будем спорить с Иваном Григорьевичем насчет того, мог ли не знать главком Сухопутных войск о назначенном дне перехода нашими частями советско-афганской границы. Вероятно, кое-что он запамятовал. Например, то, что 24 декабря присутствовал на совещании руководящего состава Министерства обороны, где Д. Ф. Устинов объявил о решении советского политического руководства ввести войска в ДРА. Тогда же была подписана соответствующая директива, в ней названо время «Ч» — дата пересечения Государственной границы.

Существеннее, что, как и некоторые другие военачальники, И. Г. Павловский определенно возражал против военной акции в ДРА.

Такую же позицию занимал генерал-лейтенант Л. Н. Горелов.

— Еще в январе 1979-го в беседе со мной Амин начал выяснять возможность ввести в страну отдельные советские воинские подразделения,— вспоминает Лев Николаевич.— Я немедленно доложил об этом начальнику Генерального штаба Н. В. Огаркову. Николай Васильевич высказался категорично: «Никогда мы наши войска туда не пошлем. Бомбами и снарядами мы там порядок не установим. И больше не поддерживай с Амином такие разговоры»...

Со стороны афганского руководства, однако, продолжали следовать аналогичные просьбы, я бы сказал, полуофициального характера. В это время силы оппозиции сделали несколько вылазок против правительственных войск. Так, в марте они перерезали коммуникации в Хосте и я попросил прислать эскадрилью транспортных самолетов, чтобы перебросить в блокированный Хост продовольствие. Прибыли Ан-12, а для их охраны — десантный батальон, разместившийся в Баграме. Подчеркиваю, лишь для охраны аэродрома и наших самолетов.

В конце сентября меня запросила по ВЧ Москва: «Срочно прилетайте!» Через день я уже был в Генштабе, у Огаркова. Тот повел меня к Устинову. Вместе поехали на Старую площадь, в ЦК. Нас приняли Андропов, Громыко, Пономарев; кажется, присутствовал кто-то еще. Одновременно вызвали генерала КГБ Б. С. Иванова.

Минут двадцать я докладывал обстановку. Говорил, что думал, как есть. Мятежники в ряде мест пользуются поддержкой населения, из 185 уездов 30 находятся под их контролем. Племена пошли на переговоры с правительством, но часть из них укрылась в горах и, видимо, с весны надо ожидать с их стороны активных действий. Рассказал о борьбе внутри НДПА, о мерах правительства по стабилизации положения в стране, отметив, что органы местной власти создаются медленно, партактивисты не идут в народ. Меня спросили о состоянии

афганской армии. Армия, сказал я, составляет основную опору режима. Она учится, набирается опыта. Уровень ее несколько повысился, хотя есть и большие проблемы. Скажем, офицерами она укомплектована лишь наполовину. Андропов поинтересовался моим мнением об Амине. Волевой, чрезвычайно работоспособный, превосходный организатор, аттестовал я Амина. И в то же время хитрый, коварный, провел ряд репрессий. Во всеуслышание провозглашает нерушимую дружбу Афганистана с нашей страной и неоднократно просил прислать советские войска, в частности для его личной охраны. Хочет встретиться с Л. И. Брежневым.

Разговор опять перекинулся на афганскую армию. Я назвал цифры: 10 дивизий, 145 тысяч человек личного состава, 650 танков, 87 БМП, 780 БТР, 1919 орудий, 150 самолетов, 25 вертолетов, 3 зенитно-ракетных комплекса. Эти данные настолько врезались мне в память, что называю их сейчас без заглядывания в «шпаргалку». Армия может выполнять поставленные перед ней задачи, сказал я, однако ее уровень все-таки не соответствует современным требованиям.

Генерал Иванов докладывал уже после того, как я ушел...

В октябре меня снова вызвали в Москву, но не одного, а с моим коллегой В. П. Заплатиным. Об этой поездке спросите лучше Василия Петровича, он расскажет с подробностями.

Меня же решили в Афганистане заменить. По правде сказать, я зверски устал, спал по 3—4 часа. Но о замене не просил. Скорее всего некоторых не устраивали мое отношение к перспективе военной акции и мой взгляд на личность Амина.

В течение двух с лишним месяцев я вводил в курс дела своего преемника — генерал-лейтенанта Г. И. Демидкова. Тот вернулся в Москву, доложил Устинову согласованную со мной точку зрения на события в ДРА и сразу впал в немилость. Григория Ивановича вместо Афганистана отправили в Монголию. А меня сменил генерал-полковник С. К. Магометов.

6 декабря 1979 года я прилетел в Москву насовсем. Состоялся продолжительный разговор с Огарковым. «Лев Николаевич, будет ли афганская армия стрелять в наших солдат?» — неожиданно спросил Николай Васильевич. «Никогда»,— ответил я. Спустя короткое время понял, почему он это спросил...

О вводе войск я узнал в крымском санатории. Не мог ни есть, ни пить. Бросил санаторий и уехал домой в Кишинев...

Я очень доволен тем, что не участвовал в этой авантюре и совесть моя чиста.

Следующее слово — генерал-майору В. П. Заплатину.

— В мае 1978-го меня спешно направили в Афганистан в роли советника начальника главного политуправления афганской народной армии. Там встретили радушно. Я сразу был принят Тараки, который дал мне полную инициативу во всем. Довелось побывать во всех гарнизонах, где стоял хотя бы один афганский батальон...

— Василий Петрович, положение в Афганистане обострялось с каждым месяцем. Чувствовали вы это?

— Несомненно. Особенно осложнились отношения между руководителями НДПА. И хотя расхождения во взглядах «халькистов» и «парчамистов» публично отрицались (Тараки, например, на пресс-конференции заявил: «парчам» и «хальк» — это одно и то же, между ними нет никакой разницы, мы не отделялись друг от друга и вместе обрушивались на своих врагов...»), на деле происходило иначе. Борьба за власть становилась все ожесточеннее.

Но некоторые наши советники, на мой взгляд, не разобрались в ситуации. «Все валится, все рушится» — таков был рефрен их сообщений в Москву. Вместо детального, глубокого, объективного анализа обстановки возобладали эмоциональные оценки. Возможно, кому-то это было на руку, кто-то преследовал личные интересы — не берусь судить.

Не лучше действовали и приезжавшие из Москвы ответственные работники различных ведомств. Вспоминаю появление в Кабуле заместителя министра внутренних дел СССР В. С. Папутина. Первый раз он посетил Афганистан в 1978 году, стремясь наладить сотрудничество по линии МВД. Второй раз, о котором веду речь, Папутин прилетел в Кабул 22 ноября 1979-го. Через несколько дней только что назначенный послом в Афганистане Ф. А. Табеев позвонил мне и попросил зайти к нему. Он показал шифровку, которую надлежало отправить в Москву. В ней оценка ситуации в Афганистане давалась резко субъективно, неверно оценивалось и состояние армии. Под документом стояла подпись Папутина. Табеев, едва начавший знакомиться с положением дел в стране, хотел проконсультироваться со мной. «Категорически не согласен с текстом»,— без обиняков сказал я и объяснил почему. «Тогда идите к Веселову (партийному советнику.— **Авт.**) и вместе исправьте текст, как считаете нужным». Мы с Веселовым срочно встретились с Папутиным. «Вы, Виктор Семенович, успели побывать только в одном гарнизоне, как же можете судить в целом об афганской армии?» — в лоб спросил я его. После некоторого сопротивления он вынужден был согласиться с нашими доводами. Текст был скорректирован и в таком виде отправлен в Москву. Я не виню лично Папутина — таков был стиль работы многих приезжавших в ДРА наших высокопоставленных руководителей. Да и часть находившихся в Кабуле советников не отвечала своему назначению.

(28 декабря 1979 года на 54-м году жизни В. С. Папутин покончил с собой. «Правда» опубликовала некролог, разумеется, без намека на самоубийство, только 4 января. Трудно судить, был ли шаг бывшего партийного работника, а затем генерал-лейтенанта внутренней службы продиктован поездкой в Кабул или чем-то иным. По Москве ходили противоречивые слухи, некоторые связывали трагический исход с Афганистаном.— **Авт.**)

Ф. А. Табеев. Тут какое-то недоразумение. Этого не могло быть, поскольку Папутину, приезжавшему исключительно для проверки работы советников МВД, не требовалось подписывать у меня свою телеграмму. У них, в представительстве МВД, была своя шифросистема. Никогда я не визировал их телеграмм.

Самоубийство этого генерала абсолютно не связано с Афганистаном. Надо сказать, что он сильно пил. В Кабуле напивался ежедневно. К тому же страдал манией преследования: ему казалось, что во всех помещениях установлена подслушивающая аппаратура, что за ним постоянно следят. Видно, о его запоях кто-то сообщил в Москву. Звонит мне из ЦК Пономарев: «У нас сигнал на Папутина». «Проверю»,— осторожно отвечаю я Борису Николаевичу. «Не надо ничего делать. У него командировка заканчивается — пусть выезжает». Он и уехал.

За время работы в ДРА лишь однажды В. П. Заплатин побывал на Родине. Произошло это в октябре 1979-го. Накануне вылета в Москву В. П. Заплатин и Л. Н. Горелов встретились с Амином и тот доверительно спросил: «А если я напишу личное письмо Брежневу, отвезете?» Письмо с пятью сургучными печатями было доставлено к трапу самолета за пять минут до вылета. В Москве Горелов вручил письмо начальнику Генерального штаба Н. В. Огаркову. «Хорошо,— сказал тот.— Передам его в КГБ — пусть они решают, что с ним делать». Позже Заплатин узнал о содержании письма. Амин просил Брежнева о личной встрече. Ему казалось, и не без оснований, что в Москву идет необъективная информация. Увы, говорить с ним не захотели.

В Москве Заплатина и Горелова, как упоминалось, принял Д. Ф. Устинов.

— В разговоре принимали участие начальник Генерального штаба Н. В. Огарков, начальник Главпура А. А. Епишев и начальник одного из главных управлений Генштаба Н. А. Зотов,— свидетельствует В. П. Заплатин.— Лев Николаевич Горелов заметно волновался, говорил сбивчиво. Волновался и я. Обрисовав обстановку, мы подчеркнули, что, по нашему мнению, Амин с уваже-

нием относится к Советскому Союзу, что надо иметь в виду его большие реальные возможности и использовать их в наших интересах. Если что-то не получается, вину за это несем мы, советники.

— Говорилось ли о возможности военного решения?

— Об этом даже не заходила речь. Спрашивали, в состоянии ли афганская армия противостоять мятежным силам. «Да»,— сказали мы. Я не допускал возможности ввести в Афганистан войска. Конечно, замыслов наших военных верхов я не знал. 10 декабря меня вновь вызвали в Москву. Притом необычным способом. По существу, меня выманили из Кабула, придумав нелепый, недостойный предлог. Обманули. Как будто недостаточно было приказать мне прибыть в Москву к определенному времени... Я выступал с лекцией перед афганскими офицерами в военном училище. Вдруг вызвали в узел связи для важного разговора с Генштабом. Тут же соединили с генерал-лейтенантом Л. Н. Ощурковым. Он говорит: «Внимательно слушайте меня. Ваша дочь обратилась в ЦК КПСС с просьбой о встрече с отцом, то есть с вами. Ее просьба удовлетворена. Вам следует сегодня вылететь в Москву». Ничего не поняв, отвечаю: «Самолет в Москву уже ушел, следующий будет через два дня». «Это не ваша забота. Вам надо к 18.00 прибыть на авиабазу Баграм». Терзаемый страхами за дочь, я отправился в посольство: может, там что-то прояснится? Посол Ф. А. Табеев ответил, что по их линии никакой информации не проходило. Зная свою дочь, я не мог и мысли допустить, чтобы она обратилась в Центральный Комитет. Снова позвонил Л. Н. Ощуркову: «Жива дочка?» «Жива. Но других вопросов не задавайте, все узнаете в Москве».

На вертолете отправился в Баграм. В Союз мы вылетели только под утро. В Ташкенте меня, одного-единственного, ждал другой самолет, ИЛ-18. Пока летел в пустом салоне до Москвы, о чем только не передумал. Сразу с аэродрома приехал в Главпур к его начальнику А. А. Епишеву. Он принялся расспрашивать о ситуации в Афганистане. Час разговаривал со мной, два... А о дочери — ни слова. И постоянно записывал за мной в блокнот. Потом говорит: «Я отлучусь на совещание в ЦК, а ты меня жди». Воспользовавшись паузой, я позвонил дочери: «У тебя все нормально?» «Все хорошо». И чувствую по голосу, что это на самом деле так.

На следующее утро, едва я появился в Главпуре, взволнованный дежурный сообщил: «Вас уже везде ищут». Епишев сразу повел меня к Д. Ф. Устинову. Тот вышел в приемную из своего кабинета вместе с Огарковым. Был в шинели. «Ты,— говорит,— пока товарищу Огаркову все доложи, а когда я вернусь, расскажешь». Начальник Генштаба, а затем и министр долго расспрашивали о ситуации в ДРА, о расстановке сил. Я сказал, что трудностей немало, но афганская армия становится на ноги, она вполне дееспособна. «Кто такой Амин?» Ответил, что он хороший организатор, крупная политическая фигура. Да, за расправу над Тараки оправдания ему нет, но Амин не дал ни малейшего повода думать, что он не с нами. Министр раздраженно бросил: «У вас у всех там разные оценки, а нам здесь решение принимать». Н. В. Огарков как бы мельком спросил насчет возможности военной акции. Я ответил, что не усматриваю в этом необходимости. Вот и все.

Увиделся я и с тем самым генерал-лейтенантом, который лгал мне про дочь. Он смутился. «Я,— говорит,— ничего сам не выдумывал. Как мне вышестоящие начальники продиктовали, так я вам и передал! Слово в слово». А вопрос о моем возвращении незаметно завис. Сначала меня вдруг отправили в командировку в Одессу, потом во Львов — изучить настроения афганцев, обучающихся в наших военных училищах... Потом я понял: просто не хотят, чтобы я именно в тот момент находился в Афганистане; там требовались другие люди.

Когда же наши войска перешли Амударью, А. А. Епишев вновь меня вызвал: «Вот видишь, что происходит. Надо немедленно возвращаться туда». «Алексей Алексеевич,— ответил я,— можно высказать свое мнение?» «Давай». «Я считаю, что теперь мне в Афганистане делать нечего». «Почему?» «Потому что вижу: руль там будет круто повернут, а это не соответствует моим принципам, убеждениям. Найдите мне замену».

Об этом разговоре доложили министру, потом в ЦК. Согласились с моими доводами, оставили служить в Союзе. Епишев мне, правда, сказал: «Так тебе же все равно надо ехать за женой, за вещами». «Не поеду. Попрошу, чтобы жене помогли вернуться товарищи». «Ну, смотри!» А в Кабуле среди наших советников уже пошла молва: Заплатина из партии исключили, из армии уволили. Как это у нас бывает.

Что происходило дальше — вы знаете...

Итак, военные высокого ранга отнюдь не настаивали на использовании в ДРА контингента советских войск, более того, некоторые из них активно возражали. Ну, а дипломаты? Вот запись нашего разговора с тогдашним послом в Кабуле А. М. Пузановым.

— Считаете ли вы, Александр Михайлович, что к концу 1979 года мы полностью исчерпали политические и дипломатические средства убеждения, что наши советы и подсказки вообще не воспринимались Амином?

— Нет, не считаю. Можно было бы повлиять на него. Он был умным человеком, несмотря на мучивший его «синдром власти». Он прекрасно понимал, что означает для Афганистана Советский Союз. Положение, правда, обострялось тем, что в ДРА из Пакистана стали проникать вооруженные отряды экстремистского толка. Революция могла оказаться в опасности.

— Вы, видимо, регулярно извещали Москву о происходивших событиях. Были ли вы удовлетворены реакцией на ваши сообщения?

— Нелегкий вопрос. Дело в том, что свою информацию отправляли и некоторые советники. Нередко они расходились со мной в оценках и рекомендациях. Прошу понять правильно: я не считаю себя безгрешным, тоже ошибался. И все-таки дипломатический опыт, семь лет пребывания в Афганистане, близкие контакты с руководителями страны что-нибудь да значили. А что греха таить, порой информацию в Москву поставляли некомпетентные люди.

— Но ведь были же у нас и настоящие специалисты по Востоку, в частности по Афганистану...

— К их мнению, как я теперь понимаю, «наверху» не прислушивались.

— И вопрос, если позволите, в лоб. Вы были «за» или «против» ввода наших войск?

— Давайте вернемся в лето семьдесят девятого... Активизировались действия бандитских формирований, обученных на территории Пакистана. Они выступили против завоеваний революции, играя на ее ошибках. Да и Запад умело подогревал их в борьбе с новой властью. Бандиты отличались особой жестокостью. Они, например, не только сжигали школы и расстреливали учителей, но избивали, а часто и убивали детей-учеников. Один из захваченных в плен бандитов на вопрос: «Почему вы убивали детей?» — при работнике посольства ответил: «Чтобы спасти от неверных». Произошла бандитская вылазка в Герате, были растерзаны два советских специалиста — ветеринарные работники. Была попытка мятежа в Кабуле, правда, быстро и почти без жертв ликвидированная. Возникла опасность захвата аэродрома под Кабулом.

Тараки и Амин, обращаясь к советским руководителям с просьбой направить в ДРА воинские части, ссылались на статью Договора о дружбе, в которой речь шла об обеспечении безопасности и территориальной целостности обеих сторон.

Учитывая возникшую обстановку, мы — советский посол, руководитель военных советников и представитель госбезопасности СССР — передали в Москву ряд своих конкретных предложений, в том числе о направлении в Кабул двух советских батальонов: одного — для защиты аэродрома, другого — для размещения в старой крепости города. Два батальона, как вы понимаете,— это не «ограниченный контингент», составивший затем целую армию. Я считал военную акцию нежелательной.

Предложения наши были приняты, кроме направления воинских подразделений.

Ф. А. Табеев. Через меня просьбы Амина о вводе войск не проходили. Видимо, он пользовался другими каналами. Помню, единственно, что во время одной из встреч в середине декабря, когда наша десантная дивизия уже была в Афганистане, Амин очень просил «прикрыть» еще и Бадахшан. Видимо, потому, что с этим районом были связаны интересы его брата. И еще одна причина была: там всегда существовали сильные сепаратистские настроения. Исмаилиты сохраняли относительную независимость при всех режимах, а Амина они попросту не признавали.

— Хочется понять: была ли тогда реальной угроза падения режима?

— Была реальная угроза контрреволюционного переворота под флагом исламских фундаменталистов. К тому времени они накопили большую силу. Кабул же, напротив, был ослаблен. Армия после аминовских чисток и репрессий обезглавлена. Духовенство восстановлено против. Крестьянство — против. Племена, тоже натерпевшиеся от Амина,— против. Вокруг Амина оставалась кучка холуев, которые, как попки, повторяли за ним разные глупости о «строительстве социализма» и «диктатуре пролетариата».

Созданная на востоке крупная так называемая «кунарская группировка» мятежников была в состоянии захватить Кабул в течение 24 часов. Ждали только приказа.

КАК «ВЛИПЛИ В ИСТОРИЮ»

Теперь, спустя годы, известно, что

— решение ввести в Афганистан войска приняли в «узком кругу» четверо: Генеральный секретарь Брежнев, председатель КГБ Андропов, министр иностранных дел Громыко, министр обороны Устинов;

— принималось это решение за спиной народа и партии, не все высшие руководители страны знали о нем;

— события в Афганистане стали апогеем брежневской доктрины, предполагавшей военизацию советской внешней политики в условиях паритета и содержавшей явно ошибочный взгляд на страны «третьего мира» как на потенциально социалистические.

«...Мы противопоставили себя мировому сообществу, нарушили нормы поведения, пошли против общечеловеческих интересов... Поучительно то, что в этом случае были допущены и грубейшие нарушения нашего собственного законодательства, внутрипартийных и гражданских норм и этики»,— говорил Э. А. Шеварднадзе 23 октября 1989 года на заседании Верховного Совета СССР.

Теперь мы все это знаем, усвоили. Ну, а тогда, в семьдесят девятом? Судя по всему, даже в «узком кругу», то есть в «большой четверке», во всяком случае, вначале, не было единства мнений по афганскому вопросу. Более умеренную позицию занимали Брежнев и Громыко, двое других придерживались жесткого курса, причем самым решительным образом был, как утверждают, настроен Андропов, и именно он активно склонялся к военному решению, именно его аргументы в пользу военной акции звучали чаще всего, его голос был самым твердым. Устинов же во всем соглашался с ним.

Об этом говорят люди, которым по роду службы полагалось знать все.

Профессиональный дипломат Андрей Михайлович Александров-Агентов с 1961 года был помощником Л. И. Брежнева по вопросам международной политики. Андропов после кончины Леонида Ильича, сменив, как водится, «команду» референтов и помощников, сделал исключение только для Александрова-Агентова. Как ни удивительно, и следующий лидер — К. У. Черненко, окружив себя «своими», международные вопросы оставил за Андреем Михайловичем. И даже с приходом М. С. Горбачева, когда аппарат был подвергнут значительной пере-

тряске, в судьбе старого политика не изменилось ровным счетом ничего — пока он сам не попросился на отдых.

Если Андрей Михайлович когда-нибудь соберется обнародовать свои воспоминания, то, разумеется, страницы о войне в Афганистане найдут там достойное место. Думается, нам он рассказал далеко не все из того, что знает.

— Во-первых,— подчеркнул он,— вся ситуация с Афганистаном, с самого начала событий, возникла для нас внезапно, как снег на голову. Я помню, Леонид Ильич в беседе с кем-то из иностранных гостей сетовал на то, что он и другие руководители страны узнали об Апрельской революции из сообщений корреспондентов. Мы никак не влияли на то, что там готовилось и произошло. До этого отношения с королевским, а затем даудовским Афганистаном были отличными. Хорошо помню поездку Брежнева туда в 1961 году — в ранге Председателя Президиума Верховного Совета СССР... Король Мухаммад Захир-шах весьма радушно принимал советского гостя. Бескровный переворот 1974 года, в результате которого М. Дауд сверг своего дядю, ликвидировал монархию и сам возглавил Афганистан, был для нас вполне неожиданным. Но Дауд до этого занимал пост премьер-министра, мы хорошо знали его, и на отношениях между государствами тот переворот практически не отразился. Потом произошла «самостийная» революция — на мой взгляд, типичный военный переворот. Его осуществила сравнительно небольшая группа левацки настроенных офицеров. Взяв власть, они выдвинули лозунги социалистического развития и первым делом обратились к Советскому Союзу с изъявлениями горячей дружбы.

Когда первым лицом стал Амин, события обрели драматическую окраску. Наши товарищи, насколько я знаю, с тревогой наблюдали за тем, что происходит. Кровавые расправы, попытки уничтожить все, связанное с прежним социальным строем, одним махом перескочить в социализм... С осложнением внутренней ситуации Амин впал в панику. Он бомбардировал нас просьбами о вводе войск, и эти просьбы к концу 79-го приняли буквально истерический характер. Обоснования его просьб были надуманными, не убеждали. И, надо сказать, члены Политбюро отрицательно относились к этому варианту, не высказывая ни малейшего желания предпринимать что-то подобное. И несостоятельны прозвучавшие позже с Запада обвинения Советского Союза в том, что СССР якобы стремился через Афганистан выйти к теплым морям, или насчет политических амбиций советского руководства в связи с афганским вопросом. И хотя Амин нажимал: «Судьба революции на волоске, вы обязаны помочь...», до последнего момента реакция Брежнева на эти просьбы оставалась отрицательной. Он исходил из своего понимания обстановки, да и по натуре не был сторонником крутых мер. Насколько я знаю, и Громыко не настаивал на вооруженном вмешательстве...

— Инициатива исходила от Андропова?

— По-моему, так. А когда пошла все же речь о посылке в Афганистан войск, никто из наших руководителей, я на сто процентов убежден, не мыслил длительной военной кампании. Расчет — наивный, как теперь выясняется,— был таким: введем войска, и сам этот факт заставит присмиреть противников нового режима. Тем более все сопровождалось политической акцией — заменой Амина Кармалем, который с самого начала пришел к власти с умеренными лозунгами. Но это все впереди. А пока Амин продолжал настаивать на военной помощи режиму. В это время Бабрак Кармаль писал из Чехословакии, что Амин пытается его ликвидировать, и «парчам» осуждает развязанный Амином террор.

В одно прекрасное утро звоню Андропову: «Юрий Владимирович, как будем реагировать на последние просьбы афганского руководства? Что ответим Амину?» А он мне: «Какому Амину? Там Кармаль со вчерашней ночи, в Кабуле наши войска...» Мне стало неловко — выгляжу чудаком, ничего не знаю. «Ладно,— говорю,— спасибо, понял вас».

Надежды, что наша армия просто станет гарнизонами, не оправдались, в Афганистане она втянулась в военные действия. Это весьма огорчало наше высшее руководство. Брежнев ворчал на военных: «Не могли все сделать, как положено». Он досадовал: «Вот, черт побери, влипли в историю...»

Впрочем, он как раз в эти годы практически выбыл из строя. Восьмидесятый,

восемьдесят первый, тем более восемьдесят второй... На эти годы пришелся пик его болезни. Рабочий день Генерального секретаря продолжался не более трех-четырех часов. Но он, безусловно, доверял и Громыко, и Устинову, и Андропову. Они вошли в специальную комиссию по Афганистану при Политбюро. Собиралась комиссия, если мне память не изменяет, дважды в неделю, она принимала оперативные решения, а принципиальные вопросы выносила на Политбюро. Практически рекомендации этой комиссии ложились в основу всех принимаемых решений.

20 сентября 1989 года «Литературная газета» опубликовала беседу своего обозревателя Игоря Беляева с членом-корреспондентом АН СССР Анатолием Громыко (сын бывшего министра иностранных дел). В этой публикации содержится утверждение, что Л. И. Брежнев воспринял расправу над Тараки как личное оскорбление. «Своему ближайшему окружению он говорил, что ему нанесена пощечина, за которую он должен ответить». Бывший министр рассказывал, по свидетельству его сына, что «Брежнев был просто потрясен убийством Тараки, который незадолго до этого был его гостем, и считал, что группировка Амина может пойти на сговор с США». Помимо этого, Андрей Андреевич Громыко утверждал: «В 1979 году ни в Политбюро, ни в ЦК КПСС, ни в руководстве союзных республик не было ни одного человека, который возразил бы против удовлетворения просьбы афганской стороны... о военной помощи... Во всяком случае, мне такие мнения были тогда не известны. Сейчас иногда говорят, что такие решения принимались за закрытыми дверями несколькими высокими руководителями страны. Да, так оно на самом деле и было. Это были члены Политбюро. Но затем эти решения Политбюро были единогласно одобрены Пленумом ЦК КПСС... Мое предложение вынести это решение для одобрения Верховным Советом СССР принято Брежневым не было...»

Б. Н. Пономарев. Да, Громыко впоследствии признавал, что решение о вводе войск было принято кулуарно. Вы спрашиваете, как же обошли при этом меня, руководившего международной деятельностью ЦК? Ну, по части международных вопросов там был министр иностранных дел, которому Брежнев доверял всецело. Со мной никто по этому поводу не советовался. О принятом решении мне никто не сообщил — ни официально, ни полуофициально. Я вам скажу: там Андропов играл большую роль. Его люди нашли в Чехословакии Бабрака Кармаля, подготовили его на роль нового лидера. Брежнев очень доверял Андропову. А я узнал обо всем постфактум. Я не занимался оперативными делами, больше— крупными вопросами теории.

И еще. Наше руководство — это я вам говорю со всей ответственностью — было всерьез обеспокоено возможностью появления на юге еще одного недружественного нам режима. Боялись новых ракет, нацеленных на нас. Ввели войска для предотвращения агрессии. Я вас уверяю: это не пропагандистский штамп, а отражение реальных настроений руководства. И ведь были уверены: войска встанут гарнизонами, в боевых действиях участвовать не будут...

ЗЛОСЧАСТНАЯ КАРТА

Судя по всему, что мы теперь знаем, окончательное решение ввести в Афганистан войска кремлевская четверка приняла вечером 12 декабря. При этом не подписывали каких-либо документов, не было ни Указа Президиума Верховного Совета СССР, ни других официальных правительственных распоряжений, определявших цели и задачи военных действий. Все указания политического руководства Д. Ф. Устинов доводил до своих коллег устно.

Не обнаружено таких документов и в министерстве обороны. Когда занимавшийся их розыском генерал-лейтенант В. А. Богданов доложил об этом министру обороны Д. Г. Язову, тот не поверил. Но факт: даже в «досье» Совета обороны ничего не найдено... Кроме просьбы Устинова решить вопрос об оплате ратного труда ограниченного контингента советских войск (ОКСВ), вступившего в Афганистан.

Владимир Алексеевич Богданов помог воспроизвести хронику тех декабрьских событий.

— Я был начальником Южного направления Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба. 1 декабря Устинов объявил своим ближайшим помощникам: «Возможно, будет ввод войск в Афганистан». Сказал мне об этом Варенников — тогдашний начальник ГОУ. Похоже, сам Валентин Иванович не шибко в это верил, иначе не разрешил бы мне выехать в отпуск.

Отдыхая в Сочи, я, естественно, не знал, что уже 10 декабря началось отмобилизование войск. 13 декабря поступил приказ срочно собрать оперативную группу министерства обороны для оказания помощи командованию Туркестанского военного округа. 14-го утром группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба С. Ф. Ахромеевым вылетела в Термез. Первого заместителя министра обороны С. Л. Соколова срочно отозвали из отпуска, и он тоже прибыл в Термез. Руководство группой перешло к нему. 24 декабря Устинов подписал директиву на ввод войск. На следующий день я прилетел в Москву из Сочи. Едва вошел в квартиру, раздался телефонный звонок. Меня срочно вызывали на работу. «Что случилось?» — спросил я, встревоженный тоном говорившего. «Из сейфа достали твою карту»,— услышал в ответ. И все понял.

Как-то еще в мае мне пришла мысль проработать на карте вариант входа наших войск в ДРА, если придется выручать революционное правительство. Потрудился просто так, для себя; наметил несколько городов, где наши войска могли бы стать гарнизонами, охраняя главную дорогу Термез — Кабул — Кандагар — Кушка. По моим расчетам, для этого понадобилось бы шесть дивизий. Мой коллега, увидев карту, шутливо сказал: «Спрячь, а то еще обвинят в нарушении суверенитета соседнего государства».

«Из сейфа достали твою карту» — прозвучало как пароль операции, в которую трудно было поверить. Будто напророчил.

ВРЕМЯ «Ч»

13 декабря командующий ТуркВО[1] генерал-полковник Ю. П. Максимов вызвал своего первого заместителя генерал-лейтенанта Ю. В. Тухаринова и приказал готовить войска. Тот вылетел в Термез, где расположился штаб создаваемой в спешном порядке 40-й армии. Ю. В. Тухаринов стал ее командиром, А. В. Таскаев — начальником политотдела, Л. Н. Лобанов — начальником штаба, А. А. Корчагин возглавил разведку. Последние трое были тогда в звании генерал-майоров.

Документ генштаба:

«В течение последующих недель... в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах было развернуто и доукомплектовано до полного штата около 100 соединений, частей и учреждений. Были развернуты управления 40-й армии и смешанного авиационного корпуса, четыре мотострелковые дивизии, десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострелковый полк, артиллерийская бригада, зенитная ракетная бригада, части связи, инженерных войск, тыловые части и учреждения. Для доукомплектования развертываемых войск было призвано из запаса более 50 тысяч офицеров, сержантов и солдат и подано из народного хозяйства около 8 тысяч автомобилей и другой техники. Для ТуркВО и САВО это было самое крупное мобилизационное развертывание в послевоенный период».

[1] Туркестанский военный округ (ред.).

Такие вот силы готовили к вступлению в Афганистан. Вошли в декабре три дивизии — две мотострелковые (из Термеза и Кушки) и воздушно-десантная, а также — десантно-штурмовая бригада и два отдельных полка (в первой половине 1980-го эту группировку усилили еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками).

Все делалось в спешке. Многие были призваны из запаса в Средней Азии: кому-то показалось, что с мусульманами лучше воевать самим мусульманам. Да и для скрытности действий так лучше. Призванных называли «партизанами» (в марте 1980-го их отправили домой). Ощущалась острая нехватка офицеров, особенно технических специалистов. Не хватало элементарного: палаток, печек, дров; солдаты ночами грелись у костров. С «гражданки» брали любые мало-мальски годные машины, вплоть до самосвалов и такси, на которых не успевали закрасить шашечки.

Для перехода границы через Амударью навели понтонный мост. Намучился же с ним инженерный полк!.. Река своенравная, берега неустойчивы. Понтоны то отходили от них, то садились на береговую мель...

Время «Ч» приближалось. Работники политуправления Туркестанского военного округа начали создавать в подразделениях агитационно-пропагандистские группы для работы с афганским населением. Подготовили «Памятку советскому воину-интернационалисту». Вот некоторые ее фрагменты:

«Советский воин! Находясь на территории дружественного Афганистана, помни, что ты являешься представителем армии, которая протянула руку помощи народам этой страны в их борьбе против империализма и внутренней реакции. ...Помни, что по тому, как ты будешь себя вести в этой стране, афганский народ будет судить о всей Советской Армии, о нашей великой советской Родине. Находясь в ДРА, соблюдай привычные для советского человека нравственные нормы, порядки, законы,.. проявляй терпимость к нравам и обычаям афганцев.

По своему характеру афганцы доверчивы, восприимчивы к информации, тонко чувствуют добро и зло. На почтительное отношение они отвечают еще более глубоким уважением. И особенно они ценят почтение к детям, женщинам, старикам... Всегда проявляй доброжелательность, гуманность, справедливость и благородство по отношению к трудящимся ДРА.

Строго выполняй все предписания и советы врачей. Не употребляй воду из арыков, каналов и других водоемов — они могут быть рассадниками инфекционных заболеваний. Не приобретай разного рода вещи и ценности у афганцев за советские деньги. Не вымениваи ничего и не продавай. Это категорически запрещено. Не посещай без служебной необходимости предприятия, магазины, базары, не пользуйся частным транспортом.

Необходимо помнить, что отдельные проступки и нарушения порядка наносят ущерб авторитету Советского государства, позорят честь и достоинство советского воина».

...Вечерело. К урезу воды подошел передовой батальон мотострелкового полка на боевых машинах пехоты. Пограничникам вручены списки личного состава. Колонна вступила на понтонный мост. Одновременно границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой воздушно-десантной дивизии и взяли курс на Кабул.

Заканчивался день 25 декабря 1979 года. В Москве в это время было 15 часов.

Позднее Юрий Владимирович Тухаринов, первый командарм 40-й армии, говорил журналистам:

— Конечно, я не представлял, что открывается длительная, растянувшаяся затем почти на десять лет так называемая афганская война. Мы думали, что наше пребывание в Афганистане будет недолгим и принесет облегчение дружественному народу.

Утром Тухаринов вылетел на вертолете в Кундуз, куда должна была прибыть наша мотострелковая дивизия. Встретил его Абдулла, старший брат Амина. Он отвечал за северные провинции Афганистана. Встретил довольно сухо, не вышел из-за стола, не поздоровался за руку. Разговор шел сугубо конкретный: где размещать прибывающие советские подразделения. Ни для него, ни для бывшего здесь же начальника оперативного управления Генштаба ДРА генерал-майора Бабаджана, ни, естественно, для Хафизуллы Амина и его окружения приход наших войск не был сюрпризом. Этого ожидали.

Другой вопрос, что Х. Амин никак не предполагал, что жить ему оставалось считанные часы.

Приведем фрагмент из воспоминаний офицера-политработника, ныне генерал-майора Леонида Ивановича Шершнева, в числе первых вступившего в ДРА.

— Нас встречали с любопытством, вполне дружелюбно, без всякой настороженности. В Ташкургане на первый импровизированный митинг собралось несколько тысяч афганцев. Ни трибуны, ни усилителей; мы старались говорить как можно громче, и тут же наши слова переводились на дари. Афганцы слушали с вниманием, одобрительно кивали. «Теперь будут мир и покой»,— говорили местные жители.

Самое трудное было объяснить, почему и зачем мы вошли в Афганистан. Амина старались не упоминать. Чувствовалось: его режиму жить недолго. Поэтому формулировали так: «Вошли по просьбе законного правительства ДРА».

Ташкурган, Баглан... В Баглане колонну встретили воины афганской пехотной дивизии; выстроились шпалерами и аплодировали. Снова митинг, долгий, в пределах часа. Происходил он в расположении афганской дивизии. Наших солдат и офицеров осыпали лепестками роз, под колеса и гусеницы машин бросали бумажные цветы.

Заночевала колонна за Багланом. Утром 27 декабря прилетел на вертолете первый заместитель министра обороны СССР С. Л. Соколов. Тем временем наша передовая дивизия получила приказ с максимальной скоростью двигаться в Кабул. Спустя несколько часов по радио услыхали «Обращение к народу» Бабрака Кармаля. (Потом я узнал — оно было заранее записано на пленку и зачитывалось из радиостанции с нашей территории.) С Амином покончили. Никаких митингов больше не было. На полных оборотах стремительно шли в направлении Кабула.

Собственно военные действия начались с того, что усиленная воздушно-десантная дивизия генерал-майора Ивана Рябченко захватила ключевые политические и военные объекты в Кабуле. Лояльно относившиеся к Амину офицеры были бессильны что-нибудь предпринять. Ничто не могло спасти режим.

В своей книге «Война в Афганистане» Марк Урбан пишет: «26 декабря вечером начальник Генштаба вооруженных сил Афганистана позвонил подполковнику Алауддину, командиру 4-й танковой бригады. По словам Алауддина, «он потребовал, чтобы мы немедленно на танках двинулись в Кабул для защиты режима Амина. В самой бригаде создалась довольно беспокойная обстановка. Мы немедленно созвали патриотически настроенных офицеров. Было решено изучить обстановку и не предпринимать каких-либо шагов, которые могли бы нанести вред целям Апрельской революции...

...27 декабря начался последний этап операции. К вечеру парашютисты двинулись к центру Кабула. В 19.15 местного времени они вошли в министерство внутренних дел и разоружили его сотрудников. Другая группа... достигла дворца Дар-уль-аман на южной окраине Кабула».

Звуки боя во дворце Амина были слышны в городе. В 20.45 кабульское радио передало сообщение о том, что Бабрак Кармаль возглавил правительство ДРА и попросил советской военной помощи. Советские парашютисты, прибывшие в здание кабульского радио, объявили персоналу: «Мы пришли, чтобы спасти революцию».

Ко времени, когда Кармаль обратился к нашей стране за помощью, от 15

до 20 тысяч советских солдат и офицеров уже находились на территории Афганистана.

Спустя сутки, 28 декабря, «Правда» опубликовала «Обращение к народу» Бабрака Кармаля, не вполне понятное тем, кто получал информацию только из советских газет. В обращении, в частности, говорилось, что «после жестоких страданий и мучений наступил день свободы и возрождения всех братских народов Афганистана. Сегодня разбита машина пыток Амина и его приспешников — диких палачей, узурпаторов и убийц...» Далее говорилось, что «Великая Апрельская революция, свершившаяся по нерушимой воле героического афганского народа, а также с помощью победоносного восстания революционной армии Афганистана, ...вступила в новый этап. Разрушены бастионы деспотизма, кровавой династии Амина и его сторонников — этих... наемников мирового империализма во главе с американским империализмом... Соотечественники! Вперед по пути полного уничтожения узурпаторов, самозванцев, эксплуататоров и вредителей! Смерть кровожадным угнетателям... аминам!..»

Более всего, наверное, удивили словосочетания «кровожадный угнетатель», «наемник мирового империализма» применительно к Амину. Тому самому, которого еще совсем недавно Л. И. Брежнев приветствовал в связи с его приходом к власти.

На следующий день «Правда» публикует «Обращение правительства Афганистана».

«Правительство ДРА, принимая во внимание продолжающееся и расширяющееся вмешательство и провокации внешних врагов Афганистана и с целью защиты завоеваний Апрельской революции, территориальной целостности, национальной независимости и поддержания мира и безопасности, основываясь на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 г., обратилось к СССР с настоятельной просьбой об оказании срочной политической, моральной, экономической помощи, включая военную помощь, о которой правительство Демократической Республики Афганистан ранее неоднократно обращалось к правительству Советского Союза.

Правительство Советского Союза удовлетворило просьбу афганской стороны».

Далее шли «Сообщения из Кабула». Состоялось заседание Политбюро ЦК Народно-демократической партии Афганистана, генеральным секретарем ЦК единогласно избран Бабрак Кармаль. Он же стал председателем Революционного Совета, премьер-министром, главнокомандующим вооруженными силами ДРА.

Кабульское радио сообщало, что революционный суд за преступления против народа Афганистана приговорил Х. Амина к смертной казни. Приговор приведен в исполнение.

СУДЬБА БАБРАКА КАРМАЛЯ

Итак, поздно вечером 27 декабря афганский народ узнал, что отныне у него появился новый руководитель — Бабрак Кармаль. А учитывая, что этот человек взошел на трон под грохот советских танков, въезжающих в Кабул, имя нового вождя на Западе обычно употребляли в обидном сочетании, с приставкой «марионетка Кремля».

Б и о г р а ф и ч е с к а я с п р а в к а. Бабрак Кармаль. Родился в 1929 году. Отец — пуштун из племени моллахейль, мать — таджичка. Хорошо знает языки пушту, дари, владеет немецким и английским. Его отец был влиятельным человеком в высших военных кругах Афганистана: командовал дивизией и корпусом, вышел в отставку в звании генерал-полковника. В 1950 году Бабрак Кармаль — активист союза студентов Кабульского университета. Трижды был осужден за революционную деятельность. Отсидел в тюрьме более четырех лет. В 1956 году выпущен из заключения под залог. Работает в Министерстве планирования. Сразу после создания НДПА становится заместителем первого секретаря ЦК партии, а вслед за объединением партии он — один из трех секретарей ЦК. Во второй половине 60-х годов опубликовал в газете «Парчам» ряд статей, полемизирующих с теорией «народной революции» Тараки, в частности, настаивал на том, что Афганистан находится в преддверии национально-демократической, а не пролетарской революции. Восемь лет был членом парламента. В 1978 году направлен послом в Чехословакию. У него два сына и две дочери.

Почти полтора года провел Кармаль в вынужденной эмиграции. Последние месяцы перед возвращением он фактически жил на полулегальном положении, не без оснований опасаясь мести Амина. И вот в декабре 79-го пробил его час: он снова на родине, занял высшие посты в партии и государстве.

Каким образом Бабрак Кармаль из Чехословакии попал в Кабул? Каким путем?..

Однажды представилась возможность спросить об этом самого Кармаля.

— Правда очень горька,— после некоторого раздумья сказал он.— Чтобы ответить вам, я должен начать издалека. У нас была партия, созданная четверть века назад. Тараки избрали ее первым секретарем, меня вторым. Политбюро в то время еще не было, а Центральный Комитет состоял из семи членов и четырех кандидатов. Затем у меня появились разногласия с Тараки... Он считал, что наша программа-минимум должна предусматривать народно-демократическую революцию со всеми вытекающими из этой концепции условиями, вплоть до диктатуры пролетариата. Я же был против, полагая, что мы находимся лишь в начале национально-демократического движения. Тараки хотел перепрыгнуть через все этапы — сразу в социализм. Другой пример. Я был против Амина, а Тараки, наоборот, всячески способствовал его продвижению вверх. Десять лет продолжались наши разногласия. Наконец, за 8—9 месяцев до Апрельской революции мы не без участия Советского Союза пришли к единству, оказавшемуся непрочным. Потом революция... Я опять второй, после Тараки, на всех высших постах — в партии, государстве и правительстве. Теперь скажите, на кого, по логике, партия должна была обратить свои взоры после убийства Тараки? Кого она могла призвать в высшее руководство?

Какой бы дорогой я ни вернулся домой, это была воля моей партии. Таким будет ответ на ваш вопрос.

— И все же, как это было исполнено технически — ваше возвращение?

— Конечно, я не мог проехать через Пакистан или Иран. Оставался один путь — через Москву и Ташкент. Как летел и на чем — это уже детали, в которые я не хотел бы вдаваться. Скажу только, что до самых последних дней у меня не было никаких контактов с советскими гражданами.

— А кто же принял решение устранить Амина?

— Было ясно, что Амин должен уйти, а партия должна жить. Первое со вторым не совмещалось. К этому решению мы подошли одновременно — и здоровые силы в НДПА, и советские товарищи.

— К какому решению: устранить Амина политически или уничтожить его физически?

— Убрать с дороги деспота, ликвидировать тиранию, от которой пострадали тысячи афганцев. Хотел бы еще и еще раз повторить: я не имел контактов с советскими вплоть до самых последних дней перед возвращением в Афганистан. Я не приглашал к нам ваши войска. Возможно, их пригласили те четыре министра — Гулябзой и другие, которые скрывались от репрессий в СССР? Не знаю... Сам я прибыл в Афганистан, когда там уже находилась часть советских войск. Меня поставили перед фактом.

— Еще один вопрос, который нельзя не задать, хотя, возможно, он покажется вам бестактным. Сразу после убийства Амина вас объявили генеральным секретарем партии. Как могли вас избрать, если не было ни пленума, ни съезда?

— Возникла совершенно особая ситуация, когда вступают в действие иные

законы и правила. У меня произошли встречи с товарищами, которые ранее составляли руководящее ядро партии, а при Амине скрывались в подполье. В ходе этих встреч было подтверждено, что я должен встать во главе партии. Собственно, для моих соратников это стало ясно гораздо раньше — сразу после гибели Тараки.

Ф. А. Табеев. Бабрака Кармаля я впервые увидел в самом начале 1980 года. Он принял меня в скромном особняке Совета Министров. Он сам изъявил желание познакомиться с советским послом.

Конечно, перед встречей я пытался навести какие-то справки: что за человек, чем знаменит? Был у нас в посольстве секретарь парткома, он долго работал в Кабуле, знал людей, так вот он мне рассказал, что Бабрак Кармаль — старый член партии, был депутатом парламента. «Но по характеру он вам не понравится»,— предупредил наш товарищ. «Почему?» «Увидите...»

Позже я, кажется, понял, что он имел в виду. Товарищ Кармаль хороший человек, но он не открытый, не всегда искренний. Он говорил мне как-то: «Вы, товарищ посол, не обижайтесь на меня. К афганцу ум приходит после обеда. Я не сразу с вами соглашаюсь, но, поразмыслив, всегда признаю вашу правоту. А если я допускаю ошибки, вы со мной не церемоньтесь, в условиях революции ошибаться нам нельзя».

У Бабрака Кармаля не очень крепкое здоровье, он не отличался высокой работоспособностью.

Но вернусь к первой встрече... Мы обнялись, как здесь положено. Я поздравил его с избранием на высокие посты. Состоялся чисто протокольный разговор. Потом он устраивался, приводил в порядок резиденцию (все тот же дворец Арк) и через неделю приступил к делам.

Чтобы разобраться в ситуации, мне потребовалось года два, не меньше. Да, два года ежедневной, ежечасной, ежеминутной работы... В этот период я, возможно, бывал излишне резок, особенно когда речь шла о внутрипартийных разногласиях в НДПА. Не вдаваясь в детали, говорил: «Не сметь!» Да, жестковато иногда действовал. Помню, в 82-м Бабрак Кармаль решил прогнать с занимаемых постов нескольких видных министров. Ко мне пришел Маздурьяр: «Только вы можете нас спасти. Ведь если Кармаль на это пойдет, мы вынуждены будем предпринять серьезные контрмеры». Понятно, на что намекал. Нельзя было допустить новой крови, следовало действовать немедленно. А то они опять наломали бы дров. Ночью еду к товарищу Кармалю, спрашиваю его без лишних церемоний: «Что случилось?» Он глаза отводит: «Ничего». «Но вот у нас есть сведения... Они соответствуют действительности?» «Да». «Не надо этого делать». Конечно, я оговорил, что мы, мол, не хотели бы вмешиваться в ваши внутренние дела, товарищ Кармаль, дескать, упаси бог, но все-таки лучше вам подумать хорошенько. Он мне: «Напрасно вы их защищаете». «Товарищ Кармаль,— отвечаю я твердо.— Ради единства партии, ради нашей дружбы послушайте меня». И такое бывало. Знаю, обижался на меня Бабрак Кармаль, особенно в первые годы. А куда денешься...

Бабрак Кармаль. Став первым руководителем страны, восемьдесят процентов своей энергии я тратил на борьбу с советскими официальными лицами. Я требовал уважительного отношения к себе. Посол Табеев порой разговаривал со мной в неподобающем тоне, очень часто он не советовал, а приказывал. Я ему возражал: «Вы должны согласно международной практике общаться со мной через МИД. Что вы себе позволяете?..»

А чего стоят ваши советники при Политбюро! Сначала они развалили дело у нас, потом, вернувшись в Союз, продолжали добивать свою собственную партию. Ваши советники были везде. Ни одного назначения на сколько-нибудь заметную должность в Кабуле и в провинциях нельзя было сделать без их согласия.

А сейчас генерал Варенников во всем обвиняет меня[1]. Он утверждает, что именно Бабрак Кармаль проявил напор, втягивая советскую армию в войну. Вешает мне ярлык демагога и фракционера. Ложь! Да я шагу не мог ступить без ваших советников! Они диктовали, что надо делать,— и в партии, и в государстве, и в армии.

— Позвольте один вопрос. В вашей резиденции только внешняя охрана (за пределами забора) состояла из афганских гвардейцев. На территории дворцового комплекса были советские десантники, а сами помещения находились под контролем специальной охраны КГБ. Вас, руководителя суверенного государства, это не смущало?

— Я много раз возмущался по этому поводу. Я десять раз подавал в отставку. Беда в том, что я не являлся руководителем, как вы говорите, «суверенного государства». Это было оккупированное государство. Реально правили в нем вы.

В. Снегирев. Мне довелось не раз встречаться с Кармалем. Я воспринимал его как человека интеллигентного, мягкого, чуточку неуверенного в себе. Иногда было у меня и такое ощущение, будто ему неуютно в роли главного руководителя, словно он надел костюм с чужого плеча. Хотя внешне это почти никак не проявлялось. В Кабуле раза три-четыре мне приходилось разговаривать с Бабраком Кармалем за толстыми крепостными стенами его резиденции. Он редко покидал хорошо охраняемый дворец Арк, и всегда вблизи него находились советские телохранители... А спустя годы мы увиделись в дачном поселке под Москвой, где Кармаль жил после смешения со всех высших партийных и государственных постов, происшедшего, как известно, в 1986 году.

— Салам алейкум, рафик[2] Кармаль,— непроизвольно произнес я, увидев его гуляющим под кронами сосен.

Он с готовностью сделал шаг навстречу, мы пожали друг другу руки и по обычаю трижды обнялись. Кармаль был в костюме и легком свитере. Он сохранил горделивую осанку, но в его манерах уже не сквозило сознание своего превосходства, свойственное «первым лицам». Глаза его показались мне грустными.

Кармаль был не один: рядом прогуливался рослый молодой афганец, как потом выяснилось, муж его дочери, а поодаль топтался некто с невыразительным лицом; едва мы начали разговор, он придвинулся и, вытянув шею, стал вслушиваться.

— Я не понял, рафик Кармаль,— сказал я, кивнув на любознательного субъекта.— Он вас охраняет или вы у него под арестом?

— Сам не пойму,— печально улыбнулся бывший генсек.— Только он от меня ни на шаг.

— Ну, а если я приглашу своего старого знакомого к себе на дачу на чашку чая? — обратился я к «топтуну».

— Только со мной,— отрезал тот и со скучающим видом отвернулся.

Мы обменялись телефонными номерами, договорились о новых встречах. И эти встречи были — на даче, где жил Кармаль. Фрагменты бесед, состоявшихся зимой и летом 1990 года, приведены выше. Почему они так скупы? Об этом просил сам Кармаль: считает, что еще не настало время для обнародования всего.

---

[1] Имеется в виду интервью В. И. Варенникова журналу «Огонек» (№ 12, 1989 г.).
[2] Рафик — товарищ.

Весна далекая и близкая

Когда и как начиналась она, легендарная поэтическая весна пятидесятых — начала шестидесятых годов? С первого «дня поэзии» в Москве, когда поэты впервые встали рядом с продавцами за прилавки книжных магазинов? С первого одноименного сборника — нестандартного, широкоформатного, так и не превзойденного ни одним из последующих? Нет, раньше, много раньше. Еще XX съезд был только в проекте, еще только осторожные теоретические статьи на тему «народ — творец истории» исподволь прокладывали дорогу грядущему разоблачению «культа», а уж потянулись переполненные молодежью трамваи к далекой тогда ленинградской окраине, к Политехническому... Да, есть и в Ленинграде свой Политехнический, не музей, как в Москве, а институт, и в его актовом зале устраивались тогда вечера студенческой поэзии. И взрывалась аплодисментами аудитория. И впервые за многие годы удивлялись газетные репортеры: надо же, три часа люди слушают стихи и не расходятся! А когда, наконец, расходились, стихи продолжали звучать: в коридорах, на пустеющих ночных улицах, в тех же трамваях, троллейбусах — «последних, случайных», как пропел несколько лет спустя Булат Окуджава.

Интересно, что в те годы в Ленинграде были опробованы основные поэтические «модели», утвердившиеся потом — в несколько иных вариантах — на всесоюзной арене. Был уже тогда поэт остросоциальный, с подчеркнутым вниманием к подробностям человеческого бытия, с прямыми выходами в публицистику, по своему интерпретировавший «маяковскую» лесенку,— Лев Мочалов. Был поэт экстравагантности, парадокса — студент-горняк Лев Куклин: строка «на темных стеклах мороз проявлял свои негативы» казалась пределом изощренной метафористики. Был и «поэт с гитарой» — фронтовик Игорь Ринк: то, что он пел на вечеринках, вполне укладывалось в рамки традиционной военной романтики, но сама возможность т а к о г о общения с аудиторией, безоглядного, бесцензурного, уже завораживала, уже кружила голову...

Тех, что здесь названы, нет в сборнике, который придумала, составила и «довела до читателя» ленинградская поэтесса Майя Борисова. Как нет и многих других. Приходилось — еще в процессе рождения книги — слышать: «А почему именно эти тринадцать поэтов? Я, например, тоже тогда жил и работал, и у меня тоже есть стихи, которые в те времена было невозможно напечатать...» В самом деле: почему? На этот вопрос невозможно ответить. Трудно найти формальный признак, объединивший тринадцать разных поэтов под одной обложкой. И в то же время всей кожей ощущаешь естественность и закономерность этого соседства. Соседства людей, заявивших о себе почти одновременно и навсегда соединенных неуловимыми, но прочными узами. Выходит, интуиция и связанная с нею неизбежная субъективность не всегда такая уж плохая вещь.

Нет, никогда не забудется, как это было. Как выходил на трибуну в своей потертой горняцкой тужурке, с лицом юного аскета, Владимир Британишский — и читал ошеломляюще:

> Мне запах школы ненавистен.
> Не выветрится, хоть умри!
> Обоями ходячих истин
> оклеен череп изнутри...

И краснели затылки у маститых. И замирали от сладкого ужаса сердца у тех, кто был воспитан на сладкой водичке «Школьного вальса»: неужто и так можно? А поэт, словно и не замечая произведенного эффекта, уже читал стихотворение «Другой».

Читая сегодня эти стихи, нетрудно, может быть, заметить их некоторую прямолинейность и даже наивность. Сидит, к примеру, этот «другой» в машине, обязательно «вкушая необъятным задом пружинно-кожаный покой». И, конечно, «с чужим, недобрым взглядом». Теперь-то мы знаем, что «другой» может быть и худ, и улыбаться может вполне обворожительно. Но... лишь недавно публицистика заговорила о формировании в нашем обществе целого класса таких «других». А ведь еще тогда, три с половиной десятилетия назад, было сказано: «Другой — не из другой страны попутным ветром занесен. Другой — не из других времен, не пережиток старины. Из наших мест, из наших дней — такой другой куда страшней». И что из того, что не было напечатано? Читалось с трибун и эстрад, переписывалось, запоминалось.

А на Александре Городницком та же форма Горного института сидела как-то особенно щегольски, и золотое шитье на погончиках всегда сияло как новенькое. Он еще не написал тогда своих широко зазвучавших песен о деревянных северных городах, о снеге, кружащемся над палаткой, но уже был его стих мастеровит, отточен, а порой и дерзок, как в стихах про смерть царя Бориса:

> И вот, на Лобном месте шумном,
> Спеша умы предостеречь,
> Сам набольший боярин думный
> Перед народом держит речь...
>
> Слова взлетают над толпою,
> По бердышам стекают вниз.
> Мол, он за правду всей душою,
> Да принуждал-де царь Борис...

И навострялись уши, вытягивались шеи: о чем это он, в кого метит? А ни в кого конкретно, просто предостерегает от легковерия, от розового телячьего восторга: теперь, мол, все пойдет по-иному! Предостережение мудрое, не только для тех времен актуальное.

И, думается, тут самое место сказать о той роли, которую играли в поэтическом Ленинграде тех лет литобъединение Горного института и его руководитель Глеб Семенов. Его фамилия — неоднократно — в зарифмованных строчках питомцев, его инициалы — в посвящениях, его лицо — на фотографиях (уже исторических!), которыми иллюстрирован сборник. Сам незаурядный поэт, прошедший сложную эволюцию, он умел привить своим ученикам и литературный вкус, и подлинную гражданственность. Это из-под его крыла, из «его» литобъединения явились и заняли свое место в поэзии и Олег Тарутин с его задиристо-непосредственной интонацией («Лучше спиться, чем зажраться!..»), и Леонид Агеев с неповторимым трагическим демократизмом его «Юности фэзэушной».

К слову сказать, все названные поэты, с юности вкусив признание (многое не печаталось, но многое и печаталось, и книги выходили), долго и серьезно продолжали работать по своей горняцкой специальности, иные достигли заметных степеней: Городницкий, к примеру,— доктор наук, Агеев возглавлял крупный отдел в институте. Отнюдь не осуждая последующее поколение поэтов-кочегаров, дворников и вахтеров (другое время — другие нравственные императивы), обращаю внимание на эту деталь как на характерную для общей атмосферы эпохи, особая трепетность в отношении к поэтическому служению, невозможность сказать о себе «я — поэт», принципиальное нежелание быть «на кормлении» у музы,— все это оттуда, из тех времен... Впрочем, тогда же, с юности, прибился к братству поэтов-горняков и Глеб Горбовский, не окончивший даже техникума, скитавшийся рабочим по экспедициям, стихийно талантливый, чуть ли не рычаньем встречавший любые покушения на его творческую и человеческую независимость.

И тяготел туда же, к тому же «кругу Глеба Семенова», Сергей Давыдов, недавний токарь с «Севкабеля», «самый молодой фронтовик», мальчишкой прошедший по войне, и Нонна Слепакова, представленная в нынешнем сборнике поэмами «Мста» и «Мойка, осьмой час утра», и будущий (а потом, в течение ряда лет, и «настоящий», действующий) педагог-словесник Александр Кушнер с его рано и четко определившимися поэтическими ориентирами:

> Конечно, Баратынский схематичен,
> Бесстильность Фета каждому видна.
> Блок по-немецки втайне педантичен.
> У Анненского в трауре весна.
> Цветаевская фанатична муза.
> Ахматовой высокопарен слог.
> Кузмин манерен. Пастернаку вкуса
> Недостает: болтливость — вот порок.
> Есть вычурность в строке у
> Мандельштама.
> И Заболоцкий в сердце скуповат.
> Какое счастье — даже панорама
> Их недостатков, выстроенных в ряд!

Эти стихи сравнительно поздние: датированы семьдесят первым годом. И вот поди ж ты — почти двадцать лет поэт не мог их напечатать. Хотя — никакой, вроде бы, политики! Впрочем, и не надо думать, что «То время — эти голоса» — сборник политической поэзии. «Непубликабельность» в свое время зачастую определялась, как ни странно, критериями чисто эстетическими: не тех любил, не тем следовал, не так, как требовал хороший тон, писал. В Ленинграде — с его тогдашним руководством — все это было особенно обострено. И хотя находились самоотверженные редакторы (честь и хвала им!), благодаря которым даже такой иррациональный, ни на кого не похожий мастер, как Виктор Соснора, издавался сравнительно регулярно,— сколько осталось «в запасниках»! И у того же Сосноры, и у безупречного реалиста Вадима Халуповича, и у сатирика Льва Гаврилова, и у самой составительницы — Майи Борисовой, и у недавно ушедшей из жизни Татьяны Галушко, написавшей пронзительные строки о поэтических переводах:

> Из Гете, как из гетто, говорят
> Обугленные губы Пастернака.

Нынче время открытия запасников. Не только в живописи, но и в литературе. Выход сборника «То время — эти голоса» — одна из таких акций, подтверж-

---

То время — эти голоса. Ленинград. Поэты «оттепели». Составитель Майя Борисова. Л., Советский писатель, Ленинградское отделение. 1990.

дающая: «весна пятидесятых» никуда не девалась, не пропала, она продолжалась в поэзии во все последующие годы (крайним «временным» пределом составительница поставила при отборе год семьдесят пятый, далее, по ее оценке, уже кончается история и начинается современность). При всех «волюнтаризмах» и «застоях» поэты оставались верны себе, идеалам — не побоимся этого слова — своей юности. И роль поэтического Ленинграда здесь велика и значительна.

Илья Фоняков

Можно ли отказаться от наследства?

Написанный пятнадцать лет назад крамольный роман, наконец, напечатан. Публиковались, казалось бы, более острые произведения: мемуары, романы, исследования, рассказы о страшных сталинских лагерях, о преступлениях, с которых началась «новая эра», о хрущевских «островах коммунизма»... Роман Кормера оставался «непроходимым» ни здесь, ни *там*. На Западе друзьям писателя удалось в 1987 году опубликовать его, но сокращенным более чем на треть. Писателя хотели определить: на чьей он стороне, а не определив — отвергали. А он был сам по себе. Роман вроде бы о диссидентах, но не диссидентский и не антидиссидентский. Это смущало, сбивало восприятие, ставя Кормера *вне* «литературного процесса», живущего апробированными и понятными именами и мнениями. Между тем всякое новое слово вторгается в литературу как бы со стороны, влияя по-своему на культуру, усложняя ее умственный и духовный строй. Думаю, что роман «Наследство» из таких, из «влияющих».

Я вынужден писать о Владимире Кормере в прошедшем времени, потому что он скончался в 1986 году, не дожив трех месяцев до своего сорокавосьмилетия и трех лет до публикации полного текста романа. Открыть его творчество читателю еще предстоит. Но могу уже сейчас сказать, что такого объективного, бестенденциозного, аналитического подхода к действительности мы не видели, мне кажется, со времен Чехова, самого беспартийного из русских писателей. Я сознательно упомянул имя Чехова: это тот тип письма, с которым имеет смысл сопоставлять прозу В. Кормера. Художественный пафос его романа напоминает пафос естествоиспытателя: «Я наблюдаю, потому что хочу *понять*...» Задача его творчества, как я ее понимаю, весьма серьезна и ответственна: перед нами попытка художественного анализа метафизики отечественной культуры.

Само заглавие романа символично. Позволю себе параллель. В прошлом веке была опубликована работа «От какого наследства мы отказываемся?» Ее автор полагал, что можно отказаться от одной части культуры и взять «на вооружение» другую. Но презрительно отринутый путь революционного народничества (в пределе — нечаевский) оказался в дальнейшем доминирующим. Как показала история, наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем. Да и вообще нельзя ничего отвергнуть: в превращенном виде все явления истории и культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От культуры нельзя отказаться, ее можно гуманизировать. Но для этого ее необходимо *понимать*, прежде чем предлагать «рецепты спасения».

Кормер хотел разобраться во взаимосвязи, взаимозависимости «грехов» и «правд» нашего прошлого и настоящего. Один из персонажей «Наследства», писатель Николай Вирхов, сочиняющий роман о русской эмиграции конца двадцатых годов и одновременно пытающийся записывать все, что видит вокруг себя (образ в значительной степени автобиографический), вдруг обнаруживает: «Он не присочинял, не строил никаких концепций, он просто дорисовывал то, что было уже известно, и лишь старался узнать этих людей поосновательнее, чтобы дорисовывать вернее. Более того, он желал бы совсем уйти от этой темы (т. е. современной.— **В. К.**), для того и занялся «исторической линией»... Как это так получилось, что его история вдруг ожила, из плоской, записанной на клочках бумаги претворилась в плоть и кровь, обернулась зверем?! Мертвые стали хватать живых. Самый малый шаг в глубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы, и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то за что-то *наследство*. Никто не существовал сам по себе, вне другого».

Писатель осознает, что архетип культуры сильнее любого человека; думая, что поступают свободно, его герои ведут себя, как марионетки на ниточках, и направляет их движение нечто, что определяло и жизнь их предков, неизжитые проблемы которых оказались актуальными и сегодня: «Мертвые стали хватать живых». И два романа, которые пишет Вирхов, сливаются в один, обретающий единство проблематики и сюжета. Героиня «современного романа» Татьяна Манн оказывается незаконной дочерью героя «эмигрантских глав» Дмитрия Николаевича Муравьева, профессора, ученого, богатого и независимого человека, за которым «не стоят никакие *круги*». Деньги Муравьева, за которыми охотилось ЧК, всплывают в советской уже современности начала семидесятых как некий фантом: «наследство в твердой валюте». И вот уже бес, искушавший когда-то паразитарную сталинскую структуру, начинает смущать Валерия Александровича Мелика, одного из «сегодняшних» героев, «верующего христианина», пытающегося добиться рукоположения, но одновременно воспринимающего свое христианство как *политическое* дело, желающего выглядеть лидером христианской антисоветской *партии*. И уже непонятно, в самом ли деле герой сызнова воспылал страстью к своей бывшей возлюбленной Тане Манн или новую силу его чувствам придает вроде бы ожидающее ее наследство. Все зыбко, все двоится в этом не желающем осознавать себя и свое прошлое мире. Каверза романа в том, что денег-то, может, и нет вовсе, а наследство есть. Оно реальность, рок, проклятие. Герои наследуют не только нерешенные проблемы, но сам *тип* мышления и отношения к жизни.

Чрезвычайно важны для понимания замысла романа те духовные коллизии первой русской эмиграции, в которых пытается разобраться Вирхов, с их сведением старых счетов, взаимными упреками, желанием не понять смысл произошедшего на Родине, а придумать «рецепт спасения». Партийные склоки противостоящих друг другу эмигрантских группировок, растущий немецкий национализм, подогреваемый сталинскими эмиссарами, разговоры о «Великой Германии» и «Великой России», провокации агентов ЧК, играющих на евразийских идеях *патриотизма*, раздувающих вражду между группками,— все это в ином вроде бы обличье неожиданно узнается нами во взаимоотношениях героев «современного романа». Ибо современные герои тоже имеют «благие намерения», но ведут они их, как и их предшественников, как пятьдесят, как сто лет назад, прямиком в ад. Но кто же эти современные герои?

В поисках свободы, живой жизни, противостоящей официозу, все мы в той или иной степени симпатизировали *диссидентству*, среди которого были подлинные герои и святые типа Сахарова. Впрочем, как в XIX веке сочувствовали революционерам-народникам весьма широкие слои русской интеллигенции, сами не ввязываясь в борьбу. Именно сюда, в диссидентские круги, следом за писателем Николаем Вирховым попадает читатель. Но для Владимира Кормера изображение диссидентского движения — не цель романа. Просто через этот материал как через увеличительное стекло писатель пытался понять судьбу России. Будут, наверно, спрашивать, верно или неверно он «списал портреты». Но писатель не «списывает портреты», он при помощи своих героев говорит о сущности времени, культуры и т. д. А диссидентство было той самой болевой точкой, к которой сходились все нервные нити культурного организма России. И выяснилось, что у *борцов* те же беды и проблемы, что и у законопослушных граждан нашего государства: единое наследие — несвободы и неприятия независимой личности.

В доме Ольги Веселовой собиралась компания. Это бывшие лагерники, прошедшие сталинские тюрьмы и ссылки, и молодые женщины и мужчины, считавшие бывших лагерников героями, людьми, «понимающими, как надо жить». Возникает замкнутая система, отгораживающаяся от остального, «неправедного» мира. Образуется своеобразная община. А у замкнутой группы, общины, роя, стаи — свои законы. Законы, отвергающие самобытность, индивидуальность, непохожесть. Как сформулировал в прошлом веке Нечаев: «Не примкнувшая без уважительных причин к артели личность остается без средств к существованию». Но тоталитарное государство основано на том же принципе. И оппозиция отзеркаливает его структуру. Так что оказывается, что можно не служить, не делать карьеру, не вступать и не участвовать, более того, протестовать и подписывать, но... чураться, отталкивать тех, кто пытается думать своим умом, а не умом компании, умом кружка. Если вспомнить, то об опасности и ужасе кружковщины, перерастающей в бесовщину, предупреждали два наиболее чутких к общественным движениям писателя — Достоевский и Тургенев («Бесы» и «Новь»). Наше наследие — кружковщина, но наше же наследие — и противостояние ей. Кормер — наследник этой линии противостояния.

Неужели опять кружковщина, опять новая партийность?.. Да, первое и самое острое впечатление читателя именно такое, и оно не обманывает. Познакомившись в самых первых главах с Таней Манн, убедившись в ее неординарности, читатель с удивлением видит, что отвергающая *систему*, из семьи «сидевших», верующая искренне и истово, она, принимая всем своим существом вчерашних страдальцев, оказалась *отторгнутой*. «К ней вообще относились здесь отчужденно, и сблизиться с ними по-настоящему она не смогла. Она не знала причины, потому что делала вроде бы то же, что и они,— так же пила, так же читала стихи и писала экзистенциальные романы-монологи, которые Ольга одобряла, отводя ей роль «нашей Саган». Но все они, однако, в чем-то не доверяли ей, и, хоть и думали о себе как об элите, ей самой, опростившись и зная жизнь, не упускали случая сказать «белая кость» и тому подобное».

Владимир Кормер. Наследство. Роман. Октябрь, №№ 5—8, 1990.

Она, как замечает писатель, причины такого отношения к себе не понимала, но догадывается читатель: в ней слишком ощущалось *свое*, ни от кого не зависящее понимание жизни. При этом люди эти не злы, намерения их благородны, Кормер не шаржирует своих героев, просто сама жизнь, сам тип поведения — кружковщина — структурирует их поведение. Они сами оказались в плену законов, которые им диктовала наша жизнь.

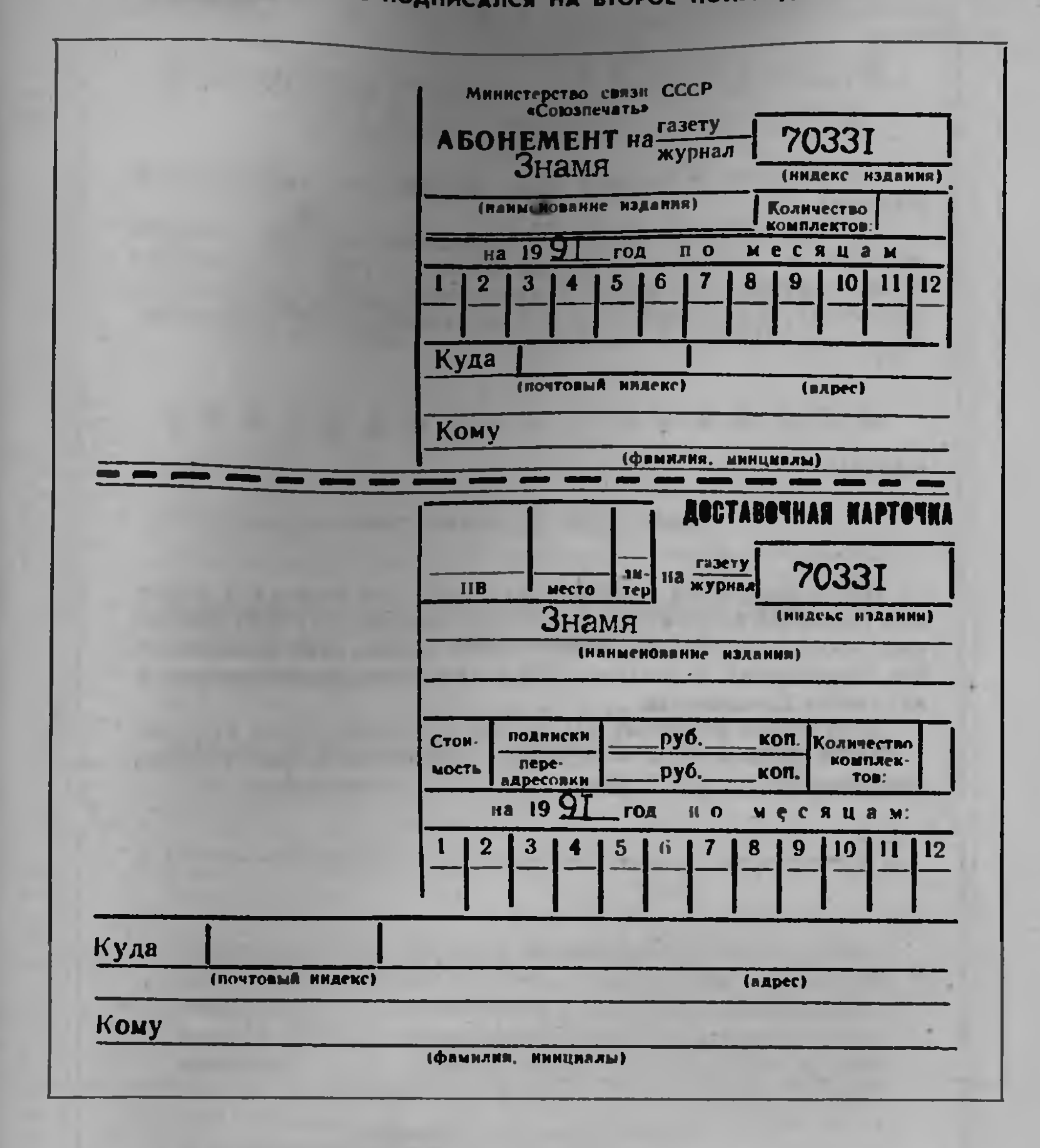
Отсюда и моральный диктат, ригоризм, наплевательство на личность, что мало отличалось от привычного законопослушным гражданам диктата партийной или комсомольской организации: «Меня хотят заставить делать то, чего я не хочу!.. Почему если кто-то думает иначе, чем они, то это уже подлость, это приспособленчество?! Это трусость? Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то, как они говорили?.. Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто *социальной единицей* и в качестве таковой только и имеешь значение... Сволочи!» Таким образом, мы получаем зеркальное отражение государства, хоть и с обратным знаком, тот же тоталитарный синдром. И к читателю приходит понимание, что мы традиционно не можем осознать самоценности *другого*, личности. Ибо (вспомним слова поэта) «какие мы сны получили в наследство»? Да такие, по которым до сих пор живем. Нам не частное, нам «общее дело» подавай. Не случайно всплывает тень Достоевского, и мы слышим восклицание: «Бесовщина!» А кто из нас не переживал в той или иной степени диктата или остракизма того или иного кружка!

А где кружковщина, там непременно и претендент на роль лидера, фюрера, пахана, вождя. Здесь такой «обрученный со свободой» Хазин, который орет, обращаясь к человеку, пристроившему его на работу: «Ты понимаешь, б..., что я *идеолог русского демократического движения*, или нет?! Ты понимаешь, что я за вас всех кладу голову?!» В свое время против подобного революционерства предупреждали «Вехи», говоря о том, что истинная революция — научиться жить и работать культурно, по-европейски, не лозунги выкрикивать, а уметь трудиться. Характерна, кстати, фамилия — Хазин: здесь и «хаза», бандитский притон, и «Разин», символ разгула, вольницы. Замечателен ответ Хазину экономиста Целлариуса, «стихийного» веховца: «Двести миллионов хочет осчастливить, говно. А одному человеку можно за это на голову...»

Этот же экономист Целлариус говорит о том, что у каждого человека должна быть своя «средняя цена» и что вот «он не знает, как у других, но у него она остается прежней при любом режиме». Речь идет, разумеется, о наличии реальных знаний, профессиональных навыков, умении работать: это и есть средняя цена. И справедливость его слов герои очень даже чувствуют. Мелик изливается Вихрову: «Все как в вату... Все глохнет, любое усилие... Я не могу, так нельзя жить. Надо уезжать отсюда... А что дальше?! Там-то мы тоже никому не нужны! Слыхал, как Целлариус сказал вчера? — спросил Мелик. — «Средняя цена, средняя цена!» Это точно, между прочим. У него есть она, а у нас ее нету». Отсутствие этой средней цены приводит Хазина к слому и покаянию в КГБ, а Мелика — к трактату об оправдании Иуды. В пьяном бреду Мелику кажется, что он подписывает «сатанинский договор». Ему нечего противопоставить миру сему. Даже христианство. И стоит посмотреть, каково оно «в исполнении» героев романа.

Ибо именно в их время общественное сознание готовилось к сегодняшнему «всеобщему интересу» к христианству. Но вот беда: в этом интересе, который виден во всех телепередачах и газетах, можно углядеть желание морального воспитания, соображения просветительские, государственные, которые влекут за собой карьерные, даже полицейские и военные (институт полковых священников). Не видно одного: религиозности. И здесь «левые» не очень-то отличаются от «правых». Как в диалоге героев Достоевского: «Я верую в Россию... в ее православие...» «А в Бога? В Бога?» «Я... я буду веровать в Бога». Героиня романа «Наследство» робко произносит: «Сейчас, кого ни спроси, обязательно будет богослов или специалист по делам Русской Церкви. Этого всегда так ждали, на это так надеялись, и вот сейчас, когда это происходит, видно, как это ужасно! Это так быстро стало модой, стало так доступно... Сейчас как бы уж и неприлично: интеллигентный человек и *не*... Конечно, грех так говорить, но ведь это так?» Писатель угадал тенденцию, которая в наши дни из моды стала уже поветрием: вчерашние марксисты и истовые члены партии наперегонки бросились креститься, гордиться православным прошлым и цитировать религиозных русских мыслителей. Ну а в романе? Мечется Мелик, пытаясь через рукоположение устроиться в жизни, составив себе из религиозности политический капитал. Набивает свою утробу апеллирующий к «почве» отец Алексей. Занимается культуртрегерством отец Владимир, видящий в христианстве терапевтическое средство лечения человечества. Один отец Иван Кузнецов,— герой «эмигрантских глав»,— пробравшийся с Запада в сталинскую Россию, служитель катакомбной церкви, безусловно верит в Бога. Но он и не по моде, он герой противостояния, крест несет, он одинок.

Про Кормера уже говорят, что он религиозный писатель, автор религиозного романа. Думаю, это не так. Если и религиозный, то скептик наподобие Вольтера, о котором Белинский замечал, что нормы христианства у него в крови. Как


Министерство связи СССР
«Союзпечать»
АБОНЕМЕНТ на газету / журнал 70331
(индекс издания)
Знамя
(наименование издания)
Количество комплектов:
на 1991 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Куда (почтовый индекс) (адрес)
Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
ПВ место литер на газету / журнал 70331
(индекс издания)
Знамя
(наименование издания)
Стоимость подписки ___руб.___коп.
переадресовки ___руб.___коп.
Количество комплектов:
на 1991 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Куда (почтовый индекс) (адрес)
Кому
(фамилия, инициалы)

писал Чаадаев: «Последствия христианства можно не признавать только в России. На Западе все — христиане, не подозревая этого, и никто не ощущает отсутствия христианской идеи». В романе нарисован наш обезбоженный мир, где даже носители веры в большинстве своем тщеславны и суетны, больше думают о своем преуспеянии в разных областях жизни, нежели о духовном. Кормер написал роман с точки зрения человека, воспитанного тысячелетней христианской культурой, которому поэтому не надо истово креститься на красный угол, где чехарда: то портрет Ленина, то икона.

Все «лжи» и «правды» нашего прошлого мы несем в себе.

Духовно независимый человек должен их видеть и понимать, чтобы противостоять роевому, антиличностному сознанию. Русская классическая литература помимо жестокого и неприукрашенного изображения действительности оставила нам в наследство идею свободы. Но принять *это* наследство может только человек, преодолевший в себе раба. Кормер, на мой взгляд, следует в своем творчестве лучшим традициям, ибо глядит на мир глазами свободного человека. Что же в романе противостоит нашей чудовищной, запутавшейся в идеологических догмах реальности? Да сам роман, его свободное, не замутненное никаким идолопоклонством слово. Продолжая игру с понятием, вынесенным в заглавие романа, хочу сказать, что писатель Владимир Кормер оставил нам наследство, от которого мы станем богаче, если сумеем его освоить.

Владимир Кантор

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-76, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 921-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 05.02.91. Подписано к печати 04.03.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,77.
Тираж 421 000 экз. Заказ № 137. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.